

Н О В Ы Й  
М И Р

6

Н О В Ы Й  
М И Р

1959

6

---

1959

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXV

№ 6

Июнь, 1959 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
|--|------|
| А. МАРЬЯМОВ — Идем на Восток   | 3    |
| МАРК ЛИСЯНСКИЙ — С добрым утром, стихи   | 57   |
| ВЛАДИМИР СЕМАКИН — Краснолесье, стихи  | 58   |
| ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ — Пядь земли, повесть. Окончание                                 | 62   |
| С. ЛИПКИН — Пять стихотворений   | 112  |
| И. МЕТТЕР — Сухарь, рассказ  | 116  |
| ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ — Из жизни Остужева, рассказы                                   | 135  |
| РАСУЛ РЗА — Разные глаза, стихи. Перевел с азербайджанского П. Антокольский        | 150  |
| НАБИ БАБАЕВ — Говорят, что... Стихи, Перевел с азербайджанского Е. Евтушенко       | 152  |
| АЛЕКСИС ПАРНИС — Русский язык, стихи. Перевел с греческого Борис Слуцкий           | 154  |
| СТЕФАН ГЕЙМ — Близ вокзала Фридрихштрассе, рассказ, Перевод с немецкого Б. Лузгина | 157  |

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

|   |     |
|---|-----|
| ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Перечитывая Чехова. Окончание | 174 |
|---|-----|

### ПУБЛИЦИСТИКА

|   |  |
|---|--|
| ВЛ. КАНТОРОВИЧ — В молодом городе                     |  |
| Профессор И. ПИСАРЕВ — Проблемы народного потребления |  |

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

|   |  |
|---|--|
| З. ОСМАНОВА — Путь Абая   |  |
| Б. САРНОВ — «Веселое звание поэта...» (К 70-летию со дня рождения Н. Н. Асеева) |  |

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Литература и искусство*

Н. Крымова. О Зоре Дановской.— К. Ваншенкин. Настоящая Кирилл Андреев. Мир завтрашнего дня.— З. Кедрина. Великий Л. Жуховицкий. Зрячее сердце.— М. Злобина. «Естественность в современном обществе.— Л. Осповат. Будем знакомы: М

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДА»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

|  |            |
|--|------------|
| <i>Политика и наука</i>  | 260        |
| <b>Л. Толкунов.</b> Под знаменем социализма.— <b>Е. Фильков.</b> Когда Россия подымалась...— <b>Полковник Н. Денисов.</b> Прочитай, передай товарищу!— <b>Ю. Милеушкин.</b> Образ великого ученого.— <b>Е. Померанцева.</b> Конец «тайны» Тибета.— <b>Кандидат исторических наук А. Немировский.</b> Происхождение христианства. |            |
| <b>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</b>   | <b>278</b> |
| <b>Л. Ланский.</b> Неизвестные воспоминания о Герцене.— <b>Э. Зайденицур.</b> По поводу текста «Войны и мира».   |            |
| <b>КОРОТКО О КНИГАХ</b>  | 283        |
| <b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>   | 287        |

---

А. МАРЬЯМОВ

★

## ИДЕМ НА ВОСТОК

На пороге завтрашнего дня

31 января 1959 года

**Н**очью лег снег.  
Откуда он взялся?

Уже в небе ни тучи, ни облака. Весенняя синева, весеннее солнце. Еловые ветви отяжелели от снега. И от веток, от наста, прочеркнутого новой лыжней, от солнца, которым будто наполнено все глубокое синее небо, стоит вокруг пронзительно-праздничное сверкание.

Птица порхнула с дерева, засуетилась в снегу, печатая следы-лучики. Неужели же не нарочно вправлена она в это белое сверкающее великолепие: крохотная горсть красных и синих перьев, крохотный черный, влажно блестящий глазок и льдисто-звонкий, торжествующе-звонкий щебет на всю лесную округу? Точно и не птица это, а удивительный живой трансформатор, преобразующий свет в звук, сверкание в песню.

Январь кончается.

На рассвете, как обычно, передавали по радио сводку погоды, и я снова поймал себя на том, что после возвращения из недавней поездки эта сводка стала для меня чем-то вроде весточки от новых друзей. Диктор сказал, сколько градусов мороза было нынешней ночью в Салехарде, и я увидел четырехугольную деревянную башенку метеостанции над замерзшей белой рекой. Наверх, к приборам, нужно карабкаться по такой же лесенке, какие строились на старых деревенских колокольнях. И когда мы уже выходим на открытую вышку, где вращаются какие-то блестящие шарики, стоят шкафчики, похожие на скворечни, и где тесно от других непонятных приборов, снизу кричит долговязый молодой метеоролог по имени Альфред:

— Осторожно там, не вертись, всю погоду мне испортишь!..

И внизу виден весь большой деревянный город, а впереди — синие горы Пай-Хой.

Салехардскую погоду передали отсюда.

Диктор сказал про Якутск. Там сегодня тридцать семь градусов мороза...

Интересно бы знать, управились ли уже со своей работой Коля и Ирина Романовы? Геофизики, они приехали в Якутию из Ленинграда. Только что получили дипломы, только что поженились и вдвоем отправились «на алмазы». Осенью они ушли на оленях к реке Алаakit, чтобы оконтурить — так они называли предстоявшее им дело — одну из новых открытых алмазных «трубок». С ними отправлялись двое подручных.



Работы были рассчитаны до февраля. Значит, еще стоит их палатка в глубоком, узком каньоне, и отвесная стена из темных вулканических траппов защищает четверых людей от морозного ветра...

Бухта Тикси... Порт Певек на Чукотке... Магадан...

Все это теперь знакомые имена, и там живут знакомые люди.

И если диктор называет Певек, то я вспоминаю переправу с аэродрома в Аппапельгыне, тяжелую лодку на неширокой и быстрой реке, потом длинную дорогу в болотной тундре, невысокие горы — голый, иззубренный камень, замыкающий Чаунскую губу; и вдруг — неожиданный город: строятся дома, краны торчат над портом, большой белый теплоход разворачивается на рейде. Так это выглядело три месяца назад. А как же выглядит это теперь? Наверно, машины проходят из Певека в самый Аппапельгын по льду, прямо к самолетам, улетающим в Пламенный, в Красноармейск и Билибино. Впрочем, нынче и туда, на рудники, можно, наверно, тоже добраться не только по воздуху, но и по зимнику, на машинах...

Верхоянск в сводке погоды помянули одним из первых. Так и положено: полюс холода.

Но я был неподалеку от Верхоянска в самом конце августа. Мы прилетели из бухты Тикси в якутский наслег Борогон. В Тикси уже лежал снег, а здесь, близ полюса холода, мы еще купались в реке Омолой, грелись на мелкой гальке. А сейчас, зимою, борогонские колхозные каюры гоняют по тундре олени упряжки: рогатый транспорт приносит колхозу наибольшую прибыль. И есть еще в полуторамиллионном бюджете колхозников-борогонцев другая статья: промысел пушного зверя. Охотники разбрелись по зимним избушкам, срубленным за сотни километров от своего колхоза. На коротких широких лыжах они обегают расставленные ими ловушки — «черканы» и «пасти»: не попал ли песец под гнеток, не забежал ли горностай на приманку?

Бежит на лыжах Егор Баланов. Мороз — сорок два градуса. Тихо. Тундра под снегом. Снег нестерпимо сверкает. Солнце идет навстречу Егору...

Недавно мы с ним плыли по Омолою в легкой долбленой лодке, которую он называл по-тамошнему «веткой», и ловили рыбу-моронатку. Мелкая рыбка, но вкусная. Мы варили ее на костре. Перевернутый челнок-ветка лежал рядом, из него вытекала набравшаяся вода...

Теперь, когда диктор читает сводку погоды, я все это вижу.

И я знаю, что сегодня и Коля Романов в своем каньоне рядом с вновь открытой алмазной «трубкой», и колхозники-борогонцы, и Леша Спириин, который строит новый поселок золотоискателей на реке Индигирке, — все они тоже слушают радио.

В Москве, в Большом Кремлевском дворце, заседает в эти дни XXI съезд Коммунистической партии.

Так прошел этот месяц, первый месяц 1959 года, от которого мы будем так же отсчитывать время, как в предыдущие тридцать лет отсчитывали его от первой пятилетки.

Январь начался взлетом ракеты, которая унеслась в космос, окликая нас из астрономических высот голосом веселой птицы, на короткой волне. Сработанная из земных сплавов теплыми человеческими руками, эта земная вещь стала спутником солнца, десятой планетой; у нее есть свой год — на восемьдесят пять суток длиннее нашего; есть свои зима и лето, свои вечер и утро. И об этой маленькой планете — единственной, кроме Земли, — мы в точности знаем, что она населена: в ней воплотились стремления двухсот миллионов, их сила и знание, их умение приходить к поставленной цели во что бы то ни стало.

На съезде идет разговор обо всей советской земле. Вот и сегодня диктор рассказывает, о чем говорилось в Кремлевском дворце накануне, и называет молдавские колхозы, село Мельницу-Печерскую в Тернопольской области на Украине, ведет нас к ленинградским судостроителям, к рыбакам Камчатки и хлопкоробам Узбекистана. Хозяйский разговор, взвешенные, обдуманые слова, точные цифры, и весь путь к 1965 году проложен так, как прокладывают по карте свою дорогу между двумя хорошо известными портами капитаны морских кораблей.

Завтрашний день можно у нас увидеть отовсюду, где бы ты ни жил, не удаляясь от своего дома.

Но в дороге, когда на новые, незнакомые прежде места глядишь с особой пристальностью, это ощущение зримого будущего особенно обостряется.

И еще яснее видишь это будущее, когда заглядываешь в завтрашний день вместе с новоселами, **только что** расположившимися в еще не очень обжитых местах,— там все, что ни делается, имеет дальний прицел: завтрашнее словно проглядывает там **сквозь** тонкую, прозрачную скорлупу. То и дело эта скорлупа пробивается у тебя **на глазах**, и вот они, очертания будущего, и смотреть на них — радость.

Дорога была немалая — пятьдесят тысяч километров. Это больше длины экватора. Можно бы с лихвой опоясать землю, но даже и такого пути не хватило бы, чтобы как следует поглядеть на Россию; посмотришь по карте — не так уж и много пройдено: река Обь, небольшой пятак в Сибири да такой же в предгорьях Алтая; чуть побольше — нитки якутских дорог; клочок Северного морского пути, булавочная точка на Чукотке; потом полет над осенне-рыжими распадками меж колымских сопок — к листовницам, посаженным вдоль прямых и светлых улиц молодого города Магадана; потом возвращение. Вот и размотались твои пятьдесят тысяч километров: встречи, разговоры, стук дождя по палатке, шестьсот грузовиков, один за другим, на дороге к новой плотине, олени упряжки в снегу, мигание зеленого электронного глазка в заводской лаборатории, котелок трактористов на степном костре, безыменная речка в тундре, голос вахтенного матроса: «Слева по носу айсберг», — и между палатками, городами и пешими переходами опять самолет. Моторы шумят; за окошком внизу — белые облака, сверху — синее небо; сиди и думай.

В длинной дороге все время меняется ритм.

На магистрали — тысяча километров нипочем: самолет в три часа одолеет, а на «ТУ» и полтора часов не пройдет. Отвернешь в сторону — мерки другие. И тоже разные. Если едешь, скажем, на жердочке попутного бензовоза — одно, а вышагиваешь пешком по тайге — другое. И получается так, что на небыстрой дороге больше смотришь и слушаешь, а в полете раздвигается горизонт, шире думается, и в дорожный дневник записываются не зрительные впечатления (они-то в самолете по большей части похожи), но то, что в литературе называется «отступлениями».

«Восточные районы» — так чаще всего с деловой географической точностью называем мы места, по которым проложен был маршрут путешествия.

Так говорилось о них и на партийном съезде.

В дни съезда мы увидели восточные районы такими, какими будут они семь лет спустя: новые заводы и города, высоковольтные передачи и газопроводы. И мы знаем, сколько будет к концу семилетки выплавлено чугуна и стали, добыто руды и нефти в местах, названия которых большинство из нас слышит впервые. Однако это вовсе не означает, что

места, о которых идет речь, пока еще безжизненны и безлюдны. В том-то и дело, что в большинстве своем завтрашние промышленные центры восточных районов — это и сейчас уже не только предварительно разведанные, но и обжитые места.

Потому так виден и ясен, так достоверно может быть выражен в чертежах и цифрах завтрашний день этих мест.

И потому в это зимнее утро, когда закончился первый месяц нового семилетия, на которое наш народ загадал свою жизнь, а партия проложила точный маршрут пути, вся пройденная недавно дорога по-новому явилась перед глазами; она подвела к порогу, за которым открылся новый день и новое дело.

*Июль, 1958*

### Дорожная карта

Чем дальше дорога, тем меньше надо брать с собой вещей.

Берешь то, что кажется самым нужным.

Укладываешь вещи не в чемодан, а в заплечный мешок.

Кладешь в него то же, что забирал с собой в детстве, уходя в лес, который казался большим, как мир, и полным приключений, как любимая книга.

Бережно прячешь на дно карманный фонарь. Будешь потом ревниво сравнивать его с фонарем попутчика: у кого ярче светит? Ни для чего другого он тебе не понадобится. И запасные батарейки так и останутся неиспользованными. Кладешь складной столовый прибор в кожаном футляре. Проверяешь, не забыт ли нож, с которым можно бы идти на медведя. Хорошо еще, что этим ножом можно резать и хлеб, можно открывать консервные банки; иначе и он пролежал бы без дела.

Конечно, очень бы надо иметь с собой спальный мешок. Но это чересчур уж громоздко. Очень жаль, но ничего не попишешь. Перебьешься без спального мешка. Кидай в рюкзак носки, трусы и зубную щетку.

Мальчишеская радость большой дороги. Радость путешествия.

В путешествие можно превратить для себя любой путь. Это зависит от того, как к нему отнестись, как задать восприятие предстоящей дороги своему зрению и своим чувствам. И за пятьдесят километров и за пять тысяч можно «съездить», «слетать», «подскочить», «смотаться», а можно и отправиться с волнующим предвкушением дорожных открытий: стоит только захотеть, и за порогом начнется страна неведомого...

В XVIII веке поездка по наезженному, оживленному почтовому тракту из Петербурга в Москву была делом почти таким же обычным, как и нынешний маршрут «Красной стрелы» или перелет на «ТУ-104». Ну, конечно, часов на шестьдесят дольше; но в этом и все различие. Перегоны между почтовыми дворами можно было проспать в дилижансе так же, как и перегоны между станциями нынче в вагоне. Александр Радищев задал себе на этом маршруте вместо регулярной поездки необычное путешествие. Места, по которым пролегал почтовый тракт меж Петровым градом и первопрестольной Москвою, он захотел представить себе нехоженой, быть может даже и необитаемой чащобой.

Веселым возгласом освобождения открывает Радищев путевой дневник: «Теперь я прощусь с городом навеки... заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно. Прости! Сел в кибитку и поскакал».

— Сел в кибитку и поскакал!

Возглас навстречу дорожному ветру.

В поездке знаешь одно: конечный аэродром или станцию назначения. Маршрут — дело машиниста или штурмана. Путешественнику нужна своя карта, над которой проведен не один вечер, где все рассмотрено, продумано и расчерчено карандашом.

**Карта нужна была и нам.**

Мы — это небольшая киногруппа. Четыре человека. Оператор с помощником — их зовут Юра и Толя. Литератор (я). И еще один Юра — он хотел стать оператором, но получилось так, что в институте пришлось пойти на другой факультет, на операторском мест не хватило, что ли; поступил на **планово-экономический**, думал: институт-то один, как-нибудь образуется. Не образовалось. Теперь он звучно именуется директором нашей группы; снаряжение, дорожные хлопоты — это его дело, а душу Юра отводит за разборкой и чисткой съемочных аппаратов.

Задуман киноочерк о Сибири. Для этого и составлена группа. По-едем, будем вместе, в пути, делать сценарий и снимать.

«Сел в кибитку и поскакал...»

Но сперва нужно было продумать маршрут и проложить его на путевой карте.

И пока Юра-директор добывал для нас ружья («Конечно, «Белка!» — доказывал он. — В одном стволе пуля, в другом дробь...»), пока он искал накомарники и приценивался к палаткам, мы с Юрой-оператором ходили советоваться в Госплан и в Министерство геологии.

Разговор шел в отделе перспективного планирования Госплана СССР.

Просторный кабинет в здании Совета Министров, в Охотном ряду. На стене — привычная глазу большая школьная карта всей страны. И сразу, с самого начала беседы, поразил особый, хозяйственный подход ко всему, что изображено на этой карте, умение собеседников видеть каждый отрезок схематического чертежа не только в пространстве, но и во времени — совершенно конкретно, с очень отдаленной и вместе с тем очень ясной перспективой, по крайней мере на полтора десятилетия вперед.

— Если мы предполагаем начинать освоение какой-либо новой точки, — сказал тогда один из руководителей отдела, участвовавших в беседе, — мы обязаны ясно видеть, что там можно будет взять в двухтысячном году...

Впервые создается подробная геологическая карта таких земель, на которых и географические-то «белые пятна» заполнены совсем недавно. Эта огромная работа, в которой участвует буквально целая армия геологов, шаг за шагом «прочесывающих» нехоженые пространства тайги и тундры, приносит самые неожиданные драгоценные подарки. Впрочем, такие подарки обнаруживаются не только в нехоженных, но и в таких обжитых местах, как Полтавщина или недавно еще тихие околицы Белгорода, которые прежде были известны разве только меловыми горами. Однако находки, обнаруженные на Востоке, превосходят все, что нам было до сих пор известно. Там вступают в дело астрономические цифры. Семь триллионов тонн — вот, например, цифра, которая самым скромным образом оценивает запасы угля, обнаруженные до сих пор в Восточной Сибири. Двенадцать миллиардов тонн железной руды учтены там пока геологами. Там есть нефть и природный газ, алмазы и золото, полиметаллы и редкоземельные элементы, слюда и олово, — всего не перечислить. И там есть такие удивительные сочетания, как, например, то, что обнаружено в Чульмане — таежном районе поблизости от Алдана, где рядом лежат и железная руда и отличные коксую-



щиеся угли. К тому же руды там больше (и притом лучшего качества), чем в Криворожье; угля больше, чем в Донбассе. И соседство у них еще более близкое.

И вот обилие новых находок, оно-то и создает ту сложную проблематику, что возникает перед отделом перспективного планирования Госплана.

Районы тайги и вечной мерзлоты видятся экономистам, планирующим развитие социалистического народного хозяйства, как заботливо, по-хозяйски организованная кладовая социализма: видно все, что лежит на полках. Все подсчитано, учтено. Понадобится — заходи и бери. Но не всякая полка одинаково доступна. И нужно в точности подсчитать, к которой полке подступиться сразу, а какую оставить впрок, на более поздние времена, помня о ней и имея ее на примете.

Критерий «двухтысячного года», о котором поминал собеседник, — один из главнейших. Каков запас природных богатств, найденных в том или ином месте? В какие сроки может он быть исчерпан? Построишь рудники, построишь завод, построишь городок для рабочих, а запасы сырья, скажем, таковы, что если добывать и перерабатывать их современными способами, то лет через сорок — пятьдесят запасам этим придет конец. Рудники и заводу в 2000 или в 2005 году делать будет уже нечего. А город стоит, в нем растут дети, ходят в школы. Сюда приехали учителя, приехали люди, не связанные с рудниками и заводом, — городская жизнь стала развиваться уже как бы сама по себе, вокруг главного, производственного стержня. Что же делать с городом, уходящим «взаштат», лишаящимся основного, естественного источника существования, подле которого он и создавался?

Добро еще, если такой город возник в густонаселенной полосе, где вокруг развито сельское хозяйство, где существуют многообразные сферы приложения созидательного труда. А если город строился вдалеке от магистралей, если к нему пришлось специально тянуть дороги, если он стоит на мерзлоте, где не растут ни хлеб, ни картошка, и жители тут кормятся тем, что привозят им за сотни и тысячи километров? Выходит — либо вывозить жителей и оставлять «город-призрак», либо искусственно поддерживать существование такого «населенного пункта», который изжил себя и теперь пробавляется только тем, что одни здесь обшивают тех, кто их, скажем, обувает, другие пекут хлеб для всех остальных, учат ребят, торгуют в лавках, но уже никто ничего не производит для народа, для общей — в привычном для нас, высоком смысле этого слова — цели.

Значит, нужно крепко рассчитывать, что и когда снимать с полки и пускать в обиход. Иной раз и богатое, но отдаленное месторождение выгоднее бывает попридержать в запасе, а до поры до времени взяться за менее богатое, но зато не требующее прокладки новых дорог, не нуждающееся в доставке продовольствия издалека.

Так возникает очередность; так социалистическое планирование создает свои «кладовые», в которых сокровищ хватит на поколения и поколения.

Бывают, конечно, и уникальные находки; их не отложишь на полку, они должны идти в дело немедленно. Такой, например, находкой явились алмазы Якутии. Едва подтвердились предположения о родстве якутских геологических образований с кимберлитами Южной Африки, едва промывка породы, взятой из кимберлитовой трубки у речки Иирилээх, в бассейне Вилюя, показала присутствие алмазов — сразу у трубки «Мир» возник поселок Мирный: первые его палатки, первые временные бараки и временные обогатительные фабрики.

Но уже и в самом алмазоносном районе образуется своя очередность, возникают свои проблемы.

Поселок Мирный еще только начинал строиться, а с севера, от Далдына, пришли вести о еще более богатых трубках; одну из них так и назвали: «Удачная». Там тоже растет городок, работают обогатители. А тем временем геологи идут дальше. И уже «алмазоносный район» — это понятие, обнимающее тысячи квадратных километров, и геологам приходится изощряться, придумывая для обнаруженных ими трубок новые названия. Нет, теперь уже не у всякой кимберлитовой трубки сразу начинаются разработки. Многие трубки оконтурены, занесены на геологическую карту — так сказать, «заинвентаризированы» и как бы сложены пока на свою полку в той же огромной кладовой народного хозяйства.

Оказалось, что и алмазами мы очень богаты, хотя и не подозревали об этом до самого недавнего времени.

Благодаря этому счастливому открытию огромный район таежной Якутии, где и селений-то почти не было и в котором до сих пор разве лишь промышляли пушнину охотники, стремительно поднимается к новой жизни. Здесь строятся города, прокладываются дороги.

А это в свою очередь означает, что и ко многим другим полкам кладовой, находящимся поблизости от алмазных мест и хранящим, к примеру, запасы угля, или полиметаллов, или природного газа, теперь как бы приставляется лестница: они становятся не такими отдаленными и труднодоступными, как прежде. Их богатства можно будет быстрее поставить на службу народу.

Вот какими глазами видят в Госплане обыкновенную географическую карту.

Проходит полчаса беседы, а уже и для нас из-под привычных для глаза сегодняшних обозначений явственно выступают на карте еще и другие: новые линии дорог, кружки будущих городов, тысячекилометровые магистрали газопроводов, зубчатые схемы плотин и силуэты тепловых электростанций, раскрепощенные силы атома, трудолюбиво работающие в мирной упряжке, цитадели синтетической химии, продвигающиеся на север хлебные поля — одним словом, тот пейзаж советской земли, который в двухтысячном году будет окружать людей, живущих в коммунистическом обществе. Этот пейзаж переставал здесь восприниматься как воображаемый. Он как бы материализовался, начинал существовать как действительность.

У карты, висящей в одной из госплановских комнат, с необычайной конкретностью ощутилось, что пейзаж будущих неблизких лет — в котором многим из нас не суждено топтать траву и слушать скрип первого снега — уже и сегодня является живым, реальным делом. Он создается руками нашего поколения. Разведчики и строители завтрашнего дня работают везде. Но передний край их труда лежит, пожалуй, именно там, за Уралом, где мы и хотим проложить свой маршрут...

Масштаб проблем, обсуждаемых в кабинетах Госплана, порою головокружительно грандиозен. Как фантастический роман, читали мы изложенный в печати в самых общих чертах проект, по которому великие реки Сибири могли бы быть повернуты вспять. Вместо того чтобы течь в Ледовитый океан, они соединились бы через Каму с Волгой и отдали свои воды Каспию; это совершенно изменило бы привычный ландшафт на огромных территориях и упростило бы решение многих хозяйственных задач начиная от такой, скажем, как сплав таежного строевого леса на юг Сибири, в районы интенсивного строительства, и кончая та-

кой, как мучающая многих ученых задача стабилизации уровня Каспия, мелеющего год от года.

Кто-то из нас вспомнил об этом проекте. Хозяин кабинета показал рукой:

— Вот тут по соседству, за этой стенкой, работает один из авторов плана и самый неукротимый его патриот.

Он хотел тут же пригласить соседа на общий наш разговор, но оказалось, что тот занят на совещании.

— Значит, проект не фантазия беллетриста?

— Нет, отчего же? Серьезный проект. Со всеми расчетами.

Начальник отдела перспективного планирования говорил о проекте с нескрываемой симпатией. Но из его слов выходило, что и для таких проектов тоже есть свои полочки и своя очередь.

Тут решают соображения экономические.

— У нас счет на триллионы рублей пошел, миллиардов не хватать стало, — усмехнулся он. — А беречь-то надо каждый рубль по-прежнему. Ленинская заповедь, она и при триллионах действует. Подойдет такое время, когда в этот проект выгодно будет деньги вложить, тут мы его и вытащим на повестку дня.

В этой беседе дальновидность сочеталась со скрупулезно-хозяйственным подходом к мельчайшим деталям самых масштабных проблем.

Порою такой подход освещал затронутые вопросы с неожиданной для нас стороны.

Разговор коснулся проекта, почти столь же смелого и эффектного, как и тот, что предлагал отобрать у Ледовитого океана воды сибирских рек.

«Превратим пустыню в цветущий сад» — так это называлось в десятках газетных заголовков.

Речь шла о Каракумах.

Щедро обводнить Каракумы, уничтожить мертвящее дыхание раскаленных песков, сделать плодородными все земли пустыни и превратить их в один сплошной цветущий оазис — величие и благородство этой задачи не вызывали никаких сомнений.

Но один из экономистов скептически прищурился.

— А о климате вы думали?

Вопрос показался странным. О чем же, как не о климате, идет речь?! Смягчить жестокую сушь пустыни, сделать ее климат благотворным...

— Благотворным? Вот тут-то и зарыта собака. Надо еще очень детально разобраться в том, как смягчение климата и полное уничтожение пустыни отразится на таких веками складывавшихся и весьма важных для нас отраслях хозяйства, как хлопководство, среднеазиатское скотоводство. Конечно, «превратим пустыню в цветущий сад» — это очень красиво звучит. Но на самом-то деле коренная ломка того, что тут веками создавала природа — точнее, человек, приспособливающийся к этой особой, пусть жестокой и недружелюбной природе, — может оказаться совсем не такой благотворной...

Это не было сказано категорически.

Просто в проекте существует пока такая вот слабина. Не все проверено, исследовано.

Нужно слово климатологов, биологов, ботаников. Надобно опять-таки заглянуть вперед и ясно представить себе реальную картину отдаленного будущего: как будут жить тут люди, если проект окажется осуществленным.

То, что делается сейчас, увеличит площадь оазисов, но еще не уничтожит пустыню.

В каждой рассматриваемой проблеме, кроме экономической стороны, неизменно обнаруживается и иная, всегда присутствующая в нашем народном хозяйстве и определяющая весь процесс его развития: сторона политическая, идейная, философская. Ведь те цифровые расчеты, которые делаются сегодня, касаются даров природы и плодов общественного труда, призванных обслужить общество, которое к тому времени уже будет жить в коммунизме. Значит, этой точкой зрения — не только в будущее, но и из будущего, из эпохи коммунизма, — на наши сегодняшние планы и начинания и должны обладать люди, планирующие освоение новых богатств.

В перспективных планах, предлагаемых партией народу, мы всегда обнаруживаем эту идейную, философскую, ленинскую основу.

В Госплане маршрут наш приобретал не только географическую конкретность; он наполнялся уже и конкретным содержанием.

— За Урал! — торопили мы самих себя, выходя в сутолоку Охотного ряда. — Скорее за Урал!

Каким предстанет в конкретных формах все то, о чем только что говорилось у карты?..

Несколько дней спустя мы входили в Министерство геологии.

Такой же кабинет. Такой же длинный стол, у которого можно собрать людей, чтобы сообща подумать. И тоже — карта. Но здесь карта другая: в привычных очертаниях евразийского материка пестреют непривычные краски, то слоистыми завитками, то цветными пятнами. Это изображение земли, с которой как бы снята оболочка. Тут отмечены не леса и горы, не пустыни и тундры, но то, что лежит под ними: металлы и нефть, уголь и минералы. И именно это здесь — штабная карта, по которой можно проследить движение бесчисленных отрядов, разведывающих недра земли, проникающих в тайны, спрятанные под покровом планеты миллионы лет назад, когда колебались и исчезали моря, когда горы поднимались из океанских хлябей и нынешние материки были островами в бескрайнем просторе вод, в сыром и тяжком тумане, окружавшем еще безыменную, неодоленную звезду.

Карта ведет вглубь. На ней есть еще белые пятна, непреодоленные рубежи, но она вся в движении. Прибывают знания — пополняется карта.

Меняются методы наступления, совершенствуется оружие разведчиков. Современная геофизика дает исследователю земных глубин сверхзрение, позволяющее опережать взрывников и бурильщиков, видеть то, что лежит под пластами многослойных пород.

С нашей группой беседовал один из заместителей министра. Крупный, с возрастом несколько погрузневший человек, он сохранял, видно, полевую привычку к ходьбе и все время мерил свой кабинет неприспособленными к комнатной квадратуре шагами. Часто он подходил к карте, держа в руке лекторскую указку, но говорил не столько о том, что карта показывала, а больше о людях, которые работали в местах, к каким простиралась указка.

Можно было сразу почувствовать, что память подсказывает ему не только имена. По быстрым характеристикам, по горячности совета — непременно встретиться с Борисом Васильевичем, обязательно посоветоваться в Якутске с Игорем Алексеевичем, вот здесь постараться поближе узнать Михаила Николаевича («Охотник, знаете ли, бродяга, рассказчик и очень сведущий в своем деле человек!»), — по живой этой заинтересованности угадывался и сам собеседник. Он называл людей, вспоминая, вероятно, палатку в тайге, уложенные рядом спальные мешки, тонкую, нескончаемо зудящую ноту комара, пробившегося за сетку,



пронзительную утреннюю свежесть реки в тундре, и, ни словом этого не выдавая, он завидовал тем, кого вспоминал. Он ревновал их к тайге, к дневным переходам и палаточному отдыху, к радости находок и даже к самой монотонности долгого безрезультатного поиска.

О маршруте с ним советоваться было нелегко.

Выходило так, что какой бы мы пункт ни назвали, оказывалось, что именно там интереснее всего. Мы слушали и убеждались, что если оставим этот пункт за линией маршрута, то понесем непоправимую утрату, о которой нам придется потом жалеть всю жизнь.

И, вероятно, это была чистая правда.

Многое не уложилось в наш маршрут, и теперь, когда эти дороги пройдены, я жалею обо всем, чего не увидел, и знаю, что буду жалеть до тех пор, пока не удастся снова уложить дорожный мешок и отправиться в путь — туда, где еще не удалось побывать.

«Самое интересное» готово раскрыться нам везде, захоти только посмотреть и слушать...

Были у замминистра свои пристрастия, и когда он добирался до полюбившихся ему мест, то с особым вкусом называл и имя припомнившейся прибрежной скалы и название какой-нибудь речки. Так он говорил о Чукотке, о тамошней косе Двух пилотов, о бесчисленных протоках реки Раучуа, текущей мимо гор Пельвынтыкуй в Чаунскую губу.

Там он все исходил, там у него, наверно, были трудные дни и чудесные дни, а для нас и сами названия звучали призывно.

— Раучуа... Пельвынтыкуй... Конечно, туда. Непременно туда, и как можно скорее...

Мы теперь точно знали, что, куда бы ни довелось попасть, нам непременно повстречаются интересные и радужные люди. Их именами и адресами был уже густо исписан блокнот. Мы знали, кого из них и о чем спрашивать, где и к чему присматриваться повнимательнее, чего нам в пути никак нельзя пропустить. И мы сообща выработали примерно такой маршрут, какой можно было реально уложить в одно лето, несмотря на то, что все дороги должны были составить больше сорока тысяч километров.

И, наконец, нам оставалось последнее уточнение на заготовленной карте.

Мы хотели пометить на своем маршруте места, где ожидают сейчас строителей-новоселов, и заодно познакомиться с теми, кто уезжает на Восток и на Север работать.

Не так давно наем рабочих в районы Крайнего Севера еще назывался вербовкой. Управления различных строительства имели свои вербовочные пункты в Москве. Вербовщики разъезжали и по другим городам.

На Севере нужны были люди. Кто пришел, тому и дело отыщется. И нередко приходилось идти на риск: контракт подписан, деньги выданы, а уж на месте будет видно, что за человек, не подведет ли, останется ли в новых местах и как будет делать свое дело.

Люди, конечно, нужны и теперь. Если мерить количеством, то людей на Севере, вероятно, нужно сейчас много больше, чем прежде. Но приглашать туда человека уже можно с оглядкой. Недаром само слово «вербовка» осталось в прошлом, и на дверях учреждения, которое направляет желающих на работу на Север и находится в старом московском доме близ Москворецкого моста, висит нынче вывеска с длинной и солидной надписью, объясняющей, что здесь производится «организованный набор и переселение рабочих». Организованный набор. Этот термин весьма точно выражает качественное отличие нынешней системы от прежней вербовки. Нет, это уже не уговаривание людей, чтобы они

отправлялись в места, где для всякого найдется работа, где лишь совершается хлопотливое первоначальное обживание и где даже самый факт, что вот еще одной живой душой стало здесь больше, еще из одного рта выходит теплый пар человеческого дыхания и как бы согревает собою морозный воздух,— этот факт сам по себе кажется драгоценным. Это было прежде и стало прошлым. В этом смысле Север в наши дни уже обжит вплоть до самых крайних широт. Нужда же в людях, о которой теперь идет речь,— это нужда в специалистах, и притом в хороших специалистах. «Организованный набор» означает точное знание того, где и какие именно специалисты надобны сегодня, и умение таких именно специалистов подобрать и направить.

Слово «переселение» тоже весьма содержательно и в свою очередь говорит о новом этапе освоения Севера.

Договор с отправляющимися в Заполярье подписывается по-прежнему на сравнительно короткий срок: на три года. Но все чаще и чаще такие договоры потом продлеваются снова; за первый срок место на Севере оказывается насиженным, привычным; жизнь входит в нормальную колею, приобретает свой ритм, который уже не хочется нарушать. Если явится надобность или просто охота — в любое место можно оттуда когда угодно слетать за несколько суток; нет уже нужды месяцами, как бывало прежде, дожидаться летней навигации и тратить на путешествие долгие недели. И отъезд на Север, рассчитанный поначалу на короткий срок, на зимовку-другую, в самом деле превращается для многих в прочное переселение.

Заглянув перед отъездом в дом у Москворецкого моста, мы повстречали там разных людей.

Там были две подруги: Раиса Рассказова (она торжественно надела ради серьезного разговора праздничное платье цвета чайной розы и черное ожерелье) и Елена Авдеева, спортивного вида русая девчонка. Обе работали малярами в новых домах близ Сельскохозяйственной выставки. Жили в одном общежитии и вместе решили уехать.

В кабинете начальника, из глубины огромных кожаных кресел, они задавали обдуманно дома вопросы: где их поселят? Что брать с собой? Можно ли там летом купаться?

Начальник отвечал подробно, серьезно. Показывал письма от тех, кто уехал раньше. Он не приукрашивал, не суесловил. Про жилье сказал:

— Видите ли, я вас направлю в Магадан. Оттуда вы, наверно, поедете в совхоз, на Колыму. Дело новое. Места такие, в которых сельским хозяйством только начинают заниматься. В прошлом году люди в палатках жили. Я туда летал. Видел: дома строятся. Будут ли они к вашему приезду готовы, не знаю. Может, и вам в палатках перезимовать придется...

Девушки переглянулись, понимающе кивнули.

Начальник спросил в свой черед:

— Ну, а если в совхозе маляры не понадобятся, что вы еще уместе делать?

— Мы деревенские,— сказала Авдеева.— В Москве три года жили. Еще не отвыкли.

Раиса подтвердила:

— Не растеряемся.

Почему-то девушки чаще приходят сюда парами. Подружки. Сговорились попытать судьбу, спрашивают, слушают, смотрят друг на дружку, кивают. Потом уйдут и будут думать. Во второй раз — на оформление — вернутся сюда не все. Но большинство возвращается.

Начальник говорит:

— Тех, что спрашивают, а ехать не думают, я сразу вижу. Они и вопросы-то задают, будто утюг на огне трогают: знаете, послунявит пальчик, протянет, отдернет...

Вторая пара точно так же потонула в глубоких креслах. Девушек почти не было видно. Только и успели мы разглядеть, что вид у них более городской, чем у предыдущих. И возрастом эта пара была постарше. Тем лет по двадцати, а этим под тридцать, пожалуй. Да и по словам так выходило: восемь лет стажа; работают обе механиками на Центральном телеграфе.

Очень хотелось спросить: почему надумали ехать? Но тут, видно, такие вопросы задавать не принято. Разговор идет деловой, без психологических отклонений.

Интересовались девушки в общем тем же, что и их предшественницы. Разве только про снабжение спрашивали деловитее и не догадались спросить про купание.

Одна невзначай бросила:

— Что-то, я смотрю, туда больше девушки едут...

Начальник понимающе улыбнулся.

— Нет, это сегодня у меня день такой. А вообще-то едут и ребята.

Он добавил:

— Ребят даже больше.

Но приходят в отдел переселения и организованного набора и другие пары. Одна такая пара зашла при нас. Он — техник-радист; она — наладчица с «Красного пролетария». Он (его зовут Вячеслав) поехал на Чукотку после демобилизации — холостяком. Проработал три года по специальности в поселке неподалеку от Певека. Получил комнату в новом доме. Комната хорошая. Тепло, просторно. Друзья заходят. Друзья не случайные: три года вместе. Найдется, о чем сообща вспомнить. Работа у радиста на Севере нелегкая. В эфире порой неделями такая чертовщина творится, будто стена встает. Это называют непрохождением волн. Ты ничего не слышишь; тебя никто не слышит. День... третий... пятый... Накапливаются горькой неотправленные срочные радиogramмы. Начальство нервничает, сам злишься. Впору руки поднять — «сдаюсь, никаких сил не хватает» — и сбежать. Вячеслав не поднимал рук, не сдавался. Он терпеливо научился искать обходные связи, одолевать непрохождение. У него завелись свои навыки и уловки, какие вырабатываются только у радистов-полярников. Его ценили, и это тоже привязывало его к новому месту. В Москве жила Нина, наладчица с «Красного пролетария»; они познакомились с Вячеславом накануне его отъезда на Чукотку на вечеринке у его родичей, потом переписывались три года. И вот он приехал в Москву. Вячеслав и Нина поженились и пришли вместе — подписывать уже не один договор на трехлетнюю работу на Севере, а два.

— А что же там наладчице делать?

— Буду работать в ремонтной мастерской. На автобазе. Вячеслав...— Она поправилась: — Муж сговорился.

Это уже продумано.

Дальше заглянуть несложно.

Надо думать, в поселке под Певеком родится у них ребенок. Потом выяснится, что в раннем возрасте климат малышу менять вредно. Договор снова будет продлен.

Нет, это не «зимовка», не случайный выезд на поиски приключений (или «длинного» северного рубля; это ведь тоже многих туда толкало).

Это действительно переселение — взвешенное, не раз обговоренное. Это — определение своего места в жизни.

— Живут там люди неплохо, — веско и успокоительно объясняет Нине молодой муж...

Когда воинской части предстоит решать поставленную ей задачу, перед началом действий командиры берутся за цветные карандаши и наносят на карту района все новые ориентиры, все, что известно им о местности, на которой будет действовать их подразделение.

Это называется «поднимать карту».

Предотвездные беседы с плановиками и геологами помогли нам поднять свою дорожную карту.

Карта запестрела новыми ориентирами.

Рядом с приметамы живого дела были имена и адреса людей, занятых этим делом. Все казалось предусмотренным и рассчитанным; оставалось закинуть мешок за плечи и отправляться в дорогу. И, конечно, было понятно, что на самом-то деле дорога изломает расчеты и перевернет все по-своему. Что ж, тем интереснее.

Два Юры и Толя вылетели раньше. Я отправлялся вдогонку.

Вот он, «ИЛ», на Быковском аэродроме.

Отсюда летят на Восток.

«Сел в кибитку и поскакал...»

### Тюмень не принимает

— Это Волга?

— Волга.

Пассажиры узнали Волгу по тому, что самолет начал снижаться. Если садимся — значит, в Казани. Значит, должна быть Волга.

Прозрачный плексиглас в небольшом окошке разогрет солнцем. Солнце огромно. Оно неподвижно стоит за крылом.

Масштабы и расстояния в полете смещены. Крыло за окном существует как бы отдельно от кабины. Для глаза оно — не деталь самолета, но часть пейзажа. Рядом с заклепками, дрожая, перекатываются выступившие на тусклую плоскость капли. Винты в стремительном вращении неразличимы. Они лишь наносят на небо едва приметную динамическую тень прозрачного круга.

Кресла в кабине «ИЛа» такие же, какие ставятся теперь в автобусах дальнего сообщения. Да и во всей обстановке полета нет нынче ничего, что так уж отличало бы воздушную дорогу от других современных способов передвижения. Разве вот только леденцы, которые раздает бортпроводница на взлете и перед посадкой: бери, клади за щеку, глотай кисленький сок и не так будешь чувствовать покалывание в ушах, не будешь внезапно гложуть от резкой перемены давления.

В проходе хлопочет пятилетний путешественник.

Он одет в полосатую байковую пижаму навырост, сосредоточенно насуплен, возится со своим игрушечным самолетом и вовсе не интересуется настоящим, который поднял парнишку на высоту в две с половиной тысячи метров и помчал, делая по пяти километров в минуту.

— Вова, не мешай дяде, — говорит ему мать, с необычайной серьезностью перелистывая «Крокодил», взятый у бортпроводницы.

«Дядя» в крупноклетчатой, пестрой ковбойке улыбается Вовиной маме: какие уж тут дела, какие помехи?! У дяди круглая, коротко остриженная голова, загорелое лицо, загорелые крепкие руки. С виду он может быть выпускником-студентом. Впрочем, может быть уже и канди-



датом технических наук, только что получившим степень. Или нападающим футбольной команды. Или возвращающимся из отпуска в целинный совхоз трактористом. Трудно теперь в точности угадать профессию попутчика. Прежде, лет двадцать назад, это удавалось легче. Особенно в самолете: круг авиационных пассажиров был тогда очень узок. Теперь авиацией пользуются все, и большинство профессий откладывает у нас меньше специфических примет на облике человека. А на облике людей в возрасте дяди и подавно.

Вову заинтересовала дядина зажигалка.

Дяде зажигалка и самому очень нравится. Он снова с удовольствием нажимает на крышку. Крышка прыгает кверху, узкое пламячко кидается за нею вдогонку. Рады оба — и Вова и дядя. Зажигалка, наверно, куплена перед самым отлетом из Москвы.

— Как тебя зовут? Вова? А где ты, Вова, живешь?

Они знакомятся.

Вовина мама вздыхает над «Крокодилом». Ее молодое курносое лицо забавно сосредоточено. Другая мама — впереди — убаюкивает младенца в люльке, прилаженной перед ее креслом к стенке кабины. Под колыбельный напев крепко засыпает полный пожилой пассажир рядом со мной. Мы с ним уже обменялись несколькими дорожными фразами. Я знаю, что сосед работает в Новосибирском совнархозе. Недавно работал в Москве, в главке большого, ликвидированного теперь министерства.

— Как с Москвой прощались?

Смеется.

— А на новом месте устроились как?

— Всяко было. Сперва в служебном кабинете спал. Да и совнархозовский дом еще только достраивался — маляры работали. Но — дело летнее — окна открыты, краской не так воняет... Теперь квартира не хуже московской. Семья уже три месяца как приехала. Жена не жалуется...

Один из подчиненных совнархозу заводов должен приступить к выпуску новой машины. Сосед мой летал в Москву с чертежами — согласовывать, консультироваться, уточнять.

— Дружков столичных видал, — неопределенно хмыкает он, перебивая собственный рассказ.

Впрочем, вероятно именно из-за этого воспоминания он и рассказывал обо всей своей поездке. Я понимаю это и задаю нужный ему вопрос:

— Позавидовали?

Сосед решительно трясет крупной головой с венчиком седеющих волос вокруг обширной лысины.

— Я-то? Нет, что вы! У нас сейчас работа живее.

Об этом он и думал в дороге.

Боязнь «потери масштаба» беспокоила его в свое время больше, чем возможные бытовые неудобства. Прошел почти год, и он окончательно убедился в том, что это главное беспокойство было зряшным.

Теперь он задремал под колыбельный напев. Спит, удовлетворенно похрапывая.

Ближе к хвосту бортпроводница оживленно толкует с очень изысканным речником, досиня выбритым, отглаженным, начищенным, сверкающим пуговицами, зубами, значками и нарукавными нашивками...

В кабине заняты все кресла. Кто читает, кто дремлет, кто поглядывает в окошко. Как в автобусе. Только стрелки альтиметра напоминают, что от пола до твердой земли — три километра поднебесной-пустоты.

Нет, в старину полет обставлялся куда торжественнее.

Странно говорить о полете — «в старину». Но иначе не скажешь.

Впервые мне случилось лететь из Харькова в Баку больше тридцати лет назад. Конечно, это уже старина. Все тогда было по-другому.

Сперва пришлось заполнить и подписать отпечатанный текст завещания. Там надо было указать, кому следует вручить пять тысяч рублей страховки в том случае, если самолет разобьется.

Не самое приятное предисловие к полету, но именно так я впервые узнал себе цену. Пять тысяч — по тем временам не так уж мало. Мне было семнадцать лет, и до полета сам я таких денег никогда в руках не держал. Недолго думая и не терзаясь предчувствиями, я записал страховку друзьям-сверстникам, с которыми мы жили беззаботной коммуной.

После процедуры с завещанием меня взвесили и точно записали вес в бортовой журнал. Зачем это делается, я узнал на первой же посадке, в Донбассе. Около трех часов мы летели от Харькова до Артемовска, и на этом пути одного из пассажиров (всего нас было в кабине четверо) так укачало, что он наотрез отказался лететь дальше.

Этот пассажир вышел из кабины совершенно зеленый. Очень слабым голосом он объяснил летчику, что лучше отдохнет здесь немножко, а потом доберется до вокзала и поедет дальше поездом. В конце концов полетел он из чистого любопытства, любопытство его удовлетворено, а торопиться ему совершенно не к чему...

Летчик выслушал это без удивления. Наверно, ему не раз уже попадались пассажиры, которые в дороге решали, что им вовсе незачем торопиться. Он молча кивнул, потом о чем-то поговорил с бортмехаником.

Вскоре аэродромные служители протащили к самолету что-то длинное, зашитое в грубую холстину.

Укачавшийся пассажир лежал на траве. Он понемногу приходил к себе и с просыпающимся интересом начинал следить за окружающей его деятельной и непривычной жизнью. Станный груз привлек его внимание. Летчик курил рядом.

— Что это? — спросил пассажир у летчика.

— Балласт, — сухо и точно объяснил тот. — Мешок с песком. Шестьдесят восемь кило. Вместо вас.

Пассажира чрезвычайно обидело то, что его могут заменить шестьюдесятью восемью килограммами песка. Он вскочил на ноги, становясь из зеленого красным. Он не дал погрузить балласт и сам полетел дальше. До самого Баку он не укачивался. Правда, первая качка над Донбассом оказалась самой сильной за всю дорогу.

Самолет назывался «дорнье-комета».

«Комета» летела со скоростью, ненамного превышающей скорость современного автомобиля на хорошей автостраде.

В следующем году я летал по тому же маршруту уже на отечественной машине. Она была построена харьковским инженером-конструктором Калининым и давала те же сто тридцать — сто сорок километров в час, а пассажиру в ней было даже удобнее...

Прежде чем тогдашние самолеты взлетали, долго длилась переключка между бортмехаником и пилотом.

— Контакт! — кричал первый сдавленным голосом, силясь повернуть деревянный пропеллер.

— Есть контакт! — отзывался из кабины летчик.

Но заставить винт вращаться было не так просто.

— Контакт! — повторял механик, изнемогая.

И лишь после нескольких попыток короткий треск переходил в оглушительный грохот и четырехлопастный пропеллер в своем стремительном вращении переставал быть виден.

Но это еще было не все.

Пока самолет выруливал на старт, кто-то должен был нажимать на его хвост, чтобы он не отрывался от земли прежде времени.

Однажды рейсовая пассажирская машина поднялась в воздух, но, пытаясь развернуться над аэродромом, чтобы лечь на курс, пилот почувствовал, что не слушаются рули поворота. Пилот беспокойно обернулся. На хвосте полулежал, полувисел аэродромный рабочий. Он не бросил самолет вовремя, на старте, и нечаянно взлетел. Потом сумел вскарабкаться на заднюю плоскость и ухватился за руль что было силы.

— За кромку, за кромку держись!

Кабина летчика была тогда открытой и в пассажирских машинах. Летчик и бортмеханик кричали оба, силясь перекричать грохот винта. Но рабочий понял не слова, а знаки.

Летчик вернулся на поле.

Когда он вылез из кабины, нерасторопный парень тоже успел сползти с хвоста. Он стоял, еще оглушенный, растерянный, и виновато улыбался.

— Что же ты думал?! — закричал на него пилот. Он был испуган больше, чем парень.

— Вспоминал, сколько у меня с собой денег, — сказал виновник испуга, переводя дух. — Если, думаю, в Артемовске сядете — на поезд у меня хватит. А если до Ростова без посадки пойдете, так и вернуться не на что. А там у кого возьмешь?

— Да неужели ты не понимаешь, что и так чудом продержался?! Если бы ты руль не прихватил, никто бы тебя и не заметил. Был бы тебе на полной скорости каюк!..

Парень пожал плечами.

— Отчего? Приноровиться можно...

Самолеты тогда садились на поросших высокой травой полях. Скорости еще не требовали бетонных дорожек. Где-нибудь в углу просторного поля тулилась белая хатка. Это и был аэропорт. Если машина приходила сюда под вечер, пассажиры в этой же хатке и ночевали. Их бывало не больше шести человек, с экипажем — восемь; разместить можно. А в темноте куда же лететь? Приборы для ночного полета еще не существовали. И если самолет прилетал в субботний вечер, то он оставался на аэродроме до самого понедельника: в воскресенье надо отдохнуть и пилоту.

Жена начальника аэродрома жарила для летчиков и пассажиров яичницу с салом.

Вокруг домика поднимались подсолнухи, вились по земле стебли тыквы и огурцов, торчали тычки, поддерживающие помидоры.

Пейзаж старого аэродрома запомнился летним. Зимой пассажирских рейсов не бывало.

Начальник такого аэродрома знал всех пролетавших пилотов. Он и сам был когда-то летчиком. Грубо нашитые хирургом заплатки на лице без лишних вопросов объясняли, почему нынешний начальник перешел с машины на наземную службу...

Вот оно как выглядело в старину — уютно, патриархально и вместе с тем необыкновенно.

Теперешние машины, высота их полета и скорость, дорожный комфорт показались бы тогдашнему пассажиру, да и летчику тоже, фантастикой, которая, конечно, в течение их жизни осуществиться не сможет. Но многие дожили, летают, давно позабыли о завешаниях и балласте, смотрят в окно, словно в автобусном рейсе.

— Вот и Волга...

Сперва река показалась совсем небольшой.

Оловянной тропинкой пролегла она по земле, и никто бы, верно, и внимания не обратил на эту тропинку, если бы своевольные повороты ее и изгибы не нарушали так резко четкий геометрический чертеж полей, врезаясь в исчерна-зеленые квадраты яровых всходов, в просторные параллелограммы уже отцветивающих желтизной озимых, в такие же просторные прямоугольники, разлинованные закругляющимся на поворотах следом тракторной бороны.

Тридцать лет назад и земля с воздуха тоже выглядела иначе.

Тот, прежний, пейзаж теперь вспоминается, как зрелище наивного детства планеты: между рощами, перелесками и лугами пестрели лоскутья полей, часто простроченные межами. Будто теплое деревенское одеяло брошено на детскую лежанку. Но самолеты в ту пору летали невысоко. С пятисот—семисот метров к земле можно было хорошо приглядеться. И скоро становилось заметным, из каких неровных клиньев скроено пестрое одеяло: один-два лоскута побольше, а вокруг — совсем маленькие.

Уже в недавние годы, пролетая над чужой землей, я снова увидел поля-лоскутки. И даже не сразу понятно стало: отчего же чужим и неуютно-холодным видится самый пейзаж? Только потом сообразилось: мы ушли уже от этого на целые четверть века вперед. Естественным для нас стало зрелище о б щ е й з е м л и: широкое даже с высоты полета, обихожное машиной хлебное поле говорит не о холоде разобщенности и вражды, но о тепле общего добра и общего дела.

И вот такое поле снова летело навстречу и тут же уходило за горизонт. На земле высоко и густо колосилась пшеница; с воздуха она была почти неразличима, казалось, будто земля лишь скупо обрызгана неяркой желто-зеленой краской.

Оловянная тропка внизу превращалась в реку. Река оказывалась Волгой. Масштабы изменялись. На Волге уже можно было различить пароходы, плоты и баржи. Геометрические прямоугольники полей перечеркивались диагоналями бетонированных дорог, и на них виднелись грузовики, идущие к городу.

Вот и Казань видна, и кремль над рекой, и даже Сумбекина башня показалась и тут же круто повалилась назад: самолет сделал вираж.

Теперь под одним крылом только небо, под другим — промышленный пригород. На виражах пилот резко сбавлял высоту; потом самолет выровнялся, и сразу посадочная дорожка, обставленная низкими, у самой земли, фонарями, рванулась навстречу.

— Казань. Самолет стоит двадцать минут. Посадка будет объявлена по радио.

Девушка объявила это заученно, бесцветным голосом.

Она пришла с подружкой, поднявшись в кабину по приставной лесенке, подвезенной аэродромными служителями, как только наш «ИЛ» подрулил к аэровокзалу. Обе высокие, в светлых летних платьях с цветочками. У той, что объявила стоянку, цветы побольше и поярче; на другой — блеклый, продувной сарафан подростка, еще не думающего о том, какой увидят ее другие.

Девушки едва скользнули взглядом по пассажирам, затолпившимся в узком проходе меж кресел. С той же безликой заученностью первая сказала:

— Не перегружайте хвост, граждане. Выходите по одному.

Лицо у нее было каменно-равнодушным.

Но, когда пассажиры почти все вышли, девушка посмотрела на подругу и засмеялась. Она уселась в свободное кресло, и они стали играть — будто одна улетает, а другая провожает ее и прощается. Де-



вушки служили в аэропорту, в отделе перевозок. Их обязанностью было встречать и провожать пассажиров. Одна выполняла эту обязанность вот уже целый год, другая только практиковалась. По неписаному уставу международных авиалиний, аэродромным девушкам, так же как и рейсовым стюардессам, положено было иметь на лице несмываемую улыбку для пассажиров. Но эти еще не завели ее, да, вероятно, и не собирались заводить, и улыбались, когда были одни и когда им было в самом деле весело.

— Не забывайте нас в столице, письма пишите,— церемонно сказала младшая — та, что была в сарафане, полинявшем от солнца.

— Да уж напишу, напишу,— отозвалась из кресла цветастая. В ее голосе слышалась снисходительность. Она играла всерьез. Она уже всеми мыслима была в Москве, хотя этот самолет через двадцать минут улетит дальше, в Свердловск, а она останется в Казани, и будет встречать другую машину, и объявлять стоянку, и снова предупреждать граждан, чтобы не толпились и не перегружали хвост...

Сперва я огорчился: игра была не по правилам.

Если уж играть в дорогу, думал я, примеряясь к тем мыслям, с какими сам отправлялся в дорогу два часа назад из Москвы, то в восемнадцать лет им и в игре надо бы улетать на восток, за Урал.

Но у них были свои правила; игра была и х игрою. И вообще всерьез этого принимать не следовало.

Оставив их в кабине и разминаясь после полета на аэродромном бетоне, я мыслями вернулся к другому: к улыбке для других и для себя, а также к той отчужденной, чуть высокомерной снисходительности, с какой, почудилось, стали уже относиться к своему делу обе девушки, только начинающие самостоятельно работать.

Существование двух различных норм поведения человека — служебной и домашней — принадлежит к числу пережиточных явлений многообщественного устройства. Буржуазные социологи исписали тонны бумаги, рассуждая о неизбежном якобы поравнении индивидуальностей в социалистическом обществе. Нанятое на определенные часы — «от» и «до» — служебное радушие, выработанная мускульным усилием механическая, оплачиваемая улыбка стюардессы международных авиалиний на Западе, стандарты фигуры и облика, обуславливающие там женский труд, — не только в профессии стюардессы, но и во многих других областях, — не это ли, однако, является действительным поравнением, последовательным и униженным уничтожением индивидуальности?

А мы порою даже и не замечаем — настолько естественно, в силу всей совокупности сложившихся исторических условий, происходил у нас процесс раскрепощения человека именно в слиянии личного с общественным, — как изменились в нашем обществе нормы поведения человека, как стало для нас программным (и тоже естественно разумеющимся) общественное требование, обращенное к каждому: всегда быть собою и никогда не ставить себе задачей *казаться* — то есть ни в чем не фальшивить; как любые отклонения от этого требования, в том числе и служебно-домашняя раздвоенность, отпочковали в разряд порицаемых, пережиточных явлений.

Порою, правда, «раскрепощаются» также и не самые лучшие черты человеческого характера.

Иногда они сравнительно нейтральны.

— Устала, целый день на работе, прикидываться не буду, — то ли выражением лица, то ли раздраженным движением, а то и прямо словами говорит вечером продавщица в магазине.

Настоялась у прилавка. Люди проходят непрерывно. Кое-кто капризничает. Понять можно. Усталость — это каждый испытывал. Посильнее характер — спрячешь; послабее — выйдет наружу. Несдержанная раздражительность может уколоть нас. Но, думается, если бы мы узнали, что за неумение скрыть усталость человека лишают работы, такой факт и рассердил бы и обидел нас куда больше...

— Сердйт, ну и сердйт. Такой есть. Не стану же я ради вас прикидываться, — услышишь часом из-за учрежденческого стола.

Тоже, конечно, понять можно. Но в данном случае мы про себя отметим, что нам не повезло, что столкнулись мы не с самым лучшим характером...

А иногда, конечно, случится встретить и прямую грубость, и нерадивость, и равнодушие к людям, хотя не только любая работа, а и законы общежития вообще должны бы воспитывать участливость к человеку, готовность помочь ему.

Правильно ли было бы сетовать на то, что «раскрепощены» и такие черты, присущие тем или иным индивидуумам? И правильны ли были бы выводы, что нужно данных индивидуумов обучить прятать нехорошие свои качества только на рабочие часы, оставляя их для домашнего обихода?

Тут важнее всего именно то, что произошло раскрепощение.

А оно произошло и стало фактом, напоминающим о себе всякий раз, когда захочешь к этому приглядеться; и оно уж непременно сделается очевидным в любой дороге, когда к встречным невольно приглядываешься с особенным любопытством.

А что один индивидуум другому рознь — так в этом же и вся соль! И рознь эта — понятие отнюдь не абстрактное; оно не в одной плоскости расположено. Рознь в том и заключается, что есть личности хорошие, а есть и плохие. Есть личности, которые формируются в новом обществе, приобретая преимущественно черты этого нового, а есть и личности, в силу конкретных условий весьма отягощенные «хвостами» старого. Но общество и время таковы, что они не предписывают всем этим разным личностям стандартно-узаконенное поведение на какое-то регламентированное время — «от» и «до». Они вырабатывают основы морали и этики, воспитывая на этих основах цельные человеческие характеры. А это процесс более сложный, многообразно разветвленный и куда более длительный, хотя и его обильные плоды видны уже достаточно давно и очень отчетливо.

Стремление к тому, чтобы все были одинаково хорошими людьми, выглядит так же прекрасно, как и стремление освободить человечество от каких бы то ни было огорчений.

Когда мы задумываемся о коммунизме, кто не задает себе вопроса: неужели же все люди будут тогда безмятежно счастливы?

«Но ведь это и было бы наибольшим несчастьем для людей!» — отвечаем мы поразмыслив — внешне парадоксально, но по сути совершенно справедливо.

В самом деле, представьте только себе такую жизнь — без разочарований, без трудностей на пути к свершениям, без всяческих неудач и срывов, без неразделенной любви, — ровную жизнь методически распределенных движений и ненарушимо-спокойных снов, жизнь, лишенную эмоций (ведь эмоция — не только наслаждение! Да и наслаждение не может, вероятно, быть испытано, если у него нет чувства-антипода). Это жизнь травы, при которой атрофировались бы и любые стремления.

Но что коммунизм освободит человечество от всех социальных несчастий и зол, в этом мы уверены.

Точно так же, видимо, наивно себе представлять, что в коммунизм все люди войдут идеальными паиньками, лишенными каких бы то ни было недостатков, бесплотными ангелами. Может быть, у кого-нибудь даже и при коммунизме проявится весьма вздорный характер; может быть, кто-нибудь позволит себе соврать лишнее (хотя это и очень нехорошо); кто-нибудь будет позамкнутее, чем хотелось бы нам; будут люди менее талантливые и более талантливые... Ну, а вот черты, представляющие социальное неудобство, их-то, конечно, пропускать в коммунизм мы не захотим.

Вероятно, в этом все дело.

И об этом-то захотелось подумать в Казани, когда две девушки играли в безобидную свою игру. Так получилось, что игра их не прервала мысль о межах и массивах, но продолжила ее темой о самоощущении человека на этой земле.

Девушки давно доиграли и ушли.

И я тоже давно уже бродил по новому зданию аэровокзала, гулко просторному и не очень еще обжитому.

Обещанное время стоянки истекало.

Пассажиры побеспокойнее уже тянулись к самолету. Самолет наш летел рейсом Москва — Барнаул. Несколько пассажиров направлялись в Свердловск. Один должен был из Барнаула лететь дальше — в Бурят-Монголию. Он догонял геологическую экспедицию и торопился. Я летел до Тюмени и тоже торопился. Юры и Толя были уже в Салехарде, в устье Оби. Сухопутные самолеты туда пока не летали. На лыжах садиться было уже поздно; переходить на колеса — рано. Тундру развезло. Но Обь, кажется, уже вскрылась, и из Тюмени на север должны начать ходить гидросамолеты.

Растаял ли снег, сошел ли с реки лед — странно было думать об этом второго июля.

— В Тюмени все будет ясно, — неопределенно сказали в московском аэропорту.

И я торопился в Тюмень.

Двадцать минут прошло.

Репродуктор невнятно захрипел, и пассажиры всех самолетов, находившихся в ту пору в Казани, заторопились на всякий случай на перрон. Речь, однако, шла именно о нас.

Мы взлетели.

Снова показалась Волга. Город, кремль и Сумбекина башня не были на этот раз видны. Самолет шел к Свердловску.

Никто не остался в Казани, все места были заняты «старожилами». В кабине установилась атмосфера обжитого вагонного купе, какая удивительно быстро и легко возникает в любой дороге и при любых средствах передвижения — даже если это полевой вагончик с печкой-«буржуйкой», влекущийся за трактором по снежным застругам в степи.

За окнами быстро темнело, и уже на крыльях зажглись огоньки: зеленый и белый.

Из Москвы мы улетели около трех часов дня, и казалось, что это было совсем недавно. Впрочем, почему же казалось? По часам тоже так выходило. Не сразу можно было сообразить, что часы уже не точны, что мы идем все дальше на восток, что время уже и здесь опережает московское на час и разница будет все увеличиваться и достигнет к концу нашего маршрута целых десяти часов.

Десять часов. Это значит: там, где мы будем, уже начнется новый рабочий день, будут продаваться свежие, сегодняшние газеты, а в Москве еще будет «вчера» — одиннадцать часов вчерашнего ве-

чера, люди будут досматривать вчерашние спектакли, возвращаться из гостей; еще целая ночь будет отделять их от того дня, в котором я живу уже несколько часов...

Я бывал во Владивостоке; мне случалось звонить по телефону домой, в Москву, из гостиницы в Порт-Артуре, достоверно зная, что вот тут уже день-деньской, а там берет трубку сонная, разбуженная среди глухой ночи жена. И все же я никогда не умел как следует понять это. Раз я вижу день, значит день сейчас должен быть всюду. Так я подспудно ощущал, хотя твердо, со школьной скамьи, знал, что на самом деле все обстоит иначе. Я привык верить Галилею и Копернику, но где-то в темной глубине души я понимаю, почему иным их утверждения могли показаться ересью. Своими глазами я видел, как солнце появляется над «линией дат», но, право же, восход там выглядел точно так же, как и в любом другом месте. И даже после этого памятного утра то, что я так твердо знаю, продолжало оставаться для меня чудом. Представить это различие времени в его конкретности так же трудно, как и то, что там, куда при особой удаче я смогу долететь уже завтра, может еще лежать снег.

В Казани, которую мы оставили только что, было нормально, по-июльски, жарко. Девушки ходили в сарафанах.

В самолете тоже было жарко.

Пассажиры сняли пиджаки.

Сидящий впереди лысеющий блондин удивленно чертыхается над «Медной пуговицей». Он летит только до Свердловска. Инженер. Возвращается из отпуска, проведенного на Днестре, где-то между Каховкой и Херсоном. Говорил, что это его родные места, но он два года там не был и теперь ничего не узнал. В Свердловск он везет уйму впечатлений, еще не растерянную свежесть днепровских купаний и трудолюбиво добытый красноватый, ранний, июньский загар.

Перелет от Казани до Свердловска недолгий.

Только и успеешь, что осмотреться в кабине, перелистать десяток страниц прихваченной на дорогу книжки, убедиться в том, что снаружи уже совсем стемнело и на земле решительно ничего не видно,— и уже тебе протянули поднос с леденцами, стрелка альтиметра пошла назад, слева направо; упругий удар — «на три точки». Сели.

Свердловск.

И когда ты думаешь, успеешь ли сбегать в буфет и есть ли там пиво, которое давно уже мерещилось в разогретой кабине, в самолет входит девушка из отдела перевозок.

На этот раз она очень доброжелательна.

Она улыбается.

И с улыбкой, очень уверенно и ничуть не запинаясь, она сообщает, что неизвестно, сколько мы пробудем в Свердловске. Во всяком случае, не меньше трех часов.

— Тюмень не принимает.

«Нет погоды»,— объясняет она. И я догадываюсь, что на нашем маршруте мы еще часто будем слышать эти слова.

### Тюмень открылась

Свердловский аэровокзал похож на Казанский — разве чуть больше. Оба похожи на Внуковский — такой, каким тот был до реконструкции. И еще приходилось видеть на воздушных дорогах не менее полутора десятков их близнецов. Вероятно, на самом деле таких близнецов куда

больше. И если представить все эти вокзалы вместе, то они выстроятся в целый городок, в несколько кварталов больших и легких, светлых представительных зданий, и тогда станет понятно, как велик масштаб и этой проделанной у нас работы. Весь город выстроен почти одновременно, в короткий срок, а не замечали этого и не удивлялись потому только, что дом от дома отстоит на тысячи и тысячи верст.

Много хорошего можно сказать о новых аэровокзалах. Выговорилось уже слово «представительный». Слово кажется точным. Однако представительность достигнута не нарочитым утяжелением фасадов, не зряшными колоннадами, но прежде всего верными пропорциями крупных окон, хорошо вписанных в строгую стену, — не дробящих ее, а, напротив, подчеркивающих массивность фасада и позволяющих ему в то же время сохранить ту светлую легкость, о которой уже сказано.

«Экспо-58», как называли Брюссельскую выставку, заставила особенно много писать об архитектуре. В журналах появились очерки и фотографии. Новые строительные материалы толкали на поиски новых архитектурных решений. Предварительно-напряженный железобетон и пластмассы. Металл и стекло. Новые опоры и неожиданно решенные перекрытия. На одном павильоне крыша лежала, будто небрежно брошенный полуразвернутый рулон металла, тонкого и гибкого, как картон. В другом — вся тяжесть строительных конструкций держалась на игольчатом конце косо поставленной опоры, а самую опору удерживал противовес, поднимающийся над сооружением и похожий на руль огромного плота, окончившего плавание и выброшенного прибоем на берег.

Многое было интересно не только технической новизной, было не только остроумно, но и подлинно красиво. И красота эта в самом деле несла в себе эстетику своего века, эстетику новых скоростей, стремительность обтекаемых, рвущихся в пространство форм, чистых и ярких красок, — беспокойство движения, сочетающееся с трезвой ясностью математического расчета.

Но одно несомненно: этим сооружениям и место именно на выставке. Это павильон в парке. Может быть, навес над бассейном водного стадиона, над боксерским рингом или цирковой ареной.

Представить себе такой город нельзя.

Это так же, как если бы вообразить, будто вся окружающая жизнь превратилась в пестрый цирк, который никогда не кончается. Вы приходите в домоуправление за справкой. В трико, расшитом стеклярусом, став на голову, управдом выписывает вам справку ногой. Вы спустились в метро. Собака-математик отсчитывает сдачу и отрывает билеты. Обнаженные гимнасты, выжимая друг друга, режут сыр в «Гастрономе». Уличный регулировщик свисает из-под фонаря, вертясь на проволоке, зажатой в зубах. Летают пестрые шары. Проекторы меняют цвета. Медный марш-талоп не утихает. И здания будто падают в разные сторсны, корезаются неожиданными углами, косо выбрасывают наружу длинные стропила, показывая бетонный язык. В первый день это может показаться веселым. Ребята, верно, будут рады. На второй день вам все это покажется очень неудобным. На третий — вас сведут в клинику с тяжелым психическим потрясением.

Заметьте, это вовсе не означает, что цирк как таковой вреден вообще и что его надобно закрыть.

Тем не менее цирк — зрелище, а не форма повседневной жизни. Разве только для его актеров, решающих и днем, без зрителей, свои профессиональные задачи.

Не все смелые решения профессиональных задач в различных областях наук и искусств годятся для широкого применения их в повсе-

дневной жизни. Порой они остаются «выставочными павильонами», и лишь некоторые элементы их входят в широкую практику. Проблему рационально устроенного, удобного современного жилья не решают ни крыша-рулон, ни опора-игла.

Кстати, советский павильон на той же брюссельской «Экспо-58» явился решением широкой комплексной задачи, куда более приближенной к практическим целям. Тут архитекторы тоже имели дело с новыми материалами и притом создавали из них здание очень большое по объемам. Авторы проекта построили это здание так, что оно как бы повисло в воздухе; верхние конструкции несли всю огромную тяжесть, не требуя ни сложного фундамента, ни грузных опор внизу. Притом такое решение годилось уже не только для выставочного павильона. Его новаторство не было экстравагантным. Так могут решаться многие общественные здания больших объемов, а может быть, и жилые дома, когда в обиход их сооружения войдут иные материалы. И это решение вызвало всеобщий интерес и получило признание.

Экономичность и рациональность, отнюдь не жертвующая эстетикой, становится девизом нашей архитектуры, и такой девиз, несомненно, более прогрессивен, чем архитектурные декларации двадцатых годов, в которых обнаженная конструкция превращалась в самоцель, нередко подмигивавшую и рациональность и эстетику.

В новых аэровокзалах радуется многое. Снаружи — разумная взвешенность пропорций; внутри — хорошо организованный простор.

А все же одна, и притом едва ли не самая существенная, часть триединого девиза — *рациональность* — решена в этих постройках далеко не в полную меру. Еще в Казани это было заметно не так сильно. В Свердловске, где движение больше, стало заметнее. А в таких воздушных узлах, как Хабаровск, уж и вовсе болезненно сказывается нерациональность, неприспособленность вокзального здания к огромному потоку транзитных пассажиров и к особенностям авиационного транзита. Аэровокзал там переполнен... До предела? Какое там! Пассажиры давно уже переступили все пределы. Лестницы на ночь забиты доверху — забиты настолько, что путешественники к комнате отдыха, находящейся там наверху, возможно только, если ступать по телам. И пустая комната отдыха заперта на ключ. Но, впрочем, скольких бесприютных путешественников выручил бы десяток красивых, удобных — из гнупого алюминия, с пухлыми уютными сиденьями, мечта! — кресел да два десятка квадратных метров свободной поверхности пола? Ну, еще десять человек сидели бы, еще два-три десятка пристроились бы на полу теплой комнаты. А все равно остались бы вот так же забитыми лестницы, только наверх рвались бы, мешая другим, охотники за удачей: не успеет ли там кому время подняться, не удастся ли хоть на часок вздремнуть в удобном кресле?..

Тысячи людей прилетают сюда самолетами линий, связывающих с магистралью дальние пункты, лежащие в сотнях и тысячах километров от железных дорог. Летят с Чукотки и Колымы, с Сахалина и Камчатки. Самолеты садятся едва ли не ежеминутно. Их поджидает множество пассажиров, улетающих на север и на восток, и самолеты могут забрать далеко не всех сразу. Не все, кто того хотел бы, сразу попадают и на «ТУ», хотя они совершают через Хабаровск в обоих направлениях десяток ежедневных рейсов, и каждая машина поднимает с собою по семьдесят человек.

В непрерывном грохоте авиационных моторов, в сплошном реве турбореактивных машин, в потоках людей — с летного поля на перрон и туда, к самолетам, на посадку — как нигде ощущаешь, чем стали в



самые последние годы наш Дальний Север и наш Дальний Восток и насколько условной стала теперь в применении к ним эта приставка «Дальний»... Ящики, ящики идут к весам — узкие, длинные, выкрашенные в голубую краску, помеченные каким-то трафаретом; это выючные ящики с геологическими приборами и образцами. Их подносят молодые ребята в ковбойках. Ребятам хочется, чтобы все обратили внимание на их таежные бороды. Еще два дня назад геологи брели за оленьим караваном через гольцы и распадки куда-нибудь к Сеимчану, а назавтра они хотят быть в Москве — нужно только попасть на «ТУ»... А когда выючные ящики взвешены и сняты, к весовщику сразу протягиваются детская ванночка и коляска (кто знает, продают ли такие в Магадане?) и какие-то дачного вида тючки, из которых во все стороны лезут цветастые ситцевые подушки. И молодайка в платочке, тюткающая на крепких руках краснощекого младенца, покрикивает на заморенного дорожными хлопотами молодого супруга, одетого в гимнастерку без погон и фуражку без звездочки: «Я же тебе говорила, зашить узлы надо. А ты всегда — «обойдется»... Где они были позавчера? В Орле? В Полтаве?..

Но хватит ли сегодня места на «ТУ» для геологов в ковбойках и сможет ли сразу улететь в Магадан молодое семейство, этого еще они и сами не знают. Вон какая очередь у транзитной кассы. А из другого окошка охрипший голос дежурного по отделу перевозок повторяет одни и те же слова:

— Русским языком сказано — нет в гостинице ни одного свободного места!..

Гостиница построена отдельно, в стороне от вокзала. Она очень невелика. Немало мест в ней занимают командировочные, прибывающие по делам в здешний аэропорт. Зал ожидания, который показался таким просторным в Казани, и здесь не меньше. Но для такого движения он тесен. Прорвавшиеся в ресторан ловчат, как бы задержаться за столиком подольше, только бы не возвращаться в шумную, бесприютную тесноту вестибюля, заполненного усталыми и все же агрессивно рвущимися к всевозможным окошечкам людьми: может, справочная что-нибудь скажет; может, дежурному еще пожаловаться — все равно деваться-то некуда, время хоть бы как-то занять...

А когда на дежурного очень уж насаждают пассажиры, козыряя звучными названиями учреждений на штампах командировочных бумаг и на тисненых кожаных книжках, тот хрипит из последних сил:

— Вот вы это в Москве и скажите. Пойдите к нашему начальнику и скажите! Мы, как он прилетит, на каждом производственном совещании о том же твердим. А у него денег нет. В вокзал этот все ассигнования всадили, а гостиницу расширить — денег нет.

...Выходит, эти красивые здания, сооружение которых в таком количестве и в такие короткие сроки само по себе достойно самого почтительного удивления, не следовало все же проектировать по одному стандарту. Порою «пространственные решения» оказывались оторванными от конкретного содержания. Для вокзалов, построенных на оживленных скрещенных воздушных линий, важнее всего было бы спроектировать дешевые, удобные и вместительные гостиницы, «вписывающиеся» в отведенную кубатуру и в отпущенную на строительство смету.

Ведь если архитектор забывает об удобстве для людей, если он строит лестницу, чтобы люди по ней ходили, а они вынуждены спать на ее ступенях, тогда любой добропорядочный по внешности проект оказывается таким же абстрактивистским созданием, как вычурный дом с торчащим наружу противовесом опоры, в котором человеку жить неуютно.

Аэровокзал, способный послужить **сегодняшнему (и завтрашнему)**, когда он еще более возрастет) потоку **воздушных путешественников**, — это новая, своеобразная, но, право же, не **самая трудная из архитектурных** задач. Всего лишь несколько часов **назад по пути из Москвы на Быковский аэродром** можно было видеть **целые районы, в которых решены** задачи масштабнее и сложнее.

Но пока что от Быковского аэродрома **мы пролетели к востоку** больше полутора тысяч километров.

Свердловск.

Хорошо бы поехать в город, поглядеть, что в нем **изменилось**.

Уже двенадцать лет прошло с тех пор, как я был в **последний раз** в Свердловске.

Но по-местному время уже к полуночи. Что рассмотришь в такую пору? Да и не слишком ли далеко до города? Не помню, где тут аэродром. И, может, это уже вовсе не тот аэродром, с которого я улетал когда-то.

Вообще то, что мы в Свердловске, воспринимается очень условно. Когда мы сядились в Казани, можно было по крайней мере увидеть приметы города. Здесь и этого не было. Рванулись под колеса две шеренги аэродромных огней; прочитались освещенные по фасаду вокзала рельефные буквы: «Свердловск». Вот и все. Остальное тонуло во тьме. Только где-то далеко мерцало, слоилось то зеленоватой, то розовеющей дымкой зарево городских огней, похожее на полярное сияние.

Времени после отлета из Москвы прошло так мало, что поездка по Рязанскому шоссе помнится еще в подробностях: очередь машин у закрытого Карачаровского шлагбаума, широкая стрела с надписью: «До ст. Мальчики 1 км.», свадебный поезд в Люберцах, снова перегородивший путь, когда уже считанные минуты оставались до отлета, и редкий бор на развилке дороги возле Малаховки — тонкоствольный, пригородный, замусоренный дачниками, а все-таки отсвечивающий медью под июльским солнцем, все-таки пахнущий смолой и жаром разогретых иглок; даже в быстро проскочившую мимо машину проник этот запах — и вот Казань позади, Свердловск, а он все еще чувствуется, жаркий запах сосны на подмосковной дорожной развилке...

Не тем ли и хороша воздушная дорога, что далеко увозишь с собой последнюю живую память о том, с чего начинал свой путь? И то, что в каждый час укладываются сотни километров, отброшенные назад, — это тоже по-своему хорошо. Все видится так, будто взглянул на свою дорогу в бинокль, — все укрупнилось, приблизилось, и ко всему появилась иная, тоже укрупненная мерка.

Нет, хорошо, конечно, ездить и по-другому.

Вспомни, как весной под утренним солнцем поднимался пар над черной землей, как медленным черным жуком ходил и ходил трактор по дальнему полю, как опрокидывалось бледное небо в студёный пруд, купая в воде одинокое облако, как врезались в небо три черные вербы на пригорке над прудом, как трусила по неподсохшему проселку древняя сивая лошадь, а ты лежал на соломе, и дед Микола, именуемый в селе Песковатом «по-уличному» дедом Пришей-Гудзик, вслух, размеренно и негромко размышлял на тему: как это так получается, что летит лелека-аист за море, и потом — надо же! — назад, к прошлогоднему гнезду дорогу находит и на ту же стреху садится...

Менялся весенний свет, шлепала лошадь, думал вслух дед Пришей-Гудзик, и ты чувствовал себя бесконечно легким и счастливым в бесконечно чистом весеннем мире, где лелека летит, летит и находит свой путь к насиженной стрехе.

Да, очень хорошо ездить и так: выбрать себе недалённую дорогу и мерить ее километры неторопливо и все равно не знать, что будет в конце пути...

А Свердловск так и остался мерцающим в темноте заревом дальнего города, в стороне от полета.

Репродуктор вдруг заговорил; в невнимательно прослушанной фразе явственно ударил вдруг номер нашего рейса, и оказалось, что мы летим дальше, хотя три часа еще не прошли.

Кто его знает, что там раньше было — низкая ли облачность или ураганный ветер, но теперь погода уже исправилась, Тюмень открылась, и летчики торопились: они хотели к утру быть в Барнауле.

Ветер и теперь дул там всюду.

Оказалось, что Тюмень — это непроглядная беззвездная ночь и ветер. Шло третье июля, а ветер был весенний, льдистый, пахнущий речным половодьем.

В деревянном домике аэровокзала скрипели полы.

В тесном коридоре тускло светила лампочка.

Кто-то стучался в запертую дверь с методичностью отчаяния.

— Ну и спит! Трое суток самолета на Томск дожидаться, а когда идет самолет — проспать! Однако, спит! — повторяла женщина у запертой двери и опять принималась стучать.

Самолет на Томск... Это уходил дальше по своему маршруту наш «ИЛ». Но до его дальнейшего маршрута мне уже не было никакого дела. Мне нужна была машина, которая полетит на Салехард. Сейчас отдел перевозок не мог сказать, существует ли такая машина.

Отделу перевозок было лет девятнадцать. Он был одет в теплый джемпер, накинутый на легкое платье; над большими сапогами виднелись капроновые чулки. Лицо отдела было спроектировано с помощью одного только циркуля: в большой круг вписаны круглые глаза, круглый рот, припухшие круглые щеки, сильно вздернутый и оттого тоже кажущийся круглым маленький нос. Брови — такие белесые, что их как бы и не было.

Отдел перевозок стучался в дверь и готов был плакать от отчаяния.

— Однако, спит! — Слезы уже звучали в этих словах.

И, сочувствуя слезам отдела перевозок, я все же отметил про себя, что да, вот я, несомненно, в Сибири. Это было настоящее сибирское «однако», многозначное и ничего не означающее, существующее само по себе и вездесущее, позволяющее безошибочно угадать настоящего сибиряка в любых обстоятельствах.

Я присоединился к отделу перевозок и что было силы загрохотал в дверь обоими кулаками.

Знакомый второй пилот с бывшей «нашей» машины появился в коридоре. Он нес брезентовый портфель с полетными документами.

— Ждать не будем! — сказал он неумолимо.

Но и в самой неумолимости этой, предполагавшей все же какую-то возможность, что самолет мог бы и подождать малость пассажира, которого не могут добудиться, было нечто от домашности, от старомодного уюта, что всегда существует в полете и перекидывает мостик от ультрасовременной авиации не к поезду даже, а к почтовому дилижансу, рожком собирающему седоков, разбредшихся по придорожному лугу.

То ли кулаки подействовали, то ли слова второго пилота громче кулаков ударили в дверь.

Дверь внезапно открылась.

Вышла молодая женщина в платке и жакете, с небольшим чемоданом. Нельзя было и подумать, что она только что беспробудно спала и ее будили, чуть ли не выламывая дверь. Она была свежа, независима и невозмутима.

— На Томск? — спросила она. И легким широким шагом направилась к выходу, опережая второго пилота и не замечая возмущенного изумления отдела перевозок.

Теперь выяснилось, что отдел перевозок зовут Мусей. Что же до рейса на Салехард, то о нем ничего не выяснилось. С этого аэродрома рейс не планируется. Может быть, гидросамолет... Но об этом будет известно только утром.

— Однако, спать лучше, — мудро заключила Муся и указала на дверь, следующую за той, в которую мы только что стучались. — Там свободная койка есть, можете занимать.

В комнате стояли десять коек и застеленный клеенчатый диван с высокой спинкой, увенчанной затейливыми порожними шкафчиками. С потолка беспощадно, в сто пятьдесят свечей, светила голая электрическая лампа. Но десять человек, уставшие с дороги и знающие, что их рано поднимут для нового пути, спали беспробудно.

На диване широко раскинулся необычайно могучего сложения пассажир. Короткие голенища сапог его, стоявших рядом, имели не менее полуметра в диаметре. Пассажир спал на спине и храпел. Но казалось, что храпит совсем другой человек, спрятанный в этой мощной оболочке. Тоненький беспокойный свист перемежался фальцетным повизгиванием, и, когда фальцет поднялся на самые верхи, с ближней койки встал разбуженный долговязый сосед в длинных трусах.

— Володька! — сказал он решительно. Приладив руку рычагом, он поддел великана за плечо и повернул его на бок.

Свист и повизгивания сменились ровным басовитым похрапыванием. Тонкоголовый узурпатор бежал из чужой оболочки. Все было в порядке. Долговязый вернулся на свое место и тут же заснул.

Одна койка была свободна. На ней уголком стояла пышно взбитая, но тощая внутри подушка. Простыни выглядели отлично. В верхнюю, как в конверт, вложено плотное, теплое одеяло.

Я разделся и лег, надеясь на мгновенный сон.

Транзитное гостеприимство комнаты, небогатое, но радушное, снова приводило на память описание старого почтового тракта, ожидание перекладных. Прошло восемь часов воздушной дороги. Позади больше двух тысяч километров. И вот первый сибирский «станок» — так назывались здесь в старину почтовые станции. Сидишь на станке, ждешь свежей упряжки. Но свободных лошадей у почтмейстера, как известно, никогда нет. Это отмечено классической литературой уже в XVIII, а также в первой половине XIX столетия...

Эта комната — за Уралом.

Лампа в сто пятьдесят свечей горит — за Уралом.

Три часа ночи — зауральское время. В Москве — час.

А как выглядит Урал с высоты полета, я не знаю. Мы пролетели его в темноте. Когда просвещаешь Урал поездом, долго ждешь гор, а потом их почти не видишь. Будто равнина вместе с тобой долго ползет кверху, и только на короткое время показываются каменистые склоны, обрывающиеся к реке, вершины, зубчатые от хвойного леса, а потом опять долинный простор. Это не похоже на другие хребты, и нужно побывать на самом Урале и побродить здесь пешком, чтобы понять древнее и неповторимое своеобразие этих гор и полюбить их неповторимость. В полете не успеваешь ждать появления гор, и потом оказывается, что они про-

шли в темноте, что внизу, в темноте, остался условный раздел между Азией и Европой и что здешний весенний ветер, ошарашивающий тебя в июльский день дыханием льдистого половодья,— это уже ветер с Оби, зауральский, азиатский ветер.

— Однако, спать лучше.

Я хочу повторить это себе еще раз и просыпаюсь. Пришло новое утро.

— Однако, спите,— укоризненно говорит Муся из отдела перевозок.

Она объясняет, что вскоре пойдет гидросамолет на север.

Может быть, он дойдет пока до Ханты-Мансийска.

Может, долетит до Березова.

Но, возможная вещь, дойдет, однако, сразу и до Салехарда.

Во всяком случае, нужно торопиться.

Автобус уже ждет.

### С добрым утром

Набитый до отказа автобус доходит до первых домиков и останавливается. Потом он снова останавливается на перекрестке, где дома побольше. На каждой остановке протискиваются внутрь новые пассажиры. Все они в кожаных куртках на «молнии», подбитых мехом, в высоких резиновых сапогах. У каждого зачехленный спиннинг и чемоданчик с рыбачьей снастью.

Утро только началось. Улицы пусты.

Летчики едут на рыбалку.

Они с холодным презрением оставляют без ответа древний, извечно преследующий рыбака вопрос, который обращает ко всем входящим скептический коллега с передней скамейки:

— Клюет ли нынче рыба на базаре?

Они разговаривают друг с другом на таинственном языке посвященных, называя окрестные озера и протоки и поминая некоего Лаврушку, который в прошлую среду попал на «чудовищный клев». Но какой величины была у Лаврушки рыба, этого показать в тесном автобусе не удавалось.

В окнах мчалась Тюмень.

Сперва это были стандартные дома новых поселков. Потом добротные, из сибирского леса рубленые пятистенные избы, где обитали «чалдоны» старой Тюмени. Потом все перемешалось: деревянные дома и каменные купеческие особняки, новые здания в четыре-пять этажей и даже какой-то вовсе удивительный дом — высокий, совершенно круглый, почти лишенный окон; он был бы похож на старинное бензохранилище, если бы бензохранилища сооружались уже в старину. Оказалось, что это городская баня. Ее построил приезжий архитектор-конструктивист лет тридцать тому назад, а сейчас это и в самом деле памятник архитектурной старины и, как всякий памятник, предмет гордости — правда, весьма своеобразной.

— Видели, вон какая у нас баня чудная,— указал мне на круглое сооружение один из спиннингистов.

Тюмень мчалась за окнами автобуса, и у входа в сквер неутихающий ветер вздувал кумачовый плакат: «Наш город — старейший в Сибири. Сделаем его еще красивее».

Но «старейший в Сибири» — сколько же это лет?

Русская казачья крепостца, или, как в ту пору говорилось, «острожек», поставлена была здесь, при слиянии рек Туры и Тюменки, в 1586 году, почти четыреста лет назад. Это и есть дата, обозначающая начало русского заселения Зауралья, если не считать новгородских

наездов «за Камень», в северные приморские земли, о которых русские летописи упоминают уже с XI века.

Но Тюменский острожек строился не на пустом месте.

За пять лет перед тем Ермак застал здесь городок по имени **Чинги-Тура**, осадил его и взял. Городок тоже имел свою историю. Звучит в нем имя Чингиза, а строил его, по преданию, хан Тайбуга в XIV веке. Текучая, ненасытная, на конь посаженная Монгольская империя — где передний конь стал, там и граница; отвернули, ускакали вспять кони, и граница развеялась путевой пылью, — эта империя рассыпалась, превратилась в архипелаг разрозненных островов-ханств. Одним из таких островов было и ханство Сибирское.

На Иртыше стояла татарская ханская столица Кашлык.

Два столетия собирали сибирские ханы ясак — подать — с племен ханты и манси. Русские называли тогда эти племена остяками и вогулами. Покоренные татарами остяцкие и вогульские князьки свозили ханам шкурки горностая и соболя, песцовые и лисьи меха и сами тоже не оставались в обиде.

Ради этого ясака и осели здесь ханы, обжились в Кашлыке и Чинги-Туре, торговали отсюда пушниной с Бухарой и Исфаганью, с Китаем и Европой.

Сибирская пушнина — «мягкая рухлядь» — была на уме и у Грозного, когда он ждал военных вестей с Урала, от Строгановых, после того как те снарядили Ермака и с ним пятьсот сорок казаков за Камень. Строгановы просили у Грозного разрешения на этот поход и поддержки. Поддержки царь не дал, а поход не то чтобы разрешил, но и не запретил.

Казаки выплыли по Тагилу в широкую, спокойную Туру, в сибирские земли. Только тогда, когда на Москве стало известно, как покатались орды Кучума на Иртыш, когда после Чинги-Туры взят был в октябре 1581 года и Кашлык, когда Ермак принял под свою руку остяцких князьков и многие татарские семьи, — Грозный послал в Сибирь и свое войско. Из Москвы за Камень выступили воеводы Болховской и Глухов с полтыщей стрельцов. С Ермаком они соединились в 1583 году.

Неизвестно, откуда пришел Ермак к Строгановым, где и когда родился.

Почему его звали Ермаком?

Среди остяцких князьков того времени встречалось такое имя. Был, например, в Обдорске князек Ермак, сын Мамрука. Но атаман-то Ермак был русский. Говорят, что это его казаки так прозвали, а настоящее его имя было Василий.

Сибирский летописец Илья Черепанов рассказывает историю Ермака так, что в ней отразилось все тогдашнее время и биографии множества русских крестьян. В борьбе опричнины с земщиной очутились они словно между молотом и наковальней, обнищали, оголодали и побрели с женами и детишками на южные и восточные окраины Московской державы искать землища пощеднее и житьишка поспокойнее.

Так ушли из Суздаля на Чусовую, в строгановские земли, говорит Черепанов, сыновья суздальского посадского человека Афанасия Авина — Родион и Тимофей.

У Тимофея был сын Василий.

«И оной Василей, — записывает Илья Черепанов, — был силен и велеречив, ходил у Строганова на стругах в работе по рекам Каме и Волге и от той работы принял смелость и, прибрав себе дружину малую, пошел от работы на разбой и от них звашася атаманом, прозван Ермаком».

Могло быть и так.

Отказался вольный казак от своего имени и назвался Ермаком — чтобы все, что прежде было, сгнуло без следа. Сам захотел, чтобы не знали, кто он и откуда, чтобы не искали в отцовской избе, не тормозили отца с матерью, не попрекали братьев. «Принял смелость» — и пошел в жизнь, без прошлого, легкими ногами...

А был ли он Василием или не был, звался прежде Алевиным или нет — все равно история сохранила его с уважительным «вичем», и остался он в памяти так, как сам захотел называться: Ермак Тимофеевич.

Погиб он в тот же год, когда умер Грозный.

А еще два года спустя — с сооружения Тюменского городка — началось заселение зауральских земель русскими поселенцами.

Уже сказано, что Тюмень строилась там же, где за двести лет перед тем хан Тайбуга строил Чинги-Туру.

Строил? Вряд ли это слово соответствует нашему пониманию. Речь идет, верно, только о сооружении защитных земляных валов; их и пришлось одолевать Ермаку. А за валами, надо думать, стояли юрты. И когда Ермак ушел отсюда вперед, на Кашлык, местные обитатели тоже поднялись с места, свернули свои юрты и либо пошли за Ермаком, либо перебежали к его противникам, в стан Кучума. Бывало всяко, и история сохранила нам картину сибирского похода далеко не во всей полноте.

Во всяком случае, когда воеводы Василий Сукин и Иван Мяснов принимались ставить Тюменский острожек, ни о каких следах Чинги-Туры уже не говорилось и никакие местные «людишки» не поминались. А место было как раз такое, в каких по вековой традиции строились русские города: мыс, с двух сторон защищенный водой. На таком же мысу и Псков строился; да и московский Кремль вот так же когда-то врос в угол между Москвой-рекой и Неглинкой.

Строить Тюмень пришли со стрельцами московские мастера.

Москва и тогда строить умела.

И масштабы строек ее того времени остаются поразительными даже и на наш глаз, на что уж привычный к строительному размаху.

Вширь так вширь: в том же 1586 году Федор Конь начал сооружение стены Белого города: восемь верст каменных укреплений.

Ввысь так ввысь: поднималась кверху ярус за ярусом церковь-колокольня Ивана-Лествичника — «Иван Великий».

Красота так на века красота: за год до этого закончен был Успенский собор в Троице-Сергиеве. Строился собор Донского монастыря.

Не зря работал в Москве Приказ каменных дел, первое на Руси строительное министерство.

В Тюмень пришли мастера, которые и с Конем работали и церкви «по обещанию» — за сутки без единого гвоздя ставили. Велико ли дело деревянный городок построить?

Строевого леса окрест хватало. Можно было укрепить старые Тайбугины насыпи, поставить на них изгородь с угловыми деревянными башнями, срубить внутри крепостцы привычные русские избы с тесовой крышей; так они и строились, тогдашние острожки: укрепленная деревня, и живут в ней мужики с пищалью вместо сохи; на серяге — кольчуга с чужого плеча, добытая в сече. А в избе — у кого привезенная с собой женка; доехала за войском в телеге из Каргополя, или от Костромы, или с волжского степного приволья. А кто пришел за Камень вольным молодцем, у того при сидячей острожной жизни, на неожиданном хозяйском обзаведении, глядишь, и завелась в «ясырь» взятая некрещеная девка, да так и приросла к новой избе. Жена не жена, а

не выгонишь: привык и сам того не заметил. Иной раз годами словом не перемолвишься: ты скажешь — ей не понять, она молвит — тебе невдомек; а уже жалеешь ее, да и дети пошли: волосом черны, костью широки, щеки скуластые; зовут «тяткой».

И посейчас еще не вывелась эта порода среди исконных тюменских «чалдонов». Узнать можно. А говор здесь сродни каргопольскому, вологодскому — тот же напев. Отвечает на вопрос — будто все кверху забирается, выпевает и оборвет вдруг, точно не ответил, а сам тебе вопрос задал, да еще с насмешечкой...

Тюмень росла быстро.

С казаками и стрельцами шли «гости» — торговые люди.

Еще при Грозном были установлены для купцов, переселяющихся на новые земли, особые льготы. Их получали даже опальные псковичи, согласившись переселиться в Казань. В Сибирь переселенцы потянулись охотно: слух о тамошних пахотных и луговых угодьях распространялся быстро.

В новые острожки на Туре и Таре, на Иртыше и Оби остяцкие и вогульские князьки по-прежнему везли ясак — «мягкую рухлядь». Но юрты татарских ханов, хоть и пробыли они тут двести лет, стояли, не прирастая к земле, готовые сняться в любую минуту. Так и покатались они от Ермака к Бухаре и к Саянам, не оставляя по себе никакого следа. Ханы брали, ничего не отдавая земле, на которой остановились их верблюды и кони. По-иному приходил сюда русский крестьянин. Он шел, приглядываясь к земле, надеясь на нее, готовый привычно отдать ей свой истовый труд — от зорьки до зорьки. Крестьянские избы враз шагнули за сосновые острожные стены. Поднялся над вырубками дым прочно поставленного людского жилья, зачернела вспаханная земля в щедрой своей, нерастраченной силе. И впервые запахло здесь печеным хлебом.

Мало хорошего рассказывает о купцах-новоселах старая казенная переписка — корявые челобитные и курчавые записи судейских писцов. Грабеж и обман, произвол и насилия. Но купеческие дворы не были просто перевалочными пунктами, сквозь которые протекали меха и кожи. Купцы оседали прочно, заводили на новых местах промышленность.

Лет двести назад заехали в Тюмень, да тут и осели бухарские кожемяки. Стали выделывать из конских и бараньих кож черную и белую юфть, и на всю Сибирь прославились шитые в Тюмени бродни — высокие крепкие сапоги, которым ни вода, ни тайга не страшны.

Знамениты были тюменские броденщики, тюменские ямщики на таежных трактах, да еще корабельного дела мастера, спускавшие на Обь и Иртыш крепкие, длинные, с высокими бортами «дóри», как назывались здесь промысловые рыбацьи лодки.

Край оживал. Тюмень оказалась на бойком месте.

Неподалеку учинилась Ирбитская ярмарка, где съезжалась торговая Азия с торговой Европой, куда свозили меха и зерно, красную рыбу и сибирское масло, лес, кожи и готовый товар, куда тянулись конные обозы и верблюжьи караваны.

Сто с лишним лет назад по западным рекам Сибири пошли пароходы.

В 1885 году к Тюмени подошла из Екатеринбурга железная дорога. Здесь уже была к этому времени и своя ежегодная ярмарка, на которую перешел многошумный ирбитский торг. Здесь гуляли уральские горнозаводчики, здесь сквозь пальцы тек привезенный старателями золотой песок.



Когда-о Сибири заговаривали по европейскую сторону Уральского хребта, к имени ее неизменно добавлялся эпитет: «богатая». И — уважительное, мечтательное придыхание.

Невиданные урожаи... Неслыханные прибыли...

Но нигде не было и беды горшей, чем в Сибири.

Речь не о каторге, не о кандалниках, шедших через Тюмень, пересяживавшихся здесь на баржи, — не только о них.

Еще Н. Гарин, проезжая через Тюмень к местам, где он, инженер и писатель, должен был участвовать в строительстве Транссибирской магистрали, вскользь помянул: «Вот и грязная Тюмень со своими «нуждающимися» переселенцами».

Он помянул нищих переселенцев как главную примету Тюмени, а слово официальных отчетов — «нуждающиеся» — поставил в иронические кавычки, потому что и в малой мере слово это не выражало ту степень нужды и отчаяния, какую являли переселенцы, сорвавшиеся с насиженных мест на поиски призрачной удачи.

Вспомним снова Гарина. В одном из рассказов говорит он, как бабка Степанида побывала в раю и встретила там сродников. Она потом рассказывала:

«—...Дядю Парфена да дядю Семена видела: стоят друг возле друга, портянки новенькие, онучки новенькие, головы маслом смазаны, ручки сложили, стоят на сухоньком месте: «Хорошо-о нам, бабушка Степанида!»

Вот и весь рай. Место сухонькое да онучки новенькие...

Но и этот скромный мужицкий рай находил в Сибири не всякий переселенец.

В Тюмени бешеные деньги текли рядом с беспросветной нищетой, ярмарочные загулы соседствовали с голодными смертями. Капитализм здесь был, так сказать, весь на глазах.

И сложилось так, что именно Тюмень стала городом, в котором уже к осени 1906 года местная социал-демократическая организация стала полностью большевистской и насчитывала в своих рядах сто восемьдесят человек...

Значит, то, что я вижу сейчас вокруг себя, возшло из давних семян. И урожай эти семена дали истинно сибирский.

Что осталось теперь от старой Тюмени?

Разве вот эта «лежневка» — бревенчатый настил вместо мостовой на окраинной улице. Автобус наш «сыграл» на старых трухлявых бревнах, будто промчался по клавишам детского ксилофона.

Да еще там же, на окраинах, промелькнули тяжелые резные двери толстостенных купеческих домов, сохранившие круглые медные гнезда для проволоки, когда-то дергавшей давно уже не существующие колокольцы.

После лежневки мы проехали по булыге; теперь автобус быстро и ровно катил по асфальту. Улица — новая. Тротуары обсажены зеленью. Большинство домов построено недавно. Реже видны среди них сверстники круглой бани — плоские дома-кубы двадцатых годов. Но им не дали полинять, освежают время от времени светлой краской, и выглядят они совсем неплохо. Вовсе редко мелькают в центре вычурные двух- и трехэтажные дома начала века.

Старая Тюмень была деревянной. Нынешняя, поднявшаяся кверху, бетонная и кирпичная областная Тюмень — это город, сызнова родившийся в наше, советское сорокалетие.

Тридцать лет назад в Тюмени было пятьдесят тысяч жителей; теперь их полтораста тысяч.

Справка из Большой Советской Энциклопедии: -к 1955 году жилой фонд Тюмени по сравнению с 1940 годом увеличился на 55 процентов.

Тут уже речь идет не о тридцатилетии, а всего-навсего о пятнадцати годах. И городской пейзаж получает таким образом статистическое объяснение.

Но рост города, рост числа его жителей происходит не сам по себе. Эта круто идущая кверху кривая тесно связана с другой кривой, которая поднимается еще более резко и отмечает непрерывный рост промышленности. Тюмень кустарных мастерских и небольших полукустарных фабрик превратилась в индустриальный город. Здесь строятся уже не деревянные дери, но крупные речные суда. Отсюда идет электрическое оборудование для автомобилей и тракторов. На стройках Урала и Новосибирска работают бетономешалки с тюменской маркой. Есть в Сибири поселки, где все дома собраны из деталей, изготовленных в Тюмени. Рыбаки на Каспии и Белом море, на Байкале и Енисее забрасывают в воду километры и километры сетей, связанных на фабрике, мимо которой мы только что проезжали. Тюменская мебель. Завод аккумуляторов. Завод пластических масс. Фанерный комбинат. Здесь, в Тюмени, и добрые сапоги шьют по-прежнему, но и это теперь не промысел броденщиков-одинок: вот он, длинный, многооконный корпус большой обувной фабрики.

Но ни цифры и факты, известные мне заранее, ни самый вид города, умытого, ухоженного, рано проснувшегося и в семь утра оживленно хлопочущего, еще не давали ощущения приезда в С и б и р ь. Все это могло встретиться и в любом городе по ту сторону Урала.

В самом деле, какой город не изменился у нас за пятнадцать лет?

Даже «однако», которое так обрадовало в аэропорту в первую минуту, не слышится в этом автобусе: летчики — по большей части народ приезжий.

Но погоди, прислушайся к их разговору.

Где, где это был вчера вон тот щупленький паренек со смешными усиками под вздернутым носом?

Он назвал какое-то не по-русски звучащее имя — не то река, не то селение. Ты прослушал...

А теперь он говорит, как полетел к этой то ли реке, то ли селению на гидросамолете, а оказалось, что лед там еще не сошел, и он долго кружил, не находя места для посадки.

— Не улетать же обратно? Люди-то уже четыре дня голодные сидят... О ком он?

Кажется, геологи.

Сбились с пути в тундре. Другой летчик отыскал их днем раньше, а этот улетел вчера, чтобы вывезти их. И сейчас, смеясь и связанно жестикулируя в автобусной тесноте, он показывает, как садился на полынью, которую высмотрел в трех километрах от палатки геологов.

— Места, понимаешь, хватает, сесть можно. А ветер в скулу. А там, понимаешь, как раз горка. Ну, в общем, сел впритирочку... И думаю: они-то, конечно, видели, что я тут. Ну, а дойдут ли? Ослабели, пожалуй, с голодухи. Навьючился, как ишак, Ваську своего навьючил. Идем. Дорожка — та. Тундра подтаяла. Ступишь — нога в воду. Ну, они все же навстречу шли. А сошлись — смеются. Спички, понимаешь, и те кончились. Ну, конечно, сперва накормил...

И вдруг, оборвав, без паузы, он спрашивает у приятеля:

— А мотыль у тебя есть? Сейчас на крючок веселее ловить, чем на блесну.

Лицо его стало озабоченным.

— Мотыль есть,— сказал второй спиннингист.— Не слышал, Маслюк жаловался? Окуней вчера, говорит, столько наловил, что жинка из дому чуть не выгнала: «Сам наловил, сам и чисть, а я не буду...»

Так и живут. Сегодня — летняя река, поплавок дрогнул, окунь плюхнулся в ведро... Вечером — с женой в кино... А завтра опять, может, ищи польню на каком-нибудь озере, где и на чистой-то воде сесть не просто.

— Мотыль есть,— повторил спиннингист.— Да вода спадает. Знаешь, как оно? Вчера споро клевала, а сегодня ничем не берет...

Мы уже выехали из города.

Луга, лес, вода.

Кто-то спустил оконное стекло впереди, и в автобус сразу ворвался немислимо свежий, точно на спирту настоянный воздух.

На этой равнине горизонт кажется неощутимо легким. За ним неспрятанный, беспредельный простор — прстор до океана, до льдов, до тех бесприютных и строгих мест, о которых вспоминал только что летчик, едущий по соседству.

Это и есть Сибирь.

Такого широкого дыхания не ощутить нигде, кроме Сибири.

Тут, на заливной земле Прииртышья, наверно, мало что изменилось с веками. Когда Ермак спускался на стругах от спаленной Чинги-Туры на Кашлык, он видел такие же луга, тот же лес.

Не было этого шоссе.

Не выступала из дальнего соснового бора на оструганных, широко расставленных ногах деревянная линия высоковольтной передачи.

Не было вон той деревушки.

А так было все то же; такая же была, наверно, Сибирь и такой же легкий, зыбкий, не скрывающий дальних просторов горизонт. Почему же именно здесь, в лугах, а не в обновленном, разросшемся городе так вдруг почувствовалась м о л о д а я сила Сибири, пробуждающаяся и зовущая новь?

Как о примете необъятности всей страны нашей, мы часто говорим, что когда на юге у нас знойное лето, то на севере еще лежат снега. Но и к такой одной области, как Тюменская, это относится тоже. Вот здесь, под Тюменью, уже в восковую спелость входят хлеба, а сосед мой вчера искал польню на замерзшем северном озере...

Плотность населения на юге этой области — десять—двадцать пять человек на один квадратный километр, а в Заполярье — один человек на десять — пятнадцать квадратных километров.

И вот на этих громадных и несхожих просторах происходят нынче такие перемены, за которыми и в газете, не то что в книге, поспеть очень трудно. И если бы я записал сейчас то, о чем говорилось и писалось в газетах при мне, то есть несколько месяцев тому назад, то все это выглядело бы совершенно устарелым, вытесненным новыми делами и перспективами.

Скажу только, что в южных районах области к тому времени, за три последних года, было уже поднято около четырехсот тысяч гектаров целины и речь шла об использовании новых резервов.

А в самые северные районы уезжала молодежь, уезжали опытные специалисты всех возрастов. К ним обращены были броские плакаты на стенах домов. О новых стройках, о разведчиках в тундре, об успехах изыскателей природного газа в Березове, о заполярных звероводах и рыбаках писали газеты, говорило тюменское радио.

«Один человек на пятнадцать километров» — это из статистики. Это — пресловутое «в среднем». На самом-то деле это выглядит совсем иначе. Люди идут вместе. Пусть их десять человек на полтора километра

безлюдного снегового пространства. В среднем выйдет то же: один на пятнадцать километров. Но десять человек в месте, это вовсе не то, что один. И десять человек, ушедших сообща в тундру, могут сделать — и делают — очень много.

Автобус остановился.

Летчики-рыболовы разбрелись сразу.

На двоих друзей с мотылем с ходу обрушился третий приятель, поджидавший их в лодке.

— Восьмой час! — кричал он. — Да пока доплывем... Это что же за ловля?!

Они сразу разобрали весла и шумно отплыли, заранее сваливая один на другого вину за будущие неудачи.

Невысокая деревянная изгородь, крашенная голубой краской, окружила березовую рощицу на берегу реки.

В роще несколько маленьких светлых домиков.

Полая вода еще не сошла.

Желтая глинистая река текла сильно и быстро, обходя заякоренные железные бочки с небольшими плотиками-причалами, к которым были привязаны самолеты.

В ближнем домике было людно. Только что открылся буфет.

— Яичница есть и сметана. Иди, Капа, я очередь занял!

Кто-то отзывался:

— Петь, а Петь! Мне, однако, займи!

Из двери буфета выглянула голова в пилотской фуражке.

— Кому на Березов — особо не расходишь! Сейчас погоду дадут, лететь будем...

Веселое домашнее оживление было многообещающим.

### Водный Антон, он же водная Аннушка

Да, здесь не стали держать нас.

Не прошло и трех часов, как Север дал погоду.

Сперва ушла машина в Березов. Потом еще одна — тоже в Березов.

А потом наш пилот, выходя из буфета и как бы не замечая наших испытующих взглядов, сказал в пространство, небрежно:

— Если удастся, то и в Салехард прилетим.

И вот мы в воздухе.

Когда нужно было отмечать перед посадкой билеты, дежурный долго выкликал фамилию Храпова.

Храпов не появлялся.

Его разыскали в буфете.

Когда мы поднялись на катер, чтобы переправиться к плоту-причалу, Храпова среди нас снова не было. На этот раз его не нашли и в буфете; оказалось, он отправился не на том катере, — к самолету, уходящему в противоположную сторону, — и его сняли оттуда в последнюю минуту.

Наконец выяснилось, что билет свой Храпов оставил на берегу, не забрав его у дежурного, и катер пришлось сгонять еще раз.

Но суета, возникающая вокруг него, вовсе не смущала Храпова. Он не расстраивался и не делал излишних телодвижений. Напротив, он принимал все это, как положенные ему естественные знаки общего внимания. Невозможно переходил Храпов с катера на катер, карабкался в

самолет и пропуская мимо небольших, жестких, оттопыренных ушей ядовитые шуточки второго пилота, который размещал в кабине багаж и рассаживал пассажиров.

Теперь Храпов на месте. Он сидит напротив меня: маленького роста очень молодой человек, предусмотрительно упакованный во множество теплых одежек, невзирая на третий день июля. На нем ватник, и смушковая шапка, и высокие сапоги, и из сапог торчат отвороты длинных шерстяных чулок; и вся эта могучая упаковка еще больше подчеркивает миниатюрность его фигуры. Вся передняя часть кабины занята его вещами. Фанерные ящики покрыты надписями: «Осторожно, стекло!», «Срочно! Бакпрепараты». И еще другие надписи объясняют, при какой температуре должны эти ящики храниться.

Я уже знаю, что Храпов — врач из небольшого мансийского селения на реке Сосьве.

И еще я знаю, что живет он на Сосьве два года: уехал туда сразу после защиты институтского диплома.

Об этом уже все знали.

Храпов рассказывал, обращаясь к соседке — очень беленькой, очень милой девушке. Но говорил он громко. И опять легко было угадать, что наш попутчик считает это естественным: он говорит, все слушают, так и должно быть. Он дважды заметил, что на Сосьве все его уважают. Когда он приехал, там еще был шаман. Ну, подпольный, конечно, и в бубен он бить боялся — просто заговоры читал. И шаман отказался от больного охотника, сказал, что на того медведь рассердился и теперь ничего сделать нельзя: медведь больного душит и непременно задушит насмерть. А он, Храпов, сразу диагностировал (он это важно и вкусно сказал: «диагностировал») воспаление легких и вылечил охотника пенициллином. Конечно, его сразу начали уважать.

Вероятно, это была правда.

Мы все слушали.

И девушка развязала белую теплую шаль и полуобернулась к доктору, больше не стараясь видом своим убедить нас, будто к ней вовсе не может относиться то, что решил ей почему-то рассказывать незнакомый сосед.

Она тоже была в ватнике и в сапогах. Видно, не хуже, чем доктор, знала, каким бывает июль к северу от Тюмени.

Это та самая Капа, которую недавно, когда мы еще были на земле, выкликал долговязый Петя в буфет — к яичнице и сметане.

Теперь Петя разлучен с Капой; он сидит рядом со мной. Второй пилот поступил с ним жестоко. Да он и сам виноват: нерасторопно завозился с багажом.

Их компания разлетелась на всех трех самолетах, ушедших сегодня из Тюмени на север. С нами летят пятеро. Я слышал их разговоры, когда они, сидя на чемоданах в ожидании отлета, «забывали козла». Консервщики и строители из Ханты-Мансийска, они ездили в Тюмень на спортивный праздник, участвовали в соревнованиях по легкой атлетике. Судя по тому, как неодобрительно отзывался Петя о тюменских судьях, можно было заключить, что первого места — хотя оно им, несомненно, принадлежало по праву — ханты-мансийцы не заняли. Но бодрости у них не убавилось: земляки-болельщики за них, спортивные судьи не вечны; придет время, и справедливость восторжествует. А летать на спортивный праздник, когда тебе двадцать лет, это слишком хорошо, чтобы можно было после этого огорчаться...

Петя был единственным в нашей кабине, кто смотрел на доктора хмуро и неодобрительно.

Я понимал его.

Впрочем, будь Капа в обыкновенном платье, она, быть может, и не показалась бы красивой: чистое, милое лицо, каких много. Крупные руки. Крепкие икры туго сидят в больших сапогах. Пете она, конечно, и тогда казалась бы лучше всех, но остальные пассажиры вряд ли глядели бы на нее, как сейчас. Грубость полумужской одежды превращала миловидность в трогательную красоту: все черты казались тоньше и меньше, чем были на самом деле; и улыбка становилась особенно беззащитной, и румянец просвечивал особенно нежно.

И сейчас всем было понятно, почему Петя с такой гордостью тащил на катер ее багаж, словно счастливую приметку своей избранности.

Теперь багаж стоит среди докторских ящиков — большая картонная коробка с такой же строгой надписью: «Осторожно! Не кантовать». Это радиола для клуба рыбконсервного завода. Здесь, видно, все — в какую бы дорогу они ни отправлялись — выполняют заодно и общественные поручения.

Как бы то ни было, доктор весьма горд своими ящиками.

О них он сейчас и говорит. И снова привычно оборачивает рассказ так, чтобы всем и особенно беленькой соседке сразу стало понятно, какой он ловкий и умелый человек, доктор Храпов, и как его везде уважают. Вот ходила же с ним за такими же препаратами некая Тоня, приехавшая в область с Ямала. Вместе когда-то дипломы получали. И что же? Ей и половину столько не дали!.. А какой славный набор хирургических инструментов посчастливилось ему достать в Тюмени!..

Он тут же достает этот набор из саквояжа и раскрывает его перед соседкой.

Так устрашающе сверкают его пилы, ланцеты и долота, что бедная Капа отшатывается в испуге. И где-то между огромной шапкой, толстым свитером и воротником ватника рождается тоненький, заливистый, колышущийся смех; доктор Храпов очень доволен: отличные инструменты!

Нет, он положительно должен быть неплохим парнем, этот доктор Храпов. Немножко хвастун, немножко добытчик. Но ведь не для себя же добывал он эти инструменты и ящики! А хвастовство? Не защита ли оно от привычных со школьной скамьи насмешек над малым ростом и физической слабостью? Во всяком случае, хорошо, что он живет в мансийском селении, что он доволен жизнью, что он победил шамана и отнял большого охотника у хозяина тайги — медведя, которому тот был обречен.

И доктор Храпов, и Капа с Петей, и их ящики с медикаментами и радиолой — это первая моя встреча в дороге с живым сибирским Севером, не с книжными цифрами и общими словами отчетов. В этой встрече Север выглядит очень обыкновенным, обжитым, полным привычного человеческого тепла — и это очень хорошо.

Кроме Пети, у меня есть еще сосед.

Геннадий Кузин — так его зовут. Он тракторист и тоже летит в Салехард. То есть не в самый Салехард, а куда-то дальше, но Геннадий и сам пока толком не знает, где это и как туда добираться. Знает только, что будет там водить вездеход в геологической партии.

Самолет идет над Обью.

Если бы я прочитал такую фразу, никогда не видел Оби собственными глазами, я бы представил привычно: вверху самолет, внизу река — вероятно, большая река — и земля...

Но это совсем не так.

Обь с самолета — это зрелище потрясающее и ни с чем не сравнимое. Таких просторов воды нигде не увидишь. Собственно говоря, где она, сама Обь? Вот оно, кажется, как раз под нами, русло реки, широкое и почти прямое. Но вон там, подалее, — коса и остров, и еще длинная песчаная коса, и опять такая же широкая полоса воды.

Вода — до горизонта. И за этим дальним, с высоты полутора километров открытым горизонтом тоже поблескивает вода.

Обь — как море?

Нет, это не море. Все приметы земли видны глазу. И широкий луг, покрытый сочной зеленой травой. Но только что схлынула с него полая вода, и этот луг — на острове, и у берега еще стоят большие, грузные лодки, которые утром привезли сюда разбредшихся по траве коров. И уже летим мы над бором. Стволов не видно. Торчат макушки самых высоких сосен и елей, а под ними — сплошная зеленая хвоя. Кто его знает, какая там, внизу, идет жизнь? Может, подкрадывается к соболу охотник. Может, бредет медведь, не видя над собой неба, но прислушиваясь к дальнему шуму нашего винта и беспокойно ломая мягкий гнилой бурелом, поваленный бог весть когда. Это и есть то, что называется дремучей тайгой. Но если бор кое-где редет, то на опушке проглядывает не земля, а вода. И это не лес расступился, чтобы пропустить реку, как обычно говорится, но вода разлилась руслами, протоками, ручьями, чтобы уступить место тайге.

Сперва на юге еще видны поля, окруженные, прорезанные водой. Потом они кончаются у кромки тайги, а дальше исчезают и деревья. Начинается тундра.

Среди воды торчат торфяники и леса.

Реки со странными, непривычными именами текут к Оби. Тура и Тавда. Пелым. И Унтор, и обе Сосьвы — Большая и Малая. И Лыхма, и Куноват, и Войкар. Сыня, Несьеган, Пблуй... И между ними озера, в которых плывут облака и тонет летящая тень самолета. И застоявшаяся в оврагах полая вода.

Земля здесь — кусок грубой темной домотканой материи, брошенный в огромную лохань с водой. Его постирали, но еще не собрались выжать.

Так это выглядит сверху, когда самолет идет над Обью.

В Ханты-Мансийске самолет сел на Обь, звонко ударился о гребешки крупных серых волн и закачался с борта на борт, как самый обыкновенный катер.

И настоящий катер подошел тут же.

Второй пилот спустился из кабины на нижнюю плоскость, принял с матросской сноровкой буксирную чалку, и катер потащил нас к такому же плотику, какой мы недавно оставили в Тюмени. На плотик была опущена легкая металлическая лесенка, и на ней сразу очутился долговязый Петя с большой картонной коробкой «Осторожно! Не кантовать».

Ханты-Мансийск не был отсюда виден.

Слева лежало низкое, вровень с водой, поле. На нем стояли самолеты и лежали бочки с горючим. Это был аэродром.

Справа над рекой поднимался лесистый берег. Казалось, что высокая гора подошла прямо к воде. Но сверху мы видели: это не гора, а такая же плоская равнина, как и на другом берегу, только она круто поднята между Обью и Иртышом, и на самом кончике клина при слиянии двух рек стоит деревянный город. Высокий берег спрятал от нас улицы этого города; опустившись, мы могли видеть только белые светлые строения в густом зеленом лесу.

От воды к домам почти отвесно поднимались высокие деревянные лестницы с поручнями. Цветничок с садовыми скамьями окружал двухэтажный дом с башенкой, оказавшийся зданием аэропорта. Все это славно и весело выглядело и напоминало южный дачный поселок. И название поселка тоже звучало привычно, будто сбились мы с северной своей дороги и вдруг очутились на Волге. Самарово назывался гостеприимный поселок.

Но Север давал погоду, и нам нельзя было соблазняться неожиданным гостеприимством.

Снова полетели мы над Обью. Исчез приятный обман сузившегося при потере высоты горизонта. Не стало ни гор, ни подобия средне-русского речного уюта. Внизу опять разливалось без границ державное полноводное великообие.

В кабине стало просторно.

Доктор Храпов дремал.

Геннадий Кузин с тремя партнерами играл в дурачки на ящике с бакпрепаратами.

А после Березова мы с ним остались в самолете вдвоем.

В Березове падал снег с дождем, зыбилась холодная Обь.

Летчик торопился взлететь, пока не наколдуют какой-нибудь гадости метеорологи. Торопливо сошли пассажиры, и даже с Храповым ничего на прощание не приключилось. Озябшие грузчики вынесли его ящики на катер. Самолет устремился по крупным волнам, сперва стуча и подпрыгивая, а потом набрав скорость и как бы разгладив реку перед собой быстрым и сильным движением.

Очень недолго видна была после взлета вода с редкими теперь, полужатоленными чахлами лесами и мшистой болотной луговинной между протоками и на берегах озер.

Мы вошли в снеговые тучи, и все исчезло вокруг; остался только стылый рваный туман за окошками. Скорости не было. Винт шумел, а мы будто увязли в туче и стояли в ней неподвижно.

В кабине лежали мешки с почтой и аэродромные прожекторы, отправленные из Тюмени в Салехард. Вдоль стен тянулись жесткие, слегка вдавленные металлические сиденья, похожие на те эмалированные листы из газовых духовок, в которых хозяйки пекут пироги. Но пирог на листе всходит и подрумянивается, довольный жизнью, а пассажир ерзает, никнет и, если его еще не успели опередить, с наслаждением вытягивается вниз, на почтовых мешках.

Так и поступил Геннадий Кузин.

Он устроил себе на полу отличную мягкую постель из газет и писем, укрылся самолетными брезентовыми чехлами и мог быть вполне доволен тем, что Салехард выписывает так много газет и получает столь обширную корреспонденцию. Ему было удобно и тепло.

Позавидовав, я попробовал растянуться на железных листах. Жестко и холодно. Летнее пальто не выручало.

Конечно, наивно было не брать с собой в дорогу теплых вещей, укорял я себя. Разве не знал я северного лета? Разве забыл снежные заряды пурги на полуострове Рыбачьем в середине июня? Разве не помню июльские приказы флотской комендатуры в Полярном — надеть «форму номер пять», то есть одеться по-зимнему, в шинель и теплую шапку, — когда черноморцы давно уже щеголяли в белых кителях и легких фуражках? Но тогда я не верил в белые кителя. Это было так же, как с различиями поясного времени. Три дня назад, накануне отлета из Москвы, воскресные троллейбусы, идущие в Химки, были переполнены загорелыми купальщиками и купальщицами. У «Сокола», на трол-



лейбусной остановке, хвост купальщиков завивался кольцами, и асфальт плавился и чадил под нестерпимым солнцем. Ну можно ли тут было тащить с собой тяжелое пальто, совать в чемодан шерстяной свитер? Конечно же, всюду сейчас так. Всюду светит июльское солнце, и всякая вода тепло голубеет. Тогда я не мог поверить в снег и «форму номер пять».

Теперь не было ничего, кроме холодной снеговой тучи.

Она обволакивала четыре зеленые плоскости нашего самолета, оседала инеем и ползла крупными тяжелыми каплями по соединяющим эти плоскости распоркам и тросам.

Самолет назывался «АН-2».

В просторечии его зовут ласкательно: одни — «антоном», другие — «аннушкой».

Один в холодной кабине, на железном, не слишком уютном насесте, только что распроставшись с мягким, удобно откидывающимся для сна креслом просторного «ИЛа», я отнесся к «антону» высокомерно и пренебрежительно.

Но пройдет немного времени, и я буду так же благодарен «антону» (он же, если это вам больше нравится, — «аннушка»), как благодарны ему все те, кто живет за тысячи километров от больших магистральных линий, где летают «ИЛы» и «ТУ» и где так просто проспять всю длинную дорогу, по которой неделями ползут поезда.

Здесь совсем нет поездов. Здесь три недолгих месяца в году ходят по рекам пароходы. И там, где и реки не текут, куда и вездеход не пройдет, везде, зимой и летом, летает маленький, не быстрый, но какой же работающий и безотказный «антон». Его можно ставить на лыжи, на колеса или на лодки. Он сядет на любом пяточке тундры, на небольшом озерке, а если понадобится, то и на плавучей льдине.

Это немолодая машина. «АН-2» летает уже много лет; у него есть младший брат, которого зовут «АН-10», или, иначе, «Украина», и куда кургузому, неуклюже-старомодному на вид и медленному «антону» до щегольских обтекаемых форм младшего брата, до стремительных его скоростей! Но не надо их сравнивать. Это так же, как если бы мы стыдливо отвернулись от мужиковатого «козла»-газика ради сверкающей лаком и никелем «волги». У «козла» и у «волги» свои пути. Эти пути не сходятся, и туда, где прыгает неприхотливый «козел», которого можно направить в вязкое болото и чинить при помощи кувалды, не свернет «волга» со своего асфальта. «АН-10» — дитя атомного и реактивного времени, баловень магистралей, взлетных дорожек, покрытых бетоном. Его дата рождения — начало второй половины двадцатого века. Но это не простое время. В нем уживается множество противоречивых вещей. С фотографии на странице журнала нам улыбается лицо капитана атомного ледокола. Вполне вероятно, что атомный ледокол встретится в своих плаваниях с шестидесятилетним «Ермаком», и оба будут делать свое дело, и на борту обоих кораблей окажутся ровесники, и, быть может, получится даже и так, что над штурманскими картами в ходовых рубках этих — таких разных! — кораблей будут склоняться недавние соученики, которые вместе сидели в классах мореходного училища... Мы уже подумываем: а не выпадет ли еще и на нашу долю счастливая возможность слетать на какую-нибудь, пусть не слишком отдаленную, звезду? Уже искусственная — десятая — планета кружит вокруг солнца, делая наш, еще недавно для большинства астрономически непостижимый звездный мир как бы немного теснее, уютнее и достижимее. Но мысли о реальности путешествия в иные миры при-

ходят к нам и тогда, когда тот же газик везет нас по самому земному бездорожью. И я думаю, что и когда космические ракеты по расписанию будут взлетать со своих площадок и дежурный диспетчер будет скликать на перрон путешественников, отвлекая командированного на Сатурн геолога от бутылки московского пива,— даже и тогда еще в течение какого-то времени будут следить за огненными хвостами отпадающих ступеней и пассажиры газика где-нибудь в Кулундинской степи, и эвенкийский охотник на нартах с собачьей упряжкой, и пассажиры «антона», летящего над Ямальской тундрой. Все будет существовать какое-то время вместе, потому что, как ни меняется на наших глазах обжитой нами свет, он изменяется не сразу; в нем все оживает вместе, все зовет к живому и страстному делу, и в этом и есть земная, пестрая и не часто ощутимая прелесть доставшейся нам жизни.

«Антон» пережил многих своих ровесников, отставленных и отданных на слом. У тех тоже были сухие сокращенные названия из условных букв и цифр, но не было ласковых кличек; те были капризны и обжорливы, а этот неприхотлив, безотказно послушен и демократичен.

Тюменский летчик-рыболов летал к заблудившимся геологам на «антоне».

На «антоне» сделано великое множество добрых, трудных, будничных и героических дел.

И множество летчиков именно за ручкой управления «антона», летающего в стороне от больших воздушных магистралей, стали такими, какие они есть: грубовато-открытыми и прямыми, немножко по-детски наивными, ворчливо-отзывчивыми, умеющими самоотреченно ценить товарищество, излучающими дорогое тепло легкой и стойкой мужской дружбы.

Когда видишь его на земле, «АН-2» заставляет вспомнить о детстве авиации: биплан с кургузыми плоскостями, с неуклюже-толстым, как бы сплюснутым сзади и спереди телом. Но на самом-то деле эта машина вобрала в себя все лучшее, что было ко времени ее рождения накоплено авиацией. «Антон» получил и маневренность, и экономичность, и уверенную устойчивость в воздухе, и ту небольшую, до минимума доведенную посадочную скорость, которая позволяет ему ограничиваться таким коротким разбегом при взлете и на посадке.

АН — это сокращение фамилии конструктора: Антонов.

Олег Антонов строил эту машину.

И я вспоминал в дороге короткое и давнее знакомство с конструктором четверть века назад, на одном из традиционных в то время слетов планеристов в Крыму, в Коктебеле.

Планеры стояли недалеко от небольшого курортного поселка, на плосковерхой, голой и синей горе. Вокруг горы — невидимые — устремились в небо прославленные своей силой воздушные потоки; они и влекли сюда планеристов.

Сами планеристы жили внизу, на берегу моря, в пустой каменной даче, сплошь заставленной железными солдатскими койками и сохранившейся давнее звучное, барское наименование: вилла «Адриана».

Восточный ветер гнал к даче море. Волна хлестала через пляж, шушала здешней — тоже прославленной — пестрой галькой, сгребала камешки, бросала их к белой стене «Адрианы» и снова с шумом забирала, раскатывала по пляжу, отхлынув. Чаще это бывало ночью, и шум ветра, камней и моря не будил планеристов; они уставали за день и спали здоровым сном.

Они жили все вместе — летчики, конструкторы и очень еще в ту пору немногочисленные спортсмены-парашютисты. Впрочем, и планеристы были тогда не те, что теперь, — молодежи не много, а больше опытные, в годах, летчики. В безмоторном полете была для них своя прелесть, свой особый азарт и — больше — своя наука. Они узнавали законы воздушных течений, выводили планеры к грозовому фронту и ходили впереди туч, помогали конструкторам испытывать аэродинамические свойства крыла и вывозили в воздух парашютистов.

От виллы на гору всех их с рассветом доставляли грузовики.

Вблизи гора оказывалась не синей, а изжелта-темной: сухая, солнцем обожженная глина и выветренный киммерийский камень. Планеристы в сатиновых комбинезонах прыгали с машин, разбегались к кабинам фанерных аппаратов, привязывались ремнями к сиденьям, и сразу, один за другим, планеры, как из пращи, выстреливались резиновым жгутом катапульты и взмывали на гребне знаменитых воздушных потоков в яркое крымское небо.

Антоновские планеры выглядели красивее других.

Их обтекаемость была непривычной. Теперь мы привыкли даже к плавно обтекаемой мебели, не говоря уже о самолетах, автомобилях и пароходах. Но тогда аппараты эти выглядели неправдоподобно, как ожившая иллюстрация к фантастическому роману о двухтысячном годе, до которого нужно было еще ждать почти семьдесят лет.

Планеры поднимались с земли стремительно и круто и парили на длинных и узких крыльях с мягко заостряющимися концами. Тело планера было соразмерно изяшным и легким; восходящий поток теплого воздуха поднимал его вверх, вверх, и казалось, что человек в кабине теряет свой вес, ныряя в небо, как в море. И — бесшумный полет в теплой голубизне; такой бесшумный, что можно голосом — не крича — с высоты переговариваться с землей; парение птицы, воплощение возвращающегося детского сна, о котором говорят: «Летаешь — значит, растешь».

Вместе с Антоновым, вместе со всеми участниками слета жил на «Адриане» и ездил на гору седой, сутулящийся и нелюдимый конструктор, который мечтал о «летающем крыле». Ничего лишнего не должно было быть у его самолета. Только широкое крыло причудливых форм, которое чертил он, ища и меняя очертания, на бумаге и на приморском песке. Свои планеры он тоже строил, год от году меняя их форму, но сохраняя все тот же принцип: большое крыло — треугольником или сплюснутым, неправильным ромбом — и ничего больше. Очередной его планер-крыло стоял на горе, похожий на хмурого птеродактиля допотопных времен. Летчики забирались в него с неохотой. Крыло взлетало, но не было в нем послушной легкости; оно оставалось тяжелым, неуклюжим, не давало пилоту того ощущения полной слитности с машиной, при которой машина словно опережает твои движения, сама угадывает твою мысль: захотел, и она повернула; подумал, а она уже вся подалась вверх, и круто набирает высоту... Крыло взлетало, потом, тяжело планируя, делало свой круг и грузно опускалось на землю. Летчик сбрасывал лямки и понуро («опять огорчать человека, что ж тут хорошего?») брел к конструктору: рассказать обо всем, что не нравилось, что сердило и беспокоило в полете. Конструктор переспрашивал, записывал, думал... А несколько лет назад, когда над Москвой проходили самолеты, готовясь к первомайскому параду, странной тенью — древним гигантским птеродактилем, раскинувшим крылья, — мелькнул в небе темный сплюснутый ромб; он исчез из виду, за ним пришел короткий, лязгающий металлический свист и тоже исчез, и мне при-

помнились чертежи на песке и темное крыло на синей горе. Понадобились четверть века и новые, неизвестные прежде движущие силы, которые обгоняют звук, чтобы крыло обрело скорость и подтвердило расчеты конструктора, оправдав его перед недоверчивыми летчиками, свидетелями давних неудач.

Конструктор живет, опережая время.

Но он не универсалист. Одну и ту же техническую новинку рождает содружество наук, труд многих искателей, идущих к общей цели своими путями — в одном темпе своей эпохи, но не в тождественном ритме: по мосту времени шагают не в ногу, и порой дальновидный и верный аэродинамический расчет должен дожидаться, пока физика и химия добавят к нему новое горючее, иной двигатель или новый строительный материал.

Так ждали своей поры пророчества Циолковского, чтобы из мечты фантаста превратиться в точное предвидение ученого. Так дождалось нужной ему техники лишенное мотора крыло, так обтекаемый планер Антонова существовал, когда пассажирский самолет напоминал еще нескладную каретку старинного автомобиля, снабженную крыльями и четырехлопастным деревянным винтом, который заводился вручную.

Но почему же «АН-2» так не похож на своих безмоторных предшественников? Почему нет в нем того щегольского изящества обтекаемых форм, какое ко времени рождения «антона» уже многие типы самолетов уподобило горизонтально летящей, стремительной капле?

На том давнем коктебельском слете Олег Антонов был моложе остальных конструкторов. Он, кажется, был еще студентом; во всяком случае, в нем легче было предположить юного авиамоделиста, чем автора проекта планеров, выпускаемых заводскими сериями для всех аэроклубов страны.

На его планерах летчики летали за милую душу: уходили далеко, опускались, бывало, в горах или в херсонской степи, возвращались через несколько дней с попутными грузовиками, порой ставили в полете рекорды. А после полетов конструктор купался с летчиками в море, где солнце варило свой теплый суп из водорослей, медуз, сердоликовых камешков и мелькающих рыбок; а то еще забирались они в ближнюю деревушку, к белым мазанкам виноделов и гончаров, пили кислое молодое вино, и Антонов слушал, как летчики говорят о машинах, сплетая в одно сегодняшний полет с «летающими этажерками» гражданской войны, как впечатления проверяют они воспоминаниями; как переводят то, что для него, конструктора, было итогом сложного расчета, математической формулой, на язык простых, испытанных ими чувств, жестких энергических слов: «послушалась», «не идет», «ручку навалил до отказа, а нос все вниз смотрит», «только что меня теплым воздухом вверх толкнуло, а тут — холодный поток как накроет!..»

Там был Иоост. Он бомбил Юденича под Петроградом и Колчака под Уфой. Он летал на всех аппаратах, какие знала авиация на своем еще коротком тогда веку. И он до смерти боялся жены, которая приехала с ним, поселилась в деревушке и умела безошибочно настигать его всякий раз, едва он собирался поднять только что налитый в кругу друзей стаканчик.

Там был молодой Сыроваша. Он твердо знал про себя, что сумеет поставить все рекорды, какие существуют в таблицах, для планеров и для самолетов. У него совсем не было слуха и был срывающийся мальчишечий голос, но он громко пел в воздухе, уходя на бесшумной машине кверху, заваливая ее в пике, опять выравнивая и закладывая новую замысловатую фигуру так красиво и смело, что в будущие его

рекорды мы все верили вместе с ним. Ваня Сырокваша успел попасть в таблицу рекордов; не помню точно, кажется, это был один из давних рекордов высоты на планере; но вскоре Сырокваша погиб, и потом я узнавал его во множестве молодых летчиков, особенно в годы войны; узнаю и сейчас, и поэтому мне всегда кажется, что Ваня Сырокваша жив и поет, взлетая к грозовому фронту на своей бесшумной, легкой и яркой машине.

Там был Маттиатис. Почти однолётка и приятель Иооста, он тоже участвовал в гражданской войне: летал на украинских фронтах, поддерживал с воздуха атаки шахтерских дивизий и Первой Конной на Деникина; однажды сделал «вынужденную» в расположении врага и успел починить и снова поднять в воздух свою фанерную этажерку, прежде чем его захватили. Плотный, развально-медлительный в движениях, немногословный, невозмутимо-флегматичный, он всегда готов был на самые неожиданные эскапады и бывал в них не пассивным соучастником, а неутомимым заводилой. У него были те самые очень светлые голубые глаза, какие обычно зовут «водянистыми». Но тут была не вода; уж очень легко вспыхивали глаза Маттиатиса озорным и легким огнем, хотя этот огонь не ускорял движений летчика и не прибавлял ему слов. Маттиатис мог посреди ночи прийти к койке Антонова, серьезно и неторопливо стащить с него одеяло и сказать как ни в чем не бывало, будто речь шла о давно условленных вещах:

— Так там лодка ждет. Идти надо.

И уходил вразвалочку к берегу, зная, что разбуженный придет за ним. И верно, там стояла лодка, и в ней уже сидели другие поднятые Маттиатисом с постелей — Иоост, или Сырокваша, или еще кто-нибудь. Лодка шла в черноту скал, к Сердоликовой бухте. Люди в лодке еще не стряхнули с себя сон, еще ежились от ночной прохлады, еще не замечали, как висят здесь огромные звезды, совсем близко от них, ниже черного неба, и как фосфоресцирует под ударами весел морская вода. Замечал ли это Маттиатис? Наверно, замечал. Потому что тут-то и начинало прыгать в его глазах светлое, веселое пламя.

Он принадлежал к великолепной породе первых русских летчиков, летавших на «фарманах» и «ньюпорах» и почти поголовно ставших на сторону революции с первых дней Октября. Это были абсолютно здоровые душою и телом люди, привыкшие верить в себя, счастливые в риске, пока они живы или, по крайней мере, пока они могут летать (потому что те, кому изменило это счастье, либо лежат под пропеллером вместо креста, либо уходят из авиации), зашитые с ног до головы в мягкую черную кожу, немного избалованные тем же восхищенным вниманием мальчишек и женщин, какое знавали раньше знаменитые чемпионы цирковой французской борьбы или шоферы первых автомобилей начала столетия, которые тоже ходили в кожаных куртках и галифе, в черных кожаных фуражках, в огромных перчатках с широкими крагами, — хозяева новой техники, новых скоростей, создающих лицо наступившего века.

Их было не много, этих пионеров русской авиации; они все знали друг друга, и отношения Иооста и Маттиатиса были звеном той корпоративной дружбы, которая объединяла всю эту сотню людей, как век назад могло объединять кого-либо, скажем, сопричастие к масонской ложе. Они знали всё друг про друга, знали, чего каждый стоит в бою, знали привычки и слабости — всю подноготную.

Иоост любил рассказывать про Маттиатиса анекдотические истории.

Он рассказывал, как в начале двадцатых годов товарищ, приехав-

ший проводить первую партийную чистку среди харьковских летчиков, но не успевший еще хорошо с ними познакомиться, хотел исключить Маттиатиса из партии. Дело было такое: Маттиатис завел бульдога, и кто-то рассказал товарищу, проводившему чистку, что летчик вставил бульдогу золотой зуб.

Это было правдой.

Летчик достал золотой царский полуимперал и с трудом разыскал «человеческого», как он потом говорил, зубного врача, который согласился сделать из этого полуимперала зуб и вставить его собаке.

Нэпманы прятали тогда золото от Советской власти. Было трудное, голодное время.

Товарищ из партконтроля, старый большевик, токарь с паровозостроительного, потом вилюйский ссыльный и недавний комиссар бронепоезда, в побелевшей кожаной куртке, недоумевал и гневался, распаяясь: «Неужели и летчик, участник гражданской войны, член партии, тоже спрятал золото — псу в пасть?»

Нехорошо оборачивалось дело.

Но оно объяснилось.

Оказалось, Маттиатису очень понравилось, как его пес улыбался. Он скалился, криво задирая губу и обнажая крепкий матовый клык. Мысль о том, как обольстительна станет бульдожья улыбка, если в ней засверкает золотой зуб, не давала Маттиатису покоя и зажигала в его глазах знакомое светлое пламя. Он выменял полуимперал на свой многодневный пилотский паек и «схлопотал» потом строгий выговор на партийной чистке.

Выносили выговор веселясь, но предупредили всерьез:

— Шути, да знай время. Погоди маленько до мировой революции, а тогда своего трезора хоть с золотой тарелки корми...

Еще Иоост рассказывал, как в прошлом году здесь же, на предыдущем слете, Маттиатис однажды так долго не выходил из своей комнаты, что друзья взволновались. Они пришли к нему. Дверь была закрыта. Друзья постучались. Маттиатис откликнулся смущенно:

— Понимаешь, голова болит. Лежу, слушаю. Очень интересно.

Ему было почти сорок лет, и он впервые узнал, как это бывает, когда у человека болит голова. Конечно, очень интересно...

Так рассказывал Иоост про Маттиатиса.

Летчики оба они были виртуозные.

С ними и с их друзьями, с летчиками постарше и помоложе, ходил тогда и летал Антонов.

Он знал, чем они дышат.

Мы много и правильно говорим сейчас о необходимых контактах наук и искусств с жизнью. В статьях это выглядит несколько отвлеченно. В живой биографии авиационного конструктора это, вероятно, и грузовик, в котором трясется он в тесноте вместе с летчиками, добываясь на летное поле, и лодка, где поет Сырокваша, и тесное, неудобное место где-нибудь за спиной пилота, в полете, и полночный неожиданный разговор с теми, кто водит и твою и другие машины,— разговор, в котором вдруг да и осветится с неожиданной стороны какая-то проблема, которая долго от тебя ускользала, не даваясь в руки...

У Антонова все это было с начала его пути.

И я понял его машину именно тогда, когда, пролетая над Обью на водном «антопе» (он же, если предпочитаете,— «аннушка»), вспомнил отвагу Сырокваша, флегматичное озорство Маттиатиса, насмешливый скептицизм старого Иооста.

Олег Антонов делал эту машину, помня о летчиках дальних дорог.

Он пожертвовал щегольством, быстротой полета и построил летающий газик, невзрачный на бетоне, в кругу респектабельных «ИЛов» и тех новых реактивных машин, в которых не перестает чувствоваться движение, даже когда они стоят на месте, но любимый признательной и верной любовью везде, куда люди приходят впервые, где они ищут, заглядывают в завтрашний день и лишь начинают по-хозяйски располагаться.

Из снеговой тучи наш «АН-2» вынырнул перед самым Салехардом. Деревянный город уже виднелся внизу.

Основанный еще в 1595 году, лишь девятью годами позднее Тюмени, — Салехард лежал в междуречье, в треугольнике рыжей тундры с пятнами снега, при впадении в Обь реки, именуемой Полуь.

Был уже вечер, но солнце стояло высоко.

Оно вовсе не заходит здесь в это время года. Мы пересекли Полярный круг где-то в туче, но, вероятно, не заметили бы его и в том случае, если бы полет наш происходил в ясном небе.

Напротив города из воды торчали обшитые дранкой крыши каких-то строений, затопленных неоглядно широким половодьем.

«Антон» сделал круг, коснулся воды, пробежал по Оби, и снова моторка потащила нас к плавучему бревенчатому причалу.

Геннадий Кузин проснулся, вылез из-под брезента и, сонно потягиваясь, сказал:

— Интересно бы знать, куда же мне дальше ехать?

Он закинул за плечи тот зеленый мешок, что зовется у солдат «сидором», и мы спустились на катер.

### Переправа через Обь

Вышло так, что с Геннадием Кузиным мы встретились снова.

На следующее утро я увидел его на салехардской пристани. С зеленым «сидором» за плечами, он стоял в той же очереди на посадку, чтобы плыть за Обь, из Салехарда в Лабытнанги.

Нас вез туда белый небольшой теплоход, такой же точно, как те, что ходят по Москве-реке и каналу, из Химок на Клязьминское водохранилище, мимо гранитных набережных, под широкими мостами столицы.

За Полярным кругом теплоход прижился, не меняя привычек. Из его репродукторов гремели над Обью те же напевы про подмосковные вечера и про донской краснотал. Может, запел бы он и про Обь, но таких песен не было на его пластинках. Зато сама Обь была перед ним — во всей своей широте и силе.

Мы видели ее берега, невысокие и пустынные.

Катер лавировал среди плотов и молевого, разбросанного по воде сплавленного леса. Еще прошлым летом бревна были спущены на воду за тысячу километров отсюда, в тайге; они перезимовали во льду, а теперь оттаяли и поплыли дальше, в Обское устье, к селениям ямальских ненцев.

В этих селениях совсем недавно стояли только чумы из нескольких тонких жердей, обтянутых лысами, вытертыми на кочевьях оленьими шкурами. А теперь теплоход плутал среди плывущих туда бревен, и это обилие строевого леса в устье Оби само красноречиво повествовало о том, как меняется жизнь в здешних местах, где до сих пор каждый дом, поставленный в тундре, был отмечен на карте, чтобы служить путнику желанной и редкой приметой.

Я видел штурманскую карту на «антоне».

Пустынные просторы тундры, и среди них крохотный черный квадратик с надписью рядом: «изба».

Мы летели, глядели вниз, и вот она показывалась под нами, обещанная изба,— такой же черной точкой, как на чертеже, в такой же плоской, как чертеж, безлюдной, недвижимой шири мерзлой земли и болотной воды.

Такие избы не всегда срублены для житья. Порой поставлены они просто на пути вековых охотничьих кочевий. Проходят здесь люди в поисках пушного зверя или белоперой полярной дичи. Идет охотник долго; устанет, озябнет, но помнит: есть изба на дороге. И охотник знает, что в такой избе найдутся и дрова возле печки, и коробок спичек, и закопченный котелок на плите, а может, и крупа какая-нибудь, и комок слежавшейся соли в старой консервной банке, и сухарь... Поест охотник, обогреется, выспится — вспомнит о том, кто может еще сюда забрести, пополнит запасы и пойдет дальше, своим путем.

Но так же одиноко может стоять и жилистая изба. Сверху ее сразу отличишь: двор, хозяйство и вьется над крышей живой дымок от огня, зажженного человеком в своем очаге. Тропы никакой не видно внизу, возле черной точки. А следующую избы не разглядеть и в широком окоме, открытом с полета. Если пешком шагать — там, внизу, по тундре,— до другой избы несколько дней пути. Да и с воздуха мы ее тоже не скоро увидим. Но она покажется. И над этой одинокой избой тоже колеблется синий дым очага: живет человек, делает свое дело, растит детей.

А на карте — одно короткое слово, четыре буквы: и з б а.

И каким же оно емким становится здесь, это слово!

Одно лицо духовного звания, ходившее в начале XVIII века «в народ остяцкий», сообщало затем в своих записках, что в низовьях Оби «проистекает острое и скудное жытие и прочая неудобь, нестерпимая человеческой природе». Четыре буквы на карте оспаривают эту жалобу духа — слабого и изнеженного. В короткое слово вложена здесь целая повесть о мужестве, о победе над «нестерпимой неудобью», о торжестве человека, по-своему переделывающего «острое и скудное жытие», навязанное ему недружелюбной природой.

И вот перестают быть одиноками первые избы в заполярной тундре. Прочные рубленные дома строятся вместо чумов в ненецких селениях. Плывет по Оби строевой лес.

Как ни уходит от молевых бревен рулевой, как ни ловчит он, немало даже кокетничая сноровистостью то плавных, то резких движений, а бревно нет-нет да и прошуршит по белоснежному борту.

Одна за другой открываются глазу неширокие протоки.

Иногда мы сворачиваем на узкую водную тропинку, потом снова выходим на спокойную ширь, пройдем немного, и опять фарватер уведит нас за низкий мысок, в протоку, похожую на десяток других, мимо которых мы проходили, не сворачивая.

Плавать тут нелегко.

Прибрежная тундра с палубы кажется обыкновенным зеленым лугом.

Во впадинах еще лежит плотный снег, а рядом сочно зеленеет высокая трава.

Как быстро набирает она силу под незаходящим солнцем, как стремительно идут здесь в рост травы, торопясь наверстать и позднюю весну и короткое лето.



Промелькнула в траве не первый уже, видно, год ржавеющая тут косилка. Одиноким рыбаком примостился неподалеку.

Косилку заметил Геннадий Кузин.

Он неодобрительно покачал головой:

— Хозяева тут, похоже, богатые...

Геологическая партия, в которую он направлялся, находилась за Обью, за поселком с непривычно звучащим названием: Лабытнанги.

И мне нужно было попасть туда же.

Оказалось, кинооператор, которого я догонял здесь, ушел две недели назад на Полярный Урал с экспедицией Академии наук, посвященной программе Международного геофизического года. Пока еще от экспедиции не было никаких вестей. Маршрут ее был известен, но отыскать эту экспедицию теперь можно было только на вертолете, а вертолет был у геологов за Обью.

Я отправился на поиски вертолета и снова встретил Геннадия Кузина.

Условимся сразу: Геннадий Кузин существует; он летел со мной на «антоне» и шел по Оби на катере. Но зовут его на самом деле иначе.

Иначе зовутся и доктор Храпов, и легкоатлеты, которых я назвал Капой и Петей, и те, с кем я хочу познакомить вас дальше. Я изменяю их имена, чтобы записать про них и то, в чем они, быть может, совсем не хотели передо мной открываться, а также, чтобы иметь право написать и о том, в чем я мог ошибиться, что домысливал от себя, заполняя пробелы, неизбежные при коротком дорожном знакомстве.

По этой же причине я не назову настоящим именем и поселок за Обью, куда мы направлялись из Салехарда с попутчиком-трактористом: в том поселке есть лишь одна геологическая экспедиция, а в экспедиции есть только один человек, который мог бы узнать себя в том, кого я собираюсь назвать Ачкасовым. Но он был не прав: «Ачкасов» вовсе не фотография его, а лишь быстрая зарисовка, в которой соединились штрихи многих встреч — первые впечатления от разговоров с людьми одного из полевых штабов на «передовой» фронта социалистического наступления, развернувшегося на тысячи километров в заполярной тундре.

Пусть называется здесь этот поселок — Речная.

Чтобы попасть туда из Салехарда, нужно было сперва переправиться через Обь, и эта переправа с одного берега реки на другой на быстроходном, вполне современном теплоходе длилась больше трех часов. Такая это река.

Белые теплоходы пошли по ней только с неделю назад, когда с Оби сошел лед. Зимой здесь переправлялись на машинах — по ледоставу, через острова и косы, и это было быстрее. А у Салехарда видны первые устои моста; он должен был протянуться более чем на два километра, и его начинали строить несколько лет назад, чтобы перетянуть доведенную до Лабытнангов железную дорогу через Обь и повести ее дальше, к Норильску. Этот замысел не оставлен; он лишь отсрочен и дожидается своей поры.

А тем временем перед катером открывается еще поворот и еще протока, зеленеет на берегу трава рядом со снегом, а за спиной вдруг слышится гортанный голос:

— Дай ручку, погадаю тебе, красавица...

Да, цыганка.

В Салехарде у катера не видно было никаких цыган. Они появились на палубе неведь откуда: чернородый мужчина в примятой коричневой шляпе, две женщины — старая и молодая — и мальчонка лет десяти, в чужом, со взрослого, ватнике, с такими же жаркими,

откровенными, как у бородача, глазами. Когда встречаешься с ним взглядом, кажется, будто он не просто тебя оглядывает, а подает какой-то условный, молчаливый, поторапливающий знак.

Молодая цыганка была — словно в присвоенной ей униформе — в длинной, до пят, очень яркой и очень широкой, с бесчисленными складками юбке. Она остановилась подле сидевшей на скамье пассажирки и повторяла гортанно и настоятельно:

— Дай ручку, красавица, всю правду тебе скажу.

Они были, наверно, однолетки — и цыганка и пассажирка: молодые женщины, лет под тридцать, обе по-своему красивые, но какой же непохожей красотой.

Одна — верткая, беспокойная, излучающая какой-то мнимый, необжигающий — вроде бенгальского — огонек, в котором чувствуется и холод профессионального завлекательства и равнодушие, даже некоторое презрение к завлекаемой. Другая — крупна и сдержанно сильна, светлоглаза и светловолоса. Низко повязанный платок не прячет высокого, чистого лба. Это красота северная, долго не гаснущая.

Неторопливая пассажирка протянула цыганке небольшую жесткую ладошку:

— Что ж. Скажи, что ли...

Чернобородый со старухой и мальчиком куда-то исчезли. Так, видно, велит своя этика: не собираться, не привлекать внимания, не мешать «делу».

Соседка высокой пассажирки поднялась, освободила цыганке место и стала рядом, с любопытством прислушиваясь к приглушенному гортанному голосу гадалки.

Кузин подошел поближе, я постеснялся. Слов мне не было слышно, только звучание голоса, ритм прерывистой речи, коротких, как заклинания, фраз. И я видел, как цыганка водит по чужой ладошке темным и тонким пальцем и часто вскидывает на женщину черные, пусто и голодно поблескивающие глаза.

Когда она договорила, женщина отозвалась лениво и разочарованно:

— И все-то ты врешь...

— Правда! — возразила цыганка. Теперь она тоже заговорила громко и внятно. — Цыганка правду говорит, все знает... Может, карты раскинуть, тогда больше скажу?

Женщина, заскучав, отмахнулась.

— Не надо мне.

Но похоже было, что она постеснялась окружающих и отвечает не цыганке, а им.

— Позолоти ручку, — привычно сказала цыганка и жестом нищенки, но с настойчивой и быстрой требовательностью протянула к женщине смуглую ладонь, сложенную узкой лодочкой.

Пассажирка положила в лодочку зеленую бумажку; цыганка сунула бумажку за пазуху и тут же обернулась ко второй пассажирке, стоявшей рядом.

— Дай ручку, тебе погадаю, красавица.

Та отвернулась, не ответив. Только повела большими, покатыми плечами, расправившими мужского кроя пиджак.

Рядом с цыганкой снова оказался чернобородый.

Не переговариваясь, они пошли вместе, цыган впереди, цыганка следом, легкая, звенящая украшениями; оба удивительно здесь чужие и неожиданные. Они завернули к трапу и остановились у крохотного буфетика.

Я подумал, что цыгану захотелось выпить; тут продавались какие-то местные настойки — на голубике и на другой северной ягоде; но чернородый спросил бутылку лимонаду и налил мальчику и старухе. Мне захотелось спросить, что же занесло их в эти края, такие далекие от привычных таборных дорог. Может, и не стоило спрашивать, может, и не ошибся я в нехитрой и печальной догадке. Но я спросил.

Цыган обжег меня быстрым, сразу погаснувшим взглядом и скучно сказал:

— Как все, так и мы.

— А что же здесь делаете?

Деваться мне было уже некуда. Я задал этот новый вопрос, уже точно зная, что не получу на него ответа. Так и вышло.

— Что все, то и мы,— опять ответил цыган, и в глазах его появилась неспрятанная насмешка.

— А в свои места не тянет? — спросил я, чтобы только закончить нескладный разговор и вернуться на корму, к Кузину.

— Какие у нас свои места? — вопросом ответил цыган, и глаза его снова блеснули.— Мы где стоим, там и дома. Сейчас вот здесь, на катере, нам свои места. В Лабытнанги придем — там свои места будут.

Я заметил, как к молодой цыганке подошла пассажирка в пиджаке и что-то ей, оглядевшись, шепнула. Они вместе пошли вперед, на носовую палубу. Там дул льдистый ветер ранней речной весны, пассажиры, расположившиеся было здесь перед выходом из Салехарда, постепенно все ушли вниз, в теплую каютку. Женщины были теперь вдвоем, никто не мешал им. Цыганка раскинула карты прямо на палубе, заслоняя их от ветра широкой юбкой. Быстрые руки ее и губы двигались непрерывно. Женщина наклонилась к ней со скамейки; она что-то переспрашивала, гадалка отвечала; неслышные слова можно было угадать: старые слова про любовный интерес, коварство крестового короля, про брачную постель и казенный дом, хитро сложенные слова, которые кажутся туманно-значительными, ничего не означая, и которые будто содержат в себе туманный намек на любую судьбу, будто отвечают на любой вопрос бесхитростного и страстного сердца то волнующей угрозой, то неясным обещанием счастья.

Две женщины вели свою древнюю игру с судьбой, ту же игру, какую тысячи лет назад две вавилонянки могли вести на ступенях храма, посвященного темным и алчным богам. Но тут эта старая игра шла на палубе белого теплохода, который вез нас из одного большого города в другой город, в места, которые так недавно чуть ли не белыми пятнами наносились на географические карты. И где-то над нами кружил по своей орбите над нашей планетой искусственный спутник. Сама дорога была воплощением торжества разума и сознательной человеческой силы. Как же совместило наше бурное время приметы всех долгих веков, формировавших человечество? Какой длинной колонной растянулись люди, работающие на это время и подгоняемые его стремительным движением?

Цыган стоял рядом и улыбался. Зубы у него были, как положено, счень белые, а одного из передних — справа — не хватало; там чернел провал, и поэтому улыбка нехорошо кривилась.

— А тебе, золотой, почему про нас интересно? — спросил он.— Ты думаешь, цыган только там живет, где коня увести можно?

Он наклонился ко мне и сам себе возразил:

— Было это. Теперь цыган все умеет. Плотничать можем. Маляром можем. Лудить, паять умеем. Сапоги шьем. Ну, два года дорогу строил, землю копал, это каждый сумеет, если придется,

Про «два года» цыган сказал так, что стало понятно: я не ошибся в первом предположении — не по доброй воле попал он в здешние места.

— «Всё» — это тоже не дело, — сказал я. — Надо одно что-нибудь выбрать. И к месту привыкнуть надо. Тогда люди уважать будут...

Цыган опять усмехнулся, показывая черный провал.

— Человек не дерево. Корни в землю не пущены. В одном месте сидишь — думаешь: «В другом-то, наверно, лучше...» Вот в Салехарде пожил, в Воркуту едем. Хороший город — Воркута. Жить можно...

Он заметил, что я снова гляжу на носовую палубу. Обе женщины сидели теперь рядом; цыганка все говорила, водя пальцем по чужой ладони.

Цыган кивнул в их сторону.

— Также цыганское дело, да? Ты говоришь — люди. Выходит, и это людям надо. А нам — хлеб. Вот мама ко мне приехала. Жена. Сын. Живем...

Он отвернулся, заметив, что мальчонка забаловался в опасной близости к борту, и занялся сыном. Я пошел на корму.

Есть люди, которые ведут время; других время ведет само, и они влекутся, мотаясь из стороны в сторону и сердясь на удары. Иной опомнится, поднимется на ноги, попадет в ритм шагов, ступающих рядом, и даже набитые синяки пойдут ему на пользу. А другой так и промотает жизнь до последнего часа, в злобном недоумении и в обиде считая, что отпущенное ему время обмануло его и недодало того, что брали другие.

Цыган этот мало изменился. Время влечет его и шибает вопреки всему, к чему он привык и чего ищет. Но он по крайней мере не сердится на время за это; он считает, что «Воркута — город хороший» и что на Севере «жить можно».

Многое же должно было перемениться в здешних широтах, если так заговорил о Крайнем Севере даже и не «ведущий» жизнь, а «влекомый» ею...

На корме зеленый «сидор» Кузина лежал на мешках той пассажирки, что ушла с гадалкой.

Геннадий сидел на ее месте. Он оживленно толковал со статной соседкой, и можно было без ошибки сказать, что оба они успели узнать друг о дружке куда больше и куда точнее, чем можно бы прочитать по линиям на их ладонях.

Я подсел к ним и вскоре тоже узнал, что нашу спутницу зовут Варварой, а фамилия ее — Брагина. Она живет с мужем в Салехарде; муж работает в порту, она — на рыбоконсервном заводе. Но квартиры у них еще нет, выгородили угол в общежитии и ждут: порт обещает и завод обещает тоже, но до осени, наверно, ничего не будет; поэтому дочку пока не привезли — она осталась у родителей Варвары, в селении Княж-Погост, в республике Коми, недалеко от Сыктывкара. Дочке пять лет, звать Валей.

— На одну букву разница, — сказала Варвара Брагина, — меня Варей, ее Валей, так муж придумал.

Она смутилась и спрятала смущение в открытой улыбке.

Но она сама не отдавала себе отчета в том, что разница тут не только в одной букве и не в смутившем ее воспоминании о нежной прихоти мужа. Различие в четверть века между временем ее собственного рождения и рождением дочери тоже сказалось тут: в деревню пришли имена, которые раньше считались городскими; крестьянские святцы не трогали их. Поэтому Брагиной казалось, что при различии в одну букву имя, которое они с мужем дали дочери, лучше, красивее, чем то, что сама она получила от своих родителей.

Я не согласился.

Варвара — хорошее имя. Мне всегда представляется за именами частичка характера. Конечно, это причуда. Познакомившись с человеком поближе, уже не вспоминаешь о том, каким его представлял себе по имени. Вероятно, совпадений оказалось бы не так уж много. Но причуда остается, и «Варвара» говорит мне о характере цельном и властном, о чистоте и прямоте.

Брагиной подходило ее имя.

И так оно и должно было оказаться, что родное ее селение тоже носит вот такое старинное новгородское название: шел князь с дружинниками в Югорские земли — брать дань с дальних пятин; не дошел, сложил голову у Печоры или у светлой Сысолы-реки; поднялся курган над его могилой — вот и Княж-Погост.

А может, и жив-здоров оставался здесь князь. Понравилось ему место, привез сюда купцов. Купцы звались тогда «гостями». Погостом могло быть кладбище, а могло быть и торжище. Но как бы оно ни было в давние годы, князь здесь долго не оставался. Вернулась сюда исконная дремучая тишь. А дружинники без князя осели, прилепились к сочным лугам, выжгли несколько десятин леса и засеяли поле. И посад их на века сохранил древнее имя.

В таких-то лесных местах и спеет, как прикрытый мхом боровик, спокойная, уверенная и тихая северная красота.

Попутчица наша рассказала, что у них на консервном заводе сейчас ремонт: путина (здесь говорят «вонзь» — ненецкое слово? или мансийское?) вот-вот начнется; рыба пойдет дней через десять, тогда и закипит штурмовая горячка. А пока Варвара Брагина взяла на время затишья недельный отпуск и едет в Княж-Погост проведать дочку.

Выходило, что все у Брагиной в жизни ладно и ясно: муж любит, дочка растет, квартиру дадут, и — знает она сама об этом или не знает, задумывалась над этим или не задумывалась — они с мужем принадлежат к числу тех, кто ведет время; ну, скажем, не впереди других, но в шеренге со всеми. Чего же искала она у гадалки, про что пытала судьбу?

«И все-то ты врешь», — припомнились ее разочарованные слова.

Значит, хотела заглянуть в свое завтра, проверить, все ли там прочно стоит на своих местах, а наплели ей про интерес молодого бубнового короля, хлопоты благородного пикового старика, нечаянные деньги (может, и прикинула: не премию ли дадут?) и ближнюю дорогу (чего проще, и так видно — на катере-то с вещами!)...

Румяный седой мужчина поздоровался с Кузиным.

Ого, оказывается, у Геннадия завелось уже много знакомых.

Ну да, он говорил, что не смог достать место в гостинице, ночь просидел на пристани, а там разговаривается легко.

— Успели, значит, Иван Никитич? — осведомился Кузин, ответив на приветствие.

— Успел, — сказал тот.

Он довольно похлопал по брюхастому портфелю и сел на скамью, по-стариковски покряхтывая. И разговор он перевел в привычное стариковское русло, похвалив для начала погоду, а потом эгоистически заговорив о своих делах.

— Начинается все-таки лето...

Лето начиналось.

На корме было безветренно. Флажок Обско-Иртышского пароходства обвисал над пенящейся водой. Глубокое неяркое небо было безоблачно, и впервые после отлета из Тюмени можно было почувствовать, что

солнце честно выполняет своей долг: пусть не по-июльски — по-майски, — но оно пригревало.

— Теперь нужно катер доставать, — без видимой связи с репликой о лете вздохнул Иван Никитич. — Наряд на сено получен, а вывозить самому надо...

Когда он заговорил о сене, я окончательно понял, что за представление вязалось у меня с самого начала с его обликом. В жестком брезентовом пыльнике, в светлой кепке и хорошо вычищенных сапогах, рослый, чисто выбритый, ухоженный так, как бывают ухожены только старые холостяки, привыкшие к казарменной аккуратности, Иван Никитич похож был на директора степного совхоза, откуда-нибудь с Одесщины или с Кубани.

И вот сено... Зачем ему здесь понадобилось сено?

Оказалось, что забота Ивана Никитича о сене имеет прямое отношение и к моим делам.

Иван Никитич был заместителем начальника той самой географической экспедиции, которую я разыскивал. В эту экспедицию ему надо было перегнать лошадей. Для лошадей он добывал сено.

Он рассказал, что лошади сильно отошали. Он привезет сено, с неделю покормит их, а потом отправит с человеком в горы. Переход займет несколько дней. Если я захочу...

Это было заманчиво — отправиться верхом на Полярный Урал. Но получалось чересчур долго. Лучше раздобыть вертолет.

Но зато оказалось, что в Речную — на базу геологической партии — Иван Никитич сумеет нас отправить без промедления. У него во дворе стоит вездеход, пришедший оттуда, и он уйдет назад в два часа дня.

«Его двор» — это был двор построенного Иваном Никитичем поселка. Поселок он строил несколько лет назад для другой научной экспедиции, теперь его отдали географам, и вместе с поселком перешел к новым хозяевам и его строитель.

А строитель он был прирожденный.

Необыкновенно смачно вспоминал Иван Никитич, где и что он построил. Летосчисление его начиналось с двадцатых годов. Координаты вели с Памира на Север. В воспоминаниях ранних лет объединялись погони за Джунаид-ханом, оценка строительных качеств самана и сухого верблюжьего кизяка, отрубленные басмачами и высохшие под солнцем пустыни головы мирных кооператоров, и восторг перед находчивостью и искусством старых узбекских зодчих, умевших строить так, что их дворцы и мечети не боялись землетрясений и уступали только натиску пустыни, сжигавшей оазисы и погребавшей города под барханами летучих песков...

Север в его биографии — самая длинная глава.

Он приехал сюда двенадцать лет назад, демобилизовавшись, но еще не успев снять капитанские погоны. В войну командовал саперной ротой, потом батальоном. Рыл болотные землянки на Волховском фронте, разминировал дороги и сожженные мины Восточной Пруссии.

— А здесь что же — знакомые были?

— Да нет, никого не было. Дело знакомое. Строить ехал.

И как бы оправдываясь, Иван Никитич пояснил:

— Тут ведь, знаете, интересно. Взять хотя бы вечную мерзлоту...

Он стал рассказывать, как приходилось придумывать свои строительные приемы, если взять для примера эту вечную мерзлоту.

— Раньше тут что ставили? Чум. Кое где избы рубили. А мы и двухэтажные дома строили. На восемь, на двенадцать квартир... Ну, конечно,

не мы первые. В Воркуте был опыт. В Норильске. Ездили, глядели. Но и наше тут кое-что есть.

Иван Никитич говорил с удовольствием, но без похвальбы. И так же деловито, как говорил он только что о местных технических сложностях, Иван Никитич сказал:

— Вот с рабочей силой было поначалу не просто. Начинали-то ведь мы с кем? Сами знаете...

Я не буду здесь подробно записывать слова его. Иван Никитич не сентиментальный, даже жестковатый человек. Он привык работать в тех реальных условиях, какие предложены ему обстоятельствами. Рефлексия не свойственна ему ни в какой мере. Моральную сторону дела он уложил в три слова, сказанные веско и горько:

— Неприятно было. Нехорошо.

Пять лет — немалое время.

Но есть вещи, о которых сложно, нелегко разговаривать и через пять лет.

Сейчас, когда мы прочитываем короткую и сухую фразу публициста о восстановлении революционной законности, мы испытываем радость и удовлетворение. Попытка же распространенно — да еще и художественно — повествовать о том, как именно нарушалась революционная законность, чаще всего вызывает у нас скорее неприязненное чувство: не то и не так; слишком это по-своему живо для каждого и слишком по-своему наболело. И, видно, не зря именно Фома Неверующий имел, как известно, склонность ко вкладыванию перстов в раны...

Иван Никитич коснулся этой темы с иной стороны, сугубо по специальности: с точки зрения экономики и производительности труда. Вспоминая собственную практику и подкрепив слова примерами, он заметил:

— Бывает, слышишь: «У вас же там дешевая рабочая сила была...» Чепуха это! Дорогая была рабочая сила. Очень дорогая!..

Его опыт лишь подтверждал старые истины марксистской науки.

— Ну, а теперь как? — спросил я. — Людей, наверно, не хватает? Набирать трудно?

Иван Никитич даже удивился.

— Почему? Нет, сейчас проще. Едут. И, знаете, большинство ведь всерьез едет. Вроде меня. — Он повторил: — А как же... Здесь интересно...

Теплоход вышел на главное русло Оби.

Здесь тоже было много дерева на воде. Бревна у лесотаски занимали добрую половину реки, над ними поднимался тонкий резной силуэт эстакады, и у причала виднелся красный корпус разгруженного лесовоза. Пустой, он стоял вровень с коньками столпившихся у берега тесовых крыш.

К поселку, построенному Иваном Никитичем, нужно было идти по оврагам. На невысоком пригорке стоял десяток весело окрашенных домиков, голубых и белых.

Рядом с ними тянулась аллея пятилетних берез. Это были не полярные деревца — крохотные и кривые, — а настоящие березки, еще тонкие, как хлыстики, и они шевелили маленькими, молодыми листьями.

— Я их снегом грел, — объяснил Иван Никитич. — В сугробе переживают, а летом растут...

У березок стоял вездеход.

Мы познакомились с водителем и поехали в Речную.

*(Продолжение следует)*



---

МАРК ЛИСЯНСКИЙ

★

## С ДОБРЫМ УТРОМ

Солнце красит за крышею крышу,  
Люд рабочий встречает зарю.  
— С добрым утром! — внезапно слышу.  
— С добрым утром! — в ответ говорю.  
Не любитель условных приличий,  
Почитаю превыше всего  
Этот очень хороший обычай  
И придерживаюсь его.  
Дорогое приветствие это  
Лично связано у меня  
С лучезарною кромкой рассвета  
И с началом рабочего дня.  
С ощущением правды горячей,  
Наполняющей сердце мое,  
С пожеланием редкой удачи  
Всем, кто в жизни достоин ее.  
С птичьим пеньем,  
С тропинкой крутою,  
Исчезающей где-то вдали,  
И со всей неземной красотой  
Нашей утренней милой земли.





---

ВЛАДИМИР СЕМАКИН

★

## КРАСНОЛЕСЬЕ

\* \* \*

Отцу, как и деду когда-то,  
становится зябко к зиме.  
Об этом почти виновато  
он пишет в последнем письме,  
мол, ходит за окнами вьюга,  
суглинок до метра застыл.  
«Вчера хоронили мы друга.  
Покойный ровесником был —  
из тех, кто работал в ревкомс,  
не зная ни ночи, ни дня.  
В округе их нет уже, кроме  
двух-трех стариков да меня.  
Лежит наш Егор и не дышит.  
Вот так и приходит черед...»

Случайно об этом не пишут,  
и кто старика упрекнет?

Желай не желай, невозможно  
быть вечным на свете жильцом.  
Я мчусь из-за дали таежной,  
не чая обняться с отцом.

От войн до паденья правительств —  
он был очевидцем всего.  
Весна небывалых событий  
застала на стрежне его.

Раздумьем, добытым ценою  
ночей со взведенным курком,  
он щедро делился со мною,  
как бор с молодым сосняком.

Делился, но снова и снова  
с подлеском беседует лес,  
как будто не сказано слова,  
что нужно сказать позарез.

Увидимся — схлынет забота,  
как это бывало не раз,  
и все же останется что-то  
для будущих встреч — про запас..

## ЛЕС

Темный лес, прикамский лес!..  
Сделал шаг — и жди чудес.

Жди чудес за каждой веткой,  
из-за каждого пенька.  
Вон — узорчатую сеткой  
виснет пряжа паука.

Вон — медведь прошел, сугулясь,  
вон — лосиные следы  
и людней московских улиц  
муравьиные ходы.

Вон — копытень и кислица  
кучкой держатся в тени.  
Зной пылает, стужа злится,  
снег валится, а они,

боровые травы эти,  
зеленеют круглый год,  
и не вздумай не заметить  
этих скромниц, пешеход!

И не вздумай отрешиться  
здесь, под елью и сосной,  
ни от белки, ни от птицы,  
ни от ягоды лесной.

Мигом норов нездоровый  
этот бор и без дубья  
не сосновой,  
так еловой  
шишкой выбьет из тебя.

Темный лес, прикамский лес...  
Сделал шаг — и жди чудес.

Жди чудес необычайных  
в этой чаще, как нигде.  
Тут лишайник — не лишайник  
без ухмылки в бороде.

«Знаю, кто ты, вижу-вижу...—  
по-колдуньи шепчет бор.—  
Подходи, знакомься ближе  
да не бойся темных нор.

Хочешь, ягоды откушай,  
набери маслят в картуз.  
Не моргай,  
смотри и слушай  
да мотай себе на ус.

Ты же умный, большелобый,  
любопытный — беда!  
Расколдуй меня, попробуй,  
будешь другом навсегда».

\* \* \*

Нужно много безумной отваги,  
чтоб снега пробуравить насквозь,  
но за сутки до шума в овраге  
сто ручьев этой волей зажглось.

Сто ручьев, устремляясь по спуску,  
ищут встречи с набухшей рекой.  
Для струи, напряженной, как мускул,  
нет преграды теперь никакой.

И крошатся колючие льдинки,  
чтоб уйти, не оставив следа  
там, где насмерть сошлись в поединке  
старый снег, молодая вода.

## ВЕСНОЙ

### 1

Хвастали вьюги,  
что вымерзнет речка,  
хмель на шесте  
не завьет ни колечка.

Хвастали вьюги,  
а много ли толку?  
Речка и в стужу  
текла втихомолку.

Там, подо льдом,  
занесенным порошей,  
явственно слышался  
смех скомороший.

Бревна плывут —  
значит, выжила речка.  
Хмель завивает  
седьмое колечко.

### 2

Брызжут деревья  
смолою и соком.  
Птицы встречаются  
в небе высоком.

— Здравствуй, соловушка!  
— Здравствуй, сорока!  
— Сладко ль поешь?  
— Да не слышал упрека.

— Знаешь ли ты,  
что в саду при долине  
яблони в стужу  
повымерзли ныне?

Дело сорочье:  
сказать — да и на кол.  
В сад  
прилетел соловей —  
и заплакал...

## 3

Весело в поймах  
речных и озерных.  
Дуб и смородина  
в листьях узорных.

Воздух над краем  
поистине винный:  
тут тебе мед,  
тут и спирт муравьиный.

Самое время  
встречаться влюбленным.  
Зелен покров  
под навесом зеленым.

Зелены  
даже  
болотные кочки...

Черные яблони —  
мертвые почки...

\* \* \*

Ай да сосны!  
Ай да краснолесье!  
Бронза с бронзой встала, с медью медь!  
Возле них, свое откуролесив,  
даже эхо может онеметь.

И воды студеной вроде не пил,  
и низиной шел не босиком —  
знать, восторг пред их великолепьем  
по спине струится холодком.

И нельзя, войдя под эти кроны,  
согнутой не выпрямить спины  
пред лицом наструненной до звона,  
устремленной к солнцу прямизны.

Привести б сюда, под эти сосны,  
силой, коль добром не захотят,  
всех лукавых, мелочных и косных,  
кто душою крив и свилеват.

И водить бы их по краснолесью  
от одной к другой прямой сосне...  
Ай да сосны!  
Кроны в поднебесье,  
хвоя в небе, корни в глубине!



---

---

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

★

## ПЯДЬ ЗЕМЛИ

*Повесть\**

### Глава 7

**О**ба письма от матери.  
«Сыночка! Утром искала я какую-то справку, и попалась мне твоя фотография. Ты, трехлетний, в рейтузах, сидишь на игрушечном коне и ручонками вцепился в гриву. Словно вчера это было, так ясно помню я и день этот зимний, и сугробы, и как я вела тебя фотографироваться. Ты еще не хотел надевать варежки, и я держала твою руку в своей. Такая она была мягкая, теплая! И вот ты уже на войне... Всю ночь ты мне снился маленький, гладил меня ладошками по щекам, и я проснулась в слезах. Береги себя, родной!..»

А дальше коротко о себе: «Здорова... обо мне не беспокойся, работы сейчас на здравпункте много. Да это и хорошо: пусто дома без вас. Я очень сдружилась с моей санитаркой Анной Саввишной. У нее тоже сыновья на фронте. Мы и едим вместе. После приема Анна Саввишна кипит чай...»

Чем старше я становлюсь, тем почему-то чаще и чаще вспоминаются мне обиды, которые причинил я матери. В восьмом классе мы уже относились к ней снисходительно. Мы спорили с братом о прочитанных книгах, и если мать иногда пыталась вставить слово, мы вежливо умолкали. Она терялась: «Может быть, я не понимаю...» «Ты-таки не понимаешь, мама», — говорили мы и казались себе в этот момент очень умными. Она мало читала. Но мы прочли эти книги потому, что у нее не было времени читать их: она работала на нас. Одна, она растила нас двоих на свою зарплату зубного врача.

Помню, от фабрики, где мама работала на здравпункте, дали нам комнату в большом шлакобетонном доме, как раз над аркой, так что пол зимой был всегда у нас холодный. Прежде здесь помещалась какая-то контора, и когда мы переехали, пахло в комнате пылью, окурками и чернилами, дощатый пол был в чернильных кляксах, а стены на уровне спин вытерты и замаслены до черноты. Мама позвала женщину, вдвоем с ней, разведя клеевую краску с мукой, белила потолок, красила стены: это было дешевле, чем звать маляра. Стоял ноябрь, земля замерзла уже, но снег не выпал, от этого было еще холодней. Мама часто выбегала на улицу раздетая, потная и простудилась. Она сама поставила себе диагноз: воспаление легких. Приходили врачи, приходили родственники, и как-то я услышал случайно, что бояться кризиса, потому что она сильно истощена и может не выдержать. Удивительно, как я ничего не

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

понимал в девять лет. Я тогда учился во втором классе, на уроке по труду мы, несколько человек, делали рамку для портрета, я должен был ее закончить дома, нечаянно испортил и боялся признаться в этом. Хорошо помню, как я подумал в тот момент: если мама умрет, никто в школе не станет требовать у меня рамку. Но вечером, когда никого не было дома, а на полу стояла настольная лампа, загороженная газетой, я услышал дыхание мамы. В груди у нее все клокотало и хрипело. При странном свете с пола, от которого все тени были на потолке, она казалась непохожей на себя. Лицо было в тени, блестел только влажный лоб, скула и худые ключицы. А на одеяле лежала мамина рука с набухшими венами и плоским ногтем на большом пальце. Родная мамина горячая рука, которая всякий раз, когда я заболел, гладила меня по лицу. Мне вдруг страшно стало. Я убежал на кухню, стал в углу на колени, прижался лбом к батарее парового отопления, на которой сосед сушил валенки, и молился. Впервые в жизни молился: «Господи, родной, дорогой, не нужно!.. Любимый господи, сделай, чтоб мама не умерла!.. Пусть меня ругают за рамку, только чтоб она не умерла!..»

Или мы стали взрослыми, или мать наша постарела, но мне отсюда она кажется маленькой, нуждающейся в моей защите. Я вижу, как они сидят с санитаркой вечером на здравпункте, две матери, у которых сыновья на фронте. Лампа свешивается на фарфоровом блоке (в детстве мне все хотелось высыпать оттуда свинцовую дробь), множество никелевых щипцов в стеклянном шкафу и запах лекарств и гвоздики. Они пьют кипяток с пайковым сахаром и пайковым хлебом — четыреста граммов хлеба на день.

Мне не забыть, как в сорок втором году на Северо-Западном фронте возвращался я из медсанбата в полк. Держался еще морозец, но в небе стояло весеннее солнце, и воздух был весенний, и таяло на припеке. Где-то в районе Бологого увидел я лагерь пленных. Колья, колючая проволока, размешанная ногами грязь со снегом. А около проволоки, повесив винтовку на плечо, часовой вдвоем с немцем разматывал веревочку, и оба смеялись, и немец на морозном воздухе откусывал хлеб и прятал его в карман. Я вдруг закричал на часового. Уже не помню что, помню только, он испугался: «Ты чего? Ты чего?» — и стал подгонять немца штыком в глубь лагеря, оглядываясь на меня, как на бешеного: его война не коснулась.

Всякий раз после этого, когда я видел сожженные деревни, расстрелянных людей наших, находил в карманах убитых немцев фотографии повешенных, мне вспоминался этот смеющийся немец, откусывающий хлеб. Мать моя получает по карточке хлеба столько же, сколько и он: четыреста граммов.

Когда мы вернемся с войны, ты не будешь работать. Мы посадим тебя за стол... Я не знаю, где это будет, потому что и дом наш разрушен бомбой. Но мы посадим тебя за стол и будем сами ухаживать за тобой и подавать тебе. Ты достаточно поработала на нас в жизни, теперь будем работать мы, взрослые твои сыновья.

При свете карманного фонарика я дочитываю на колене второе письмо. Сквозь строки — тревога за меня. Как война изменила все понятия! Бывало, стоило заболеть одному из нас, и сколько волнений, страхов. А вот сейчас старший брат ранен, четвертый месяц лежит в госпитале, и матери спокойно за него. Больно, ранен, но — жив! А я на фронте. И все тревоги за меня.

Родная моя! Я один из многих тысяч лейтенантов, воюющих сейчас на всех фронтах. Одинаково одетых, одинаково обученных, одинаково вооруженных ваших сыновей. Ежемесячно сотни таких, как я, выпускают

училища, сотни нас убивают на фронтах. Когда планируется крупная операция, заранее планируют потери. В рядовом, в командном составе. И уже заранее, до начала операции, известно — примерно, конечно, не с точностью до единиц, — сколько нас будет убито в этих боях, сколько отвезут в госпитали, сколько потом снова вернется в строй. А вместе с тем, как любая из этих единиц, я — это только я и никто больше. Лейтенанта Мотовилова, выпущенного в таком-то году вторым Ленинградским артиллерийским училищем, можно заместить на должности командира батареи другим выпускником училища, и тут не будет никакой беды. Но меня, рожденного тобою на свет, не заменишь тебе ничей сын. Пусть он лучше, способней, умней, — я тебе вот такой дорог. Меня мог бы заместить на земле и в твоём сердце мой сын. Но если убьют меня, его не будет. Пуля, убивающая нас сегодня, уходит в глубину веков и поколений, убивая и там еще не возникшую жизнь.

Нас миллионы сыновей у нашей родины, готовых отдать за нее жизнь. Смерть одного из нас в бою — не смертельная для нее потеря. Но у тебя нас только двое. И все же я не хочу себе судьбы, отдельной от них. Мы столько раз вместе сжимались под обстрелом, вместе сидели у костров, и хлеб, и вода в котелке, и огонь были общими. А когда не было всего этого, мы ложились тесно и в мороз согревали друг друга теплом своих тел. Я до сих пор несу в себе тепло тех, кого уже нет в живых, я часто думаю их мыслями, в душе моей часть их души. Я знаю, ты поймешь это.

Передвинув пистолет на живот, я ложусь на нары, на свежие, хрустящие кукурузные стебли. Только вчера кончили строить эту землянку, и все в ней еще необжитое. Жирно блестят непросохшие глиняные стены со следами лопат, на косо срезанном корне выступили капельки воды. А от бревен наката, которые еще вчера ночью были деревьями, пахнет свежей древесиной. Весь потолок заслонила черная тень от головы Коханюка. С трубой на ухе, он коленями стоит на соседних нарах, топит над свечой сало, сонными глазами глядя на огонь. Сало трещит, брызжет синими искрами, черные от копоти капли падают в плошку, и пахнет в землянке жареным.

Я переворачиваюсь на другой бок. Снять, что ли, сапоги?

Упираясь носком в задник, я поочередно стягиваю их до половины: когда нога в голенище, подъем не жмет. Поправив полевую сумку под щекой, с головой укрываюсь полою шинели, чтоб свет копилки не резал глаза.

Мне часто снится один и тот же сон: голубая лунная дорога и пехота, густо идущая по ней. Завязанные ушанки, пар от дыхания, поднимающийся над ними, иней на спинах, иней на стволах винтовок и визг, визг множества сапог по замерзшему снегу. А высоко в небе — звезды, тоже в морозном пару. Если глянуть вперед из-за качающихся спин — впереди между снежными отвалами дорога сходится клином.

Собственно, это даже не сон. Это первая моя ночь на фронте. Но она почему-то часто снится мне. Нас тогда выгрузили из эшелона, и всю ночь мы шли к фронту, засыпая на ходу и натываясь на передних. Один пехотинец выколол глаз о штык идущего впереди. Никто не знал, где медсанбат, его перевязали, и он, сразу ставший покорным, держась обеими руками за лицо, продолжал идти с нами к фронту, куда вела кем-то проложенная для нас голубая снежная дорога.

К утру мы были в окопах, дорога здесь кончилась. Когда поднялось солнце, я спал, сжавшись, упершись коленями в одну, спиной в другую стенку окопа, глубоко сунув руки в рукава шинели. Меня растрясли,

кто-то из солдат сказал: «Погляди немцев, ты ж еще не видел их». Семнадцатилетний парнишка, я выглянул из окопа.

В воздухе сыпались и блестели на солнце морозные иглы, впереди лежали нетронутые снега и в них, метрах в ста от нас, — снежная траншея. Это и был немецкий передний край. И от одного сознания, что там — немцы, место это сразу отделилось от всего окружающего. стало особенным, не похожим ни на что. С жутким чувством вглядывался я в него воспаленными от бессонной ночи глазами. Что-то темное мелькнуло в снежной траншее, как мышь, и скрылось. «Немец!» — догадался я, пораженный. Немец был в ста метрах от меня.

И я подумал в то утро в окопе, что вся моя жизнь до сих пор — это была проложенная людьми дорога, по которой я шел. Дальше дороги нет. Она кончилась здесь. Ее преградили фашисты. Отсюда вместе со всеми эту дорогу буду прокладывать я. Для себя и для тех, кто идет за нами.

...Спит Синюков за моей спиной, посапывая во сне. Сквозь плащ-палатку, заменяющую дверь, слышно гудение ночных самолетов, изредка бухает на плацдарме разрыв. Мы лежим в ста пятидесяти метрах от пехоты, еще метров восемьдесят и — немцы. Тут край нашей земли. Тут кончаются все дороги. Сколько суждено мне пройти вперед? Шаг? Но этот шаг — вся моя жизнь.

## Глава 8

Далекий артиллерийский гул будит нас. В мутном, бескровном расвете мы стоим в окопах, вслушиваясь. Артиллерийский бой идет на севере. Там где-то у нас еще плацдарм. Внезапно ракета прорезает дымный рассвет. Повиснув над передовой, брызжет огнями. Мы ждем. У немцев по-прежнему тихо. Ракета гаснет, оставив висеть в воздухе оборванный шнур дыма.

Когда за Днестром подымается солнце, первая волна самолетов проходит на север. Крылья их снизу блестят в утренних лучах. Три звена отрываются от остальных, свернув с курса, делают круг над нами и заходят бомбить немцев. Истребители, как осы, выются выше, прикрывая с воздуха. Мы вылезаем из окопов. Днем, не прячась, стоим в полный рост, смотрим бомбежку: немцам сейчас не до нас. По всему склону, по гребню высот земля взлетает навстречу самолетам, мы кричим, машем руками и не слышим своих голосов. Самолеты делают еще круг и улетают. Пыль и дым растут вверх, потом ветер разносит их по плацдарму. Когда небо расчистилось, листья кукурузы, недавно еще блестящие от росы, были ружье и бархатистые на ощупь.

До вечера не стихает дальний артиллерийский гром на севере.

Ночью от нас забирают медсанбат. К нам из-за Днестра переправляется противотанковая артиллерия. Одна батарея низких длинноствольных пятидесятисемимиллиметровых пушек становится позади нашего НП. Артиллеристы — молодые широкогрудые ребята — роют огневые позиции в кукурузе, расспрашивают нас про немцев. Хорошего они ничего не ждут: истребители танков. Их кидают всякий раз туда, где немцы будут наносить танковый удар. Но нам с ними становится уверенней.

От них мы узнаем первые слухи: будто еще до рассвета на соседнем плацдарме немецкие танки ворвались в медсанбат. Раненых расстреливали прямо в землянках. Тех, кто выползал наружу, давили гусеницами. Говорят, врач пытался защитить их. В люке танка поднялся офицер и спокойно застрелил его из пистолета. Спаслись только две медсестры: на рассвете в одних рубашках они переплыли Днестр.



— Сколько километров тот плацдарм? — спрашиваю я.

— Одиннадцать по фронту, девять в глубину.

Одиннадцать на девять — это девяносто девять квадратных километров. Почти сто. По сравнению с нами — целое государство. Наш плацдарм, как его ни крути, хоть в ширину, хоть в глубину, — полтора квадратных километра земли. Если немцы теми же силами навалятся на нас, дело наше плохо.

Ночью к немцам уползает разведка за «языком». Возвращается ни с чем. В одном месте наши позиции соединяются с немецкими. Здесь когда-то мы заняли первую линию немецких траншей, вторую взять не удалось, а ход сообщения остался. Немцы устраивают в нем засаду и перехватывают пехотного повара с термосом супа. Он успевае́т крикнуть. Крик его между двумя автоматными очередями слышен был даже у нас. Сбежавшимся пехотинцам удается отбить повара, но уже мертвого.

Всю эту ночь мы спим и не спим. Небо облачное, далекие огненные зарницы вспыхивают на севере, словно там стороной проходит гроза, и в воздухе тоже тревожно, как перед грозой. Особенно беспокойно к утру: наступление всегда начинается на рассвете. Но рассветает, и мы идем спать. Днем опять слушаем дальний артиллерийский гром. Временами кажется, он приблизился. Но это всегда так, если долго вслушиваешься.

Я замечаю, Козинцев становится вдруг разговорчивым. Есть люди, которые в определенных обстоятельствах становятся разговорчивыми, даже крикливыми. Таких я встречал в сорок первом году, особенно в окружении. Задним числом они всегда лучше других знали, чего не следовало делать. Вот если бы их спросили раньше, всего бы этого не случилось. Они громко искали виновников прошлых ошибок, только об этом могли кричать и ничего не способны были предложить, как будто теперь это было уже и не важно.

Оказывается, Козинцев считает, что плацдарм наш — бессмыслица. Полтора квадратных километра земли — разве можно здесь отбить серьезное наступление? А если отобьем, так скольких жизней будет стоить каждый метр? Разве это окупается?

Все это он говорит безмолвному Коханюку. С Коханюком удобно спорить: он всегда молчит. И поскольку не возражает, можно даже понять так, что согласен. Но вхожу я в землянку, и Козинцев сразу умолкает. Беспокойно поглядывает на меня, пытаюсь понять, слышал я или нет.

Я ложусь на нары, при свете коптилки рассматриваю уцелевшие листы немецкого иллюстрированного журнала. Во всю страницу — рисунок: солдаты, в порыве устремленные вперед. Трубочка трубит, задрав вверх трубу, словно на ходу пьет из фляги. Один солдат отстал, подтягивая сапог, но и он устремлен вперед, а трубач зовет его рукой...

Мне уже не первый раз попадается этот рисунок, и каждый раз он меня раздражает. На другом конце нары, поджав под себя ноги, как мусульманин, раскачивается и мычит Синюков с закрытыми глазами, словно молится под низким накатом. Сегодня утром осколок разорвавшегося снаряда вошел ему в одну щеку, вышел из другой. Вместе с кровью Синюков выплюнул на ладонь обломки зубов. Вот уже несколько часов сидит он так, зажмурясь, зажав ладонью рот, полный крови и боли, раскачивается и мычит. Мне почему-то кажется, что Козинцев, когда говорил «разве это окупается?», глазами указал на Синюкова. Держа перед собой журнал, я спрашиваю спокойно:

— Так, значит, плацдарм — бессмыслица?

Козинцев молчит. Он вообще остерегается меня. Я откладываю журнал в сторону.

— Что же не бессмыслица?

Он уже не рад, но и отступать некуда. К тому же тревожная обстановка придает ему смелости.

— Не бессмыслица, товарищ лейтенант,— это жизнь,— говорит он грустно, как мудрец.

— Чья жизнь?

Коханюк встает и выходит к стереотрубе. Козинцев вдруг решился.

— Товарищ лейтенант, вы культурный человек,— подымает он меня до своего уровня.— Вы сами знаете, правда выглядит иногда циничной. Но это потому, что не у каждого хватает смелости посмотреть ей в глаза. Не могу я, оставаясь честным, сказать, что жизнь вот этого Коханюка,— он кивнул на дверь,— дороже мне, чем моя жизнь. Мы здесь все вместе сейчас. И едим вместе, и спим, и когда обстреливает нас, так тоже всех вместе. И от этого возникает ложное чувство, что мы всегда будем вместе. И ложный страх: «Как бы не подумали обо мне плохо!» Но война — это временное состояние,— говорит Козинцев, все больше волнуясь и покрываясь пятнами. Тяжелый дальний гул толкается в дверь землянки.— Я видел на базарах калек. Ихние товарищи, которые случайно избежали такой же судьбы, после войны постесняются позвать их в гости. Кончится война, и жизнь всех разведет по разным дорогам. Да и сейчас тоже... Что говорить, товарищ лейтенант, обстреливает нас всех вместе, а умираем мы все же врозь, и никому не хочется первым. Я только хочу сказать, что человек должен управляться разумом, а не ложными чувствами.

Я смотрю на него. Сколько хороших ребят погибло, пока мы шли к Днепропетровску, пока освобождали Одессу, где он до последних дней играл немцам на валторне. Они погибли, а он жив и рассуждает о них своим грязным умишком. Это еще он не все говорит, что думает, остерегается. А попади с таким в плен...

— Значит, ты не связан ложными чувствами? — Я уже сижу на нарах против него, и он чувствует себя беспокойно.

С первых сознательных дней никто из нас не жил ради одного себя. Я никогда не видел индийского кули, китайского рикшу, я знал о них только по книгам, но их боль была мне больней моих обид. Революция, светом которой было озарено наше детство, звала нас думать обо всем человечестве, жить ради него. Козинцев почти ровесник мне. Он в то же время учился в школе, так же, как все мы, сидел на комсомольских собраниях, слушал правильные вещи, может быть даже выступал с правильными речами. Все время рядом и все время чужой.

— Вот знай: пока я здесь и жив, ты с плацдарма не уйдешь. Ты каждый метр его исползаешь на животе, тогда поймешь, окупается или не окупается, узнаешь, какой ценой он завоеван.

И долго еще после этого разговора во мне все дрожит.

Ночью я прощаюсь с Синюковым. Их двое было, стариков, в бывшем моем взводе: он и Шумилин. Теперь Шумилин только. От непрерывной боли, от потери крови Синюков сразу постарел, в глазах тоскливое, покорное выражение. Впервые я называю его по имени-отчеству: Василий Егорович. До сих пор он был Синюков. Он уже не вернется на фронт. Месяца четыре пролежит в госпитале, а к тому времени война кончится.

— Приедешь домой — полон рот стальных зубов. С ними лучше: по крайней мере не болят.

Он все понимает. Понимает и то, что детям его, быть может, повезло даже: неизвестно, как у нас здесь сложится обстановка. Он сам прежде

любил пошутить, а сейчас только мычит и подает мне левую руку, безвольную, потную, слабую. И с завистью смотрит, как Коханюк, который будет сопровождать его к берегу, на корточках жадно докуривает сигарку, держа ее в ногтях.

Они уходят вдвоем. И мы остаемся вдвоем: я и Козинцев. Я уже давно собирался заново проложить нашу связь. Она идет везде по полю, и в одном месте линия особенно часто рвется. Если немцы начнут наступать, здесь от обстрела чаще всего будет рваться провод. А исправить его под обстрелом днем — только связисты понимают, что это значит. Но мне все не хотелось переносить связь на болото: там хуже слышимость.

Я зову к себе Козинцева, приказываю взять три катушки провода и заново проложить линию по болоту. Прежнюю смотать. Показываю ему на карте и на местности. Он принимает это как наказание. Козыряет: «Слушаюсь!», глядит в землю. На своих тонких ногах он уходит в темноту, качаясь под тяжестью трех катушек и аппарата.

Спустя время начинается обстрел. Бьют по болоту. Мины рвутся с каким-то странным чавкающим звуком. Я смотрю на часы. По времени Козинцев должен быть уже там. Иногда слышно, как долго воеет снаряд, потом звук обрывается. Разрыва нет. Это фугасные снаряды. Они успевают так глубоко уйти в болотистый грунт, что уже не могут выбросить его силой взрыва. И рвутся под землей почти беззвучно. Я правильно сделал, что решил проложить связь там. Провод больше всего перебивает осколками; прямые попадания редки. На болоте осколков почти нет.

Обстрел длится недолго; когда стихает, опять слышен дальний бой на севере. Меня внезапно вызывает из-за Днестра Яценко. Голос у него веселый.

— Мотовилов? Где у тебя этот... как его... ну, трубач твой?

Я молчу, настоужившись.

— Мотовилов! Куда ты пропал?

— Я не пропал...

— Чего ж ты молчишь? Трубач твой, говорю, где? Музыкант этот? Слышишь?

— Слышу.

— Посылай его ко мне. Да куда ты пропадаешь каждый раз?

— Козинцева послать я не могу, товарищ капитан.

— Как так не можешь? То ешь как так не можешь, когда я прика...

Голос его в трубке пресекается. Словно ножку стула держу у уха. Я даже рад, что связь оборвалась. Иначе я не мог бы сам поехать за Днестр.

И пока иду по лесу, мысленно разговариваю с Яценко. До каких пор это будет продолжаться? Всю войну человек скрывался от фронта, сюда, на плацдарм, чуть не силой тащили. Случись что — любого из нас предаст, и мы же еще виноваты окажемся, что доставили ему моральные переживания. В конце концов дело даже не в нем. В справедливости дело. Люди что угодно сделают, если знают, что это справедливо. А как я могу требовать от остальных, когда он у меня на особом положении? Все же видят.

Ночью являюсь в штаб и говорю все это Яценко, горячась и волнуясь. Против ожидания он терпеливо выслушивает и вообще кажется смущенным.

— Вот как ты сразу в философию ударяешься. Ох и народ у меня в дивизионе! Ну что мне с ними делать, Покатило? Ночью покинул плацдарм, приехал сюда учить командира дивизиона. А там в это время немцы начнут наступление... — Он все еще улыбается, но как-то кисло,

и сузившиеся глаза недобро блестят.— Вам, собственно, кто дал разрешение покинуть плацдарм? Вы приказание мое получили? Почему не выполнено до сих пор? Почему вы здесь? Рассуждать научились? Смирно!

И я стою. Потому что, независимо от того, что я думаю о Яценко, есть армия, есть дисциплина, есть вещи выше наших личных взаимоотношений и обид.

— За попытку невыполнения приказа командира дивизиона, за самовольное оставление плацдарма — пять суток ареста!

Ухожу ожесточившийся. Пять суток ареста... Напугал до смерти. Надо было спросить только: «Разрешите пять суток отбывать здесь?» А, да что я, ради Яценко воюю?

В темноте, окликнув, догоняет меня начальник штаба дивизиона Покатило. Поглаживая маленькие усики под носом, улыбаясь, идет сбоку. Он мягкий, культурный человек, умница, я уважаю его, и мне неприятно, что он все это слышал и сейчас идет рядом со мной.

— Милый вы мой,— говорит Покатило ласково.— Какой же вы молодой еще! Я завидовал, на вас глядя. Как вы горячились, и как вы еще неполитичны в жизни!

— А я не желаю быть политичным.

Мне неприятен сейчас этот его покровительственный тон.

— Это легче всего сказать, но жизнь есть жизнь, от нее не отмахнешься. А между тем положение у Яценко действительно сложное. Это хорошо еще, что у вас, кроме горячности и молодости, никаких серьезных доводов, а так вы и не замечали, как все время наступали ему на большую мозоль. Вы знаете, что такое приезд с поверкой командира бригады? Да еще когда ожидается немецкое наступление? Тут мать родную забудешь, что угодно наобещаешь. А Яценко знал его слабость: командир бригады мечтает у себя ансамбль организовать не хуже армейского. И похвастался: «У нас, товарищ полковник, музыкант есть в дивизионе. В оркестре играл!» — «Музыкант? Пришлешь!» Вот как это бывает. Вы правы, да только не ко времени ваша правота. Не станет же Яценко звонить теперь командиру бригады и объяснять все это.

Мы идем хуторской улицей по мягкой пыли между голубыми при луне мазанками, и Покатило с ласковой улыбкой смотрит на меня сбоку. Меня раздражает сейчас эта его улыбка.

— Вот так мы и отступаем перед подлостью. То себя беспокоить не хотим, то начальство беспокоить неудобно. И пропускаем. А уж когда пропустили, поздно ахать вслед.

— Все это гораздо сложнее,— сказал Покатило.— Этот сорт людей и говорит нашими словами, и как будто даже думает нашими мыслями, и о самом дорогом, о чем всегда как-то неловко говорить вслух, они кричат и бьют себя в грудь. Им легко, они никакими моральными категориями не связаны. Вы что, не встречали таких, которые уже четвертый год грозят кровью пролить за родину? Ну, да что! Вы меня лет на двадцать моложе? Как раз на те двадцать лет, за которые узнают все это. Желаю вам и дальше оставаться таким же.

И он козырнул. Не понравился мне Покатило в этот раз. Может быть, он и прав, но только для того, чтобы оставить Козинцева во взводе, не нужно геройских подвигов. И главное, числиться он по-прежнему будет за мной, так что на его место даже не пришлют радиста. Я только сейчас сообразил это. Уж забирали б, так совсем. А то он будет там на трубе играть, а оставшиеся бойцы должны воевать за него. И за себя и за него. Вот если он проштрафится, тогда его обратно сошлют в батарею, по месту «присписки». Но Козинцев не проштрафится.

Что-то так погано на душе, как никогда еще. Кричал, грозился: «Ты с плацдарма не уйдешь!.. Ты каждый метр исползаешь на животе!..» А теперь поеду передавать ему приказание Яценко. Злой прихожу я к разведчикам. Дверь открыта, все спят, только Шумилин при копилке пишет письмо крупными буквами, сильно давя на карандаш, так что края бумаги поднялись. Он встал, головой под потолок, широкий в кости, сутулый, словно огромная тяжесть легла на его плечи и гнетет. Лицо больного человека. А может, свет такой?

— Собирайся! Пойдешь со мной,— говорю я.

Проснулись разведчики. Неодобрительно, молча наблюдали, как собирается Шумилин. Они знали, что на плацдарме Козинцев, не понимали, почему я вдруг сменяю его, а я не мог ничего объяснить им. Приказание есть приказание, его не обсуждают.

— Товарищ лейтенант,— обратился ко мне Васин,— разрешите мне пойти вместо Шумилина.

— Я вас не спрашиваю! — оборвал я его.

Под взглядами разведчиков мне кажется, что Шумилин собирается медленно, я прикрикнул на него:

— Долго ты будешь возиться?..

Много раз после, когда Шумилина уже не было в живых, я вспоминал, как кричал на него в тот раз, срывая на нем сердце,— на безответных людях легко срывать сердце.

Я вышел первый при общем молчании; Шумилин — за мной. Молчали мы с ним к берегу, молча сели в лодку, молча гребли на ту сторону. На середине реки что-то сильно и тупо ударило в лодку. Придержав весла, я глянул за борт. Близко, на черной воде, качалось белое, с размытыми глазами, лицо. Мертвец был в облепившей его гимнастерке, в обмотках, в красноармейских ботинках. Волна терла его о борт, пролакивая мимо. И тут впервые я услышал, что далекий, все эти дни тревоживший нас артиллерийский гром смолк. Непривычная стояла тишина. Неужели на том плацдарме все кончено? Я осторожно отгреб веслом, стараясь не задеть мертвеца, приплывшего отсюда. И некоторое время мы еще видели, как, удаляясь, что-то белеет на воде.

Мы высадились на берег. Было облачно и темно, особенно в лесу. Только смутно различалась песчаная тропа под ногами. Мы миновали землянку связистов, в которую попала бомба.

Издаലെка слышны были глухие шаги многих ног по песку. Они приближались. Сойдя с дороги на всякий случай, мы ждали. Первым, спотыкаясь о корни, шел солдат, бритый, без пилотки, в тяжелых сапогах, неподпоясанная гимнастерка расстегнута на полной белой шее, голова склонена к плечу. Он шел так, словно его подталкивали в спину. За ним близко прошли два автоматчика, сумрачные, с автоматами в руках. За автоматчиками — тоже без пилотки, спутанные волосы упали на лоб, высокий, бледный, в наброшенной на плечи длинной шинели, придерживая ее руками на груди,— мягко ступал по песку Никольский. Он первый увидел меня, улыбнулся испуганной, какой-то жалкой улыбкой и поторопился пройти. Прибавя шаг, прошли автоматчики с автоматами в руках, а я все стоял, ничего не понимая. Потом кинулся за ним.

— Никольский! Борис!

— Нельзя, нельзя, товарищ лейтенант. Не положено,— отгораживая его своими автоматами, говорили конвойные не очень уверенно. А Никольский уходил, не оборачиваясь. И что-то удержало меня. Не автоматчики. Я видел согнутую спину Никольского. Он спешил уйти, как от позора.

## Глава 9

Оказывается, к нам перешел немецкий солдат. Прошел каким-то образом передовую, прошел дальше и наткнулся на спящего часового. Солдат спал у входа в землянку, обняв винтовку. Немец хотел разбудить его, но испугался, что часовой застрелит, и сел ждать. А в это время в землянке, охраняемой спящим часовым, спал Никольский. Он как раз обошел посты, вернувшись, хотел написать письмо и так и заснул с карандашом в руках, обессиленный недавним приступом малярии. Раньше всех на плацдарме малярия началась у него, он был моложе нас и больше ослабел. Но теперь все это уже не имело значения, принималось во внимание только одно: он в эту ночь отвечал за посты и караулы и заснул. Я и сейчас вижу, как его вели, как он от позора поторопился скорей пройти мимо. Неужели штрафбат?

На НП у меня, едва я вхожу, Козинцев вскакивает, стукнувшись головой о низкий накат. Сапоги в какой-то болотной дряни. От мокрых штанов, облепивших худые ноги, пахнет болотом. Докладывает, что приказание выполнено. Глаза бегают: боится, наверное, что не отпущу.

— Отправляйтесь за Днестр!

У меня от омерзения рот полон слюны.

— Слушаюсь, товарищ лейтенант,— говорит он тихо и сразу же начинает собираться.

Я прихожу к Бабину, когда там уже полно офицеров. Немца привели. Час его таскали по передовой, и он на местности показывал систему обороны и огневые точки. Сейчас он сидит ближе всех к свету. Длинные, редкие, с сединой, волосы зачесаны назад. Сухое лицо. Погасшие, словно присыпанные пеплом, глаза. В них смертельная усталость. Напротив него командир полка Финкин, полнокровный, крупный, вместе с инженером, оживленно переговариваясь, что-то помечают на карте. Все курят, и огни трех свечей тускло видны сквозь дым. От дверей из-за спин я замечаю Бабина. Положив крупные руки на стол, он смотрит на немца.

— Чего он перешел к нам? — тихо спрашиваю стоящего рядом со мной лейтенанта.

Тот ответил тоже шепотом:

— Семейку у него убило в тылу. Американцы бомбили. Говорит, давно хотел перейти, за семейку боялся.

— А еще что говорит?

— Говорит, наступать будут здесь. Срок точно не знает. Еще химические снаряды видел, как разгружали.

Немец в это время, отвечая на чей-то вопрос, заговорил хрипло. Переводчик, сосредоточенно упершись взглядом в стол, напрягая лоб, переводил:

— ...Мы никогда не слышали о человечности. Поощрялась жестокость, жестокость, жестокость! Две тысячи лет учило христианство смирению, любви к ближнему, учило защищать слабого. И ничего не добились. Нам сказали: защищать надо сильного. Злом стали утверждать добро. И возшло зло. Кровью и ненавистью затоплен мир. Теперь эта ненависть хлынет на Германию. Надо остановить безумие, охватившее людей...

Кто-то рассмеялся недобро.

— Чего ж он раньше не останавливал, когда по нашей земле шли?

Немец оглядывался растерянно, не понимая чужого языка. Но Финкин поднял от карты ставшие строгими черные, навывкате, глаза, и все стихло.

— Ради чего они сейчас воюют? — спросил Брыль.

Немец, выслушав, хрустнул пальцами, заговорил тоскливо:

— Все спуталось: законы, право. Справедливо то, что полезно нации. Право то, что нужно Германии. Но если и остальные нации скажут так? Страшно, страшно подумать!

Это получилось у него вопросительно. Он словно хотел, чтобы мы сочувствовали.

— Прежде-то была цель? — настаивал Брыль.

Ему перевели, и немец заговорил, затравленно поглядывая на переводчика:

— Гитлер говорил грубо: это война за обильный обеденный стол, за обильные завтраки и ужины. Но мы не понимали это буквально. — Слово испугавшись, он щитом поднял ладонь. — Мы искали в этих словах высший государственный смысл, быть может недоступный нам. Ужасные средства, но мы верили, что есть цель, которая оправдывает их. Потому что, если это буквально, если за этим ничего нет — разум отказывается понимать. Тогда мы ужасно обмануты...

Я чувствую, как у меня начинают дрожать пальцы. Они же еще и обмануты! В стране, разоренной нашествием многих богатых держав, мы мечтали построить счастье для всего человечества и начали строить его. Жили порой бедно, но были счастливы, вдохновленные справедливой мечтой и верой. А у них в это время воспитывались поколения убийц. Когда в немецких рабочих ударили первые фашистские залпы, мы — мальчишки, школьники — готовы были жизнью своей заслонить их от пуль. В это время он тоже искал высший государственный смысл? А теперь рассуждает о средствах, о целях... Не существует высоких целей, которых достигали бы подлыми средствами. Каковы средства, таковы и цели! Каждому из нас столько надо забыть, чтоб начать сочувствовать.

— Чего ты добиваешься? — прерывает Брыля Бабин. — Не ясно тебе, какие у них цели? Ты же войну провоевал.

Немец смотрит на него, смотрит на Брыля, стараясь понять.

— А я с первого дня добиваюсь, — говорит Брыль упрямо, — каждого пленного расспрашиваю, хочу понять: что ж это с целым народом случилось? Не могу поверить, что весь народ такой, и не поверю. Потому что поверить в это — значит стать таким же, как они.

Фишкин, все время шептавшийся с инженером, спросил быстро:

— Третьим батальоном командует Бушман?

Немец подтвердил.

— А ну, иди сюда! — сказал Фишкин. Посадил его рядом с собой и стал уточнять позиции по карте. Он — видно было — ничего из того, что говорилось здесь, не слышал, существовали для него сейчас только разведанные, был увлечен и дружелюбно поглядывал на немца, помогавшего ему понять систему обороны и намерения противника.

Резко откинулась плащ-палатка, заменявшая дверь. Вошел адъютант командира дивизии с того берега.

— Пленный здесь? — спросил он почему-то испуганно. И, обежав всех глазами, увидел немца. — Срочно к командиру дивизии!

Я выхожу из землянки. Со света в первую минуту перед глазами черно. Где-то поблизости разговаривают солдаты. Лиц не вижу, слышны только голоса.

— Человек-то, главное, хороший, вежливый.

— Штрафбат теперь...

Кто-то, засмеявшись, сказал хрипловатым от махорки голосом:

— А я б на месте лейтенанта хлопнул этого немца втихую и — концы. Я иду к себе в землянку. Долго в эту ночь не могу заснуть.

## Глава 10

Ближе к рассвету за передовой слышны моторы немецких танков. Гудение перемещается, тревожа пехоту. Оно то стихает, то уже танки рычат на высотах, и слышно лязганье и даже как будто немецкие голоса. Когда ночью метрах в трехстах от тебя танки, начинаешь сразу чувствовать непрочность обороны: всех этих ямок, окопчиков, не везде соединенных в траншеи, по которым сидят пехотинцы с автоматами в руках.

Меня вызывает Яценко.

— Что там у вас?

Докладываю обстановку: за передовой ползают немецкие танки.

— Чего они там ползают?

Чего они ползают — я тоже не знаю, но, пользуясь случаем, прошу прислать мне рацию и двух радистов. Моя рация давно разбита, а в седьмой батарее есть и не нужна им фактически.

— Вы там, оказывается, спать мастера! — говорит Яценко многозначительно. И делает паузу, чтоб я мог почувствовать, что ему, капитану Яценко, известно все: и случай с Никольским, и многое другое, и даже то, что я, быть может, надеялся по наивности скрыть от него. — Ясно?

— Ясно!

Молчит. Я жду. Яценко молчит. По линии — тишина. Момент, когда наконец надо принимать решение, никогда не доставлял удовольствия нашему комдиву.

— Ладно, пришлю тебе рацию.

Только в такой обстановке и можно у него чего-либо добиться. Отказывает он обычно не из каких-нибудь высших, неведомых нам соображений, а просто потому, что уверен: комбатом надо держаться строго, иначе они разбалтываются. И если они просят что-либо, на первый раз лучше отказать.

Я посылаю на берег Коханюка встретить радистов. Часа через полтора Яценко опять вызывает меня.

— Ну что у вас?

За дверью, в проходе, радисты, оба невысокие крепыши, серьезные, лобастые, похожие друг на друга, как новорожденные щенята, уже колдуют около рации. Докладываю: радисты прибыли. Голос у меня хриплый со сна.

— Ты что, спал? — спрашивает Яценко недовольно. Почему-то всегда неловко признаваться начальству, что ты спал. Даже ночью. Признаешься в этом, как в собственном грехе.

— Отдыхал, товарищ капитан, — говорю я, помня, что в армии не спят, в армии отдыхают в лучшем случае.

— Танки как себя ведут?

— Ползают.

— А ну дай по ним три снаряда, чтоб не ползали!

Три раза красный огонь вскидывается на высотах. Гудение стихает на время. У меня еще в глазах огни, когда из темноты является Бабин. С палкой в руке, хромая, он подходит веселый, молодцеватый: по передовой лазал. А вид такой, словно этой палкой зайцев в траве гонял. За ним тенью — автоматчик с автоматом.

— Ты стрелял?

— Я.

— Молодец. Пехоте веселей, когда артиллерия не спит. Курить есть?

Он садится на бруствер, выколачивает трубку о рукоять палки. Овчарка, бесшумно возникнув из темноты, ложится рядом с ним, вытянув передние лапы.



— Раздал свой табак. И вот его ограбил.— Бабин кивнул себе за плечо на автоматчика и говорит ему:— Закури и можешь идти.

Автоматчик ушел. Приминяя табак в трубке, Бабин сидел, заду-мавшись.

— Старик мне там попался. Наш, архангельский. Покурили мы с ним... Я бы так ордена давал,— сказал Бабин неожиданно.— «Пехотинец?» — «Пехотинец».— «На!» И больше бы ничего не спрашивал. Вот этой весной. Днем в окопах по колено талой воды. Ну люди же! Глядишь — один, другой вылез за бруствер обсохнуть на солнышке. Тут обстрел! Попрыгали, как лягушки, в грязь. А ночью все это замерзает в лед. Вот что такое пехота! Вот она кому отольется, война! Мы здесь покуриваем, а он даже оправляется в окопе, если днем. Потом саперной лопаткой подденет с землей и выкинет за бруствер, чтоб ветер не в его сторону.

Бабин прикурил, загорядясь. Я видел, что он волнуется.

— Как-то в поезде из госпиталя ехал, слышу — рассказывает один, сколько раз он в атаку ходил... Брехня! Больше трех раз пехотинец не ходит в атаку. Либо в чистую, либо в госпиталь!

Опять за передовой слышны танки.

— Дай еще снарядов несколько,— просит Бабин.

И пока я передаю команду, он неодобрительно наблюдает за радистами.

— Не люблю я эту вашу музыку,— говорит он, кивая на рацию. Радисты дисциплинированно молчат.— Как бой, так у нее питание садится, связи ни черта не добьешься. Только немцев привлекает. Один раз из-за такой шарманки засекали мой КП.

И с детским любопытством идет посмотреть в стереотрубу, как будут рваться снаряды.

— Ты что до войны делал? — спрашивает Бабин, когда мы отстрелялись.— Учился?

— Учился.

Он опять садится на бруствер, концом палки сбивает головки трав. Он в каком-то бесшабашном настроении. Такое бывает перед боем, когда случайно оказавшемуся с тобой в окопе человеку можно вдруг рассказать всю свою жизнь.

— В жизни,— говорит Бабин,— я тех людей уважал, которые что-то такое умели, чего я не умел. Жил у нас охотник — ненец. Егором звали. Сколько он за сезон тюленей набьет, никто столько не мог. Было мне двенадцать лет. И вот стащил я у отца винтовку и погиб бы в тот раз, если б рыбаки со льдины не сняли. Целый день носило меня на ней по морю. А все же двух тюленей добыл.

И я почувствовал, ему и сейчас приятно вспомнить об этом.

— В другой раз позавидовал я крановщику. Удивительный был крановщик в порту. Так я на него ходил смотреть, всю шею выломал. А когда подрос, оказалось это, в общем, дело несложное. Но все равно я ему и сейчас благодарен. Много таких дел встречалось мне в жизни. Встретится — про все забуду, пока сам не смогу.

Бесшумно бродит по небу луч прожектора. Белый отсвет его падает на землю. Когда луч оказывается над нами, хорошо видно лицо Бабина, смелые сощуренные глаза, следящие за концом палки, и в них затаенная усмешка. И я понимал сейчас Риту, больно было, а понимал. Многое вперед простил я ему в эту беспокойную ночь, когда по небу бесшумно бродил луч прожектора, а за передовой, метрах в трехстах отсюда, слышны были моторы немецких танков.

— Все же одно дело так мне и не далось,— сказал Бабин, вкось

ударив по траве так, что воздух зафырчал под палкой.— Хотел я научиться на аккордеоне играть. У моряков это вообще принято, море без песни не живет. Другой раз запрუსь в каюте, слушаю сам себя — получается. Оказывается, слуха нет. Ну ладно, нет, так развить можно! Как считаешь?

И он глянул на меня подозрительно и самолюбиво, словно боясь насмешки. Меня опять вызвали из-за Днестра, и я долго докладывал обстановку. Когда отдал трубку, Бабин спросил вдруг:

— Кто у него дома остался?

Я понял, что он спрашивает о Никольском.

— Мать у него, сестренка.

— Отца нету?

— Отец — полковник. На Первом Украинском воюет. Соседи почти что.

— Что ж он к отцу из училища не поехал?

— А ты бы поехал?

Бабин долго рисовал палкой. Луч прожектора то освещал его, то уходил за Днестр. Потом второй присоединился к нему. Они встретились в одной точке, замерли — гигантский голубой циркуль встал за Днестром, концами впившись в землю.

— Это еще недорого стоит: не пойти к отцу в адъютанты. Хуже, когда сил не рассчитаешь, размахнешься широко, да один замах и останется. Я мальчишкой был, мне война по песням в виде тачанки представлялась. Кони, гривы, тачанка несется, как бешеная, а в задке я строчу из пулемета по белякам. И до того мне на войну хотелось — сказать тебе не могу! А война видишь какая. Скажем, на Донце ходил я своим батальоном в разведку боем. Потерял тридцать шесть человек. А добыл знаешь что? Немецкую солдатскую книжку. Даже пленного взять не удалось. Огневые точки выявил? Так он, если не дурак, на другую ночь сменил их. Вот и посчитай: тридцать шесть жизней, и все ради одной солдатской книжки. А ведь эти люди за родину шли воевать. И многие добровольно шли. И дети у них остались, и жены. Ну да что говорить, люди погибли. Так хоть бы уж результат каждому заметный. А дрались как! Я и сейчас вижу, как они дрались в ту ночь. Ну что это по мирным представлениям? А по понятиям войны вот что: добыли мы книжку убитого солдата эсэсовской танковой дивизии «Мертвая голова». Дивизии этой на нашем участке не было. Появилась недавно. Что это значит? На девяносто процентов с уверенностью можно сказать, что он тут наступать будет. И правда, на четвертый день ударил. Так мы уже знали, готовились. А не добудь мы тогда солдатскую книжку — посчитай, сколькими жизнями расплатились бы. Я это к тому говорю, что не всем на войне достается флаги водружать. Больше воюют безвестно. Хотя и люди они не хуже, и смелости у них не меньше.

Ни после, ни до этих пор мы никогда не говорили с ним столько. Он все сидел, и ему не хотелось уходить. Спросил вдруг:

— У тебя брат есть?

— Есть.

— Вот в этом я тебе завидую,— сказал Бабин, как говорят о сокровенном.— Друг — хорошо, а когда рядом брат, родная кровь... Я один. Убьют меня — на мне фамилия кончится. Мать у меня в молодые годы здоровая была, веселая, у нее бы детей много было. А как-то шли они с отцом из гостей. Мороз. По реке шли, по льду. Отец пьяный был. Он вообще-то отчаянный, а когда выпьет, одна мать с ним справлялась. И провалился в прорубь. Не будь матери, утонул бы в тот раз. Привела она его домой, весь обмерзший, как льдина. Раздели его, выпил стакан

спирта, укрыли всеми шубами. Утром встал — хоть бы что. Здоровый был. А мать застудила себя. Все болела с тех пор, и уж больше детей не было. У нас в деревне я вообще не замечал, чтоб жен жалели. Но отец жалел ее. Корову сам доил! Женился он рано и смолоду себя не обижал. Бабы из-за него в открытую дрались. А рыбаки побаивались: человек он был суровый и здоров страшно. Не одну слезу мать из-за него пролила. А тут как подменили: идет утром с подойником, хоть люди, хоть кто — ничего ему не позор. Только одно просил... Выпьет, вернется поздно, станет перед матерью на колени: «Маша! Может, одного еще, а?.. Сына!.. В руках подержать!..» Проснусь ночью, слушаю, так даже мороз прохватит. А мать с ним сурово говорит, с пьяным.

Мне вдруг захотелось сказать ему с внезапным самоотвержением, что я понимаю Риту и не сужу, что каждая на ее месте поступила бы так же. Но я вовремя сдержался и только спросил:

— Жив отец?

— Утонул. Рыбаки редко на берегу умирают. Рассказывали, лодку их перевернуло. Болтало их, болтало так, потом льдина показалась недалеко. Отец хорошо плавал. Видит, остальные выбились из сил, взял бечеву в зубы, поплыл, чтоб их после на льдину вытащить. А был в коневых сапогах. Вот до сих пор. Они-то его и утянули. А тех спасли.

Меня еще раз вызвал Яценко. Я говорю с ним и вижу, как Бабин прислушивается, поглядывая исподлобья.

— Ты чего не любишь его? — спросил он спустя время.

— Почему не люблю? Наоборот...

Он посмотрел проницательно, улыбнулся твердыми губами.

— Это в тебе знаешь что говорит? «Вот они сидят там, за Днестром, а я здесь, на плацдарме, впереди всех. Я, конечно, не отказываюсь и даже сам по доброй воле сюда шел, но пусть это все видят, и знают, и чувствуют все время».

— Ничего подобного я не хочу.

— Брось, брось! А между прочим, эти ребята, которые за Днестром вроде как в тылу сейчас, — глядишь, через полчаса: «По машинам!» И сидят, автоматы меж колен, только пыль позади них схватывается. А утром уже прорывают оборону где-нибудь на другом плацдарме. На войне это быстро. На войне нам с тобой обстановка известна в мировом масштабе, а что у нас тут будет делаться в ближайшие дни, часы даже, — этого мы с тобой не знаем и не можем знать. Глядишь, дней через пяток окажемся мы с тобой в глубоком тылу. И уже про нас будут так думать: «Сидят себе ребята за Днестром, окопались...»

— А есть, которые всегда за Днестром, независимо от должности. И вообще это разговор о гражданской честности, если на то пошло.

— Так. Все в одну кучу! — Бабин расхохотался.

Собака у его ног внезапно подняла голову с лап, предостерегающе зарычала. Кто-то идет к нам. Мы всматриваемся. Маклецов! Афанасий Маклецов. Прошлой ночью его, раненного в плечо, увезли с плацдарма, и он ругался и скрипел зубами, пока Рита перевязывала его. И вот уже возвращается. Маклецов подходит, останавливается над нами. Нерешительно поглядывает на Бабина.

— Сапоги жмут, — говорит он. И, проворно сев на землю, начинает разуваться, помогая себе здоровой рукой. При этом ворчит: — Чертова старуха приказала мне сапоги не давать...

— Ты, собственно, чего вернулся? — спрашивает Бабин холодно.

— Чего... Вы, значит, здесь, а я, значит, там сиди?

— Ну и что?

— Ну и нет ничего. Только перевелись дураки. Она, эта чертова ста-

руха, два часа во мне какой-то спицей ковырялась. Знаю я таких любопытных. Ей дай волю, начнет людям головы пересаживать: у одного срежет, другому пришьет.

— Ну ты при этом, факт, не прогадаешь.

— Ладно. Прогадаю не прогадаю — желаю при своей оставаться.

Страхнув портянки, Маклецов шевелит пальцами. В воздухе пахнет его босыми ногами. Он все же побаивается, как бы Бабин не отправил его обратно, и оттого сидит надутый, словно его оскорбили в лучших чувствах. Бабин вдруг начинает хохотать, и Маклецов сразу превращается в дурашливого мальчишку.

— Слушай, комбат, будь другом, дай сапоги. У тебя в землянке запасные стоят, я знаю. А то неавторитетно в роту босиком идти. Я ж командир роты все-таки. И немец завтра наступать начнет. Какая у бойцов может быть устойчивость, когда командир уже заранее разулся?

— Тебе это откуда известно, что он наступать начнет?

— А вы что, не знаете?

Маклецов смотрит на меня, смотрит на Бабина, снова на меня.

— Вы в самом деле не знаете?

Из землянки показался радист. Маклецов строго махнул на него.

— А ну, скройся! — Подождал. — Завтра немец наступает. Вы разыгрываете меня или правда не слышали? В медсанбате все говорят. Я, как узнал, думаю: «Буду я тебе здесь лежать...» Подзываю санитаря. Есть у них один, всю войну при медсанбате воюет. Прижился, как кот в тепле. «А ну,— говорю,— иди сюда, милый. Табачок есть?» Закурили мы с ним. Между прочим, курит офицерский. «Теперь,— говорю,— снимай сапоги». Он было туда-сюда! «Тихо, тихо! А то я могу тебя самого к себе в роту взять». Тут он добровольно разулся.

Бабин смотрит на него смеющимися глазами.

— Эх, Маклецов, Маклецов! Характер у меня мягкий, вот что тебя спасает.

— Значит, дашь,— заключил Маклецов.

На правом фланге начинают строчить пулеметы — немецкие и наши. Сразу взлетает несколько ракет. Бабин встал.

— Ну, бывай!..

Рука у него большая и сильней моей. Наверное, потому, что я моложе. Он спросил вдруг:

— Ты как, в предчувствия веришь?

— А что,— говорю я,— предчувствия не обманывают. Вот же, скажем, животные чувствуют опасность задолго. Я думаю, что наука это еще объяснит.

— Считаешь, объяснит...— сказал он, упорно думая о чем-то. И глянул мне в глаза: — Не нравится мне немец сегодня. Я уж командиров взводов предупредил. Как бы он нам к утру не устроил сабантуй. Так договорились: снарядов не жалей. Чтоб пехота поддержку чувствовала.

Он уходит в призрачном свете ракеты, идет по кукурузе, почти не хромя, с палкой в руке. У ноги его бесшумно, серой тенью скользит собака. Маклецов идет за ними, здоровой рукой несет за ушки сапоги, шаркает босыми ногами по росе.

Крупная желтая звезда, поднявшись высоко, горит над черным лесом. Как-то однажды Маклецов наигрывал на гитаре, а Рита сидела на бруствере, зажав ладони в коленях, закрыв глаза. Она еще не пела, но песня уже звучала в ней. И вот эта желтая звезда низко стояла над землей. Я ее запомнил с тех пор. Она ярче и крупней других звезд. И всходит каждую ночь. Я люблю смотреть на нее.

Перед утром: темнота сгущается. Танков не слышно. Повсюду на плацдарме стрекохут в траве кузнечики, и воздух звенит от них.

Постепенно какие-то странные предметы, похожие на наклоненные телеграфные столбы. Поднялся ветер. Мигают и меркнут звезды. Один радист спит, свернувшись в окопе, другой борется со сном у щитка рации, и лицо его после ночи кажется измученным и бледным. Начинает светать. Воздух посвежел от росы и влажен; это чувствуется лицом. И наши шинели и волосы влажны. А когда я провел по холодному стволу автомата, ладонь стала мокрой.

Теперь уже можно различить, что это не столбы, а пушки с задранными вверх стволами. Они стоят открыто на высотах, как никогда не стоит артиллерия.

И вот первый луч солнца из-за Днестра вспыхнул на стволе пушки, и мы видим, что это не немецкие, а наши стопятидесятидвухмиллиметровые орудия, а на их заданных вверх стволах повешены артиллеристы. В стереотрубу они хорошо видны. Распоясанные, босые, как будто старающиеся достать землю пальцами ног, с опущенными вдоль тела руками, головы склонены к плечу,—они мерно покачиваются на ветру, поворачивая к нам свои мертвые лица, освещенные восходящим солнцем. Это, наверно, с того плацдарма приволокли захваченную батарею, втащили на высоты и на стволах, захлестнув веревки за дульные тормоза, повесили батарейцев в устрашение нам.

Пять часов. Тихо. Я спускаюсь в землянку. Над столом на стене — ходики: разведчики привезли нам из-за Днестра. Над циферблатом пара глаз со сверкающими белками. Качается маятник, слева направо бегают веселые белки: тик-так, тик-так!.. Я вдруг замечаю, что сижу, опершись локтями о колени, сжав в ладонях виски. Поспешно достаю табак, скручиваю папиросу. Как я все же не умею владеть собой при людях! Ложусь на спину и курю. Над моим лицом накат в одно нетолстое бревно. Выше — слой земли. Мину он еще выдержит, и то легкую. Снаряд разнесет его. Неужели на том плацдарме все кончено? Я представляю, как их вешали. По времени это, очевидно, было тогда, когда мы сидели с Бабиным и разговаривали. А в полукилометре отсюда им надели веревки на шею и подъемным механизмом начали подымать ствол, как это обычно делают при стрельбе на дальние расстояния. А они стояли босые. Сначала подымался один ствол, потом натянулась веревка, потом человек начал отрываться от земли.

Почему в такие минуты люди не борются? Им дают лопаты, и они сами роют себе могилу. Ведь у них железные лопаты в руках! Что это, покорность или великое презрение? Люди умирают с песней. Кричат под залпами вещие слова, которых не слышно за выстрелами. Почему не борются? Рассказывают, даже в газовых камерах люди оставались людьми. Матери, сдавливая друг друга телами, пытались освободить детям место, чтоб им не тесно было стоять. Там, в темноте, когда пускали газ и смерть душила людей, с какой яркой силой среди них, обреченных, вспыхивала человечность и любовь! И фашисты учили это. Потом они уже казнили детей отдельно. Потому что матери, видя смерть своих детей, становились опасными. Даже это они учили! Бывала холера, бывала чума, это — фашизм.

Я стараюсь не смотреть на часы поминутно. Хорошо долго не смотреть, а потом глянуть сразу, когда пройдет много времени. Я жду, пока пройдет много времени. Потом смотрю на часы. Прошло шесть минут. Начнет он сегодня или не начнет? Если в семь не начнет, значит все. Надо дожидаться семи.

Интересно, какие калибры немецкой артиллерии я помню? Пятидесятимиллиметровая танковая пушка. Семидесятипяти. Нет, семидесятипяти — это французская пушка. Мы однажды захватили такие. Впрочем, и у немцев есть. А какая пушка на «фердинанде»? Длинный ствол, дульный тормоз, как кулак, прицельный огонь... А калибр не помню. Интересно другое: сколько у них здесь танков? Никогда не забуду, как этой зимой немецкие танки купали нас пятерых в воронке от тонной авиабомбы. Там было целое озеро, лед, разбитый минами. Мы спрыгнули туда. Скроемся под водой — выглянем. Стоят. А один танк стал у края воронки и ведет по кому-то огонь. Жизнь бы в тот момент отдал за одну противотанковую гранату.

Ровно без десяти минут семь над нами тяжелое гудение самолетов. Я выскакиваю из землянки. Двенадцать двухмоторных «петляковых» проходят над плацдармом. Первые тяжкие удары. Столбы земли и дыма у немцев. Немецкая передовая скрывается в дыму. У нас пехота тоже попряталась. Она уже ученая, пехота наша. Знает, что бьют по немцам, а попадают иной раз по своим. Зато на командных пунктах все выскочили из ровиков. Маклепов у себя открыл стрельбу вверх из автоматов, салютует бомбардировщикам. Мы тоже выпускаем вверх по целому диску.

«Петляковы» долго бомбят передовую и что-то еще за высотами. Когда они улетают, из двоих повешенных качается один в дымном небе. Другого сорвало взрывом.

Восемь часов. Солнце уже припекает, воздух сухой, и небо с утра выцветшее. День будет палящий. И, как всегда перед жарким днем, голова мутная, усталость во всем теле и сильно сохнет во рту. А может, это оттого, что волнуюсь? Пью и не могу напиться.

Девять часов. Жду еще полчаса и иду спать.

Я так и не понял, заснул я или нет. Я вскочил оттого, что ясно услышал орудейный залп. В следующий момент я сидел с бьющимся сердцем, вслушиваясь. Но даже пулеметы не стреляли на передовой. Наверху, в сухом от солнца окопе, радист пробовал самодельную дудку, старательно выводя на ней белорусскую «Перепелочку». Как раз это место:

А у перепелочки ножки болят.  
Ты ж моя, ты ж моя перепелочка,  
Ты ж моя, ты ж моя невеличка...

Звук камышовой дудочки, тонкий и печальный, дрожал в знойном воздухе. Напротив меня с трубкой на ухе дремал и вздрагивал Коханюк. Что же это? Я отчетливо слышал орудейный залп. Или, когда я задремывал, он раздался в мозгу у меня, словно лопнула до отказа натянутая струна?

Я вышел из землянки, ладонью растирая затекшую щеку, — сухой слепящий свет ударил в глаза. Над лесом дыбом стояла лиловая туча, и на фоне ее свет солнца был разительно ярок. Клубящийся верхний край тучи снежно белел, он уже достиг солнца, а тень холодком ползла по земле. И этот резкий свет и надвигающаяся на него тень — все было какое-то предгрозовое.

Тень закрыла передовую, начала краем взбираться на высоты. И когда она перевалила их, короткими молниями сверкнули в ней артиллерийские залпы. В тот же момент воздух с шумом стал раздражаться множеством летящих снарядов.

Сжавшись в окопах, мы ждали. Зажмурясь. Упираясь лбами в колени. Грохот обрушился сверху, в дыму и пыли потопив все. В какой-то миг

показалось, что задыхаюсь. Скачушими пальцами я расстегнул воротник гимнастерки. Сверху рушилась земля. На головы, на согнутые спины, словно заживо погребая нас.

На сколько рассчитана артподготовка? На полчаса? На час? Надо пережить. Когда она кончится, начнется главное: пойдут танки. А позади километр земли, обрыв и — Днестр.

## Глава 11

Оглохшие, засыпанные землей, мы подымаемся в полуобвалившихся окопах, воспаленными глазами вглядываемся из-за бруствера — танки! Они идут, обтекая высоты, в пыли и дыму, пыльные танки. В бинокль я вижу, как движутся над кукурузой бронированные желтые башни с длинными стволами, а позади, по примятым просекам, бежит пехота, сквозь дым блестя касками. Я смотрю и не могу оторваться, у меня наступило какое-то торможение. Рев моторов движется на нас, и ни одного нашего разрыва на всем поле.

— Связь! — кричу я наконец.

Шумилин подает трубку. Мельком вижу его лицо, землистое от вьющейся пыли. Сухие землистые губы. Рядом Коханюк ставит стереотрубу. Она валится ему на руки. Снова ставит. Снова валится. Глядит на меня испуганными глазами.

— Ножку выпусти! — кричу я ему. И тут же забываю о нем: первый разрыв мой встает на поле значительно впереди.

— Товарищ лейтенант! — кричит мне радист.

Кажется, Теплов. Я еще не запомнил их хорошенько. Большие, косящие от волнения глаза. Пыльные ресницы. Указывает на поле. В пехотной траншее происходит какое-то движение. Один пехотинец выскочил. Ползет на четвереньках.

— Сволочи, что делают!

Пехотинец вскочил, путаясь в полах шинели, бежит к нам. Упал. Больше не встает.

Трах!

Меня обдаёт землей. Радист, только что стоявший рядом, слепо ползет по дну окопа. Голова уперлась в стенку окопа, а он все ползет, словно хочет зарыться в землю. Дернулся. Вздрогнул. Затих. Одна нога остается поджатой к животу.

Трах!

На минуту глохну. Рот полон теплой тошнотной слюны. И тут же вижу свои разрывы. Перед танком взлетела вверх черная земля.

— Огонь!

Уже все поле в разрывах. Мгновенные вспышки в дыму. Мелькнув, исчезают автоматчики. И снова возникают. Справа, оглушая, хлопают противотанковые пушки.

— Огонь!

Кто-то дергает меня за ремень.

— Пригнитесь, товарищ лейтенант!

И тут вижу, как впереди бруствера все расчистилось и только мгновенно возникающая пыльца и треск разрывных пуль. Кукурузу точно сбрило.

Пробив дым разрыва, выскакивает танк. Орущая толпа автоматчиков.

— Огонь!

Что-то говорит Шумилин. Вижу, как шевелятся его серые губы, и ничего не пойму. Хватаю трубку. Нет связи! Шумилин стоит у аппарата,

точно приговоренный. Второй радист возится на дне окопа у своей радиции. Спешит.

— Сейчас, сейчас, товарищ лейтенант!..

Пальцы от поспешности дрожат.

— Ну!

— Сейчас, сейчас...

Он готов заплакать. Чертова техника! Пока боя нет, хоть «Последние известия» слушай. Как бой — отказывает.

— Быстро по связи! — кричу Шумилину и стараюсь не смотреть на поле, чтоб не видеть приближающийся танк.

Шумилин хватает аппарат, катушку и только подымается над бруствером — трах! Еле успеваем присесть. Он оборачивает ко мне странно изменившееся лицо, с посветлевшими, какими-то отчаянными глазами, хочет что-то сказать, но говорит только: «Стреляют!»

— Связь давай! — кричу я на него.

Засуетившись, он поспешно лезет из окопа. Последними уползают за бруствер его длинные, в глине, сапоги.

— Провод дерните! — кричит он уже оттуда. — Чтоб не спутать мне.

И едва успевает отползти — трах!

— Шумилин!

Высунувшись, ищущего его глазами. Нету. Потревоженная кукуруза указывает след. У меня отлегает от сердца: жив.

— Товарищ лейтенант! — зовет меня радист.

Он нашел повреждение. Повернув радицию задней стенкой ко мне, показывает дыру от осколка. Всовывает в нее палец. Лицо радостное: он не виноват. Стискиваю зубы, чтоб не обругать его. И тут замечаю Коханюка. Сидит в углу окопа, острый носик в крупных каплях пота, широко распахнутые вздрагивающие глаза. Вот бог послал разведчика! С ним не воевать, нос утирать ему.

— Гранаты неси! — кричу на него, чтоб просто не видеть его рядом.

В кукурузе артиллеристы разворачивают пушку. Успеют или не успеют? Оттого, что я ничего не делаю в такой момент, меня все раздражают. И Коханюк и радист. Набрасываюсь на радиста:

— Выкинь ты свою радицию к чертовой матери!

Не отрывая от меня испуганных глаз, он пятится в землянку, уволанивает радицию за собой. Какие-то стекла пересыпаются в ней и гремят.

Трах!

Я успеваю заметить, откуда бьет. Это из посадки справа. «Фердинанд». Высунется, выстрелит и упятится назад. Если его не уничтожить, он эти пятидесятисемимиллиметровки в кукурузе расщелкает по одной. А у меня связи нет.

— Связь! — кричу я Коханюку. — Быстро!

Сзади наклоняется в окоп чье-то незнакомое грязное лицо.

— Артиллеристы?

— Ну!

— Девятьсот шестнадцатого полка?

— Ну, говори!

— Связист ваш там, в воронке. Раненый.

Хватаю автомат.

— Ждите здесь.

Выскакиваю из окопа. Петляя, бегу между разрывами. Кукуруза кончается. Пустое, голое место. Низкая трава. Разрыв! Падаю. В бомбовую воронку скатываюсь головой вниз. На дне ее, на чьей-то шинели, лежит Шумилин, голый до пояса. Рядом мальчишка-пехотинец, тоже раненный и перевязанный уже.



— Да лежить вы, дядя,— просит он плачущим голосом, беспокожно оглядываясь и удерживая Шумилина.

Но тот опять пытается встать, хрипит:

— Помощь мне!

И вдруг увидел меня. Глаза горячечные, сухие потянулись ко мне иступленно.

— Помощь мне, товарищ лейтенант! Жена умерла, получил письмо... Нельзя умирать мне... Детишек трое... Помощь мне надо!..

И рвется встать, словно боясь, что, лежащего, смерть одолеет его.

— Сейчас перевяжу! Лежи!

А сам вижу, что ему уже ничего не поможет. Руки, ребра — перебито все. Даже голенища сапог исполосованы осколками. Он истекает кровью. Снаряд, видно, разорвался рядом. Как он жив до сих пор? Наверное, одним этим сознанием, что нельзя ему умирать.

— Сейчас, сейчас,— говорю я и не могу выдержать его просящего взгляда.

— Намучився я з ним,— жалуется пехотинец.— Тут так робиться, а вин не лежить. Не чули, товарищ лейтенант, отбили нимца?

— Отбили...

Я рву рубашку Шумилина на широкие полосы, бинтую ими, и они сразу же намокают кровью. Так вот почему Шумилин не хотел идти на плацдарм! Дети! И все-таки он ни на кого не переложил своей судьбы.

По краю воронки, загораясь небо, пробегает боец. От его сапог сыплется вниз комья глины. Еще один пробегает. Все туда, к Днестру... Пехотинец смотрит на них снизу, оглядывается на меня. Потом карабкается из воронки, цепляясь за землю здоровой рукой. Я его не удерживаю, черт с ним.

Шумилин дышит неровно, широкие ребра то проступают сквозь кожу, то опадают. И все ближе, слышней клочотание в горле.

— Снаряд... в ногах разорвался,— говорит он сквозь это мокрое клочотание.— С танка... Не слышал даже... Свой никогда не услышишь... Чужой слышно... Там...

И пытается показать рукой, но только чуть шевелит голым плечом. Перебитая рука, обескровленная, с белыми, синюющими ногтями, остается бессильно лежать на земле.

— Порыв где? На болоте?

— Не проложил он! — стонет Шумилин.

Как не проложил? Я сам посылал туда Козинцева проложить по болоту связь. Вернулся дрожащий, мокрый еще...

Сознание то разгорается, то меркнет в глубине зрачков, и взгляд у Шумилина ускользящий. Кажется, он уже не понимает меня. Только стонет:

— Там... нитка... наверху..!

И все пытается показать рукой.

— Понятно! Лежи!

Наверху происходит что-то странное. Отсюда видно только желтое от пыли небо и вспыхивающие в нем ослепительно белые разрывы зениток. Но стрельба явно приблизилась. Я не могу бросить Шумилина живого и не могу больше оставаться здесь. Тряпки под моими руками уже все напитались кровью. Глупо, но мне кажется, что они вытягивают из него последнюю кровь. Ее невозможно остановить. Зрачки Шумилина закатываются под верхние веки, но он усилием возвращает их назад, словно не давая себе уснуть. Я закрепляю последний бинт. Беру его катушку, аппарат.

— Шумилин,— стоя над ним, говорю я громко, чтоб он слышал

меня.— Сейчас я пришлю санитаров. Понял меня? Минут двадцать обожди.

Он начинает беспокоиться, сознание сразу возвращается к нему. Не оборачиваясь, лезу из воронки. Рыхлая земля едет под сапогами вниз, крошится в руках. Уже сверху оглянулся. Шумилин силится встать. Кровь пошла у него горлом, течет по небритому подбородку, по голой груди на бинты. Он захлебывается ею, но расширенные, как от удушья, испуганные глаза пытаются остановить меня. Понял, что я бросаю его.

Много раз после вспоминал я, как смотрел на меня умирающий Шумилин. Я и до сих пор вижу его глаза. И уже никогда не смогу я ничего ему объяснить. Но за Днестром стояли мои пушки и не стреляли, потому что не было связи. А немецкая артиллерия с закрытых и открытых позиций крушила все на плацдарме. Мне нужно было воевать. И, отвернувшись, чтоб не видеть, я выскочил из воронки.

С аппаратом в руке, согнувшись, бегу по полю.

«Ви-и-у-у!» — из-за края поля нарастающий вой мины.

Падаю. Прижимаюсь щекой к жесткой, щетинистой, сухой и теплой земле. Разрыв! Прижимаюсь изо всех сил. Как трудно от нее оторваться! Еще разрыв! Отрываю себя от земли.

Среди многих проводов, ползая на коленях, ищу свой провод. Отсюда поле поднимается постепенно, и мне не видно, что там происходит, кроме встающих дымов разрывов. Изредка в кукурузе появляются люди, бегут вниз стороной, словно скрываясь от кого-то. По частой стрельбе противотанковых пушек, по сплошной трескотне пулеметов и автоматов чувствую, каков накал боя, и кажется, что он приближается сюда.

В одном месте, зажав в кулаке провод, лежит пехотный связист в обмотках. Рядом воронка мины. Голова связиста втянута в плечи. Сжался во время разрыва и так и остался уже. Не зная, чей это провод, я соединяю концы и ползу дальше. Вдруг точно такая же связь, как моя, попадаете мне: красный гляцевый провод. Но мой должен идти по болоту. Я все же подключаю аппарат. Кричу, кричу — и на том и на другом конце провода молчат. Неужели в обе стороны порыв? Взяв провод в руку, бегу по нему к Днестру. Порыв оказывается близко. Нахожу второй конец. Лежа, срываю зубами изоляцию, подключаюсь: «Щука, Щука, я Карась!» И — радостный голос из-за Днестра:

— Товарищ лейтенант!..

Это мой провод. Значит, Козинцев не проложил тогда связь. Сволочь! Теперь я вспоминаю — как раз тогда начался обстрел по болоту. Я еще подумал: «Неплохо, пусть поучит его». Такого поучишь. Пересидел где-то, отключившись, и вернулся мокрый, будто по болоту лазал. Вот он отчего беспокоился, в глаза не смотрел. «Товарищ лейтенант, вы же культурный человек...» Недаром я всегда ждал от него подлости. Нагадил, как кошка, и скрылся. А Шумилин убит. Всю войну провоевал. И детей трое. За кого-то теперь сиротами.

Я лежу под обстрелом, сращиваю провод. В трубке уже голос Яценко.

— Мотовилов! Где ты провалился, черт бы тебя взял! Что у вас там происходит? Связь перебило? Связистов по линии гони. Жалеешь их! — кричит он оттуда.

Несколько мин обдают меня землей. Проклятое место. От грохота уши точно заложило. Чей-то связист, рыскавший по полю на четвереньках, валится набок. И вдруг что-то взрывается во мне.

— Чего вы кричите! — ору я в трубку, стараясь перекричать все, что творится вокруг. — Вы на меня сейчас не кричите! Ясно?

С тяжелым гулом, придавив на земле все звуки боя, проходят над плацдармом наши бомбардировщики. Я еще долго не могу говорить, во

мне все дрожит. Потом докладываю обстановку. За гребнем уже черной стеной встает дым, и земля подо мной вздрагивает от бомбовых ударов. Пот ест лицо, щиплет потрескавшиеся губы. Внезапно в кукурузе часто и оглушительно захлопали противотанковые пушки, раздались крики, и, мгновенно возникший, несется сюда рев мотора. На бегу стягиваю через голову автомат. Ремень зацепился за пилотку, пилотка падает. Подбираю ее и вижу вдруг: низко над кукурузой распластав крылья, вспыхивающие мгновенным огнем, идет на бреющем полете наш штурмовик. Под ним, стремясь уйти, ломится меж стеблей немецкий танк прямо на батарею. И видно, как артиллеристы, стоя на коленях за щитами, торопятся.

«Пак! Пак! Пак! Пак!» — чьестят пушки.

Из кукурузы, пригнувшись, выскакивают несколько пехотинцев.

— Стой! — кричу я.

Над нами, толкнув ревом мотора, проносится самолет. Один пехотинец, не видя, набегает на меня. Раскрытый, задышающийся рот, опустошенные страхом глаза.

— Стой!

Он останавливается.

— Ложись!

Двое других тоже ложатся. Близкий взрыв. Танк стоит, развернувшись в обратную сторону.

— За мной!

И бегу по кукурузе, обвешанный катушкой, телефонным аппаратом, биноклем. Аппарат, сползая на живот, бьет по коленям. Автоматная очередь. Падаю. Отползаю в сторону. Еще очередь. Горячий удар по ноге. Выше колена. Прижимаюсь к земле. Сверху падает на меня срезанный пулями кукурузный лист. Земля, сухая, теплая, лезет в нос. Осторожно оглядываюсь. Пехотинцев уже нет. Чувствую, как горячая кровь мочит штанину, и от этого сразу слабею. Тошнота подкатывает к горлу. Немец где-то рядом. И видит меня. А мне он не виден.

Над нами самолет делает круг. Я лежу ничком. Катушка на спине, по ней меня сразу можно заметить. Осторожно отстегиваю лямки, шевелю плечом — катушка сваливается на землю. Немец не стреляет. Это, должно быть, танкист. Ему надо пробиться к своим. Я тихонько просовываю приклад автомата меж стеблей, трясу слева от себя кукурузу. И сейчас же — очередь! Не видит меня, на шорох бьет, туда, где шевелится кукуруза. Немного погодя, трясу стебли правой. Их сейчас же срезает. Вот он откуда бьет! Метрах в шестидесяти от меня, озираясь, отползает с автоматом в руках танкист в черном, вываленном в пыли обмундировании. Прижимаясь к рыхлой земле, осторожно ползу за ним. Раненая нога жжет, колено — мокрое от крови. Немца уже плохо видно, только мелькает за стеблями. Плечом вытираю потную щеку. Прикладываюсь к автомату. Пот заливает глаза. Немец то возникает на мушке, то исчезает. Не разглядеть. Резко свищу. Шевеление стихло. Потом за стеблями понемногу приподымается светловолосая голова. Даю очередь. Голова падает. Жду. Тихо. Подношу к глазам бинокль. Приближенный десятикратно, танкист лежит затылком ко мне так близко, что, кажется, дотянешься рукой. Крови не видно. Несколько стеблей у самой головы срезано пулями до основания, торчат низкие пеньки. Не попади первый, вот так бы я лежал сейчас.

Недалеко от танка, в широкой борозде, оставленной гусеницей, валяется другой танкист, без мундира, в нижней рубашке. Сколько их было? Трое? Четверо? Выскакивали, видно, через нижний люк. Танк стоит совершенно целый, пятнистый, как немецкая плащ-палатка. Только без

гусеницы и спереди оплавившаяся дыра. Если забраться под него, лучшего НП не выдумаешь. Немцы по нему стрелять не будут.

Бросив катушку и аппарат, хромая, бегу по кукурузе на свой наблюдательный пункт. Каждый шаг горячей болью отдается в ноге. Пули уже посвистывают густо, сбивая верхушки стеблей. Бегом, ползком добираюсь, прыгиваю в траншею. Пусто. Ни Коханюка, ни второго радиста нет. Все брошено. Только убитый по-прежнему лежит в углу, засыпанный по плечи землей. Ждали, наверное, меня, приказаний никаких нет, танки, обстрел... Быть в бою и не стрелять — не у всякого нервы выдержат: Забегаю в землянку. После жары и солнца — сыроватый дух погреба. Плащ-палатка с нар содрана, шинели моей нет. Только фляжка висит на колышке, вбитом в стену. Срываю фляжку. Пью, перевожу дыхание и снова пью. Вода выходит из меня потоком. Пустую фляжку бросаю на нары. Прислушиваясь к стрельбе наверху, расстегиваю брючный ремень. Рана пустяковая, но перевязывать трудно. Такое место, что повязка едет вниз, на колено. Вот если немцы захватят в таком положении, с подолом гимнастерки в зубах! Кое-как закрепляю бинт, поспешно застегиваю ремень и сразу чувствую себя уверенней. В тугой повязке рана становится спокойней. Передав на тот берег, что буду менять НП, отключаюсь, с автоматом в руке перемахиваю через бруствер.

Кто-то, тяжело дыша, лезет ко мне под танк. Отрываюсь от бинокля. Сержант с красным потным лицом. Воротник гимнастерки расстегнут, пыльный чуб торчит из-под пилотки, веселые глаза подмигивают дружески.

— Молодец лейтенант! — хрипит он, и шея надувается. — Самый мировой НП.

В трубке докладывают мне с огневых позиций: «Выстрел!» Два мощных разрыва встают в кукурузе перед «фердинандом».

— Твои? — хрипит сержант.

Мне некогда ответить. Самоходка пятится, сейчас уйдет в посадку. Кричу новый прицел. Разрыва жду с замершим сердцем. Взлетела земля. Уходит!

— Пять снарядов, беглый огонь!

Взрывы. Дым. Огонь. Черные смерчи земли. Когда опять становится видно, «фердинанд» стоит на оголенной, перепаханной земле. Как будто даже не подбитый. Стоит и не шевелится больше.

— Сволочь! — говорит сержант облегченно. — Это он мою пушку подбил. Расчет накрыло.

От самоходки, пригибаясь, бегут три черные фигурки.

— Дай по ним!

— Ну да! — говорю я. — Снаряды тратить!..

Мы смотрим друг на друга и смеемся. И отчего-то вдруг легко становится.

— Житуха вашим огневикам! — завидует сержант. — Детей нарожать можно. Так и сидят за Днестром?

— Так и сидят.

Под танком бензиновая вонь. А в стеклах бинокля — слепящее солнце, желтая кукуруза, зной. По всему полю встают дымы разрывов. Среди них отползают рассыпанные цепи немецкой пехоты. Пулеметы захлебываются до хрипоты. Уже ясно, что оборона устояла. Сейчас немцы перегруппируются и полезут снова.

Сержант куда-то исчез. Возвращается с буханкой хлеба и какими-то бумажными стаканчиками. Лезет под танк, прижимая их к груди. Хрипит:

— Рубать хочешь?

Двоим нам тесно под танком, но веселей.

— Ты где голос потерял?

— Танки шли...

Он распечатывает один стаканчик. Мед. Вот бы чего сейчас: холодной колодезной воды, чтоб зубы ломило. У меня до крови растрескались губы, язык распух. Даже слюны во рту нет. Сержант опять исчезает. Вижу, как он по широкому следу гусеницы ползет к убитому танкисту. Что-то делает около него лежа. Возвращается с фляжкой. Лежа на животе, задрав голову — на здоровой шее напрягаются все мускулы, — пьет. Потом передает мне. Ром. Все же пью. Растрескавшиеся губы щиплет, как от спирта. Сержант финкой достает тянувшийся мед из бумажного стаканчика, ест, подмигивая мне хитрым глазом.

— Так воевать можно!

И хохочет. Зубы у него блестят сладкой слюной. Мне становится завидно беру второй стаканчик, отламываю хлеб. Лежа под танком плечо в плечо, едим и наблюдаем. Мед белый, отдает каким-то лекарством.

— Он у них искусственный, — говорит сержант: он все знает. — Синтетический.

И опять подмигивает. Это у него привычка. Оказывается, я здорово хотел есть. От хлеба песок хрустит на зубах. Сухая земля, и трава, и хлеб — все под танком воняет керосином. С полным ртом, прожевывая, сержант кивает вверх, на днище танка.

— Не пробовал, башню не заклинило?

— Не пробовал. Снаряды видел. Есть.

Мне тоже пришла в голову эта мысль: в случае чего — стрелять из танка. Сержант ест, напряженно думает.

— Ты пушку ихнюю знаешь?

— Сообразим, — говорит он. — Наводчик же.

После меда горло дерет от сладкого, невозможно без воды. Проткнув пустой стаканчик финкой, сержант кидает его за плечо.

— Запасливый народ немцы. Покормили и снаряды оставили.

Он пучком травы вытирает лезвие, поплевав на него. И тут слышим мину. Она разрывается метрах в двадцати от нас. И сейчас же вторая — за танком. Отползаем вглубь. Закрываем головы руками. Неужели заметил? Еще несколько мин рвется вокруг нас. Железные осколки со звоном бьют по броне, по гусенице. Дым. Ничего не видно. Когда редет дым, видим танки. Пятнистые в желтой кукурузе, они движутся со всех сторон, выплескивая из стволов длинные молнии. И по всему полю резво бежит пехота... Хватаю трубку, дую, кричу — перебило связь!

— Лейтенант! — хрипит сержант откуда-то сверху. — Э, друг! Давай сюда!

Лезу к нему в нижний люк. Ударяюсь головой о какой-то железный угол. Слепой от боли, шарю пилотку в темноте. Руки натываются на что-то скользкое и мокрое. На минуту становится противно. Вытираю их о тряпье. Впереди, в низком сиденье, заброшенная голова танкиста, слипшиеся в крови волосы.

— Порядок!

Сержант лязгает затвором. Мы разворачиваем башню, ждем, чтоб не открывать себя раньше времени. Видно только вперед и немного вбок, и мы плохо понимаем, что происходит. Танки идут не все. Штук пять остановились в низине и оттуда ведут прицельный огонь. Чьи-то самолеты ревут над нами.

— Давай!

Выстрел глушит. Подаю снаряд. Танк наполняется газами. Трудно дышать. Сержант целится долго. Мне ничего не видно за его широкой спиной, от этого я нервничаю, мне кажется, он пропустит танк.

— Давай!

Он ждет. Потом выстрел. Падает к ногам горячая гильза. Торопясь, он снова стреляет. Стою со снарядом в руках. Выстрел. Снаряд. Танк где-то близко. Не вижу, чувствую только. Стреляй же! Спина его как каменная. Вместе с выстрелом он отскакивает. И сейчас же приникает опять. Кричит что-то.

— Что?

Он отсылается, и вижу: в кукурузе горит танк. Сержант гладит казенник пушки. Черная от копоти рука вздрагивает. Смеется. И тут вижу, левой нас в посадке сбилась пехота. Над головами чья-то рука трясет пистолетом. А сверху пикируют на них «мессершмитты». И два танка, обходя горящий, стреляя с ходу, мчатся сюда.

— Стреляй!

И когда он приникает к пушке и я перестаю видеть, мне опять кажется, что он медлит. Выстрел. Глохну. Снаряд. Выстрел. Поле сквозь узкую прорезь все в разрывах. Солнце перевалило высоту, слепит глаза, и трудно стрелять. Раскаленное солнце. И дым. И кажется, все в танке раскалено. Сержант рукавом размазывает по лицу грязь. Мы стреляем, стреляем, оглохшие, и что-то кричим, не слыша своих голосов. Это как иступление.

Еще один танк горит в кукурузе. Кто подбил? Быть может, мы. Подавая снаряд, слышу частую стрельбу противотанковых пушек. Кукуруза горит. И дым все сильнее. Клоками его несет через нас. Откуда дым? Он уже слепит. И пахнет гарью. Мы плохо видим друг друга. Это где-то близко горит. Я подаю снаряд и кричу ему в ухо:

— Погляжу, где горит!

Не отрываясь, он дергает головой. Я выползаю через нижний люк. Горит кукуруза. Горит земля. Сплошной черной полосой. Дым уже накрыл противотанковую батарею. Она стреляет оттуда, из дыма. Ветром огонь несет к нам. Едкий белый дым ползет по земле. От танка до кукурузы метров сорок. Сухая трава. По ней огонь пойдет, как по шнуру. В танке горючее в баках. И снаряды. Спасение одно: перекопать землю. Но ничего уже не успеем, и нет лопат. Нам уже не уйти. Я возвращаюсь в танк.

— Что там? — кричит сержант, обернувшись, протирая слезящийся глаз.

Не отвечаю, беру снаряд

— Горит где?

— Стреляй!..

Глаза наши встречаются. И он понимает все. Сузившимися, похолодевшими зрачками смотрит на меня. Больше мы не говорим. Стреляем, стреляем, как одержимые. Солнце раскаленное, огненное. Кашель рвет горло. И голова пухнет. И ярость подымается в душе. И отчего-то обидно. Не знаю за что. Но так обидно никогда еще не было в жизни.

Осколки бьют в броню, как в колокол. Разрыв! Разрыв! Потом сразу резкий свет, ударяюсь обо что-то твердое и — пустота. Подымаюсь на дрожащих ногах. Сержант стонет, держась за живот. Переступая по выскальзывающим из-под ног гильзам, подхожу к пушке. Стою, держась за нее. Перед глазами все плывет. Слабыми руками пытаюсь развернуть ее. Заклинило.

Сержант сидит внизу белый, сжав губы. По пальцам течет что-то черное. Я наклоняюсь к нему, он пытается улыбнуться.

— Ханá!..

Как в тумане, тащу его через нижний люк. И когда вылезаем, вижу: горит весь плацдарм. А из огня все еще стреляет противотанковая батарея. Но страшней всего то, что цельной обороны уже нет. В разных местах вспыхивает, перемещаясь, стрельба. Только немецкие танки, стоя открыто, стреляют в огонь из длинных стволов, добывая тех, кто еще сопротивляется.

Пытаюсь взвалить сержанта на бедро. Он тяжелый, обмякший, у меня не хватает сил. Разрыв! Сержант перестает стонать.

— Сейчас, сейчас...

Я тащу его ползком. Трава уже дымится. Огненные искры и красные хлопья сажи летят в лицо. Замечаю, что гимнастерка на мне тлеет. Прихлопываю ладонями огонь. Дым ест глаза. Прижавшись лицом к земле, дышу и ползу опять. В ушах звон. И отовсюду пересекающиеся огненные трассы.

— Сейчас, сейчас...— Я повгоряю это, как в беспамятстве.

Сердце колотится в висках. Кто-то, хрипя, дышит рядом. Оглядываюсь. Это я дышу. Кашель душит. Просовываю два пальца за воротник, дергаю, обрывая пуговицы. Нет воздуха. Сердце выскочит сейчас. И тащу, тащу сержанта на себе, ничего не соображая, задыхаясь, с разведенными дымом, слепыми от слез глазами — через огненные искры, через трассы пуль, с шипением врывающихся в землю.

Руки мои проваливаются. Окоп. И сейчас же страшный взрыв. Там, где была батарея. Больше она не стреляет. Втаскиваю за собой сержанта, волоку по ходу сообщения. Чья-то брошенная землянка. Солома на нарах вся шевелится, кишит мышами. Они бегут сюда отовсюду, с писком выскакивают из-под ног. Огонь и дым гонит их сюда. Я разрываю на сержанте гимнастерку. Он лежит безжизненно, отвернув голову. И тут вижу крошечную ранку над ухом. И кровь. Я тащил его уже мертвого. И руки мои в его крови.

Кто-то в тлеющей шинели сваливается сверху. Сидя на дне окопа, с обезумевшими, страшными глазами, размазывает по лицу копать, кровь и пот. Сухое рыдание, как спазма, рвет его горло.

— Пропали! Горит все!..

Я глянул вверх и увидел над собой солнце. В черном дыму стояло над плацдармом слепое, расплывшееся солнце.

Уже в сумерках мы контратакуем. Гаснущая за высотами беспокойная заря светит в лицо нам. После короткой артподготовки, поддержанные минометами, мы выскакиваем из леса, и нам удается сбить незакрепившихся немцев. Мы гоним их по черной, покрытой пеплом, кое-где дымящейся земле. Пуля перебила у меня автомат, и я бегу с одним пистолетом. Около брошенных артиллерийских позиций, среди убитых коней, зарядных ящиков, разрытой снарядами земли завязывается рукопашный бой. Новая волна немцев накатывается на нас. Они выскакивают из-за гребня, черные со стороны света. Длинный немец с занесенной рукой — в ней что-то блеснувшее — набежал на меня. Я успеваю скрестить над головой руки. Удар приходится в них. Поймав за кисть, удерживая другой рукой, выламываю запястье. Близо — расширенные от боли зрачки, табачная вонь чужого рта, сдавленный крик. И тут страшный удар сзади, и все, качнувшись, повернулось перед глазами: и немец и накренившаяся полоска заката... Удар о землю на минуту вернул сознание, и я вижу, как множество ног в обмотках, которые только что бежали вперед, с той же быстротой мимо, мимо меня бегут обратно. Выстрелы. Крики. Дым близкого разрыва. Я пытаюсь

ползти за ними, кричу. Кто-то дышащий с хрипом, пробегая, кованым ботинком наступил мне на руку. И с облегчением чувствую, как беспмятство наваливается на меня..

Никогда я не видел такого холодного, пустого, далекого неба, какое было надо мной в эту ночь. Я очнулся от холода на земле. Знобило. Во рту был железистый вкус крови. Где-то отдаленно стреляли, и красные пули цепочками беззвучно летели к далеким звездам и гасли. Я осторожно потрогал затылок, вспухший и мокрый,— боль обожгла глаза. Лежа на земле, я плакал от слабости, и слезы текли по щекам, а свет звезд дробился в глазах. Потом я почувствовал себя тверже.

Невдалеке от меня темнела убитая лошадь, стертая металлическая подкова голубовато блестела на торчащей вверх задней ноге. Я вспомнил, что тут артиллерийские позиции, и сообразил: сюда придут. Пошарил около себя на земле пистолет. Его нигде не было. Одна граната уцелела на поясе. Встав на четвереньки, пополз, часто останавливаясь от слабости и прислушиваясь. Две черные тени в касках, хорошо видные на фоне неба, двигались стороной, бесшумно. Иногда они останавливались там, где слышался стон. Красный огонь, удар выстрела, и, постояв, они двигались дальше. И снова останавливались, снова вспыхивала, выстрел, и дальше шли. Переждав, я пополз со всей осторожностью. Ладонями по временам я чувствовал теплый пепел, земля еще кое-где дымилась, и ветром раздувало красные угли.

Я полз по своей земле, где каждая тайная тропочка, любой бугорок знакомы, памяты, не раз укрывали от пули. Тут по ночам вылезали мы из щелей и блиндажей — и те, кто жив сейчас, и те, кого уже нет, — ложились на траву, дыша полной грудью, расправляли затекшие за день суставы. Сколько раз всходил из-за леса молодой месяц, старел, наступала глухая пора темных ночей — лучшее время для разведки, — и снова нарождался молодой месяц. На наших глазах поднялась здесь кукуруза и скрыла нас от наблюдателей, потом она стала желтеть, и это тоже было хорошо: не нужно было часто обновлять маскировку. И вот — пепел. И земля эта — чужая, и я уползаю с нее один, а недалеко черными тенями движутся немцы и достреливают раненых. И так же, как всегда, светят над землей звезды, и уже показался из-за леса желтый рог молодого месяца, но свет его сейчас опасен мне.

Близко уже уцелевшая кукуруза. За ней — дорога. А там — лес. Важно скрыться в лес. Я узнаю это место. Здесь когда-то пехотный шофер пытался проскочить днем на «виллисе», крутанул резко и вывалил полковника. До ночи немцы, как в мишень, сажали пулю за пулей в опрокинутый «виллис», пока не подожгли его.

Внезапно близкий щелчок взведенного курка. Вздогнув, припав к земле, оглядываюсь. Пепельное небо. Черные стебли кукурузы. Кто там? Наш? Немец? Но немцу зачем прятаться? А может быть, раненый... Мне кажется, я слышу его дыхание. Или это кровь в ушах? Земля подо мной начинает дрожать. Идут танки. Два немецких танка и бронетранспортер приближаются по дороге. Если в кукурузе немец — все! Он крикнет. Танки проходят, освещенные луной. В башнях стоят танкисты. В косом свете вспыхнувшего фонарика — пыль, как дым. Лежа, сжимаю гранату. Не кричит. И уже шелохнулась надежда: наш. За танками негусто валит пехота. Короткие сапоги, вздымающие пыль, тускло блестящие каски, расстегнутые мундиры, засученные рукава. Некоторые несут автоматы, положив поперек шеи, держась руками за ствол и за приклад. Задние идут по плечи в пыли. И еще один танк, замыкающий. За рокотом и лязганьем не слышно шагов. Мы лежим, затаившись, вжи-



маясь в землю: я и тот, в кукурузе. Это наш, такой же, как я, раненый. Я осторожно ползу к нему.

— Не стреляй! Свой!

Человек приподымается с земли. Панченко!

— Ползти сюда, товарищ лейтенант!

И ползет мне навстречу.

— Держитесь за меня.

Неловко он пытается обхватить меня за спину.

— Постой. Я сам.

В неосевшей пыли мы проскакиваем дорогу, скрываемся в лесу. Неотдышавшиеся, сидим в кустах, в тумане, и шепчемся, как гуси в камыше.

— Мышкó! Панченко!

Я говорю какие-то слова и, точно слепой, трогаю его лицо руками, глажу по щекам. Я чувствую, могу разреветься. А он жмется: неловко ему. И мне уже неловко, и мы молчим, смотрим друг на друга и молчим, и хорошо бы закурить сейчас. Ведь мы только что могли пострелять друг друга.

— Мышкó! Черт окаянный! Ты знаешь, как ты меня испугал?

— Я сам спугався!

И улыбается.

— А ты искал меня?

Искал, оказывается. Ползал по полю от убитого к убитому, переворачивал лицом к свету и полз дальше. Пехотинец какой-то сказал ему, что видел, как убило меня, и он полез сюда. Из всех людей в эту ночь он один не поверил, что я убит, и, никому не сказав, полез за мной. Это мог бы сделать брат. Но брат — родная кровь. А кто ты мне? Мы породнились с тобой на войне. Будем живы — это не забудется.

Мне отчего-то ничего не страшно сейчас. Самое большое, что могут сделать немцы, — это убить нас. Но это в конце концов не самое страшное. Сколько уже лет ведут они бесчеловечную войну, а люди остаются людьми.

— Дэ ж ваша пилотка? — Панченко уже критически осматривает меня.

Нету пилотки. Мне всегда доставалось от тебя за непорядок. Ругай и сейчас. Я не понимал прежде, что это приятно, когда тебя ругают.

— И галихве в крови.

Вот видишь, опять виноват. Не сердись, Мышкó, наживем новые галифе. И пилотку наживем, было бы на что надевать.

— Так вы ж и ранены, наверное?

— Не буду больше.

Он укоризненно смотрит на меня своими маленькими, как бы томящимися от усилия мысли глазами. А мне хочется расцеловать его длинноносую, угрюмую, милую морду.

— Дайте ж перевяжу.

— Пошли.

И мы, след в след, так, чтобы не хрустнуло под ногой, пробираемся по лесу. Туман подымается из кустов, и пахнет близкой рекой и туманом. Он скрывает нас. В сыроватом воздухе я чувствую от своей гимнастерки, от рук запах гари. Лес полон немцев. Мы слышим их голоса и шаги и несколько раз, затаившись, пережидаем, пока они пройдут.

Где-то близко стучит пулемет. Немецкий. Короткими очередями ему отвечает наш. В тумане звук его глуховатый. Мы идем на этот звук.

Луна уже высоко над лесом, когда мы в тумане переходим к своим.

## Глава 12

Натянув на уши воротник шинели, я лежу под берегом, головой в песок. Руки заледенели, а дыхание горячее. И мерзнет спина. Никак не могу отогреть спину. Кутаюсь плотней в шинель, сжимаюсь, чтоб не дрожать. И оттого, что сжимаюсь все время, болит затылок, болят все мускулы, ломит икры ног. А глаза горячие, невозможно поднять.

Кто-то осторожно трясет меня за плечо. Стягиваю с лица шинель. Белый свет режет глаза.

— Нате вот. Пейте.

Панченко, сидя на собственных пятках, протягивает мне фляжку. Из горлышка идет пар. Беру ее озябшими руками. Кипяток с ромом. Пью, обжигаясь. Яркое солнце отвесно стоит над головой, а я в шинели не могу согреться. От сверкания воды в Днестре у меня из глаз на бритые щеки текут слезы. Вытираю их плечом, чтоб Панченко не видел. Он сидит, отвернувшись. За двое суток на плацдарме он похудел и почернел, лицо стало шершавое, скулы заострились.

Кто-то рядом в ржавой от крови, ссохшейся на груди гимнастерке шепчет, как в бреду:

— Ванюшку Сазонова, соседа моего, взяли в лодку, а мне места не хватило... Не пустили...

Тот берег, близкий, зовущий к себе, как жизнь, отрезан от нас водой. Я стараюсь не смотреть туда. Отдаю Панченко фляжку. Лечь, укрыться с головой и не смотреть. Шум ссоры привлекает меня. Близко от нас, в водомоине, проточенной в песке ливнями сверху, два бойца ссорятся из-за места и уже толкают друг друга. Один шуплый, молодой, в накинутой на плечи шинели. Другой мордатый, в одной бязевой рубашке с болтающимися у горла завязками. Он, видно, пришел сюда позже, но посильней — и толкает шуплого в грудь.

— Я же раньше занял! Вырой себе! — говорит тот звенящим обидой голосом, и губы у него дрожат.

Я поднимаюсь с песка. И в тот же момент: «Ви-и-у... Бах!» Оглушенный, осыпанный песком, стряхиваюсь. Ко мне под обрывом бежит Фроликов, заслоняя голову рукой, кричит издали:

— Товарищ лейтенант!..

Мордатый уже отполз в сторону и в отвесной стене песка обеими руками скребет себе нору, озираясь. Там, где они толкались недавно, лежит распластанная на песке шинель. Панченко, подойдя, приподнял ее, потрогал что-то и опять накрыл шинелью. Возвращаясь, он вытирает пальцы о голенище сапога.

— Товарищ лейтенант! — подбежал задыхающийся Фроликсв.— Комбат велел вам идти к нему.

Проходя мимо водомоины, я глянул туда. Из-под шинели торчали большие солдатские растоптанные сапоги и худая рука с детской, повернутой вверх грязной ладонью. А мордатый рыл, уже по локти углубляясь в песок. С минуту стоял я над ним, удерживая желание ударить сапогом. Затихнув, он ждал. Я перенес через него ногу, как пьяный. И долго еще ладонью прижимал щеку, расправляя мускул, сведенный судорогой.

У Бабина уже собралось несколько командиров. Рядом с ним, подогнув под себя маленькую ногу в хромовом сапоге, — Караев, замполит соседнего полка. Он горбоносый и, по глазам видно, горячий. Большая голова в жестких, курчавых, с проседью волосах, несоразмерно узкие плечи, весь маленький, с маленькими желтыми кистями рук. Когда я

подхожу, Караев что-то говорит, волнуясь,— от этого сильней чувствуется гортанный акцент.

Командиры сумрачно молчат. Землисто-серые лица. Воспаленные глаза. Оттого, что в щетину набилась песчаная пыль, лица кажутся давно небритыми. На многих бинты в запекшейся черной крови, и мухи липнут на кровь. Кивнув знакомым, сажусь.

Рядом со мной пехотинец, по виду из пожилых солдат, в солдатских ботинках, перематывает обмотку. На плечах его пузырями вздулись мягкие офицерские погоны с одним просветом, но без звездочек. Завязывая тесемку, говорит, не подымая глаз:

— Этой ночью, когда раненых перестали переправлять, пятеро у меня сразу померло. И раны не очень, чтобы так уж... Могли бы жигь.

Кто-то выругался тоскливо сквозь зубы. Командир пешей разведки в зашнурованных на икрах брезентовых сапогах, с нервным лицом глянул на него темными раздраженными глазами и, подняв финку, опять швырнул ее в песок. Он начертил круг в песке меж параллельно поставленных подэшв, положил в центре щепку и, подымая финку за конец, швыряет ее натренированной рукой и раздражается, что не может попасть в центр.

Слышно, как у ног Бабина дышит овчарка. Высунула мокрый дрожащий язык и часто носит боками: жарко. А я не согреюсь в шинели. И еще двое-трое таких же озябших от малярии, словно зимой, кутаются, подняв воротники.

Позади нас плещется Днестр, блестящий на солнце желтый песок того берега, зеленые сады, заслонившие хутор, синее чистое небо. Днестр в этом месте не широк, но жизни не хватит переплыть его.

Я смотрю, как Рита в яме, вырытой под корнями дерева, водкой промывает Маклецову плечо. Маклецов тяжело дышит, у него сохнут воспаленные распухшие губы, он то и дело облизывает их. Лицо желтоватого, нехорошего оттенка, глаза беспокойные. Мне кажется, у него началось заражение крови. Трое суток назад, убежав из медсанбата, он переплыл Днестр; я и сейчас вижу, как он шел за Бабиным по кукурузе, неся в руке сапоги, которые снял с санитаря. Неужели это было только трое суток назад? Рита стоит перед ним на коленях, юбка обтянула ее бедра, и многие поглядывают на нее.

Трое суток назад нас было два полка. И еще минометы, противотанковая, дивизионная артиллерия, тылы. Верных четыре тысячи человек. Четыре тысячи! Остатки двух полков жмутся под обрывом по берегу. Выгоревшие добела гимнастерки, бязевые рубашки, обмотки, бинты, бинты... А сверху немцы. Нет окопов, только норы в откосе. В какую сторону ни посмотри, все роют, роют — саперными лопатками, обломками досок, скребут руками, крышками котелков, зарываясь в песок.

Мы так тесно сбились под берегом — люди, повозки, лошади, техника,— что каждый снаряд попадает. Песок у воды в свежих ранах воронок, волна лениво залиывает их. Наша артиллерия с того берега бьет через нас; при каждом разрыве сверху валяются комья земли. Немецкие снаряды, провизжав над нами, рвутся вниз. И все живое снизу теснится под берег в «мертвое» пространство — хоть радиатором, хоть колесом, хоть краешком попасть сюда! На минуту затихает возня, потом в гуще разрывается снаряд, и все опять приходит в движение. Повозки, машины, кухни, сдавливая друг друга, лезут под берег — крики, треск, матерная брань, пронзительное лошадиное ржание. Мы прижаты к Днестру. Ни от нас, ни к нам переправы нет. Даже раненых нельзя переправить. От связи остались клочья. Только теперь я понимаю, как это было там, на том плацдарме. Вот так же все сбились под

берегом, прижатые к воде, потом артподготовка... Мы только слышали ее. А ночью в мою лодку толкнулся мертвец...

На левом фланге снаряд поджигает грузовую машину. Она горит при ярком солнце, стоя всеми четырьмя колесами в воде. Овчарка у ног Бабина начинает скулить, оглядываясь на людей. Близкий огонь тревожит ее.

Ко мне подсаживается Рита.

— Нагнись. Дай голову посмотрю.

Она руками наклоняет мою голову, начинает разматывать бинг. Через одинаковые промежутки на нем повторяется все увеличивающееся кровавое пятно. Сжимаю губы, когда она отрывает от живого. Потом сижу, нагнув голову, с бинтом в руках, сухой ветер холодит рану. Рита пальцами трогает края раны, и мне это приятно. В натянувшихся поперек складках юбки — песок. Между юбкой и голенищами сапог — голые ноги. Грязные колени. Одно колено ссажено до крови, сочится, и песок прилип к нему.

Оторвав влажный окровавленный конец и бросив, Рита тем же бинтом делает мне тугую повязку. И, когда бинтует, лицо ее с поднятыми вверх, косящими от близкого расстояния глазами — рядом с моим лицом. Она дышит носом, чуть сопя, я чувствую ее легкое дыхание и задерживаю свое. Две тонкие усталые морщинки легли у губ. Я их не видел прежде. И что-то сжимается во мне.

— Ты бы колено себе перевязала, — говорю я, когда она уже застегивает санитарную сумку.

Рита равнодушно глянула на свою ногу, ниже натянула юбку.

Последним приходит Брыль с левого фланга. Когда он прибыл к нам несколько дней назад, румяный, крепкий, он казался человеком из другого мира. Сейчас у него землистое от усталости лицо, провалившиеся глаза. Говорит шепотом: всю эту ночь он с пулеметчиками сдерживал немцев и сорвал голос от крика. Садится на песок, просит соседа, едва слышно сипя, при этом на шее от напряжения вздуваются все вены:

— Дай докурю!

Когда я вскоре глянул в его сторону, Брыль уже спал, уронив голову. В желтых от табака пальцах дымился газетный обслонявленный окурок.

— Что делать будем? — спросил Бабин, обедев всех тяжелым взглядом и остановившись на Брыле.

Сосед толкнул его. Вздрыгнув, Брыль поднял мутные, налитые кровью глаза, потряс головой.

С этой ночи командование на плацдарме принял на себя Бабин. Еще в первый день убило командира полка Финкина. Вместе с начальником штаба его задавило на НП взрывом бомбы. На той стороне в хуторе у Финкина жена. Ее сюда не пустили. Другого командира полка, раненного автоматной очередью в живот, переправили с последней лодкой.

Несколько мин разрывается внизу одна за другой. «Ви-и-у... Бах!», «Ви-и-и-у...» — еще вост над головой, а внизу уже рвется: «Трах! Трах! Трах!..»

— Это еще у него мортир нету, — говорит кто-то, пригнувшись: осколки долетают сюда. — А то б он нам давно навел концы.

Один еще теплый осколок я поднял. Он был синеватый, острый, с зазубренными, рваными краями. Я глянул на него, глянул на полную спину Риты, сидевшей рядом, и внутренне содрогнулся.

— Вот так и там было. — Бабин кивнул на север. — Прижали к Днестру и — артподготовка! Артподготовки здесь мы не выдержим.

Мы молчим.

— Выход один: вырваться из-под огня! Как только он начнет арт-подготовку — рвануться вперед!

— А пушки?

Это спросил начальник артиллерии полка, высокий, с бескровным лицом и забинтованной головой.

— Пушки бросим?

И тут в нас прорывается ожесточение этих дней.

— У него танки, а мы с чем? С этим на танки лезть?

Рядом со мной пехотный старший лейтенант с остановившимися глазами, что-то шепча, вынимает из карманов бумаги, рвет и закапывает в песок. Глядя, как он достает и прячет обратно документы, я инстинктивно шупаю карман: партбилет цел. Так в первые дни, когда я только получил его, я то и дело ощупывал карманы гимнастерки. И вот сегодня почему-то тоже.

Старший лейтенант вскакивает, выхватив пистолет, кидает его под ноги в песок.

— Не поведу людей на смерть! Умирать, так здесь!

И вдруг:

— Молча-ать!..

В нависшей тишине Бабин, поднявшись, идет к нему. Бледный, с черными страшными глазами. Сапог наступает на пистолет, вдавливая его в песок. Тихо. Слышно только дыхание Бабина.

— Иди! — выдавливает он из себя. — Туда иди!

Повернув, он толкает старшего лейтенанта в спину.

— Плыви на ту сторону! Один! Спасайся!..

Опять внизу разрывается снаряд, в самой гуще, среди повозок. Пронзительное предсмертное лошадиное ржание. Из черного дыма вырвалась пара коней, волоча разбигую повозку, устремилась в Днестр. Еще несколько лошадей, обезумев, кинулось за ними. Повозочные задерживают остальных, хлещут по глазам. Последним подбежал к воде рыженький тонконогий жеребенок. Волна окатила его бабки, он отпрянул назад, на берег, и оттуда заржал. Мать ответила ему из Днестра, но другая лошадь продолжала плыть, увлекая ее за собой.

Лошади плыли тесно, волна окатывала их мокрые спины, течение сносило их вниз вместе с повозками. И все дальше и дальше уплывало ржание, а жеребенок метался по берегу. Наверно начал работать немецкий пулемет. Всплески появились на воде. Слева — направо. Справа — налево. Вначале далеко впереди, но постепенно приближаясь. Одна лошадь ушла под воду, другая... Широкая рыжая мокрая спина несколько раз показалась из воды на середине, потом волны сомкнулись над ней. Пулемет наверху еще некоторое время сеял по воде всплески. Наконец и он смолк. Только жеребенок бегал по берегу, пугаясь волн, и ржал жалобно. По-прежнему блестел на солнце Днестр, словно ничего не случилось, а место внизу, где разорвался снаряд, уже было занято другими стеснившимися повозками.

Мы сидели отрезвевшие. Словно темная пелена упала с глаз.

— Я не умею плавать, товарищ капитан... — сказал старший лейтенант, странно прозвучавшим, потерянным голосом. У него дрожали губы.

Я вдруг увидел, что у него молодое лицо, светлые, налитые тоской глаза. Бабин отошел, тяжело сел на место. А старший лейтенант все стоял рядом со своим затоптанным в песок пистолетом, не решаясь поднять его, ни на кого не глядя, и все старались не глядеть на него. Что-то незримо отделило его от нас.

— Снять с него погоны, — приказал Бабин хрипло.

С песка поднялся Брыль. Подойдя к старшему лейтенанту — был он на полголовы ниже его, — жмурясь, брезгливо и жалостливо, дернул раз, дернул другой, оставив на плечах клочья порванной гимнастерки. И оба раза старший лейтенант качнулся. Мертвенно бледный, он стоял, как неживой, и казалось, сейчас упадет на песок.

Брыль сложил погоны звездочками внутрь, словно складывал вещи покойника. Поднял пистолет, обдув от песка, оглянулся, как бы не зная, куда деть.

— Пусть идет, — сказал Бабин, все так же не глядя. — Пусть один воюет.

И мы все видели, как старший лейтенант ушел. На минуту дым разрыва закрыл его, но тут же он снова показался. Он шел у воды по мокрому песку среди обломков и разбитых машин куда-то на левый фланг.

Бабин пальцами помял горло. Заговорил не сразу, и голос был хриплый.

— Как только начнется артподготовка, командирам рот, командирам взводов поднять бойцов! Коммунисты — вперед! Вперед, не останавливаясь, не лежать под огнем! Когда сзади смерть, люди на пулеметы полезут.

Сузившиеся глаза его горят холодно и яростно. И я чувствую, как его возбуждение постепенно передается нам. Я начинаю дрожать. Это уже не от малярии.

— Смешаться с немцами! Гнать, не отрываясь! Взять высоты! И ни черта нам танки не сделают. Не могут они давить своих!

Он повернулся к начальнику артиллерии.

— Орудия выкатить! По пять пехотинцев на орудие хватит?

— Хватит!

— Командиры рот, дать по пять человек на орудие! Выкатить на руках, огнем поддерживать пехоту! И — вперед! Вперед! Другого выхода у нас нет.

Мы уже все вскочили на ноги. Командир пешей разведки сунул финку за голенище брезентового сапога, в лице его отчетливо проступило жесткое, решительное выражение.

— Я к ребятам пошел!..

— Примешь его роту! — Бабин кивнул на то место, где стоял старший лейтенант. Крикнул: — На левом фланге — Брыль! Справа — Караев! В центре поведу я.

Нас охватывает нетерпение. Не спавшие по несколько ночей, измученные, ожесточившиеся, прижатые к Днестру, мы ждали последнего боя с мрачной решимостью. Пути назад не было. И надежды тоже не было. Сейчас нам начинает казаться, что это возможно: прорваться сквозь огонь. Сколько осталось до артподготовки? Никто не знает. Может быть, она начнется сейчас. Торопясь, мы расходимся. В последний момент Бабин задерживает меня:

— Останься!

Фроликов на песке вскрывает банку мясных консервов. Слышно, как дышит Маклецов. Жар сжигает его. Он все время пьет из фляжки и тут же опять облизывает сухим языком вспухшие, лоснящиеся губы — они у него какие-то багровые. Мне кажется, это от жары и солнца у него быстрее идет заражение. Глаза от температуры маслянистые, в них беспокойный горячий блеск.

— Поведешь его роту, — говорит Бабин мне.

Маклецов пугается:

— Комбат! Я могу еще!..

И, пересилив себя, сел, опираясь руками. Белый, даже глаза посветлели от боли.

— Да лежи ты! — не выдерживаю я.

Он ложится без сил. Дышит часто. На висках выступил пот. Мы стараемся не глядеть на него.

Близко разрывается снаряд. Фырча, проносятся осколки. Стон. Придерживая туго набитую санитарную сумку, Рита бежит туда, мелькая пыльными голенищами сапог. Не добежав, останавливается: пехотинцы уже волокут убитого вниз, спиной по песку. Если так продлится, он выбьет нас по одному.

— Посади меня, — просит Маклецов немного погодя.

Я сажаю его спиной к откосу. Он смотрит на Днестр, смотрит на тот, и близкий и далекий, берег, где ему уже никогда не быть.

— Не верил я, что меня убьют, — говорит он, словно извиняясь за недавнее.

Надо что-то сказать. В таких случаях всегда говорят какие-то слова. Но я не могу. Пять минут назад рядом с нами убило человека. Очень просто: разрыв — и человека нет. Это может быть в любой момент с каждым из нас. И я не могу сейчас врать. Сижу и молчу.

Вернулась Рита. Фроликов ставит раскрытую банку консервов. В коричневой жиже крошки желтого жира и мясо крупными волокнами.

— Есть будешь? — спрашивает Бабин.

Я не хочу есть. Во время приступа меня от одного вида мяса тошнит. Рита тоже не хочет есть. Бабин ест один. Достает мясо пальцами и жует без хлеба, прислушиваясь к выстрелам наверху. Виски то западают глубоко, то надуваются. А Рита смотрит на него. Как смотрит! Кто она ему? Жена? Мать? Вот такого, худого, желтого, измученного лихорадкой, она любит его еще больше. Я не могу видеть, как она смотрит на него. Скорей бы уж атака! Отворачиваюсь и смотрю на Днестр. К берегу прибило труп немца. Ноги раскинуты на песке подошвами в нашу сторону, а сам в воде до пояса. Накатывается волна, подпирает его под затылок, под спину, и немец как будто силится сесть. Потом волна отходит, он падает навзничь, раскинув руки.

Я не могу приказать Рите, потому что у меня нет власти над ней, я говорю Бабину:

— Она с нами не пойдет. Скажи ей, комбат, пусть здесь остается. В конце концов здесь раненые.

Рита живо повернулась на песке в мою сторону, белая от злости.

— Тебе что надо? «Скажи ей, комбат...» Ты что лезешь?

Бабин поднял на нее нахмуренное лицо — ничего не сказал. Ну и черт с вами! Встаю и иду в роту Маклецова.

Рота — человек сорок пять, — сжавшись, ждет под песчаным обрывом. Потом приползают еще восемь: раненые. В окровавленных бинтах, многие без гимнастерок. Один в разорванной тельняшке, прижав к животу забинтованную руку, раскачивается взад и вперед, словно ребенка укачивает. Рядом с ним пехотинец, вытянув длинные худые ноги в обмотках, щелкает затвором винтовки. Ближе ко мне — Саенко с автоматом на коленях, затяжка за затяжкой сосредоточенно досасывает мокрый окурок и поглядывает на него, словно боясь не успеть. Их трое, моих, здесь: Панченко, Саенко и радист. Коханюка видели в первый день на берегу, нес перед собой забинтованную руку, как пропуск. С ней и вошел в лодку. А эти двое — Панченко и Саенко — сами переплыли ко мне с той стороны, как только узнали, что отсюда никого не

выпускают. Опасность лучше всякой проверки сортирует людей. И сразу видно, кто ты.

Над нами появляется корректировщик, двухфюзеляжный «фокке-вульф».

— Прекращай шевеление! — кричат по плацдарму.

Гасят сигарки. Мы жмемся под откосом. Выгоревшие гимнастерки сливаются с песком. И вправо и влево по всей кайме берега, перестав рыть, сжались в песке люди. Ждем. Трудней всего ждать. Сейчас он начнет. У меня сразу пересыхает во рту. Корректировщик все кружится. То одним крылом, то другим блеснет в белесом небе. Вдруг словно подземный толчок почувствовали мы. И сейчас же, заглушая хлопки выстрелов, в воздухе приближающийся вой и шипение. В последний раз оглядываюсь на берег, на котором лежу, и таким спасительным, надежным показавшись он мне в этот момент!.. В следующий момент мы уже вскакиваем.

— Впере-ед!

Яростные лица. Разинутые рты. Рушатся первые разрывы. Дым. Пыль. Мельком вижу на обрыве слева овчарку. Крутится, заглядывает вниз. С автоматом на шее, прыгаю на откос. Хватаюсь за корни. Лезу, лезу, держась за них. Корни обрываются. Падаю спиной вниз. Внизу Саенко бьет кого-то в дыму сапогами. Тот сжался на песке, не встает, только закрывает руками голову. Я снова лезу на обвалившийся откос. Впереди карабкается пехотинец в обмотках. Один за другим возникают над краем откоса солдаты. И сейчас же исчезают за ним, согнувшись, с автоматами в руках. Взрыв! Сверху падает пехотинец в обмотках. Переворачивается через спину, чуть не сбивает меня. Винтовка его, воткнувшись штыком в песок, раскачивается упруго. И еще один пехотинец. Уже наверху. Вцепился побелевшей рукой в траву, лежит ничком. Я вскакиваю на откос.

«Ви-и-и-у!..»

Падаю. Вдруг нечем становится дышать. Чувствую его спиной, лопатками... Вот он! Закрываю ладонями голову.

«Гх!..»

Мимо! Вскокиваю.

— Вперед!

Из двух пехотинцев, лежавших рядом, встает один. Бежит, шатаясь. Левой мелькнули за дымом Бабин и Рита. Не бегут, идут. За ними ползет собака, оставляя широкий кровавый след. Где Саенко? Где Панченко? Никого не вижу. Врываемся в лес. И вдруг — «та-та-та-та-та!..»

Стою за деревом боком, вытянувшись. Пули низко стучаются о стволы. Оглядываюсь осторожно. Повсюду за деревьями, за кустами лежат пехотинцы. Мы вырвались из-под снарядов. Только не лежать сейчас. Не лежать, иначе уже не оторвешься от земли. Пулемет торопливо дожевывает ленту. Осекся.

— За мно-ой!

Какой-то солдат в распахнутой телогрейке бежит впереди меня, размахивает яростно автоматом, держа его за ствол, как дубину. Слева ударил пулемет и смолк внезапно. За деревьями мелькают немцы. Они бегут навстречу нам. Солдат исчезает. Из-за него выскакивает немец. Засученные рукава. Ощеренное, как будто улыбающееся лицо. Стреляю. Саенко обгоняет меня. Еще чья-то широкая спина в рубашке. В голый, по локоть загорелой руке — немецкий автомат. Лес кончился. Впереди меня, согнувшись, бежит немец. Никак не могу его догнать. Бегу, стреляю по нему и что-то кричу. Автомат дрожит в руках, как живой. Потом перестает дрожать, а я все жму на спусковой крючок. Внезапно немец



оборачивается. Помертвевшее маленькое лицо. Подымает автомат. Страшно медленно. А я не могу остановиться, бегу на него, и все это, как во сне, и ноги сразу становятся слабыми. Задохнувшись, вижу вспышку перед глазами, успеваю упасть. Когда подымаю голову, Саенко что-то делает над немцем, придерживая кубанку рукой.

— Нател!

Кидает мне запасной магазин к автомату. Сзади накатывается: «А-а-рра-рра!..» Разгоряченные лица, кричащие рты — все поле в бегущих людях. Ботинки, обмотки — пехота, набежав, обгоняет нас. Стоя на колене, перезаряжаю автомат. Потом бегу за ними и тоже что-то кричу, и оттого, что кричу, легче бежать. Окопы наши — позади. Чьи-то знакомые брезентовые сапоги мелькают, удаляясь. Под ногами каменистая осыпающаяся земля. Галька. Бежать становится тяжело. Это высоты. И вдруг — пусто. И я тоже лежу на земле. И только.

«Та-та-та-та-та-та!..»

И ветерок над спинами. И пули: «Чив! Чив! Чив!», «Цвик! Цвик!» Это бьет сверху. Из немецких окопов. Лбом, грудью вжимаюсь в землю. Нет ни укрытия, ни воронки — весь на виду.

«Ж-ж-ж!» — как жук, рикошетит надо мной расплюснутая пуля. Рядом хрипит кто-то и стонет. Приоткрываю глаз. Нога в ботинке дергается впереди меня, скребет подковкой каменистую землю.

Я упал на правую руку. Пытаюсь незаметно достать под собой гранату на поясе. Надо кидать из-за спины, лежа. Ногти царапают ребристый бок. Ускользает. Каждый раз, когда надо мной проходит пулеметная очередь, сжимаюсь сильнее. Нога впереди меня дергается реже. Тянусь, тянусь, зачем-то задерживаю дыхание. Пальцы потные, граната выскальзывает. Несколько мин беспорядочно разрывается по склону. Сейчас немцы придут в себя. И вдруг крик:

— Танки!

Мгновенно обессиленный этим криком, я слышу, как кто-то уже отползает. Сейчас вспыхнет паника. Люди хлынут вниз, а там — танки. И пулемет сверху. Это — истребление.

— Лежать! — хриплю я в землю.

Кто-то вскочил. Бежит вниз. Очередь! Я успеваю сорвать с пояса гранату. Взрыв! Это уже кинул кто-то раньше. Вскакиваем. По осыпающейся из-под ног гальке бежим вверх. Из дыма на меня — чье-то искаженное лицо. Ударяю гранатой. Глаза над бруствером. Огромный хрипящий Саенко валится на них. Прыгаю в траншею. Командир пешей разведки в дыму крутит немцу руки. Молча. У обоих бледные ожесточенные лица. Какой-то солдат возится над пулеметом.

— Давай скорей!

Солдат подымает лицо — Панченко! Оттащив в сторону убитого пулеметчика, бежим с пулеметом по траншее. И только устанавливаем на другую сторону — немцы! Лезут вверх по склону, стреляют из автоматов, вода перед животом, падают, переползают, выскакивают из кустов. Пулемет дрожит у меня в руках. Белые вспышки пламени бьются перед глазами. Сквозь эти вспышки — мечущиеся фигурки немцев. Бегут. Пропадают. Бегут. Откуда-то через нас начинает бить артиллерия.

— Ленту! — кричу я.

Панченко исчез куда-то. Вместо него Саенко. Из-под кубанки на ухо, по потной щеке течет кровь. Хочу крикнуть ему, но челюсти свело, не могу разжать. И тут же забываю о нем: опять лезут немцы, ползут по виноградникам отовсюду.

Разрыв!

Вжимаю голову в плечи.

Разрыв! Разрыв!

Это танки. Слышно, как они ревут. Кто-то, тяжело дыша, пробегает по траншее за спиной у меня, матерится, кричит:

— Гранаты!..

Надо снять пулемет. Свист. Вой. Грохот. Стремительно налетевший сверху гул обрушивается на голову, оглушает. Конец! И не могу оторваться от пулемета. В тот же момент из-за голов наших, как снаряды, выскакивают штурмовики, и немцы катятся вниз по склону.

Потом я сижу на дне траншеи на пулеметных гильзах без сил. Несколько бойцов сидят рядом. Дышат. Лица мокрые от пота. Правей ложатся разрывы. А где же танки?

Сверху сваливается Панченко. Почему-то босой. Хрипит пересохшим горлом:

— Пить!

На черном лице одни глаза. Кто-то дает фляжку. Пьет, задыхаясь, с остановившимися зрачками. Левая щека в пыли. Сквозь пыль сочится ссадина. Над головой у нас гудение самолетов и пулеметные очереди: «Др-р-р! Др-р-р!» Глухо за толщей воздуха. Почему Панченко босой? Я смотрю на него и что-то ничего не могу сообразить. Перед глазами туман. У меня, кажется, жар. Это малярия. И слышу плохо.

— Где танки?

Мой голос доходит до меня, как сквозь вату. Панченко отрывается от фляжки. Блестят мокрые зубы.

— Вон они, танки!

И указывает фляжкой назад. Позади нас, за высотой, подымается густой черный дым. Панченко смеется и опять пьет. Мне тоже хочется пить. Беру у него фляжку. Вода почему-то горькая.

По траншее быстро идет Брыль.

— Собрать оружие, патроны, гранаты! Сейчас опять ползет!

Мы подымаемся. Глядя на него, я вдруг вспомнил о Бабине. Впервые за весь бой. Беру его за портупею.

— Бабин где?

— Там! — Он кивает головой назад вдоль траншеи и торопится пройти, но я удерживаю его за портупею. Я хочу спросить о Рите и боюсь. Словно поняв, Брыль говорит:

— Все там. Живы.

И, разжав мою руку, уходит быстро. Уже издали, за поворотом траншеи, опять слышен его голос:

— Собрать оружие, гранаты, сейчас снова ползет!..

Отчего-то во рту у меня вкус крови. Плюю на ладонь — кровь.

### Глава 13

Ночь проходит тревожно. С вечера мы отбиваем еще две атаки. У немцев, не переставая, работают пулеметы, рассеивая над черной землей огненные трассы пуль. Они с шипением врезаются в бруствер. Из низины, затопленной туманом, часто бьет скорострельная пушка, прозванная Геббельсом: «Ду-ду-ду-ду-ду!..», и оттуда вылетают вверх прерывистые струи огненного металла. По временам ржаво скрипит шестиствольный миномет, у нас все дрожит и трясется от взрывов, и земля осыпается.

Небо низкое. Тучи глухо обложили его. Южнее нас и на севере, где был плацдарм, — а может, уцелел он? — облака безмолвно вздрагивают: это отсветы боя на земле. Там давно уже слышен небывалой силы артиллерийский гром, и воздух, дрожа, неприятно действует на уши.

Всю ночь к нам прибывает пехота с того берега. Они идут сюда по выжженной земле, на которой еще остались неубранные трупы и чернеют остовы сгоревших танков; попав теперь в наши окопы, где не выветрился дух немцев, они говорят отчего-то вполголоса.

Усталость валит людей с ног. Засыпают с открытыми глазами, посреди разговора, с недокуренной сигаркой в руке. У пулемета спит пулеметчик, ткнувшись лицом в бруствер, не разжимая рук. Приехала кухня, но даже запах еды не будит людей. Сильней всего сейчас сон.

В полночь, отправив Панченко на тот берег за связью, я оставляю за себя пехотного лейтенанта и спускаюсь в блиндаж. Воздух спертый. Надышано и накурено так, что немецкая свеча в плошке, задыхаясь, едва мерцает сквозь дым. Спят от порога. В проходе, на нарах — вполвалку. Табачный дым ест глаза. А может быть, это от усталости? Колеблюсь минуту, потом втискиваюсь между двумя храпящими телами и засыпаю, как будто проваливаюсь в темную воду. Последнее, что слышу, — немецкий пулемет. Где-то близко.

Будит нас громкий крик:

— Подъем! Немцев проспали!

Подымаю тяжелую, мутную со сна голову. Все тело болит, как избитое. В глазах от многих бессонных ночей будто песок насыпан. Кругом меня шевелятся в соломе солдаты, взлохмаченные, у многих подняты воротники шинелей, голоса хриплые спросонья: ругаются, кашляют, сворачивают курить. Кто-то опять укладывается спать.

— Подъем!

Парень в дверях, подняв автомат вверх, дает очередь. Снаружи тоже слышна суматошная стрельба и крики. Вылезаю из блиндажа. Наверху творится странное что-то. Солдаты открыто ходят по высоте, палят вверх из автоматов, бухают из винтовок, словно война кончилась.

— Немцы где?

— Проспали немцев!

Оказывается, лазала разведка и никого не обнаружила. Всю ночь пулеметчики прикрывали отход, а когда туда полезли перед утром, и пулеметчики смылись. С пехотной разведкой лазал к немцам Саенко по доброй воле, вернулся, обвешанный трофеями, приволок откуда-то ящик яиц. Мы пьем их сырыми. Разбиваем с одного конца и пьем, запрокинув голову. Где же все-таки немцы? Никто ничего толком не знает. Нет немцев, и все. Саенко достает из обоих карманов вискозные парашютики от немецких осветительных ракет — у нас они идут вместо носовых платков — и раздает всем желающим, стоя в шикарнейшей позе. Лицо его самодовольно лоснится.

— Вы бы поглядели, товарищ лейтенант, какая там огневая позиция ста пяти. Я ее сразу узнал. Наша цель номер шесть. — И подмигивает мне узким глазом. — Всё не верят нам. Разделали, как бог черепаху. Пойдете глядеть?

— Стой! — говорю я. — Остались еще яйца?

— Есть.

— Грузи на плечи и шагом марш в гости!

И мы идем к Бабину. По дороге снимаю грязный бинт с головы и чувствую облегчение оттого, что ветерком обдувает подсыхающую ссадину.

Бабин стоит на насыпи своего блиндажа, расставив ноги в сапогах, голый по пояс, а Фроликов с полотенцем на плече льет ему на спину из котелка. Комбат, задыхаясь под холодной струей, изгибается, шлепает себя ладонями по мокрой груди — «Ух! Ух!» — с испуганными глазами показывает себе на спину между лопаток, и Фроликов льет туда — «Ах, хорошо!»

— Комбат! — кричу я еще издали. — У тебя кто-нибудь яичницу жарить умеет?

— А война? — Вода потоками заливает ему лицо, он жмурится от мыла.

— Обождет война, давай яичницу есть!

Фроликов, целя струей из котелка комбату на затылок, улыбается. И часовой у входа в блиндаж улыбается и чешет мясистую, в мозолях, ладонь об острие штыка.

Над нами, заглушив голоса, низко проходят наши бомбардировщики. Идут спокойно, куда-то далеко. Черт, неужели правда? Бабин, не разгибаясь, чтобы вода по желобку спины не затекла в брюки, что-то кричит и весело указывает на самолеты снизу. С мокрого локтя бежит струйка воды. Я с удовольствием и даже с завистью смотрю на его мускулистое тело. Он пожелтел от акрихина, малярия подсушила его, а видно силен был очень. Под правой лопаткой у Бабина старый, затянувшийся коричневой кожей широкий шрам. На плече — круглая вмятина толщиной в палец: след пули. Когда он подымает руку, вмятина становится глубже. Весь послужной список на теле, стоит только рубашку снять.

Фроликов, сорвав с плеча, кладет ему на руки чистое полотенце. Бабин трясет мокрыми черными волосами и разом зажимает полотенцем лицо.

— Ты вообще понимаешь что-нибудь во всем этом? — говорю я, когда гул самолетов отдаляется и снова становится возможно говорить.

Бабин растирает суровым полотенцем выпуклую, без волос, грудь, смеется. Галифе, пыльные сапоги — в брызгах воды, она сверкает на солнце.

— Передавали, — он кивнул под ноги себе, на насыпь землянки, где был телефон, — два фронта наступают: наш и Второй Украинский. С двух плацдармов рванули. Танки Второго Украинского, говорят, в Румынии уже. Немцы догоняют их. Вот как война двинулась на запад: впереди наши танки путь указывают, сзади — немцы, сзади немцев — мы. Вчера бы нам это сказали, а?

Да, если б вчера нам это сказали... На войне никогда не знаешь дальше того, что видишь.

Откуда-то возникает звук летящего снаряда. Он долго воеет, приближаясь, и разрывается у подножия.

— Понял, где немцы? — говорит Бабин. — Даже выстрела не слышно.

Голый по пояс, он берет у Фроликова бинокль с болтающимся ремешком, и мы оба смотрим в ту сторону. Солнце, желтая от зноя степь, и по краю степи за деревьями медленно движется сильно растянувшаяся колонна маленьких отсюда грузовиков.

— Тебе связь еще не подтянули? — спрашивает Бабин быстро.

— Какая теперь связь! Наши, наверное, уже с огневых снимаются.

— Жаль. А то бы дать по ним разок, чтоб не ездили!

Из блиндажа выскакивает Рита. Подтянув юбку, раскрасневшаяся, с оживленно блестящими черными глазами, вылезает из траншеи, кидает Бабину чистую рубашку.

— На, надевай! А бриться?

Бабин проводит рукой по щекам — спорить трудно.

— Господи, что б вы, мужчины, без нас делали?

— Определенно пришли бы в упадок.

— И запустение, — добавляю я.

Рита сочувственно качает над нами головой.

— Остричь пытаетесь... Вам только это и остается.

И строго Бабину:

— Сейчас же снимай с себя все и надевай чистое. Стирать буду.

— Понимаешь,— говорит Бабин,— у нас тут идея возникла: позавтракать раньше всех дел. Его, например,— он указывает на меня,— могут в любой момент забрать у нас и кинуть поддерживать другой полк.

— Меня ваша мощная идея не трогает. Я хочу стирать. Хочу голову мыть в Днестре. Хочу тебе обед готовить. Посмотри на себя: от тебя половина осталась. Сегодня сварю тебе настоящий украинский борщ. Со старым толченым салом для запаха. Учти, Фроликов, нужно старое хлебное сало. Я тебя быстро откормлю. И пусть он тоже приходит борщ есть.

— А кто нам пока что яичницу поджарит?

— Фроликов. Родина призвала его на эту должность — пусть жарит.

— Ладно,— говорю я,— завтракать все равно придем. У нас еще одно дело есть.

И мы уходим с Саенко смотреть свою работу — бывшую нашу цель номер шесть. Когда ведешь огонь по батареям, стоящим на закрытых позициях, редко видишь результаты своей стрельбы. О них догадываешься. Прекратила батарея стрельбу — подавил. Видишь, как там что-то рвется,— уничтожил. И часто эта «уничтоженная» батарея после ведет по тебе огонь. Тогда говорят, что она ожила. Моя батарея тоже за войну много раз «оживала». Мечта каждого артиллериста — близко поглядеть результаты своей стрельбы. Но даже в наступлении это не всегда удается: идешь где-то стороной и видишь чужую работу.

Я с удовольствием хожу по брошенным орудийным окопам, считаю воронки. Наши, их не спутаешь. Несколько прямых попаданий в окоп. Во мне поднимается профессиональная гордость. Все разбито, брошены зарядные ящики, но пушки увезли.

— В металлолом повезли,— говорит Саенко.

Я не спорю. Куда бы ни повезли, но, раз такое наступление, они недалеко уйдут.

Отправив Саенко встретить связистов, я иду на левый фланг: кто-то говорил, что там действовали штрафники. Но штрафников уже нет, и никто ничего не знает о Никольском.

Я возвращаюсь по тем местам, где была наша оборона, и мне несколько раз попадаются похоронные команды. Все здесь такое памятное и уже чем-то чужое, опустевшее без нас. Окопы, брошенные землянки, в которых живут теперь воспоминания. Я нахожу свой первый НП — шель в дороге. Около него в закаменевшей земле мелкая воронка от мины и ничком лежит убитый немец, серый, как земля под ним. Сколько дней просидели мы здесь? Недалеко от шели — разбитая осколком, обгоревшая и уже ржавая винтовка. Это здесь убило миной двух пехотинцев, утром, когда мы с Васиным собирались позавтракать. А вот так я полз. Шестьдесят метров. И оттуда бил пулемет. Разве расскажешь когда-нибудь тем, кто не был здесь, что значило проползти шестьдесят метров?..

Странно все же устроен человек. Пока сидели на плацдарме, мечтали об одном: вырваться отсюда. А вот сейчас все это уже позади, и почему-то грустно и даже вроде жаль чего-то. Чего? Наверное, только в дни великих всенародных испытаний и великой опасности так сплачиваются люди, забывая все мелкое. Сохранится ли это в мирной жизни? Будет ли каждый из нас всегда чувствовать, что его, как раненого в бою солдата, не бросят в беде люди?

Мимо меня, подскакывая на кочках, мчится пехотная кухня. Чубатый повар в колпаке держит в вытянутых руках вожжи. На высотах встает

разрыв. Ни черта, правит прямо на разрыв, нахлестывая коней. Вот какая война пошла!

Еще издали Фроликов замечает меня.

— Идите скорей, товарищ лейтенант! — кричит он.

На двух камнях стоит у него огромная сковорода, и в ней пузырями вздувается великолепная яичница с салом, с зеленым луком. Фроликов жарит ее, используя подручные средства: распорол немецкий заряд и кидает в огонь длинную, как макароны, взрывчатку. Она горит химическим желтым пламенем, жирная копоть хлопьями садится на яичницу, он выковыривает ее ножом.

— Лень тебе хворосту набрать?

— Лень! — И смеется.

Рита решительно уминает на земле узел с бельем, связывает его рукавами гимнастерки. Бабин в ослепительно белой рубашке кончает бриться перед зеркальцем. Оттянув кожу на похудевшей шее, водят бритвой по ней, подмигнув мне в зеркало: «Видал, что делается?»

— Садись, быстро брейся, — говорит он. — Артиллерист должен быть всегда выбрит.

Рита подняла красное лицо с упавшими волосами, черные глаза оживленно блестят. На верхней губе капельки пота.

— А ему нечего брить.

— А мне нечего брить.

— Не слушай ее. Она, видишь, настроена яростно. Какую-то стирку выдумала...

— Не слушай меня. У тебя шикарные усы. Я даже могу их поцеловать.

И вдруг в самом деле целует меня. В губы. Влажными горячими губами. И вся она горячая, и я чувствую запах ее пота. Сумасшедшая девка. Ну что требовать, когда сумасшедшая! Ясно, поцелуй этот относится не ко мне.

— Я бегу за водкой, — говорю я, чувствуя, что краснею.

— Он мужчина, он не может без водки! — И Рита хохочет.

Я бегу в свой окоп и слышу, как она хохочет. Потом слышу далеко возникший звук снаряда. Спрыгиваю. Хохот обрывается раньше. Потом разрыв. Я выскакиваю с фляжкой. И тут дикий, какой-то животный крик Риты. И вместе с этим криком во мне все обрывается. Помертвев, чувствую только, что уже ничего изменить нельзя. Рита стоит на коленях. Когда я подбегаю ближе, она падает на что-то. Я хватаю ее за плечи, тяну к себе.

— Рита!

Она вырывается, а я тяну.

— Куда тебя? Рита!..

И вдруг вижу ее глаза. Безумные, не видящие ничего. Но она жива. Жива!

Я сажусь, обессиленный. У меня дрожат губы. От испуга за нее со мной что-то случилось. Не могу встать. Рукой не могу пошевелить. Отнялись ноги. Я все вижу и ничего не соображаю. Чья-то широкая в кисти, страшно знакомая рука лежит на земле. И тут слышу Ритин захлебывающийся голос:

— Где? Где? Алеша, родной, куда?

Я почему-то забыл о Бабине и теперь понял, что ранен он. Сжав губы, отстраняя Риту рукой, он силился подняться с земли с напряженным, нахмуренным лицом, вслушиваясь во что-то, слышное ему одному. Потом что-то сломалось в нем, он упал на спину. Кровь потекла у него из угла рта, а он, захлебываясь, пытался улыбнуться крупными синеющими

губами, словно стесняясь, что напугал нас. И это было несовместимо и страшно. Взгляд его наткнулся на меня, мне показалось, что он меня зовет. После я понял, зачем он звал меня. Он умирал, чувствовал это и, беспомощный, глазами просил меня помочь Рите в этот первый, самый страшный для нее момент. Это ее пытался он ободрить вымученной улыбкой. Но со мной что-то случилось от пережитого испуга. Счастливым началом дня, то, что мы должны были сейчас завтракать, внезапный снаряд и все это сразу происшедшее, во что я еще не мог поверить, перемешалось в моей голове, и я только тупо стоял с фляжкой. А уже бежали сюда люди, тесно обступали нас...

На всю жизнь запомнился мне последний, заставивший всего меня задрожать, жуткий в своем одиночестве среди людей крик Риты:

— Алеша!..

Мы хоронили Бабина жарким августовским полднем в лесу. В невеселой песчаной земле, обрубив лопатой корни, вырыли ему могилу. Лес теперь был редкий, и солнце жгло в нем, как в поле, а уцелевшие деревья, все сплошь израненные осколками, были в горячих потоках смолы. И сильно пахло потревоженной сырой землей и свежим деревом.

Без пилоток, мы тесно стоим, окружив могилу, а двое солдат с лопатами что-то еще подрывают в ней, торопясь, чувствуя взгляды всех. Бабин лежит на свежей насыпи, завернутый в плащ-палатку, черноволосый, неестественно желтый, с запекшейся на губах кровью; на левой щеке его, ниже уха, клочок недобритых волос. Я стараюсь не смотреть на него. Кто-то шепотом говорит, что орден Красной Звезды тоже надо было снять и сдать в штаб. И все почему-то говорят шепотом, стесняясь своих голосов. Рядом со мной Брыль тихо рассказывает кому-то, как он пришел в батальон и, ничего не думая тогда, пообещал пережить Бабина. И вот получилось, пережил...

Солдаты выпрыгивают из могилы, подобрав лопаты, скрываются за спины. И сейчас же на насыпь поднялся Караев. Голос его в тишине показался мне резким.

— Товарищи бойцы и командиры! Сегодня мы хороним...

Я вздрогнул и оглянулся, ища глазами Риту. Ее не было. Я почувствовал облегчение. Сегодня утром Фроликов поливал ему на спину, и Бабин просил еще, и ухал под холодной водой, и шлепал себя ладонями, веселый, мокрый, живой, а я с завистью смотрел на его мускулистое тело и считал рубцы... Вот так кончится война, и кто-то еще погибнет от последнего шального снаряда, и с этим разум не примирится никогда.

Незнакомый майор, проталкиваясь в первый ряд, задерживая дыхание, толкнул меня. Я посмотрел на него и случайно увидел над ним, на дереве, серую, вздувшуюся от дождей пузырями фанерную дощечку и почти смытую надпись на ней. С трудом различая буквы, я прочел ее: «Из одного дерева можно сделать миллион спичек. Одна спичка может сжечь миллион деревьев. Берегите лес от огня!»

В стертом артиллерийском огне лесу эта довоенная надпись внезапно поразила меня. Неужели все, что произошло и пылает уже четвертый год, возникло от крошечного огонька, который вначале не затоптали, потом раздули сознательно, а потом уже невозможно было погасить?

Караева сменяет на насыпи майор, который проталкивался в первый ряд. Мне уже беспокойно становится, что Риты до сих пор нет. Я осторожно выбираюсь из толпы и иду искать ее. Несколько солдат попада-

ются мне навстречу. Один бежит со смущенной улыбкой человека, который боялся опоздать, но в последний момент увидел, что успеет.

Я долго ищущу Риту и, когда уже начал не на шутку тревожиться, вдруг увидел ее. Она сидела на поваленном дереве. Не решаясь подойти сразу, я смотрел на ее спину, на косо залоснившийся след портупей от плеча к ремню. Потом сел рядом виновато. Надо было что-то сказать ей. Но что сказать сейчас, когда нет таких слов? Она смотрела перед собой пустыми, погасшими глазами. Щеки ее горели, на них следы высохших слез. Я вдруг понял, почему она не пошла туда. Она была Бабину женой и другом, самым близким человеком, прошедшим с ним через все. Но там, на могиле, среди незнакомых офицеров, и сама она и ее слезы выглядели бы иначе.

— Рита, — позвал я осторожно.

Она не обернулась, быть может не слышала, продолжая все так же смотреть перед собой. Я подождал и опять позвал ее:

— Рита...

Тогда она живо повернула голову, и в первый раз глаза ее блеснули. Они блеснули на меня открытой ненавистью. Я ни в чем не был виноват перед ней, но я был жив, а Бабин убит. Если б я мог сейчас умереть вместо него, я бы сделал это. Но это не зависело от меня.

Позади нас раздался недружный залп. Я видел, как спина Риты вздрогнула. Она поднялась и быстро пошла отсюда, торопясь уйти дальше, но второй залп догнал ее и толкнул в спину.

Я еще долго сидел один на поваленном дереве. Только теперь, когда Рита ушла, я понял, что весь этот горький день во мне жила смутная надежда. Я почувствовал ее, когда потерял.

Ночью снимается с позиций и уходит вперед пехота. Рита уходит вместе с батальоном. Я даже не иду прощаться. Так тяжело на душе, и так за нее больно!

Всю ночь над высотами, теперь уже позади нас, ярко горит желтая звезда, и я смотрю на нее. Наверное, ее как-то зовут — Сириус, Орион... Для меня это все чужие имена, я не хочу их знать.

## Глава 14

Мы лежим у дороги босиком, на пыльной траве: Саенко, Васин, Панченко и я. Саенко разбросал толстые ноги с мясистыми ступнями — по ним ползают мухи, — лицо накрыл от солнца черной кубанкой и спит. Панченко тоже спит на боку, головой на вещмешке с продуктами, охраняя их даже во сне, а от кого — неизвестно. Слово едет в вагоне поезда, где по военному времени всякое может случиться. Он и воюет как будто между дел, а главным образом добывает продукты, готовит, кормит. Хозяйские дела одолевают его даже во сне, лицо у него озабоченное, а на ремне вместо гранат — три фляжки. Мы одновременно смотрим на него: Васин и я. Уравновешенный, знающий себе цену, как всякий мастеровой человек, Васин относится к Панченко со сдержанным юмором. Мы встречаемся глазами, и Васин улыбается. Я впервые замечаю, что глаза у него на солнце рыжие. А вообще красивый парень. Смуглый, волосы с рыжинкой, брови черные, как нарисованные углем. И шея крутая, гордая. Сидит, поджав под себя босые ноги, что-то выстрогивает из палки, опустив длинные, рыжие на концах ресницы. Он хотя и мал ростом, но на иного высокого так глянет, будто сверху вниз.

А ведь скоро мы все расстанемся. Ленивый, гладкий, богатырски спокойный Саенко утруждать себя, изнурять работой не привык. Ему



легче к немцам в разведку слазить, чем вырыть окоп. За этого я не беспокоюсь, жизнь у него будет, как августовский, разморенный от зноя полдень, когда в тени и то шевельнуть рукой лень. Бабы его любят, у него к ним тоже характер мягкий, и женёнка — попадетса она ему, наверное, худая, сердитая: таких, кто много перебрал, под конец самого приберет к рукам какая-нибудь невзраченькая, — будет денно и ночью не прощать ему, что за другими ее не замечал, и точить его, и точить, и воротить за него в хозяйстве, но Саенко такой, что растолкать его трудно. Между прочим, из всех моих разведчиков он один ни разу не ранен, хотя на фронте с начала войны.

Лучше всех я представляю себе жизнь Панченко. Этот — трудяга. Вернется к себе в колхоз и будет работать, честный, упорный до невозможности. А через несколько лет уже и многодетный.

Мне даже грустно становится, что придет час, когда все мы разъедемся. И не будет уже того, что связывало нас и каждого делало лучше, чем он сам по себе в отдельности. Э, да о чем я! До конца войны еще надо дожить.

Я ложусь на спину, чувствуя щекой нагретый ворс шинели, с удовольствием шевелю на солнце пальцами босых ног. Солнце стоит в зените, небо синее, безоблачное, хорошо видны сияющие дали, и только по самому горизонту тают тонкие встающие дымы. Там далекое непрекращающееся гудение, тяжелая артиллерия глухо кладет разрывы: «Гук! Гук!» Вот уже куда отодвинулся бой!

Над нами гудит наш самолет, очень высоко, то взблескивая на солнце серебряной мухой, то исчезая в синеве, и тогда только по звуку можно за ним следить. Одним глазом из-под пилотки я наблюдаю за ним. И впервые завидую летчикам. Хорошо, должно быть, купаться вот так в синем солнечном небе, то взмывая вверх, то переворачиваясь через крыло. Я засыпаю под гул самолета, не прячась от бомб, только накрыв лицо пилоткой от солнца.

Когда просыпаюсь, Панченко уже нет рядом; Васин, сидя, натягивает сапоги. Поблизости от нас у дороги расположилось семейство молдаван. Согнанные войной с родных мест, они теперь возвращаются от немцев и сели отдыхать; рядом с нами им, видимо, спокойней. Оказывается, только что проехал командир бригады и сейчас по дороге движется мимо нас штаб. Я замечаю среди других Козинцева на рыжем высоком коне. Он тоже видит нас и хочет проехаться незаметно, но в последний момент, заторопившись, вдруг свернул к нам.

— Здравствуйте, товарищ лейтенант!

У Саенко, который спал, заблестел под кубанкой один глаз.

— Здравствуй, — говорю я, и мне стоит усилия сказать это спокойно. До сих пор, пока Козинцев был у меня во взводе, ему единственному я говорил «вы». Сейчас он что-то вроде начальства, как писаря, повара, адъютанты, и само собой получилось, что я говорю ему «ты».

Под Козинцевым лоснящийся от сытости конь. Я босиком сижу у дороги в пыльной траве. Солнце сверкает на глянцевого крыле седла; мне кажется, я на расстоянии ощущаю запах нагретой солнцем новой кожи и конского пота. А за спиной Козинцева в защитном чехле — труба. Она раз в десять легче рации, которую он прежде таскал на спине.

— Трубишь?

Он пожал покатыми плечами.

— Пожалуйста, пусть другой, кто умеет, берет мою трубу. Я не напрашивался. Знаете, товарищ лейтенант, — говорит он миролюбиво, заметив, что еще двое на конях свернули к нам, — кому-то ведь и трубить нужно. Я побыл с винтовкой, знаю. А вообще вы не думайте, что в брига-

де легко. Тоже ни дня, ни ночи. Во взводе по крайней мере свободней было.

Да, вот так и скажет после войны: я побыл с винтовкой, знаю. Кто воевал, тот не скажет, а этот скажет и в нос ткнет.

Я смотрю на него снизу. Он во всем новом, еще не стиранном, не потевшем цвета. И ремень на нем новый, светлой кожи. И маленькая кожаная кобура на боку. На коне, в подогнанном обмундировании Козинцев уже не выглядит таким сутулым и тощим. Только шея все такая же длинная, с торчащим кадыком, словно выгнутая вперед. А старика Шумилина нет в живых...

Я чувствую, Козинцеву беспокойно среди нас. Конь под ним крутится, он удерживает его, но почему-то не отъезжает. С каким легким сердцем вздохнул бы он, если б узнал, что и нас тоже нет. Наверное, в прошлой его жизни немало есть людей, с кем бы он не хотел встретиться.

К Козинцеву подъезжают конные. Передний, раскормленный и крепкий, с сильными ногами в стремях и толстыми ляжками на седле, с серебряной медалью на полной груди, вытирает платком лоснящиеся от пота, как будто сальные щеки. В потной руке — поводья. Этот тоже, наверное, из ансамбля. Я уже давно замечал, что у таких вот нестроевиков и выправка и вид самые строевые, и обмундирование сидит на них, как влитое. Взять его, затянутого в ремни, украшенного медалью, и моего Панченко в засаленных брюках, в стиранной-перестиранной, белой от солнца гимнастерке, в пилотке, за отворотом которой вколоты иголки с черной, белой и защитного цвета нитками, да отправить обоих в тыл, да показать девкам — скажут девки, что Панченко где-нибудь всю войну отирался при кухне, а вот этот и есть самый настоящий фронтовик.

— Корешков встретил? — сирым от жары голосом спрашивает он у Козинцева, покровительственно кивнув нам с высоты седла. И все трое смотрят на виноград, который принес Панченко в плащ-палатке и сейчас раскладывает.— Друг, а ну, подай кисточку! — нетерпеливо ерзая штанами по гладкой коже седла, кричит он сверху.

Панченко продолжает нарезать хлеб, стоя коленями на плащ-палатке. Он как будто не слышит.

— Слышь, солдат!

С земли встает Саенко, надев кубанку на встрепанные волосы, распоясанный идет к нему, оставляя в пыли дороги широченные босые следы. Подойдя, хлопывает лошадь ладонью, словно любитесь. Хлопает по заду, подкованные копыта переступают около его босых ног, вдавливаясь шипами.

— От конь, так то правда конь-огонь! На таком коне еще бы шапку да шапку добрую...

И делает что-то неуловимое. Взвившись, конь диким галопом, боком несет вояку по дороге. Еле удерживаясь в седле, тот издали грозит и кричит что-то. Саенко хохочет, стоя посреди дороги босой.

— Эй, солдат, лови! — кричит он и, взяв с плащ-палатки, кидает кисть винограда. Музыкант ловит ее на лету, но все же обижен. А Саенко настроен великодушно.— Представлять-то когда будете? — спрашивает он третьего оркестранта.

Тот смущенно пожимает плечами: мол, от нас не зависит; наше дело такое — как прикажут. Саенко и ему дает винограду.

Один только Панченко за все это время даже не повернул головы, словно и не было ничего: он резал хлеб. Характер у него железный. Особенно там, где дело касается продуктов.

Больше мы не говорим о них. Лежа на животе вокруг плащ-палатки, голова к голове, едим виноград. Я лежу чуть боком, чтоб удобней было

раненой ноге. Скоро рана нагноится, тогда бинты будут отставать легко, без боли.

Мимо нас по дороге, в мягкой густой пыли, проносятся машины. Ветер сбивает пыль на ту сторону, и трава там вся пепельная. Только мы не спешим: наши пушки утром переправились через Днестр и еще не подтянулись. Все это стремительно и весело мчащееся к фронту, на рассвете завтрашнего дня, когда мы вступим в бой, будет позади, мы — впереди. И мы не спешим. Все-таки я надеваю сапоги, разведчики тоже обуваются: дорога уже не безлюдна и лежать так неловко.

Мы едим черный виноград, каждая ягода словно дымком подернута, а сок теплый от солнца. Подносишь ко рту тяжелую гроздь и на весу объедаешь губами. Сок винограда, пшеничный хлеб, солнце над головой, сухой степной ветер — хорошая штука жизнь! Позади нас останавливается машина, резкий сипловатый сигнал. Оборачиваемся. Комдив Яценко вылезает из кабины полуторки с брезентовым верхом, голенища его сапог сверкают сквозь пыль. В кузове машины Покатило — он улыбается, поглаживая двумя пальцами усики под носом, кивает дружески — и начальник разведки дивизиона Коршунов в накинутах на спину от ветра шинели с поднятым воротником. С ними несколько разведчиков.

Оправляя гимнастерку под ремнем, подхожу к командиру дивизиона. Он стоит у подножки, тонким прутиком похлестывая себя по голенищу. Подбритые брови строго сдвинуты, тонкие сомкнутые губы, смелый взгляд. На нем его парадный суконный костюм, лаковый козырек фуражки бросает на лоб короткую тень.

— Загораете?

Левой рукой застегиваю пуговицы воротника.

— Чего ж ты говорил, что днем на плацдарме головы не поднять? Не поднять, а мы в машине едем!

И Яценко хочет громогласно и оглядывается за одобрением наверх, в кузов. Но я хорошо чувствую: шутка его немного заискивающая, хотя он и не хочет показывать это. Стою перед ним по стойке смирно. За спиной моей шепотом ругаются два ординарца: мой и его, прибежавший с двумя котелками.

— Лень тебе самому набрать? Вон его сколько на виноградниках.

— Ладно, ладно, — урезонивает Панченко вышестоящий ординарец. — Вы тут загораете, а мы вон едем новый НП выбирать. Сходишь еще, не разломишься. Меня вон машина ждет.

Яценко ставит сапог на подножку, расстегивает планшетку на колене. Он весь сегодня какой-то праздничный. Под целлулоидом карта. Правая половина с Днестром затерта до желтизны, вся в условных значках и пометках. Левая, западная, — новенькая, сочные краски, на нее приятно смотреть.

— Там Кондратюк подтягивается. — Строгий взгляд в мою сторону: мол, смотри, случится что — не с него, с тебя спросится.

— Кондратюк справится, — говорю я.

— Так вот. Высоту сто тридцать семь видишь? — Он показывает на карте. — В ноль часов тридцать минут вот в этой балке за высотой сосредоточишь батарею. Задача ясна? Дальнейшие приказания получишь от меня там!

— Слушаюсь!

Покатило из кузова показывает рукой за кабину, машет туда — мол, там встретимся. Я чувствую к нему душевную близость. Ординарец Яценко, пробежав, лезет через борт с двумя котелками, полными винограда. Вдруг я замечаю у колеса машины незнакомого мне скромно стоящего лейтенанта. В первый момент, когда я глянул на него, это было как ис-

пуг — мне показалось: Никольский! Словно возникло что-то в стеклах бинокля, отодвинулось, затуманилось, как при смещенном фокусе, и на том же месте близко и резко увидел я совершенно другого человека.

— Товарищ капитан,— спросил я, полностью овладев голосом,— левой нас штрафники действовали. Не слышали, как у них? Где они сейчас?

— Штрафники? — Яценко щелкнул кнопкой планшетки, откинул ее за спину, снял с подножки ногу.— Слышал, тряханули их немцы,— сказал он, блеснув глазами.— Так что многие искупили.— И шуруется на меня испытующе, как будто еще знает что-то и не говорит, ждет.— О дружке беспокоишься? Который спать здоров? Ладно уж, открою секрет, хотя и не положено. Легким испугом отделался. Победа! Все хорошие! А тут еще малярию учли. Небось уже своих догоняет. Мезенцев!

Младший лейтенант подошел, козырнув.

— Вот тебе новый командир взвода в батарее. Вчера прислан. Одно с тобой училище кончал.

Почему-то младший лейтенант смущается от этого сопоставления и опять козыряет.

— Так все ясно? — уже из кабины, выставив локоть, кричит Яценко. От заведенного мотора крылья полуторки трясутся.— Действуй!

И машина тронулась рывком. Покатило и Коршунов стукнулись спинами о кабину и тут же скрылись в пыли, поднятой над дорогой множественным колес.

— Значит, Второе Ленинградское краснознаменное артиллерийское училище кончали?

— Второе Ленинградское краснознаменное артиллерийское училище, товарищ комбат. Оно теперь еще ордена Ленина. Второе ЛОЛКАУ.

Нет, он не похож на Никольского, и все же что-то общее в облике есть. Мы идем с ним к плащ-палатке. Разведчики, вскочив, тянутся. За них можно не опасаться, дело свое знают. Это потому, что посторонний человек со мной. Что ж, мне приятно. Я представляю разведчиков новому командиру взвода. Садимся на плащ-палатку. Он — с краешку, стесняясь и их и меня. Держится напряженно. Слишком резкая для него перемена. Недавно еще — училище, до этого — дом. Наверное, мама волновалась, когда поздно возвращался домой. И вдруг ссадили с машины на полдороге: вот твоя батарея, воюй. Так в эти годы все мы вступали в самостоятельную жизнь. Еще хорошо, что попал он к нам во время наступления. Я попал в полк, когда отступали. Это было хуже.

— Где ж оно теперь, наше училище? Я его в Светловодске кончал.

— Оно и сейчас в Светловодске, товарищ комбат,— говорит он не очень уверенно, как бы опасаясь, что разглашает военную тайну.

Да, Светловодск. Только отчего-то вода там была тогда вся в нефти и пахла нефтью. И когда мы стирали обмундирование (на все, все вместе с портянками полагался кусочек мыла в двадцать граммов!), гимнастерки после были в нефтяных пятнах.

— Она и сейчас в нефти,— говорит младший лейтенант, почему-то обрадовавшись.

Как интересно, ничего там не изменилось! Те же выходы в поле зимой в сорокаградусный мороз, когда замерзает смазка на орудиях, но командир батареи идет впереди в легких хромовых сапожках. И курсанты, которые прибыли в училище прямо со школьной скамьи, поражаются такой его нечеловеческой выносливостью, не подозревая, что в сапогах у командира батареи шерстяные носки, пальцы обернуты газетой и еще две пары теплых портянок... Те же тактические занятия, похожие на войну, как игра. Мы прибыли в училище с фронта, многое уже повидали и во время тактических занятий, когда не видело начальство, старались

перекурить. Была еще в Светловодске река Мята — р. Мята, как она значилась на картах. На этой речонке, в редких кустах, выбирали мы огневые позиции. И многие поколения курсантов до нас и после нас выбирали там огневые позиции. И, наверное, кто-то и сейчас там выбирает их. И так же, как я когда-то, прибыл в часть младший лейтенант. Только отчего он такой молодой? Оттого, наверное, что много времени прошло с тех пор. И сколько уже позади! И километров и друзей. Вот уже и плацдарм позади. Как это просто до войны говорилось: ни пяди своей земли не отдадим. Вот она, пядь нашей советской земли, и каково это не отдать ее!

— Ну что ж, лейтенант, принимай взвод. Вот твои разведчики. Панченко — сразу говорю — забираю с собой. А больше никого из взвода не отдавай, а то и Саенко, последнего разведчика, заберут. Связисты придут сейчас, они связь сматывают. И командир отделения с ними. Радисты нам по штату положены. Нету ни одного. И радики нет. Придется тебе заводить. Да ты ешь виноград, а то сейчас подтянутся пушки и двинем вперед. Это отсюда фронт далеко кажется. А ночью уже там будем. Ешь, пользуйся случаем, выбирать НП пошлю тебя.

Он говорит: «Спасибо, товарищ комбат» — и вежливо берет одну ягоду. Он все время поглядывает на мои штаны. Что такое? Я тоже смотрю и замечаю на штанине и на колене старую, засохшую кровь. На нее-то он и смотрит с волнением. А, черт, неприятно получилось! Давно надо было отдать постирать. Ему это, конечно, все в романтическом свете представляется. У меня даже портится настроение.

Мимо — к фронту, к фронту! — мчатся грузовики с прицепленными сзади, подсакивающими на дутых шинах минометами. Солдаты, все молодые, хорошо обмундированные, сидят по бортам машин. Какую-то новую часть вводят в прорыв. А от фронта, по этой стороне дороги, между машинами и нами, гонят сквозь пыль пленных. Минометчики перегибаются через борта, чтобы разглядеть их, мы сидим, ждем. Уже видны лица, бронзовые от жары и солнца. Пот течет с висков. Мокрые шеи. Идут толпой. Молодые, крепкие, невзрачные, в очках, высокие, маленькие. На одних лицах все погасила серая усталость, другие возбуждены, словно только что выхвачены из боя, на третьих страх. Расстегнутые мундиры, кепки с длинными козырьками. Непокрытые головы, пропыленные, черноволосые, светловолосые, стриженные, лысые. Ноги в коротких сапогах шагают нестройно, вразнобой, частя. Пот, жара, пыль...

От колонны, придерживая рукой автомат, подбегает к нам конвоир. Воротник гимнастерки промок. Под мышками темные круги до карманов. Глазами просит пить. Мы даем ему фляжку, и он долго пьет, задыхаясь. Пленные проходят, скашивая глаза. Другие стараются не смотреть.

— Спасибо, товарищ лейтенант, — говорит боец, напившись. — А то от жары голос потерял.

И вытирает пилоткой сразу вспотевшее лицо. Мы насыпаем ему полную пилотку винограда. Он благодарит еще раз и убегает. А пленные все идут и идут. Мезенцев смотрит на них, и многие чувства сменяются в его глазах. Четвертый год войны. Он в первый раз видит фашистов.

Из толпы пленных кто-то кричит нам и подымает над головами сжатые руки, словно приветствуя. На минуту мелькает улыбающееся чернявое лицо. В этом месте среди дымчато-синих мундиров немцев видно зеленое обмундирование румын. И тогда мы разбираем, что оттуда кричат: «Руманешты! Руманешты!»

— Что, им медаль за это? — говорит Саенко.

Я тоже ничего не понимаю. словно очнувшись, Мезенцев отрывает взгляд от пленных.

— Видите ли,— говорит он,— дело в том, что Румыния вышла из войны... По радио передавали.

Вот, оказывается, какие события творятся в мире! А над головами пленных еще несколько раз подымается и исчезает удаляющееся чернявое веселое лицо.

Васин заметил, что один из немцев несет, прижав к груди, четыре большие банки консервов. Подойдя к нему, он молча отбирает — делает это спокойно, серьезно, как все, что он делает,— и несет консервы семейству молдаван.

Пленных уже прогнали, а он все еще стоит там, и молдаване что-то говорят ему, а Васин, небольшой, коренастый, с выпуклой грудью, весь освещенный солнцем, смеется и отрицательно трясет головой. Возвращается он оттуда, ведя за руку мальчика лет пяти.

— Вот. Выменял! — И смеется.

На мальчонке короткая с короткими рукавами, когда-то белая, а теперь грязная и разорванная на животе рубашонка. Короткие обтрепанные штаны до колен. В теплой пыли черные от загара и грязи босые ноги с туго торчащими маленькими пальцами. Шапка спутанных смоляных волос — они даже не блестят, такие пыльные. А лицо тонкое. И большие, печальные, как черные мокрые сливы, глаза. Они чем-то напоминают мне глаза Парцвани.

Я подзываю его к себе, сажаю на здоровое колено. Он дичится вначале, но мне тоже когда-то было пять лет, я знаю, чем его привлечь. Я отстегиваю от пояса большой кинжал в лаковых ножнах и даю ему. Несмело поглядывая на меня, он тянет кинжал за рукоятку, и когда из ножен блеснуло широкое лезвие, он забывает обо мне. А я тем временем глажу его волосы, которые легче состричь, чем расчесать.

Мне хочется, чтобы после войны был у меня сын. Чтобы я посадил его на колено, родного, теплого, положил руку на голову и рассказал ему обо всем.

Прогоняют еще одну группу пленных. Мальчик сидит у меня на колене. Я тихонько глажу по волосам его спутанную, теплую от солнца голову, а он играет моим оружием.



---

С. ЛИПКИН

★

## ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

### МОЛОДАЯ МАТЬ

Лежала Настенька на печке,  
Начфин проезжий — на полу.  
Посапывали две овечки  
За рукомойником, в углу.

В окне белела смутно вишня,  
В кустах таился частокол...  
И старой бабке стало слышно,  
Как босиком начфин прошел.

Ее испуг, его досада,  
И тихий жаркий разговор:  
— Не надо, боже ж мой, не надо!  
— Ну что ты,— отвечал майор.

Не на Дону, уже за Бугом  
Начфин ведет свои дела,  
Но не отделалась испугом,—  
Мальчонку Настя родила.

Черты бессмысленного счастья,  
Любви бессмысленной черты,—  
Пленяет и пугает Настя  
Сияньем юной красоты,

Каким-то робким просветленьем,  
Понятым только ей одной,  
Слегка лукавым удивленьем  
Пред сладкой радостью земной.

Она совсем еще невинна  
И целомудренна, как мать.  
Еще не могут глазки сына  
Ей никого напоминать.

Кого же? Вишню с белой пеной?  
Овечек? Частокол в кустах?  
Каков собою был военный:  
Красив ли? Молод ли? В годах?

Все горести еще далёки,  
Еще таит седая рань  
Станичниц грубые попреки,  
И утешения, и брань.

Она сойдет с ребенком к Дону,  
Когда в цветах забродит хмель...  
С нее Сикстинскую мадонну  
Пусть пишет новый Рафаэль.

### ЗНАКОМЫЕ МЕСТА

Эти горные краски заката  
Над белой повязкой,  
Этот маленький город, зажатый  
В подкове кавказской,

Этот княжеский парк, освещенный  
До самых нагорий,  
Уцелевшие чудом колонны,  
В садах санаторий,

Этот облик, спокойный и жуткий,  
Разрушенных зданий,  
Этот смех, эти грубые шутки  
Вечерних гуляний,

Листьев липы на плитах обкома  
Подвижные пятна —  
Как все это понятно, знакомо  
И невероятно.

Те же горные краски заката  
Сверкали когда-то.  
Падал, двигаясь, ответ пожара  
На площадь базара.

Вот ракета взвилась и упала  
В районе вокзала.  
Низкой пыли волна пробежала,  
Арба провизжала.

И по улицам этим, прижатым  
К кизилowym скатам,  
Шел я шагом не то виноватым,  
Не то вороватым.

Но в душе никого не боялся,  
Над смертью смеялся,  
Но в душе утверждалось и зрело  
И правое дело,

И такое предчувствие счастья,  
Свобода такая,  
Что душа разрывалась на части,  
Ликуя, сгорая...



### НА ТЯНЬ-ШАНЕ

Бьется бабочка в горле кумгана,  
Спит на жердочке беркут седой,  
И глядит на них Зигмунд Сметана,  
Элегантный варшавский портной.

Издалёка занес его случай,  
А другие исчезли в золе,  
Там, за проволокою колючей,  
И теперь он один на земле.

В мастерскую, кружась над саманом,  
Залетает листок невзначай.  
Над горами — туман, за туманом —  
Вы подумайте только — Китай!

В этот час появляются люди:  
Коневод на кобылке Сафó,  
И семейство верхом на верблюде,  
И в вельветовой куртке райфо.

День в пыли исчезает, как всадник,  
Овцы тихо вбегают в закут.  
Зябко прячет листья виноградник,  
И опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее,  
Под навесом, вечерней порой...  
И стоит с сантиметром на шее  
Элегантный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка —  
Это жжет его мертвым огнем,  
Это ставшая прахом Треблинка  
Жгучий пепел оставила в нем.

### СОСНЫ

На сосны я смотрел с террасы,  
На то, на это деревцо:  
Как люди незнакомой расы,  
Все были на одно лицо.

Но длился труд мой плодоносный,  
Свой свет на все он излучал,  
И начал различать я сосны,  
Как я калмыков различал.

У этой рост красив и долог,  
У той опоры нет в земле.  
От веток ломких, от иголок  
Не схожи тени на стволе.

Вон та горда своим убором,  
 Но так недуг ее тяжел,  
 Что кое-как пришлось с забором  
 Соединить непрочный ствол.

Ее жалеют: не жилища,  
 Слабее всех она в саду.  
 Лишь ночью тихо золотится,  
 Вонзаясь иглами в звезду.

Вон та не даст расти клубнике,  
 Ее невинный облик — ложь.  
 О той расскажешь только в книге,  
 Об этой в песне запоешь.

Нет безразличия былого,  
 Я новых нахожу друзей,  
 И отзывается, как слово,  
 Их робкий шум в душе моей.

### ЮЖНЫЙ ПОЛДЕНЬ

Южный полдень. Так женственно-нежны  
 Серых скал и хребтов очертанья,  
 Так под ними белы, безмятежны  
 Санаторные зданья,

Так легка синева небосклона,  
 Каждый раз так чудесно-нежданна  
 Над балконом, над желто-зеленой  
 Головою каштана.

Только листья бормочут порою,  
 Только пташек слышна перекличка,  
 Да внизу, далеко за листвою,  
 Прогудит электричка.

Только ветер, холодный и чистый,  
 Сквозь жару набежит с перевала,  
 Будто здесь не бывали фашисты  
 И убийств не бывало.

Что ж, проходят кровавые годы,  
 Эту прелесть ничто не порочит,  
 Но в короткую память природы  
 Сердце верить не хочет.



---

И. МЕТТЕР

★

## СУХАРЬ

Рассказ

1

**С**олдат срочной службы Федор Кравченко сфотографировался без головного убора, вложил две фотокарточки в конверт и ночью, во время дневальства, описав свою горестную историю на листке, вырванном из тетради, отправил письмо в Ленинград.

Адрес на конверте был неточный — солдат не знал, куда именно надо обращаться с подобными просьбами, — и письмо, проплутав недели три, отяжеленное множеством резолюций, попало к начальнику оперативного отдела милиции подполковнику Парашину.

Увидев, что среди резолюций ничего устрашающего нет, Парашин не стал читать весь листок, а бегло просмотрел его, привычно подчеркивая красным карандашом адреса, даты, имена, отчества и фамилии. Затем письмо было зарегистрировано по всей форме и передано старшему оперуполномоченному майору Сазонову.

— Дело, конечно, мертвое, — сказал Парашин майору. — Давность — шестнадцать лет. Ты на него очень не распяляйся. Тебе надо жать сто пятьдесят восьмую.

И, повертев в руках фотокарточки солдата, Парашин добавил:

— Этот хлопец проживет и сам, а для малышей надо ловить сбежавших кормильцев.

Сазонов кивнул.

Парашин посмотрел на него и тихо закричал:

— Слушай, Николай Васильевич, ведь сколько я тебя прошу: погляди ты, пожалуйста, костюм!.. Ходите, товарищ майор, как баба рязанская. Неудобно все-таки!..

Сазонов провел рукой по согнутым отворотам своего гражданского пиджака, пытаясь поставить их торчком, но они снова поникли. У него был при этом такой страдальческий вид, что Парашин улыбнулся и покачал головой.

— Женить бы тебя, Николай Васильевич!

Сазонов не смог улыбнуться на шутку начальника, потому что она слишком часто пускалась в ход и не доставляла Сазонову никакого удовольствия.

Он спросил:

— Разрешите идти?

Парашин отпустил его.

В соседней комнате стояло шесть столов оперуполномоченных. Они редко сидели на месте, чаще всего Сазонов работал здесь один. Ни у кого не было столько канцелярщины, сколько у него. А с недавних пор е

стало еще больше: сложные уголовные дела ушли от него в другие отделения, и он ведал только поимкой алиментщиков, находящихся в бегах,— это и была сто пятьдесят восьмая статья.

Николаю Васильевичу и раньше по роду своей работы доводилось заниматься подобными делами, но они в оперативном отделе ценились не очень высоко, громкую славу приносили редко, и поэтому время на них приходилось выкраивать из кусочков. Разве что в газете изредка появлялась статья или фельетон, в которых приводился какой-нибудь конкретный случай, и тогда на всех столах оперуполномоченных начинали верещать телефоны, Парашин созывал по много раз оперативки, на злополучное дело наваливались всем скопом и либо находили человека, либо убеждались, что его за давностью найти нельзя.

Нынче все случаи такого рода перешли к Сазонову, ничем другим ему не положено было заниматься.

Придя от Парашина, Николай Васильевич сел за свой стол.

Постороннему человеку могло показаться, что на столе царит чудовищный беспорядок. Однако, когда требовалось получить какие-нибудь срочные и точные сведения, похороненные в бесконечных справках, запросах и заявлениях, то проще всего это было сделать через Сазонова. Память у него была цепкая, и некоторые сослуживцы объясняли это по-своему:

— Майор Сазонов — человек сухой, у него никаких интересов, кроме служебных, нету.

Стол Николая Васильевича стоял в углу огромной комнаты, у печки. В пасмурные дни здесь было темновато.

Засветив настольную лампу, Сазонов дважды прочитал солдатское письмо. В некоторых местах он расставил карандашом бледные вопросительные знаки. Затем положил под лампу фотокарточки и посмотрел в напряженное лицо солдата.

На обороте каждого снимка Сазонов написал:

«Федор Петрович Кравченко. Год рождения — 1938. Размножить в 12-ти экз.»

Вопросительные знаки стояли подле отчества «Петрович» и подле даты рождения.

Письмо он вложил в пустую новую папку и тотчас же сел писать запросы. Все они мало чем разнились друг от друга и начинались одинаковыми словами: «Прошу произвести проверку и установить по архивам, а также путем опроса имеющихся налицо живых свидетелей...»

Этих бумажек было составлено Сазоновым в тот день восемнадцать. Девятнадцатое письмо он направил в воинскую часть Федору Кравченко с просьбой прислать метрическую выписку о его рождении.

Когда Николай Васильевич принес все это машинистке, она суетливо заняла:

— Ой, товарищ Сазонов, до чего ж вы надоели с вашей писаниной!.. У меня буквально нет ни минутки.

Прострочив на машинке несколько фраз и с грохотом двигая каретку, она почувствовала, что Сазонов все еще стоит за ее спиной.

— Кажется, не маленький, товарищ майор. Есть порядок. А сами нарушаете.

Он не стал с ней спорить, а только посмотрел на потолок. В этой комнате когда-то помещалась спальня царского министра. На потолке плавали хвостатые русалки, они охранялись городским архитектурным управлением. Машинистка была похожа на пожилую русалку, у нее был такой же заросший волосами лоб, выпуклые глаза и грудь навывкате. Сходство это Сазонов заметил давно и, когда сердился на машинистку, смотрел

на потолок. Спорить с ней было бессмысленно: она всегда могла доказать, что у нее есть срочный оперативный материал, гораздо более важный, нежели у Сазонова. Да и Парашин к ней благоволил за то, что она печатала, как пулемет.

— Порядки мне известны,— сказал Сазонов и, вернувшись к своему столу, переписал начисто, от руки, все запросы.

Почерк у него был крупный, ровный, круглый, как на пригластительных билетах.

Мимо него пробежали сотрудники; кто-то весело сказал:

— Дела идут, контора пишет!.. Раскрываемость нуль целых, нуль десятых...

Не подымая головы, Сазонов узнал по голосу капитана Серебровского: футболист, правый край городского «Динамо», он со всеми в отделе разговаривал снисходительно. Если же его грубо ставили на место, Серебровский зычно хохотал, ни капельки не обижаясь. Работник он был ленивый, хвостун и враль к тому же. Когда в комнате оперуполномоченных отсутствовало начальство, Серебровский любил показывать новичкам из бригады приемы самбо. Охорашиваясь перед пареньком, он совал ему в руки перочинный нож и приказывал:

— Кидайся на меня!.. Коли!..

Польщенный вниманием капитана, парень застенчиво и осторожно протягивал вперед руку с ножом. Серебровский проворно заламывал ее, от боли парень ронял нож на пол.

Однажды, правда, получилась неловкость. Невзрачный с виду новичок, серьезно собрав брови над своим кирпичным носом, ткнул ножом в сторону Серебровского. Тот лихо поймал его за локоть и запястье, надавил, новичок крикнул, выронил нож и с левой руки въехал капитану в ухо. Бригадмилец ужасно смутился и долго, извиняясь, ходил за разгневанным Серебровским.

— Понимаете, какое дело, товарищ капитан... Я же левша... И у нас в школе кружок бокса был... А тут еще мой батька всегда учил: «Стукнут — давай сдачи!..» Я не то чтобы нарочно. Вы не думайте... Это инстинкт, товарищ капитан!..

— Предупреждать надо, раз левша,— ворчал Серебровский.— Бьешь, как дуrolом!.. И что боксер, надо было говорить...

— Это, конечно, само собой,— переминался несчастный парнишка, прижимая руки к сердцу.— Нехорошо получилось... Только ведь я так полагал: преступники тоже навряд что предупреждают...

На этом дело с новичками не кончилось.

Вскоре Серебровского вызвал начальник управления. В прошедшее воскресенье состоялся матч «Динамо» — «Трудовые резервы», и Серебровский думал, что комиссар хочет выразить ему благодарность за забитые им лично голы.

Бойко отрапортовав, Серебровский остановился перед столом начальника. Роясь в каких-то бумагах, комиссар негромко попросил:

— Напомните-ка, товарищ Серебровский, кто брал бандита Гаврилова на Пороховых?

— Не могу знать, товарищ комиссар.

— Правильно. Не можете. Потому что в тридцать шестом году его поймал ныне вышедший на пенсию Аркадий Михайлович Бельский. Запомнили?

— Так точно.

— Ну, а поскольку запомнили,— комиссар поднял глаза,— то перестаньте, как говорится, звонить в лапоть, что вы арестовали Гаврилова

в январе месяце сего года!.. Стыдно, капитан! Мальчишкам врете, а они ходят в наш музей и потом над вами же смеются...

Серебровский уже добрался до выхода из кабинета, когда комиссар снова остановил его:

— Вот что, капитан. Забыл предупредить. Давеча, в воскресенье, вы забили головой один гол, а другой — ногами. Так я рекомендую употреблять эти инструменты и по будням — в управлении, на работе. А то ведь, между прочим, вы у нас числитесь не футболистом, а оперуполномоченным...

После беседы с комиссаром Серебровский присмирел, стал притворно озабоченным и позволял себе упражнять свое громоздкое острословие только над Сазоновым. Серебровский считал его чудаком, что доставляло ему сладкое чувство превосходства хотя бы над одним сослуживцем.

Сазонов же пропускал все эти гарнизонные шутки мимо ушей.

К концу того дня, когда в оперотдел пришло письмо солдата, Сазонов заглянул в адресное бюро.

— Лида, — попросил он молоденькую краснощекую девушку, — приготовьте мне, пожалуйста, всех питерских Кравченко.

— Всех, Николай Васильевич, сейчас не поспеть. Уж больно ходовая фамилия.

Сазонов сказал:

— Убедительно прошу.

Ему приходилось вести такую обильную казенную переписку, что он привык даже самые сложные и крупные чувства укладывать в краткие служебные слова. Вероятно, другой человек на его месте сказал бы сейчас: «Милая Лида! Мне очень хочется помочь одному обездоленному войной парню. Я знаю, что у вас в груди бьется доброе сердце...» Но вместо всего этого Сазонов повторил:

— Убедительно попрошу.

В адресном столе ему доводилось бывать часто, почти каждый день, и эту краснощекую девушку с толстой, не модной нынче косой он приметил. Иногда около Лиды, картинно опершись о барьер, стоял Серебровский. Он что-то бесконечно рассказывал ей, красиво жестикулируя и бодаясь своим литым черепом, стриженным под полубокс. Лида слушала его, приоткрыв рот и часто-часто мигая короткими светлыми ресницами.

Однажды Николай Васильевич слышал, как Серебровский, передавая девушке билеты на стадион, галантно сказал:

— Сегодняшний гол, Лидочка, я посвящаю вам.

А минут через двадцать в оперотделе тот же Серебровский вручал билеты Парашину и говорил:

— Я, товарищ подполковник, беру на себя обязательство забить сегодня два мяча в честь наступающего праздника Дня молодежи.

— Ну-ну, — ответил Парашин. — Не хвались, едучи на рать.

По дороге из управления домой Сазонов заглянул в два домохозяйства: в Демидовом переулке и на улице Декабристов.

Демидов он посещал раза два в месяц, обычно после пятого и двадцатого. Сюда его приводило старое дело.

Взобравшись на крутой четвертый этаж, Сазонов отдышался и позволил. Дверь открыл узкоплечий мужчина маленького роста, в роговых очках и пижамной куртке.

— А-а, вы! — протянул он хмурым, недовольным тоном, неохотно впуская Сазонова в кухню.

— По пути принял решение заглянуть, — сказал Сазонов, хорошо понимая, что тот не верит ему.

Оглядываясь назад, в коридор, мужчина тихо произнес:

— Перевел, товарищ майор. Сегодня в обед сбегал...

Он все еще держал дверь на лестницу приоткрытой, но Сазонов начал вынимать из своего кармана сигареты. Тогда мужчина раздраженно сказал:

— Сейчас покажу квитанцию...

Он пробежал в комнату — оттуда донеслось какое-то злое шушуканье — и принес в кухню квитанцию о денежном переводе. Сазонов посмотрел дату на почтовом штампе, вернул квитанцию и приложил руку к своей шляпе.

— Прошу извинить.

— Все-таки это в высшей степени странно! — Мужчина передернул узкими плечами и широко распахнул перед гостем дверь. — Ваши посещения меня нервируют!

— Обстоятельства вынуждают, — сказал Сазонов. — Вы два раза бежали от семьи. Еще раз прошу прощения.

На улице Декабристов он зашел в контору домохозяйства. Взяв у управляющего старые домовые книги, Сазонов сел в сторонке за отдельный стол. Листая замусоленные в нижних углах страницы, он заметил обычную картину: довоенные книги велись одним и тем же аккуратным почерком, а с конца сорок первого года почерк стал часто меняться, страницы делались все грязнее — попадались и рваные, — их перелистывали немытыми руками, корявыми от холода, в блокадной полутьме.

«Выбыл за смертью», «Мобилизован в РККА», «Отмечена за смертью», «Эвакуирована», «Эвакуирован», «Эвакуирована», — листал Сазонов, привычно, в который раз удивляясь, как же люди все это вынесли.

Фамилии Кравченко в домовых книгах не оказалось. Да, в общем, Сазонов и не рассчитывал на это. Еще ни разу не случилось, чтобы нужный ему человек нашелся с первого же захода. Солдат указал довоенный адрес своей семьи, но что мог запомнить трехлетний парнишка, оглушенный войной! Сазонов всегда знал это по опыту заранее и все-таки в первый же день отправлялся по указанному адресу, в глубине души надеясь: а вдруг ему повезет?

Придя домой, он вскипятил себе холостяцкого кипятку в кастрюльке — у чайника с неделю назад отвалился носик, — попил на краю стола чай.

В комнате было неуютно. Сазонов уходил на работу всегда второпях, не успевая как следует убрать за собой, а возвращался уставший, поздно, и ему казалось, что прибраться на ночь глядя бессмысленно. Раз в неделю соседка мыла у него полы и вытирала пыль; она переставляла все вещи по-своему, это сердило Сазонова, и наконец, решившись, он смущенно и хмуро попросил ее порядков в комнате не менять. Соседка намекнула, что это называется не порядок, а беспорядок, но Сазонов вдаваться в рассуждения и споры не стал, он только произнес:

— Мне так удобнее.

Попив чаю, Сазонов поставил посуду на подоконник.

Предвкушая удовольствие, которое ему сейчас предстоит, он, не торопясь, задернул плотно шторы, приколол поверх них байковое одеяло, затем расставил на столе фотопринадлежности, развел в ванночках химикалии и обернул лампочку плотной красной бумагой.

В комнате стало совсем темно, но он безошибочно угадывал нужные ему предметы, а постепенно стал и различать их.

Сазонову казалось при этом, что он насвистывает какой-то длинный веселый мотив, а на самом деле он только дул беззвучно своими мятыми губами, и со стороны это было похоже на тихое пыхтение уставшего человека.

Ответы на запросы по делу Кравченко стали приходить дней через десять. Все они были стандартно неутешительные и начинались словами: «Сообщаем, что разыскиваемый вами Кравченко Петр Алексеевич, предполагаемого года рождения 1917-го, по нашим проверочным данным не числится», «...не имеется», «...не значит».

Ответы поступали из загсов, из вербовочных пунктов рабочей силы, из горздравотделов, из архивов Октябрьской революции и партстроительства, из Бюро потерь Советской Армии, из Общества Красного Креста и Красного Полумесяца.

Просматривая эти письма, Сазонов ставил птички в своем исходящем журнале против названий тех учреждений, которые откликнулись на его запросы.

В остальные места он написал вторично: «Прошу ускорить исполнением наше отдельное требование от 5/9-58 года за № 1/85-1240 о розыске Кравченко Петра Алексеевича...»

Как всегда в подобных случаях, у него было такое ощущение, будто он забросил в мир огромную сеть и вытаскивает ее постепенно пустой.

Его охватывало ожесточенное упрямство. Сбычив свою лохматую голову, он писал до ломоты в пальцах. Люди, которые не отвечали на его запросы, вызывали в нем глухую ненависть. Он представлял себе их даже зрительно. Не обладая причудливой фантазией, Сазонов вырастил в своей душе два ненавистных образа; он произвольно передвигал их из одного учреждения в другое: женщину с густо намазанными губами и кровавым маникюром и мордатого мужчину с глазами круглыми и мертвыми, как канцелярские кнопки. Двух этих людей Сазонов так люто презирал, что, когда думал о них, у него колотилось сердце.

Сведения, полученные из ЦАБа<sup>1</sup>, — адреса тридцати восьми Кравченко — постепенно таяли. Зная дотошный характер Сазонова, Лида вытаскивала из барабанов адресного бюро все карточки, хоть сколько-нибудь напоминавшие то, что было нужно Николаю Васильевичу. Не совпадали годы рождения, имена, отчества; были в этих карточках мужчины, были женщины. Вызывать их в управление не следовало: это могло напугать и обидеть.

Сазонов ходил к ним на дом, а когда не хватало времени, отправлял сотрудников своего отделения.

— В милицейской форме туда не ходите, — предупреждал он.

Сам он надевал шинель редко. В длинном пальто и шляпе с причудливо выгнутыми полями он наведывался в дома, отмеченные в его блокноте.

Лучше всяких домовых книг, разговоров с паспортистками и дворниками помогала словоохотливая болтовня старожиллов. Для этого, правда, требовалось ангельское терпение. Старики и старушки вцеплялись в Сазонова намертво. Узнав, что он ищет какого-то Кравченко, они предлагали ему иногда на выбор Харченко, Марченко, Барченко.

Бездонные кладовые их старческой памяти, где у самого входа в образцовом порядке лежали одряхлевшие события, давнишние радости и смертельные обиды, а дальше, теряясь во мгле, навалом валялось то, что произошло на прошлой неделе, — кладовые эти опустошались перед Сазоновым с такой охотой, что только его долгий опыт позволял ему разбраться в этом хламе. Да еще надо было при этом ничего не записывать. Стоило вытащить свой блокнот, как старушки мгновенно поджимали губы.

— Это вы чего собираетесь делать?

<sup>1</sup> ЦАБ — Центральное адресное бюро.



— Отметить для памяти кое-какие данные.

— А мы, сынок, ничего и не знаем. Наболтали сдуру...

И старушки, как по команде, поднимались, подозрительно глядя на Сазонова.

Он усаживал их на место, убеждал, просил, жалостным голосом изображая горькую судьбу Федьки Кравченко, потерявшего в войну своего отца. Жалость пробирала старух до костей. Перебивая друг друга, они сообщали Сазонову сотни подробностей, из которых следовало, что Федька Кравченко жил до войны именно в этом доме. Детство его протекло на их глазах. У одной он лежал на коленях и обмочил ей подол; другая скармливала ему леденцы; у третьей он расшиб футбольным мячом окошко. Когда фантазия старух разыгрывалась до предела, Сазонов вежливо исчезал.

И все-таки именно они навели его на верный след.

К тому времени из воинской части была получена метрика солдата. В верхнем углу ее стояла надпись: «Восстановлена». Выдана она была в феврале сорок второго года, в детском доме Кировской области.

К сожалению, Сазонов хорошо знал, что значит эта надпись на метрике: «Восстановлена»...

Эшелон с детьми прибывает на станцию Киров. В вагонах тихо. Дети уже не плачут. Они открывают свое в ленинградских бомбоубежищах, в опустевших вымерзших квартирах. Не по годам маленьких, с большими тяжелыми головами на длинных мягких шеях, их везли грузовиками через застывшую Ладогу от поселка Борисовой Гривы до станции Кобоны. Они лежали невымытые, некормленные, непоенные, укутанные в тряпье, в сиротские одеяла, от голода, удивления и ужаса похожие друг на друга. Никто не знал их имен. Их лихорадочно, по многу раз, пересчитывали, живых вместе с мертвыми. Метались подле грузовиков почерневшие, обмороженные детдомовские няньки; материлась героическая шоферня. В одну сторону везли детей, в другую — муку.

На станции Кобоны стояли пустые, продутые острым железнодорожным ветром вагоны. Детей перегружали, укладывали на товарные нары. Няньки бегали воровать уголь, ломать заборы. Затапливались самодельные вагонные печурки. Мохнатые от инея стены сияли сырым металлическим светом.

Эшелон дергался, лязгал, трещал, паровоз раскачивал его, отдирая примерзшие к рельсам колеса. И, тронувшись, шел долго, боясь остановиться.

За одиннадцать суток пути детей пытались откормить на эвакуопунктах. Приносили ведра дымящихся щей, борща, супа, неправдоподобно целые буханки хлеба. Сиплый, недетский кашель стоял в вагоне. Валясь с ног, няньки прибирали за детьми, заболевшими голодным поносом.

Страх смерти остался позади, взрослый персонал эшелона отогрелся душой, уже кто-то пробовал петь; неумело, смеясь, били вшей; детям начали рассказывать сказки. Строго слушая болтовню добрых воспитательниц, умудренные блокадным опытом пятилетние дети пугали взрослых широко распахнутыми, неподвижными глазами.

Ночью дежурные няньки шептались у печки, что никогда этого не забудут. Никто тогда не понимал еще по наивности, что ужасы забываются проще обыденных событий: душа не приспособлена к их долгосрочному хранению.

В Кирове прибывшие эшелоны разбирали по нескольким детдомам. Длинные сопроводительные списки дробились наспех, детей записывали как попало, ревниво следя только за их числом, ибо от этого зависело количество харчей.

Кое-кто из ребят помнил свою фамилию; многие знали, как их когда-то звали по имени; попадались упрямцы, твердившие даже свой адреса, но большинство детей было безыменно.

Перед ребенком присаживались на корточки тети и дяди и мучительно допытывались:

— Ну-ка, давай вместе вспомним, как тебя зовут?

Тыловые тети и дяди старались произносить это таким нарочито легкомысленным тоном, словно речь шла о пустяках. Ребенок поупрямится, ему дадут конфетку, и он вспомнит свое имя. Это же такой пустяк — собственное имя человека.

— Коля? — спрашивали у него.

Он равнодушно повторял:

— Коля.

— А может, Федя?

Ему было все равно. Он повторял и Федю.

С установлением возраста было еще сложнее.

Для этого созывалась комиссия во главе с врачом. Детей раздевали, осматривали, взвешивали, измеряли; заглядывали в рот, считая, сколько у кого зубов. Медицина — довольно точная и честная наука, но до осени сорок первого года ей не приходилось иметь дело с детьми, у которых на глазах взлетали на воздух дома, разрывало в куски братьев и сестер, медицина не могла знать, что делается с весом, ростом и количеством зубов ребенка, если он несколько месяцев ел студень из столярного клея, если при нем наглухо заматывали в одеяло плоскую от голода, одеревеневшую мать и увозили на его детских салазках на кладбище.

Врач, председатель комиссии, записывал все измерения; они соответствовали годовалому возрасту. Потом он смотрел в стариковское лицо ребенка и обращался к членам комиссии:

— Я полагаю, лет шесть.

Что касается фамилии, то с этим было гораздо проще.

Весь персонал детдома — завхозы, медсестры, няни, — не мудрствуя и не гадая, щедро дарили детям свои собственные фамилии.

Затем рождение нового человека оформляли по всем правилам. Выписывали метрическое свидетельство. Оно ничем не отличалось от довоенного.

Только в правом углу стояла надпись: «Восстановлено».

Получив из воинской части такую метрику, Сазонов пошел к начальнику отдела.

— Насчет Кравченко, — доложил среди прочего Сазонов, — дело осложняется.

И он протянул Парашину полученный документ.

— Понятно, — сказал Парашин. — Сколько у тебя за прошлый квартал поступило запросов на гражданский розыск?

— Триста пятнадцать.

— Найдено?

— Двадцать девять.

— А нынче?

— Поступило двести восемьдесят шесть, разыскано двадцать два.

— В процентах не прикидывал?

Сазонов ответил, что не прикидывал.

— Ты садись, Николай Васильевич, — сказал Парашин. — Есть разговор.

Когда Парашин чувствовал себя неуверенно, он начинал причесываться. И сейчас, вынув из кармана расческу, он сперва провел ею по голове от макушки до глаз — лицо его стало от этого женским, — а затем заче-

сал свои мягкие прямые волосы на белоснежный косой пробор и превратился снова в подполковника.

— Кляузная штука, этот гражданский розыск,— сказал Парашин.— Каблуков больше собьешь...— Он повертел в руках метрику.— Ну что с ним делать, мать честная!

— Искать,— ответил Сазонов.

— Да это понятно... Кстати, ты жаловался, что в твоём отделении людей маловато. Капитана Серебровского переводим к тебе.— Парашин искоса, настороженно посмотрел на Сазонова, ожидая возражений, но тот молчал.— Мужик он недурной. Вправишь ему мозги, будет работать хорошо...

Сазонов пошевелился, собираясь подняться.

— Погоди,— сказал Парашин.— Имеются сведения, что все твоё отделение переходит из оперативного отдела в паспортный. По совести сказать, резон в этом есть...— Выждав секунду, он неожиданно коротко рассмеялся.— А службы ты, Николай Васильевич, совершенно не знаешь. Ну хотя бы для близира сказал: «Очень жалко, товарищ начальник, уходить от вас. Служил, как у отца родного...»

Сазонов вскинул на него равнодушно-удивленные глаза.

Подполковник поморщился.

— С вами, товарищ майор, и пошутить нельзя. Что касается зарплат, — добавил он без всякого перехода, — то, видимо, она у вас несколько уменьшится.

— Почему? — спросил Сазонов.

— Ставки в паспортном отделе ниже. Полагаю, что применительно к вашей работе это несправедливо. Со временем, может, и разберутся...

Не договорив, Парашин встал.

— У меня все, Николай Васильевич.

Он пожал Сазонову руку, чего среди дня никогда не делал.

Когда дверь за Сазоновым закрылась, Парашин почувствовал облегчение. Присутствие майора всегда немного угнетало его. Он раздражал Парашина своим немногословием и тоскливостью. Даже на редких праздничных вечерах в милицейском клубе Сазонов ходил какой-то неприкаянный, словно всем своим видом хотел попрекнуть сотрудников, что вот они веселы, собираются выпить или уже выпили, а он, видите ли, такой служака, который никогда себе этого не позволяет.

Парашин, работавший всю неделю до одури,— выносливости он был воловьей, нрава крутого и грубоватого — в свободное время отпускал себя, не видя в этом ничего зазорного. И ему хотелось в эти редкие часы, чтобы окружали его шумные, крепкие на водку мужики, «заводные», как он выражался, любящие жизнь и понимающие толк в компанейском веселье. Даже когда ему случалось загулять допоздна, то ровно в девять утра он появлялся у себя в кабинете гладко бритый, румяный, в вычурном костюме и свежей рубашке, и, упаси господь, если кто-нибудь из сослуживцев, пировавших вместе накануне, хотя бы вскользь, ненароком, помянет в разговоре с ним какую-либо подробность их недавней встречи. Лицо подполковника мгновенно чугунело. Под его давящим взглядом собеседник долепетывал фразу до конца, и подполковник, сделав вид, что ничего не слышал, продолжал разговор с того места, на котором человек влез со своими дурацкими воспоминаниями.

И хотя Сазонов никогда не принимал участия в этих случайных загулах, само его пресное существование почему-то задевало Парашина. Он не любил людей, которых не понимал. Они беспокоили его, ему хотелось обратить их в свою веру, а если они не поддавались, это вызывало в нем

подозрительную враждебность, которой он, впрочем, будучи человеком порядочным, стеснялся.

Предстоящий переход отделения Сазонова в паспортный отдел, в общем, устраивал Парашина. Всю эту мелкую возню с гражданским розыском он терпеть не мог. Неприятности тут подстерегали на каждом шагу: раскрываемость по этим многочисленным делам была низкой, а заявители писали и жаловались во все инстанции.

При всей своей возмутительности, какое-нибудь грубое преступление вызывало в Парашине азарт расследования. Не давая ни себе, ни своим сотрудникам покоя, он кидался на поиски преступника, руководя всеми разработками, и не успокаивался до тех пор, покуда не заканчивал дело. Если же конец его был неудачным, то Парашин и через год, и через два, в каждом удобном случае, возвращался к нему с редким упорством.

Но зато и любил он, чтобы ценили его работу. Когда в каком-нибудь милицейском отчете или докладе не поминали похвально его оперативный отдел, Парашин обижался до смерти. Он умел жестко, не стесняясь, требовать благодарности начальства. Он знал, что в управлении его считают человеком грубым, даже подчас нахальным, и это ему нравилось.

Как только Сазонов вышел из кабинета, Парашин позвонил капитану Серебровскому.

— Зайдите ко мне.

Разговаривая по телефону, подполковник никогда не называл себя, считая, что все работники отдела должны узнавать его по голосу.

Серебровский явился тотчас же.

Дней десять назад они вместе ездили на рыбалку, капитан учил своего начальника бросать спиннинг из-под кустов, снизу; ночь стояла светлая, у щуки был жор, она брала хорошо; Парашин радовался, как мальчишка. Под утро они искупались, боролись на песке, мокрые, скользкие, и, когда Серебровскому удалось все-таки незаметно улесть на обе лопатки, Парашин, задыхаясь, сел на него верхом и, шлепнув по плечу, восхищенно сказал:

— А ты, брат, заводной!..

Войдя в кабинет, Серебровский молодецкато, но в то же время с оттенком шутики доложил:

— Капитан Серебровский явился по вашему приказанию.

Несмотря на то, что докладывать по такой строгой воинской форме было не принято, начальник этого оттенка шутики не заметил или сделал вид, что не заметил.

— У тебя нынче какое дело? — спросил Парашин. — Ваську Козыря ищешь?

— Заканчиваю, Сергей Панфилович, — уже серьезно, в тон подполковнику, ответил Серебровский. — Имею точные агентурные данные: во вторник приезжает к своей бабе. Буду брать.

— Без тебя возьмут, — сказал Парашин. — С завтрава перейдешь в отделение к Сазонову.

— К кому?

— К майору Сазонову.

Серебровский помолчал, медленно бледнея, и спросил:

— Это за что же, товарищ подполковник?... С Козырем я совершенно не копался. На пятый день вышел в цвет...

У Парашина в случае нужды была замечательная способность не лышать того, что ему говорили. Он сказал:

— Вместе с майором будете работать в паспортном отделе. Гражданский розыск отходит к ним.

— Да за что же, Сергей Панфилич?..— Голос Серебровского стал тонким и ноющим от обиды.— Я мечтал служить под вашим руководством, вы меня учили; где я такую школу найду, Сергей Панфилич?..

Все эти слова Парашин обожал, но, когда они сейчас выкатывались из круглого, пухлого рта Серебровского, Сергею Панфиличу стало не по себе. Он смотрел вниз, на свое подрагивающее колено, и поглаживал его рукой, пытаясь унять дрожь.

Ободренный молчанием подполковника, Серебровский быстро заговорил:

— Разве я смогу там расти, Сергей Панфилич?.. Возиться с гражданским розыском! Канцелярщину разводите! Из меня пока еще песок не сыплется.— И, окончательно осмелев, он полоснул ребром ладони по воздуху.— Не пойду я от вас к этому Акакию Акакиевичу!..

Вероятно, последней каплей было то, что подполковник Парашин не помнил точно, кто такой Акакий Акакиевич.

— Вас, Серебровский, не спрашивают, куда вы пойдете, а куда не пойдете. И обзывать старых, заслуженных работников я вам не позволю. Ногтя вы его не стойте!..— Парашин поднялся.— У меня все, товарищ капитан.

«Холуй!» — подумал он, когда дверь за оперуполномоченным закрылась.

Затем Парашин придвинул к себе настольный календарь и, не присаживаясь, мелко записал: «Акакий Акакиевич». Рядом он поставил три буквы — ВПС. Это значило: «Выяснить при случае».

### 3

Старухи с улицы Декабристов помогли Сазонову.

Узнав, что отец Федьки Кравченко, возможно, моряк, а мать, возможно, учительница (это было робко помянуто в солдатском письме), старухи переворошили в своей памяти все пять этажей довоенного дома.

Теперь они уже не дожидались Сазонова или кого-нибудь из сотрудников его отделения, а приходили в управление сами. Пропуска в этом крыле не полагались, но старухи семенили мимо дежурившего внизу милиционера с таким видом, словно пропуск у них имеется, а не показывают они его только потому, что милиционеру отлично известно, насколько важное дело привело их сюда.

Вспоминали они «в складчину».

До войны жил в доме моряк. Аккуратный такой брюнет, всегда бритый, подворотничок бельеный, башмаки начищенные и постоянно скрипели. Выпивши его никто не замечал даже на Первое мая и Седьмое ноября. Жена, молоденькая, стриженная, ходила с портфелем. Дворовой прачечной пользовалась аккуратно, воду по полу не расхлестывала. Жили они смирно, по воскресеньям отправлялись под ручку. Распустехой ее никогда не видели. Во дворе никто и не заметил, как она сделалась в положении. Покойная дворничиха только потом уж рассказывала, что она им как-то ночью отпирала калитку и слышала, моряк спросил:

— Тебе тяжело, Зоенька? Лучше я вызову такси...

А она ответила:

— Пойдем пешком, Миша. Я так загадала.

И они тихонько пошли по тротуару. Уже издали дворничиха приметилла, как Зоя на углу схватилась за водосточную трубу. А моряк поднял руку и остановил какую-то машину. Вернулся он совсем под утро, весь белый с лица. Дней через десять они уже приехали втроем.

Тут вступала другая старуха, потому что она вешала во дворе белье когда молодые супруги шли от ворот к лестнице. В руках у жены был

цветы, махровая сирень. Нынче этого обычая нет, мужчины стали невежливы, их сделалось мало, на них ужасный спрос, они от этого сильно разбаловались. Иногда бывает больно смотреть, как хорошая, трудящаяся женщина охаживает какого-нибудь грубияна, а он не скажет ей ласкового слова; и суп ему нехорош, и картофель пригорел, и все не вовремя. За примерами недалеко ходить: взять хотя бы собственную дочь. Ладно, что нынче пенсии приличные. При такой пенсии можно позволить себе сказать зятю свое мнение. Тем более что есть отдельный лицевой счет. Что касается моряка, то фамилия его была Зубарев. Звали—Михаил Константинович. Насчет возраста точно сказать невозможно, но приблизительно было ему в то время лет двадцать пять. Мальчишку назвали Ваней. Ошибки здесь быть не может, потому что у Зубарева она сама лично спрашивала: «Что это вы выбрали такое простецкое имя?»— «А потому, — говорит, — и выбрали, что простое. Пусть будет Иван».

Моряк ушел на войну с первого дня. Возвращался один раз, уже другим летом. Пришел с противогазовой сумкой через плечо. Ключ от квартиры у него был.

Тут вступала третья старуха. Она жила площадкой ниже Зубаревых.

Дверь-то он открыл, но сразу вышел обратно на лестницу и стал курить. Через порог было не переступить: снарядом вынесло всю квартиру. Старуха завела его к себе, он был как маленький, ничего не соображал. Даже вроде улыбался, где не надо. И все повторял: «Спасибо большое, большое спасибо».

Она рассказала ему, что жену похоронили неизвестно где, вместе с другими жильцами. А ребенка сперва взяла она, но пришлось сдать в детдом: мальчишка был слабенький, боялась — не выходит. Да и самоё-то ее в тот день силком отправляли из Питера: сын прислал двух здоровенных солдат, они ее подняли на руки, легонькую, как пробка, и сколько она ни отбивалась, они только приговаривали: «Мамаша, тихонечко!.. Мамаша, мы делаем как лучше!..»

Погрузили в машину и увезли. Полгода она отъедалась у своих, под Вологдой, а потом хитростью вернулась обратно. Номера детдома она не помнит, голова стала сдавать и уши, а зрение — ничего, жаловаться нельзя. Внукам до сих пор все сама перештопает, перечинит. Кричать с ней громко не надо, лучше говорить пореже. Адреса детдома тоже не знает; где-то на Выборгской...

Беседу с последней старушкой вел Серебровский.

— Как же вы, бабушка, сдавали чужого ребенка и абсолютно ничего не взяли на заметку? — спросил он досадливо.

По лицу старушки ему показалось, что она не расслышала, поэтому он, перегнувшись через стол, прокричал:

— Записать надо было, бабушка!

Она посмотрела на него светлыми от старости глазами и ответила:

— Хорошо, в другой раз запишу.

Потом подумала и спокойно добавила:

— Дурак ты.

Соседки стали дергать ее за рукава, но она вынула из кофты носовой платок и громко высморкала свой крупный мужицкий нос.

— А чего он мне сделает? Я полиции не очень-то боялась, когда сына забирали в шестнадцатом году. А уж милиция у нас своя. Кто ей правду скажет, если не мы?..

Боясь скандальной старухи, а заодно и ее сына, которого, видимо, преследовало царское правительство, Серебровский пояснил, что не обижается на нее из уважения к ее сединам.

К счастью, в комнате никого из сотрудников не было, когда он разговаривал с ней.

Сазонов требовал, чтобы вся эта болтовня аккуратно записывалась. Больше того, в результате бессмысленной старческой болтовни посыпались из управления новые запросы.

Вместо Кравченко стал разыскиваться Зубарев Михаил Константинович.

Уж по сравнению с этим даже нудные дела алиментщиков были куда интереснее. Допрашивая их, Серебровский хотя бы ощущал сладостное чувство власти и благородного гражданского негодования, которое льстило ему самому.

Но и тут все было не так просто с новым начальником. Казалось бы, вопрос ясен: преступник пойман, надо его изолировать. К этому призывал Уголовный кодекс. Сазонов же любил «разводить бодягу».

Столкновение произошло вскоре после перехода Серебровского в подчинение к майору.

С месяц молодой оперуполномоченный ловил двух кормильцев, находящихся в бегах, проявил при этом чудеса изобретательности и служебного рвения, а когда поймал их, майор отказался испрашивать санкцию прокурора на арест.

Они не любили друг друга, Сазонов и Серебровский.

Презирая своего начальника, Серебровский сдерживал себя только страхом, а страх наращивал еще большую неприязнь и презрение. Скрыть эти чувства было трудно, да Серебровский временами и не очень пытался. Ему нравилось потом рассказывать сослуживцам:

— Сегодня я как врзал своему сухарю!

Ничего особенного он и не «врзал», но, пользуясь внешней безропотностью Сазонова, иногда разговаривал с ним довольно нахальным тоном, правда, все время при этом бдительно следя, не хватает ли он через край, чтобы можно было тотчас же поправиться.

Неприязнь же Николая Васильевича к Серебровскому выражалась только в том, что майор никогда не смотрел ему в лицо, словно на этом лице было написано такое, что ему, майору, не хотелось или неприлично было читать. Кроме того, Сазонов разговаривал с этим подчиненным, избегая непосредственного к нему обращения. Беседа получалась мучительно неопределенной, будто Сазонов говорил в гулкое пространство: «Хорошо бы отправить... Надо бы проверить... Следует запросить...»

Выслушав Серебровского, который возбужденно и радостно доложил ему, что алиментщики наконец задержаны, Сазонов тихо сказал:

— Их придется отпустить.

— То есть как отпустить? Это же чистая сто пятьдесят восьмая!..

— Но они ведь работают.

— Удрав с Украины в Ленинград! Я же вам только что докладывал!.. В ножки мы им, что ли, должны кланяться за то, что они, видите ли, работают!..

— Находясь на работе, они получают зарплату. Один — семьсот семьдесят рублей, второй — девятьсот двадцать. Следует взыскивать с них положенные по суду суммы.

— Так ведь снова удерут же! — вскрикнул Серебровский.

Его, помимо прочего, выводило из себя, что начальник все время смотрел в разные углы комнаты. Пытаясь поймать его взгляд, Серебровский поводил головой из стороны в сторону, но глаза начальника были неуловимы.

— Могут и не скрыться. Во всяком случае, не сразу, — сказал Сазонов. — А покуда на детей будут поступать деньги.

— Я, товарищ майор, не понимаю вашего отношения к законности,— сказал Серебровский.— Существует статья. По закону мы обязаны их арестовать...

Сазонов пошевелил своими мятыми серыми губами и сделал горлом глотательное движение, как человек, который проглотил нечто очень твердое и неразжевываемое.

— Законы и статьи призваны улучшать жизнь людей. Их надлежит применять только так, чтобы от этого честному человеку жилось легче.

— А в данном случае легче всего будет преступникам! — насмешливо воскликнул Серебровский.

— Имеются в виду дети,— коротко ответил Сазонов.

Воспользовавшись тем, что начальник стал что-то писать, Серебровский, который уже давно держался на кончике своего терпения, раздраженно махнул рукой, прошептал кое-что невнятное, о чем потом можно было рассказывать, что он «здорово дал прикурить этому сухарю», и пошел к своему столу.

— Вернитесь, капитан! — тихо не то позвал, не то приказал Сазонов. Тот удивленно обернулся.

— Хорошо бы усвоить, что существует определенная форма служебных взаимоотношений.— Щеки и лоб Сазонова стали коричневыми: это он так краснел; негнушима, ровным голосом он продолжил: — Хотелось бы не забывать, что нарушение этой формы приводит...

— Виноват, товарищ майор! — быстро сказал Серебровский.

Тем временем шли своим чередом розыски Зубарева Михаила Константиновича.

Как свет потухшей звезды, продолжали поступать запоздалые ответы на запросы о Кравченко. Словно нарочно, именно сейчас, когда интерес к нему пропал, сыпались письма одно за другим. Уничтожить их все равно было не положено, они распирала папку, и, похлопывая по ней, Серебровский подмигивал:

— Дела идут — контора пишет!.. Одних почтовых марок рублей на полтора, да еще человеко-часов тысяч на десять! А в результате: выслуга лет! Дадут нам ордена и медали за протертые штаны... Красота работенка!..

Розыски же Зубарева двигались с привычным скрипом.

Все повторялось, в который раз, сначала: запрашивали — не отвечали, еще запрашивали — еще не отвечали. Тоска брала смертная, и только Николай Васильевич Сазонов, поднося наискосок, близко к своим глазам, все прибывающие бумажки, водил носом от одного их края к другому, будто тщательно вылизывая то, что там было написано.

Однажды в комнату сазоновского отделения неожиданно вошла Лида из адресного бюро. Это было в обеденный перерыв: она торопливо доедала на ходу пирожок.

— Никого нет? — спросила она, увидев, что лишь за одним из столов сидит Серебровский.

Он засуетился, вскочил, открыл крепкие белые зубы.

— Хорошенькое дело — никого! А я?..

— Передайте, пожалуйста, товарищу Сазонову,— сказала Лида и положила на ближайший стол листок бумаги.

Нагнав девушку в полутемном коридоре, Серебровский, озираясь, попытался взять ее за руку.

— Ну, Лидочка, ну чего ты!.. Я ведь тогда не мог: как раз назначили тренировку. Нашу команду в класс «Б» собираются переводить... Ты мне не веришь, да? Я же вижу по глазам: не веришь, нет?..

По коридору в это время пошли с обеда сотрудники.



— Вы могли бы хоть позвонить по телефону,— сказала Лида, мечтая услышать в ответ, что он звонил, но не застал ее. И, чтобы уколоть его, прибавила давно заготовленное: — У меня в тот вечер были другие приглашения...

Но капитан выпустил вдруг ее уже не сопротивляющуюся руку.

— Хорошо, я передам майору.

Деловито кивнув ей, он сделал сосредоточенное лицо и пристроился к кому-то проходившему мимо.

Листок, принесенный Лидой, провалялся на столе несколько дней: работник, сидевший на этом месте, был в командировке, а Серебровский обо всем забыл.

Дня через три кто-то походя наткнулся на эту бумажку, повертел ее, увидел фамилию Зубарева — она уже изрядно приелась в отделении — и положил на стол к Сазонову.

Он тотчас же узнал почерк Лиды.

«Зубарев Михаил Константинович. Год рождения — 1910. Проживает — Саперный переулок 5, кв. 12».

Сазонов не стал никого посылать по этому адресу, а пошел туда сам.

Никакого определенного плана у него не было. Зайдя в контору домохозяйства, он посмотрел последние записи по домово́й книге; потом побеседовал с паспортисткой.

Прописка у Зубарева была свежая. Приехал в Ленинград после демобилизации. Семья — жена и десятилетняя дочь. Место работы — Техническое училище. Занимаемая должность — замполит.

К этим сведениям паспортистка могла добавить немного. Жилец ходит в военно-морской форме. Проживает в коммунальной квартире. Вход с улицы, третья лестница, второй этаж, направо.

Для того чтобы паспортистка попусту не стала болтать по двору — уж слишком она оживилась,— Сазонов порасспросил ее и о других жильцах. Вопросы его были невинные, глаза паспортистки подернулись птичьей пленкой скуки.

У третьей лестницы он задержался немного, покурил, снова упрямо понадеявшись на свое сыщицкое счастье: а вдруг да распахнется дверь и выйдет прямо на него Зубарев, как две капли воды похожий на ту солдатскую фотокарточку, что лежала сейчас в нагрудном кармане.

Из дверей никто не вышел.

Урвав среди дня еще часок, Сазонов пошел в училище. В отделе кадров он попросил личное дело замполита Зубарева. Взяв в руки папку и еще не раскрыв ее, Сазонов ощутил вдруг такое яростное и в то же время усталое желание, чтобы за этой тонкой картонной обложкой оказался разыскиваемый человек, такое нетерпение охватило Сазонова, что он отошел к окну и еще некоторое время не открывал папку, делая для себя самого вид, что ему надо сперва расстегнуть пальто, приготовить блокнот, вынуть вечное перо.

И только когда все это было медленно, методично проделано, он перевернул обложку.

К анкете, лежащей поверх всех бумаг, была приколоты фотография военного моряка. Сазонов положил рядом фотокарточку солдата.

Придирчиво всматриваясь в оба изображения и не находя в них бросающегося в глаза сходства, Сазонов стал выскивать его по мелочам, в розницу. Глаза и подбородки, кажется, схожи. Носы разные.

Он поднес обе карточки поближе к окну, вымаливая у себя снисходительного отношения к своей чрезмерной требовательности.

Совершенно одинаковый разрез глаз и совершенно одинаковые подбородки. Насчет носа вопрос спорный.

Насупив свои тяжелые брови, Сазонов листал документы.

Автобиографию Зубарева он прочитал дважды; в особо важных местах он шевелил губами и шепотом произносил отдельные слова: «...вторично», «...погибла», «...Ленинграде».

В блокноте записал: «Женат вторично. Первая жена погибла в период Отечественной войны. До отбытия на фронт проживал в Ленинграде».

Пока все сходилось. Он вынул носовой платок и вытер лоб.

Оставалось выяснить главное, то, чего не могло быть в документах.

Дождавшись звонка на занятия, Сазонов пошел к замполиту. Когда он вошел в кабинет — длинную, узкую комнату, похожую на пенал, — Зубарев, стоя боком к дверям, принимал, очевидно, какое-то лекарство: он высыпал из пузырька на ладонь мелкие цветные шарики и забрасывал их себе в рот.

Смутившись, что его застали за таким занятием, Зубарев улыбнулся и развел руками.

— Гомеопатия!..

Несмотря на то, что он был совершенно сед, лицо его осветилось мальчишеским простодушием.

— Прощу извинить, — сказал Сазонов, показывая Зубареву свое удостоверение.

Зубарев мельком заглянул в протянутую книжечку и беспокойно спросил:

— Неужели наши ребята что-нибудь натворили?

— Никак нет, — сказал Сазонов. — Пришел побеседовать с вами по личному вопросу.

— Со мной? Пожалуйста. Я за собой милицейских грехов не таю...

Он снова улыбнулся и одернул на себе старенький короткий кителек. Зубарев был невелик ростом, и все на нем было какое-то аккуратно коротенькое, словно купленное в магазине «Детский мир».

Пригласив Сазонова сесть на диван, он устроился рядом. Теперь свет из окна падал прямо на его лицо, на удивительно для взрослого человека голубые глаза, и Сазонов вдруг отчетливо увидел сходство с солдатом Кравченко.

— С вашего разрешения я закурю, — сказал Сазонов.

Заметив, что посетителю как-то не по себе, Зубарев пошутил:

— Вы не волнуйтесь, товарищ майор: я не убегу...

— Обстоятельства вынуждают меня, — сказал Сазонов, — задать вам ряд вопросов личного порядка. Имя-отчество вашей покойной супруги — Зоя Семеновна?

Зубарев кивнул.

— В сорок втором году, в январе месяце, при артобстреле, — продолжал Сазонов, — в вашу квартиру попал немецко-фашистский снаряд. Так?

Расстегнув ворот кителя, Зубарев снова кивнул.

— Известна ли вам дальнейшая судьба вашего сына? — спросил Сазонов.

— Он погиб при эвакуации через Ладогу, — спокойно ответил Зубарев. — Я трижды наводил справки, последний раз в сорок шестом году.

— Прощу прощения, имя вашего сына?

— Иван.

— Не могли бы вы сообщить какие-нибудь особые телесные приметы ребенка: шрамы, бородавки, родимые пятна?..

— Он жив? — быстро спросил Зубарев.

— Определенно утверждать не могу, — сказал Сазонов. — Но есть некоторые основания полагать... — Он не закончил фразу и вынул из кармана фотокарточку Кравченко. — Эта фотография вам ничего не говорит?

С фотографией в руках Зубарев подошел к свету. Сазонов поднялся следом и встал за его спиной. Сделал он это потому, что ему хотелось быть ближе к Зубареву в тот момент, когда надо всей силой своей веры поддержать его, может быть, слабо затлевающую надежду.

— Я ничего не понимаю...— сказал Зубарев, медленно рассматривая карточку; он обернулся с виновато-беспомощным лицом.— Ему было три года... Война ужасно отшибает память. Все время встречаешь людей, которых ты когда-то встречал, и не можешь вспомнить, кто они. У вас так бывало?

— Бывало,— сказал Сазонов.

— Вы могли бы узнать своего сына через шестнадцать лет?

— Мой сын пропал без вести в сорок третьем году.

— Вы его искали?

— Искал,— сухо ответил Сазонов.

Зубарев снова стал всматриваться в фотографию.

Сазонов увидел сзади, как постепенно краснеют его уши.

— Вы спрашивали относительно примет,— сказал Зубарев.— В зиму перед войной я катал его на финских саниах с горы. Сани опрокинулись. Я тоже упал и придавил его ногу к железному полозу. Пришлось зашивать, шрам, должно быть, остался... Может быть, это вам поможет?

«Почему вам?» — подумал Сазонов.

И, словно угадав его мысль, Зубарев поправился:

— Я нехорошо сказал... Как ваше имя-отчество?

— Николай Васильевич.

— Поймите меня правильно, Николай Васильевич. Я должен точно знать, я должен быть совершенно уверен, что это мой сын...

— Какую ногу вы ему ушибли?

— Сейчас вспомню.— Он вытянул перед собой руки, придав им такое положение, в котором они были много лет назад, когда он толкал впереди себя финские сани с ребенком.— Правую!

Все это он проделал быстро и не совсем сознательно, не видя или не понимая, что делает.

Сазонов больше задерживаться не стал. Сказав, что известит Зубарева в случае надобности, он ушел.

По дороге в управление Сазонов раздраженно корил себя, что зря рассказал совершенно постороннему человеку о своем сыне.

И еще он подумал, как бы сам вел себя, если бы к нему пришли с той же вестью, с которой явился он. Скрипнув зубами, он даже зажмурился — так пронзительна была эта мысль. И все-таки... и все-таки он тоже хотел бы быть уверен, что найден именно его сын.

Много лет назад, потеряв надежду найти сына, он пробовал пить, но горе, настоенное на водке, становилось еще крепче. Уже давно ясно было, что эта военная формула «без вести пропавший» ничего иного не означает, как смерть, однако ожесточенная вера в эту формулу приносила облегчение, она была похожа на веру в загробную жизнь.

Вернувшись в управление, Сазонов тотчас же написал письмо Федору Кравченко с просьбой сообщить, имеются ли у него какие-нибудь особые телесные приметы — шрамы, бородавки, родимые пятна — и где они расположены.

Ответ пришел быстро.

У Федора Кравченко на правой ноге, под коленкой, оказался шрам.

«Искал я еще чего-либо подходящего,— сообщал солдат,— но в остальном тело у меня чистое, а откуда взялся ко мне этот шрам, сказать не умею».

Не медля, Сазонов написал в политотдел воинской части: он просил отпустить Кравченко в краткосрочный отпуск для свидания с отцом.

В отделении уже знали о предстоящем свидании, такие события случались не часто, и весть о нем разнеслась по коридорам управления.

Примчался редактор многотиражки, сказал, что под это дело надо отвести три колонки на второй полосе.

— Кстати, товарищ Сазонов, вы не выясняли, солдат — отличник службы? — спросил редактор.

Сазонов ответил, что этими подробностями он не интересовался.

— А у Зубарева есть правительственные награды?

И этого Сазонов не знал.

Капитан Серебровский, находившийся тут же в комнате, строго сказал редактору:

— Вы мало пропагандируете гражданский розыск. Ему надо придавать широкое политическое звучание!.. Молодежь должна воспитываться на этих примерах.

— А вы могли бы, товарищ капитан, написать об этом конкретном случае статью для нашей многотиражки? — спросил редактор.

Серебровский боком, вопросительно посмотрел на Сазонова.

— Может, — сказал Сазонов.

Через два дня приехал Федор Кравченко. Прямо с вокзала он явился в Управление городской милиции. Как только он вошел в комнату, у Сазонова исчезли последние сомнения: казалось, что это Зубарев справил себе солдатский парадный мундир, яростно начистил новые сапоги, постригся под машинку, выпил волшебной живой воды и, как в добрых народных сказках, сбросив с хребта лет двадцать пять, возник перед столом Сазонова.

Свидание назначено было на час дня, и солдат, доживая последние минуты как Федор Кравченко, вытянувшись на стуле и ломая в руках фуражку, слушал Николая Васильевича.

Изредка Кравченко повторял:

— Ясно. Ясно. Ясно.

А в конце беседы он смущенно попросил:

— Запишите мне, пожалуйста, товарищ майор, мою новую фамилию, имя и отчество на бумажке.

Сазонов придвинул к нему листок бумаги и протянул перо.

— Лучше сами, — попросил Кравченко.

И на удивленный взгляд Сазонова ответил:

— Руки мокрые, товарищ майор.

— Вы в Питере давно не бывали? — спросил Сазонов таким необычным тоном, что Серебровский, сидевший за дальним столом, поднял голову и посмотрел на своего начальника.

— С довоенного времени.

— Вот что я вам посоветую, товарищ Зубарев Иван Михайлович. — Сазонов сдержанно улыбнулся. — До прихода вашего отца осталось время. Спустись-ка вниз, пересеки площадь и выйди к Неве. Погуляйте малость, пусть вас продует ветерком... — И, сделав паузу, уже торжественно, словно вручая орден, повторил: — ...товарищ Зубарев Иван Михайлович... — Дотронувшись до плеча солдата, Сазонов подмигнул ему: — Давай, дружок, иди дыши!..

Отец пришел раньше назначенного срока. К этому времени, по тем или другим причинам, в комнату набилось довольно много сотрудников. Все они чего-то медлили, копались, делая вид, что их здесь задерживают совершенно неотложные обстоятельства.

Кое-кто из них был не очень в курсе дела, и Серебровский шепотом давал им пояснения.

Сазонов досадовал на всю эту глупую суетню, но делать замечания при Зубареве не хотел. И только заметив, что грудастая машинистка, похожая на пожилую русалку, уже трижды огибает стул, на котором сидел Зубарев, и при этом все время утирает платочком свои выпученные глаза, Сазонов поднялся, отозвал ее в сторону и тихим резким голосом произнес:

— Здесь не театр, Катерина Ивановна!

— Господи, в вас нет ничего человеческого! — трагическим голосом прошептала машинистка, но из комнаты все-таки исчезла.

Минут через десять вернулся с Невы солдат.

В комнате стало тихо.

— Ну вот, — сказал Сазонов, обращаясь к бывшему моряку. — Разрешите поздравить вас с нахождением сына.

Солдат остался стоять на том же месте, на котором стоял. Зубарев же быстро поднялся, зацепил локтем столик, стоявший рядом, столик качнулся, графин с водой полетел на пол; ужасно растерявшись, Зубарев пробормотал: «Ничего, я заплачу...» — и пошел к сыну.

Солдат протянул руку и сказал одеревеневшим голосом:

— Здравствуйте, папа.

Они поцеловались неловко, как двое малознакомых мужчин.

Затем Сазонов попросил разрешения сфотографировать их для альбома. Он дважды торопливо щелкнул аппаратом, понимая, что их надо как можно скорее отпустить вдвоем на улицу.

На прощание оба Зубарева долго пожимали руки всем без разбора (Сазонов в это время возился с объективом).

Зубарев-старший, пожимая руки, приговаривал:

— Спасибо большое. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо...

И, обойдя таким образом всех, предложил:

— Хорошо бы нам сняться с кем-нибудь из вас на память!

Он обвел глазами смущенно примолкших сотрудников, остановился взглядом на красавце Серебровском, чуть подавшемся вперед, и попросил его:

— Пожалуйста, товарищ капитан. И я хочу и Ваня...

Сазонов сфотографировал их втроем.

Эта фотография была помещена в городской газете рядом со статьей оперуполномоченного Серебровского, перепечатанной из милицеской многотиражки.

В то утро, когда вышел номер этой газеты, подполковник Парашин встретил Сазонова на лестнице управления.

— Рад за тебя, старик! — еще издали крикнул Парашин. — Большое дело сделал!

Он помахал газетой.

— А главное, — Парашин прищурился, — Серебровского в люди вывел! И как я его недосмотрел!.. Подумать только: давность шестнадцать лет, а он, понимаешь ли, помог разыскать и восстановить здоровую советскую семью.

И подполковник Парашин гулко расхохотался, потрясая газетой.

Сазонов вяло улыбнулся.



---

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ

★

## ИЗ ЖИЗНИ ОСТУЖЕВА

*Рассказы*

**В** Боткинской больнице в Москве мне пришлось как-то лежать в одной палате с замечательнейшим актером и замечательным человеком — народным артистом СССР Александром Алексеевичем Остужевым. Если вам не случалось видеть его на сцене, то уж, наверно, доводилось слышать о его необыкновенной судьбе.

Много лет назад, еще до революции, молодой артист Московского Малого театра Александр Остужев, наделенный талантом, благородной внешностью, сценическим обаянием, великолепными манерами, поразительной красоты голосом, заболел. И в несколько дней потерял слух. Навсегда. Почти полностью. Планы, надежды, будущность, слава — казалось, все рухнуло!

Жить без театра! О нет! Остужев убедил себя в том, что можно пойти до таких степеней совершенства, когда глухота не будет страшна ему. Он знал себя, он рассчитывал на силу воли, на упорство свое, на всепреодолевающий труд. Он верил в дружбу, верил в Малый театр!

И остался актером.

Чтобы сыграть в спектакле роль, даже самую крохотную, он выучивал наизусть всю пьесу. Чего стоило ему произносить свои реплики вовремя, поддерживая живой диалог, делая вид, что он слышит партнеров! Забудь он свой текст — ни один суфлер мира не помог бы ему: как кривое колесо, шел бы такой спектакль до конца акта.

Любовь к театру превозмогла все!

Фамилия Остужева появлялась на афишах театра в продолжение многих лет. И стояла она не в конце, среди лиц без речей, а в начале. Он играл бурных героев Шиллера и Гюго, Скупого рыцаря Пушкина, шекспировского Антония, Чацкого...

Незадолго до последней войны, когда ему шел шестьдесят второй год, Остужев сыграл роль Отелло, и так, как уже давно никто не играл ее в русском театре. Два с половиной часа сходилась и снова шел занавес. Два с половиной часа театральная Москва стоя приветствовала замечательного актера, который свершил великий художественный и, я бы сказал, великий нравственный подвиг... А потом он сыграл Уриэля Акосту. И опять замечательно! Эти образы в его исполнении вошли в число лучших творений советского драматического искусства. И конечно, в том заслуга Остужева. Но подумаем: много ли на свете театров, которые решились бы оставить в своей труппе глухого, верили бы в его силы и довели бы его до триумфа? Мне думается, славные строки вписал Малый театр в свою историю, и без того уже славную, в тот самый день, когда второй раз поверил в Остужева!

Подолгу рассказывал мне старый актер о былой театральной жизни. А я слушал, опасаясь задать вопрос, вставить слово. Дело в том, что никто в больнице не желал слышать мои громкие возгласы, не слыша тихих ответов Остужева. И как только я открывал рот — в стену стучали.

— Не спраши-вай-те мэ-ня ни о чем! Ра-ди бо-га! — восклицает Остужев протяжно, скандируя каждое слово, выговаривая каждый звук так отчетливо, что порою кажется, что он говорит с каким-то странным акцентом. Действительно, это почти акцент — речь глухого, который произносит все звуки в словах полностью, так, как они пишутся на бумаге. Но удивительно: в этой речи, звучной и плавной, замедленной, есть что-то необычное, приподнято-театральное, праздничное. Как и в манерах его. Остужев привык к широким красивым жестам, к облупленным, завершенным движениям. Все это казалось бы позой, если бы не детская искренность, если бы не высокая честность мысли и чувства Остужева. И поэтому возвышенная, «романтическая» манера как-то вяжется с обстоятельным неторопливым рассказом, разукрашенным бытовыми подробностями и даже словечками, вроде «хлебал», «дубасил», «ухлюстывал»...

Он любит паузы. Они заполнены мыслью, воспоминаниями, соображением, как лучше передать в словах то, что стоит перед его мысленным взором. Пожалуй, паузы в рассказах Остужева не менее значительны, чем слова. И это понятно: он знает цену молчанию. И он никуда не торопится.

Вот, сжимая локоть кистью другой руки, сидит он, не утративший юношеских пропорций и легкости, благородный, красивый, светлоглазый старик, изящный даже в больничной пижаме...

## ГОРЛО ШАЛЯПИНА

— Я поздно родился,— громко и отдельно говорю я.— Не видел Ермолову!..

Остужев вскинул брови, поворачивает ухо вполборота ко мне, приставляет ладонь.

— Простите...

— Мне не посчастливилось видеть Ермолову! — кричу я изо всех сил.

— Я слышу: не надо так орать. Там, за стеной, больные. Они страдают. Если вы будете так надрываться, нас с вами отсюда вытряхнут... Вы про кого спросили меня?.. Про Ермолову?..

Не надо его торопить: он собирается с мыслями.

— Тот, кто не видел ее на сцене,— начинает Остужев голосом сочным и легким, который отличишь среди тысячи,— кто не видел ее, никогда не поверил бы, что она способна потрясать души... Она была скромна, молчалива, замкнута — слепое неверие в свои силы.

Надо играть спектакль. Шел уже множество раз. Сама не своя. С утра за кулисами, чтобы не опоздать к вечеру. И пошла вымеривать шагами доски пола, считать шляпки гвоздей. Сжимает холодные виски ледяными ладонями. В полном отчаянии. Сегодня она поняла окончательно: у нее нет никакого таланта. А когда выйдет на сцену — вдобавок ко всему забудет текст роли. Суфлер ей подскажет, а она не расслышит. И тогда наконец все поймут, что она пользуется незаслуженной славой. Ходит, произносит шепотом монологи, трепещет от любви, идет на казнь, обращает к миру последние слова. Вся в слезах. Так — до вечера...

Ничего не ела весь день. Загримирована и одета за час до спектакля. Сжатые руки опущены. Одни зрачки вместо глаз. Какая-то магнетическая сила исходит от ее лица, от всей ее благородной фигуры. Вот встала в кулисе. Режиссер Кондратьев кивает: «Ваш выход, голубушка». Медленно обращает на него взгляд, полный волнения и власти... вышла на сцену... и зал ударяет током!.. Все, что сидело, развалившись и облокотившись, поднимается, как под ветром... Произнесла своим грудным голосом первые фразы — все устремилось вперед, как к источнику света!.. Закончила монолог — и на многих лицах блистают слезы!.. Не потому, что она сказала что-нибудь жалкое! Или растрогала! Нееееет!.. — вскрикивает Остужев, словно пронзенный. — Нет! Потому что она приобщила к рождению искусства!.. Я играл с ней Незнамова в пьесе Островского «Без вины виноватые»... Мне трудно бывало произносить текст моей роли: я плакал настоящими слезами...

В глазах его появляется отблеск тех слез; он переводит взгляд в окно и молча рассматривает зеленый больничный сад и вечеряющее московское небо.

— Великая женщина! — произносит он наконец, вернувшись взглядом в палату.

Молчим.

— Я прожил счастливую жизнь, дорогой!..

(Как люблю я этого человека и эти рассказы! «Счастливую жизнь» — глухой, одинокий старик...)

— Более полувека я играл в Малом театре. У меня были замечательные учителя: Александр Иванович Южин-Сумбатов, Александр Павлович Ленский, Владимир Иванович Немирович-Данченко. Люди, которые меня, паровозного машиниста, вывели на сцену моего дорогого театра и дали познать радость творчества!..

У меня были замечательные друзья — Климов Мишка (Михал Михалыч), Коля — Николай Мариусович Радин... Какие это были удивительные актеры — легкие, умные! Какие веселые и талантливые ребята!..

...В мою пору играли такие титаны, как Степан Кузнецов в нашем Малом, Леонид Миронович Леонидов в Художественном. Мы с ним очень дружили.

У меня и во МХАТе были друзья — Грибунин Владимир Федорович, Николай Георгиевич Александров... О, это были и актеры прекрасные! И великие мастера на всякие выдумки, таланты, неистощимые в шутках!..

...Мы всегда жили большой актерской семьей, в которую входили и оперные. Я лично очень дружил с Леонидом Витальевичем Собиновым. И сейчас, между прочим, расскажу вам забавную историю.

Надо знать, что до революции у Московского Большого театра и у Московского Малого театра костюмерная была общая. А все находили, что у нас с Леной Собиновым — одинаковые фигуры. Поэтому, невзирая на то, что Собинов служил в Большом, а я в Малом, на нас двоих сшили один костюм для Ромео... Спойет Собинов в «Ромео и Джульетте» Гуно — волокут этот костюм в Малый театр. Я его немножечко ушью в пояс (у Лени талия была пошире моей!) и выхожу играть Ромео в трагедии Шекспира. А в последнем акте меня уже тычут в спину: «Отдавай обратно костюм: завтра Собинов снова поет Ромео...» А потом он встречает меня, и начинается: «Кто тебе позволил ушивать наши портки? Чувствую вчера: не могу опереть голос — не набираю дыханья. В антракте соскочу — портняжничал! Я велел распороть! Только тронь теперь!.. Соскочут? Ничего не соскочут! Не мое дело — надуй пузо и выходи!..»



—...В то время, когда я слышал,— Остужев пальцем легонько касается уха,— я очень любил бывать в опере. И мог бывать сравнительно часто. Потому что в молодые годы мне поручали такие большие роли, что через двадцать минут после начала спектакля я уже шел разгримировываться. Закатят мне, например, в первом акте пощечину. И я скрываюсь. На сцену больше не выйду. И мог бы скрыться в Большой театр. Или, скажем, проткнут меня в первом акте шпагой на поединке. И я — мертвый. И могу мертвый сидеть в Большом театре. Либо меня разыскивают по ходу пьесы, чтобы вручить мне большое наследство. А я об этом не знаю. И могу не знать тоже в Большом театре. Но на спектакли, в которых пели Алчевский, Нежданова, Собинов, билеты всегда нарасхват. И прежде чем у нас в Малом вывесят репертуар на следующие полмесяца, в Большом — ни одного места. И не достать.

И тогда я решил воспользоваться тем, что у Большого и Малого не только костюмерная была общая, но и дирекция была общая. А возглавлял ее очень воспитанный и подтянутый старичок — генерал в отставке фон Бооль.

Добился приема, рассказал ему о своих затруднениях. Он при мне приглашает чиновника и главного капельдинера и говорит: «Благоволите пропускать господина Остужева на все спектакли Большого театра в любое время, кроме дней тезоименитств их императорских величеств...» Отпустил их и обращается ко мне: «Постоянного места, господин Остужев, я вам не могу предоставить. А разрешаю бывать запросто — за кулисами».

Какое счастье!.. (Остужев смыкает руки и прижимает их к сердцу.) Он лишил меня почетного права задирать башку в заднем ряду артистической ложи, откуда ни черта не увидишь. Вместо этого я получил разрешение прибегать в любой час за кулисы Большого театра и, стоя рядом, следить за игрой величайших мастеров русской сценической сцены. Это было для меня настоящей школой!

Видите ли, дорогой!.. Ученый, писатель, композитор — они творят в тиши своего кабинета. Поэт, который хочет создать свои строфы, находит уединение даже на улице. Но актер — и в том числе великий актер, который готовится выйти на сцену, чтобы создать неповторимый образ, — он перед началом спектакля чувствует себя за кулисами, как на базаре! Все лезут к нему, чмокаются, берут под руку, нашептывают жирные анекдоты... И я всегда понимал, какое страдание для такого актера, как, скажем, Федор Шаляпин, ежесекундно отвлекаться перед началом спектакля на пустяки. И хотя я был с ним знаком, но, если он занят в спектакле, никогда не лез кланяться. Увижу — и отойду в сторонку. Я понимал, что, даже если он заметит меня, он простит эту невежливость.

Но я не мог отказать себе в наслаждении наблюдать, как Шаляпин гримируется!.. Ооооо!!! Мир не видел такого гримера!!

Вообще говоря, каждый актер должен был бы гримироваться сам. Рассчитывать на руку гримера — все равно, что надеяться на то, будто вы можете выразить на моем лице волнующие меня чувства. Попробуйте! Не выходит? То-то!.. Ну, а уж лучше Шаляпина никто не мог знать, как поведет себя его физиономия на предстоящем спектакле. Это же был великолепный художник! Бывало, после спектакля едет с друзьями в ресторан, и пока лакеи тащат всякую всячину, он вынимает из кармана цветной мелок и начинает рисовать на крахмальной скатерти разные морды — карикатуры, автопортреты, эскизы своих гримов. А каналья ресторатор под видом, что скатерть не чиста, тащит другую, а ту, что с рисунками, загоняет поклонникам.

В тот вечер, когда Шаляпин выступает в Большом, я житель кулис. Встану тихонько у дверей его артистической и наблюдаю, как он работает.

А он сидит — раздетый до пояса — перед тройным зеркалом-складнем, смотрит на себя недовольно, хмыкает. И моргает своими белыми ресницами.

Перед ним на столике лежит черная курчавая борода — огромный вороной клин с вырезанными треугольниками на щеках, — он поет сегодня партию свирепого военачальника Олоферна в опере Серова «Юдифь»...

Корпус Остужева чуть подался вперед — и уже не Остужева вижу я, а Шаляпина перед зеркалом: дерзкий вырез ноздрей, крутую шею, обнаженный могучий торс...

А голос рассказывает:

— Потрогает, помнет свою физиономию, чтобы узнать, из чего она у него сегодня сделана, встряхнет бороду, прикинет к лицу. И щурится...

Кончики пальцев Остужева подперли складку под нижней губой — ассирийская борода! Насупилась бровь — сверкнул яростный взгляд Олоферна... Бровь поднялась, ушли руки — снова Остужев.

— Налюбовался, — продолжается неторопливый рассказ, — придвинул карандаши, краски, начал класть смуглый тон, клеить черные — стрелами — брови... Удлинил разрез глаз, вытемнил ямки у переносья... Нахмурился...

И опять в ясном взоре Остужева смелое выражение светлых шаляпинских глаз. Руки поднесли к лицу воображаемую бороду — блеснули грозные очи ассирийца.

— Кашлянул — прокатил голосом первую фразу: «А... гхы... они тебя скрывают... хгхы... эти соб-баки... черррви...» (Намеком возникла в рассказе фраза, испробованная тогда Шаляпиным!) Не отнимая от лица бороды, — волнуясь, продолжает Остужев, — Шаляпин опустил голову, поднял бровь, глянул искоса — смотреть страшно!.. Отложил. И большим пальцем от крыла ноздри повел к углу рта жесткую коричневую складку!

А в комнате?! Полно народу! Какие-то субъекты в смокингах и во фраках с крахмальными пластронами гогочут, сообщают последние театральные сплетни, демонстрируют друг другу циферблаты своих часов... Только не курят ему в лицо!

А он иногда обернется к ним, бросит реплику... И снова занимается своей бородой. Подклеит. Повертит головой во все стороны. Оторвет. И вот здесь — под глазами — нарисует большие синие треугольники.

Вдруг к нему подходит ларинголог — горловой врач. И спрашивает: «Феденька! Мальчик! Как твое горлышко?» — «Ничего, в порядке!» — «Ну, не ленись, детка! Покажи мне свою глоточку!» — «На, смотри! Ахаааааа...»

И тогда все, кто был в комнате, перестали брехать, подошли к Шаляпину и, отгесняя друг друга, стали заглядывать ему в рот. И выражали при этом бурное одобрение. А он очень спокойно показывал. «Кто еще не видал?.. Ты?»

Наконец он прогнал их. Они отошли в свой угол, встали в кружок, как оперные заговорщики, и начали обсуждать виденное. О горе!.. Из тех слов, которые я мог расслышать за порогом, я понял, что пропустил нечто сверхъестественное, чего уже, может быть, никогда не увижу. И тогда я оторвался от косяка, вступил в комнату, робко приблизился к Шаляпину и сказал: «Федор Иванович! А мне нельзя? Посмотреть?» Он повернулся. «А ты где был-то?.. У дверей стоял?.. А чего ж не подходишь?.. Побоялся?.. Маленький!.. Гляди не заплачь! Ты что? Один

остался непросвещенный? Жаль мне тебя, темнота горькая!.. Так уж и быть: посмотри!»

Раскрыл рот...

Остужев делает долгую паузу. Потом выкрикивает с жаром:

— В ы — н е — з н а — е — т е, — ч т о — я — у в и д е л ! !

Выставив руки, словно предлагая наматывать на них шерстяные нитки, он округляет ладони, соединяет кончики пальцев — руки встретились; оглядел образовавшееся внутри пространство, дал мне налюбоваться, глядя в глаза мне, крикнул звонко, отрывисто:

— К р а т е р ! !

Полная напряжения пауза, и снова яростный возглас:

— Н ё б о ? !

Из ладоней образуется круглый свод.

— К у п о л ! ! И вот под этим куполом рождается неповторимый тембр шаляпинского баса!.. Язык, как волна, еле зыблется за ожерельем нижних зубов... И во всей глотке ни одной лишней детали!.. Она рассматривается, как сооружение великого мастера! И я не могу оторвать глаз от этого необыкновенного зрелища!..

Наконец Шаляпин закрыл рот и спросил: «Ты что? Не нагледелся еще?.. А чего ты так выпучился? Небойсь! Не проглочу! А теперь ступай-те отсюда все! Работать не даете! Осточертели! Дьяволы!..»

И все, толпясь, вышли.

И я выскочил из артистической, пристроился в кулисе, видел, как мимо, шумно дыша, прошел Шаляпин, в сандалиях, с золотыми браслетами на голых руках, в золотой диадеме, в шелках и в парче, — словно отделился от вавилонского барельефа. Потом услышал, как в зал, расширяясь и нарастая, полетел раскаленный шаляпинский звук... Слушал, смотрел... И не мог отделаться от представления об этом огромном поющем раструбе. Особенно в те мгновения, когда Шаляпин брал верхние ноты и язык дрожал у него во рту.

...Кончился спектакль. Приезжаю домой. Первое, что я делаю, — беру зеркальце, чтобы посмотреть, какая у меня глотка!.. Вы не знаете, что я увидел!!

Остужев складывает два указательных пальца и чуть раздвигает их.

— Г о р л о п и в н о й б у т ы л к и ! ! . Н ё б о ? ! П о т о л о к в п о д в а л е ! ! . Я з ы к ? ! . К а к к у л а к ! ! . А д а л ь ш е — п о т е м к и д р е м у ч и е ! ! .

На другой день встречаю в Камергерском приятеля — очень культурный человек, окончил консерваторию, много писал о певцах... Рассказываю: «Был за кулисами у Шаляпина — непостижимое чудо природы!.. Гортань, — показываю, — во!.. Нёбо — во!..»

Никакого эффекта! Не ахнул, не улыбнулся... Потом говорит:

«Тебе, дураку, это внове. А нас — людей сведущих — этим не удивишь. Я горло Шаляпина знаю. Согласен с тобой — это чудо! Но не природы! Это чудо работы, систематической тренировки... У Шаляпина от природы был великолепный бас — редчайшие связи! И обыкновенная глотка. Но его первый учитель пения — Усатов — специальными упражнениями сумел поднять ему мягкое нёбо, расширил стенки гортани, он выучил Шаляпина — ну, как бы тебе объяснить? — полоскать горло звуками... Я когда-нибудь покажу тебе принцип упражнений, которые помогли Шаляпину отшлифовать дар природы... Слушай, Шаляпин — человек шекспировского таланта, тончайшей интуиции, глубокой художественной культуры, высочайшей требовательности к себе и к другим... Шаляпин — вокалист, для которого технических пределов не существует. Это великий труженик, при этом вечно собой недовольный... Бросьте вы все болтать про чудо природы, выдумывать, будто Шаляпин сразу ро-

дился великим певцом, что он ничего толком не знает и ничего не умеет, что на него во время спектакля нисходит непонятное озарение... Все разговоры: «Шалапин прогнал», «Шалапин скандалит», «Шалапина беспокоит, «зазвучит» или «не зазвучит» вечером»,— это толки ничтожных сплетников, пошляков, которым хотелось бы разменять его золотой талант на медные пятаки в искусстве... Брал бы лучше пример с Шалапина! Голос, которым владеешь в совершенстве,— сокровище не только в опере, но и в драме... Почаще вспоминай Федор Ивановича! Нам многому следует у него поучиться!..»

Разговор происходил... (Остужев припоминает) в тысяча девятьсот... девятом году, дорогой. Около сорока лет назад... Я использовал этот совет и с тех пор систематически упражнял горло. Вы сами часто выступаете с эстрады — для вас это должно представлять интерес. Взгляните!..

Остужев разинул рот... Гляжу: нёбо — высокая арка. Как подъемный мост опустился язык, открыв вход в огромный тоннель. Горло? О нет! Не горло вижу я — сооружение великого мастера! И не могу отвести глаз от этого необыкновенного зрелища!

Закрыв рот и видя, что я сижу удивленный — и этим рассказом и видом этой гортани,— Остужев победоносно, но скромно перекинул через руку мохнатое полотенце, взял мыльницу и, прикрывая отсутствующий на больничной пижаме галстук ладонью, отправился умываться на ночь.

Как только он вышел, я поспешно выдвинул ящик из тумбочки возле кровати, достал зеркальце, открыл рот...

Вы не знаете, что увидел я!.. Потемки. И никаких перспектив!

.....

С того времени я тоже стал упражнять горло. Недавно смотрел — пока демонстрировать нечего.

Ну что ж!.. Не все пропало еще. Посмотрю через сорок лет!..

### ОШИБКА САЛЬВИНИ

Вы, конечно, уже догадались: мне было интересно узнать, как Остужев — замечательный исполнитель роли Отелло — расценивал других исполнителей этой же роли. А из истории театра я знал, что в конце прошлого века на сцене Московского Малого театра гастролировал знаменитый итальянский трагик Томмазо Сальвини. Я собираюсь спросить Остужева, как трактовал Сальвини роль мавра, памятуя и ту молву, что дошла до нашего времени, и главу о Сальвини из книги К. С. Станиславского. Но Остужев понял уже, что я интересуюсь Сальвини, и поднимает ладонь.

— Я слышу,— говорит он очень тихо, невнятно, как большинство глухих, когда отвечают на ваш вопрос или произносят фразы делового характера. (Когда он увлечется рассказом, он говорит безо всякого напряжения, так звучно, что его можно было бы слушать на стадионе.) — Вы хотите, чтоб я рассказал о Сальвини? Мне не трудно. Я играл вместе с ним в одном спектакле — в «Отелло»... Да-да (утвердительный наклон головы), Сальвини играл Отелло! А мне незадолго до этого поручили роль Кассио... Сальвини играл по-итальянски. А мы — Малый театр — по-русски. Это не мешало нам хорошо понимать друг друга...

Вы, наверно, хотите узнать, каково мое отношение к Сальвини? «Понравился» — «не понравился»?.. Скажите: я угадал?.. Вы не последний и не были первым, задавая этот вопрос! Ответить на него коротко «да» или «нет» — очень трудно. Но, поскольку времени у нас с вами

вдоволь и сегодня к нам никто уже не придет, кроме дежурной сестры, которая потушит свет и запретит нам болтать, я постараюсь дать о нем более полное представление.

Видите ли, дорогой! Когда я был тринадцатилетним мальчишкой в Воронеже и обучался в железнодорожных мастерских размахивать кузнечным молотом и ездить на паровозе, у меня не было возможности прочесть сочинения Шекспира.

Но у меня был знакомый — очень влиятельное лицо в Воронеже (по сравнению со мной). Потому что ему уже исполнилось в то время четырнадцать и он обучался в гимназии, а кроме того, был сыном состоятельного нотариуса.

Вот этот парнишка прочел где-то «Отелло» Шекспира и при встрече пересказал мне содержание этой пьесы своими словами в продолжение каких-нибудь десяти минут, из чего вы легко можете сделать вывод, что это не был дословный перевод прославленной трагедии... И тем не менее, выслушав его, я пошел под железнодорожный мост — и заплакал. Так жалко мне стало этого благородного Отелло. С тех пор это мой любимый герой...

Слушайте! Он самый искренний, самый умный, самый человечный во всей пьесе! А его чаще всего играют тупым ревнивцем. Пошел — начиная с третьего акта — рычать страшным голосом и ломать вокруг себя мебель!.. Я никогда не мог постигнуть смысла такой трактовки. Ведь ревность — не трагедия в высоком смысле слова. Страдания ревности никогда, никого и ничему еще не научили, никого не обогатили душевно. Ревность — это каждый раз частное чувство. Это чувство низменное, это зависть, причиной которой является живое лицо. Не мог Шекспир — поэт Возрождения, проповедник свободы человеческих чувств — воспеть и высечь темную страсть. Не поверю!

А вот наш Пушкин — он не был театральным режиссером, — а в нескольких строчках сумел объяснить весь шекспировский замысел: Отелло не ревнив. Он доверчив.

Какая это правда! Какая тонкая и умная правда! Какой молодец наш Пушкин! В любой области, даже в той, которая не являлась его специальностью, он сумел сказать новое и оставить глубокий след.

Конечно, доверчив! Как все сразу становится ясным!.. Человек по своей человеческой сути должен быть доверчив. Но как часто от излишней доверчивости погибли — не отдельные люди, а целые народы и государства! Вот это трагедия! Человек должен быть доверчив — и не может быть доверчив до конца, пока в мире существуют зло и обман, желание одних людей попортить и уничтожить других. Вот это настоящая трагедия!.. Доверчивость трагична, если ты наивен или беспечен, если не понимаешь, с кем ты имеешь дело. И вот этой способности — понимать людей — был лишен несчастный Отелло! Бедный человек!.. — На глазах Остужева выступают слезы. — Он ничего не понимал в людях! Ну как можно было поверить этому негодяю — Яго? Ведь тут сказалось легкоеверие Отелло, если хотите, даже какая-то ограниченность, которая делает его похожим на младенца. А это заставляет еще больше жалеть его!

А те, — помолчав, продолжает Остужев, — кто играет Отелло-ревнивца, не обращают внимания на другую, очень важную особенность пьесы. У Шекспира сказано: «венецианский мавр». Мавр — это человек великой древней культуры, которая может спорить с культурой Венеции. А им это слово ничего не говорит. Для них это синоним первобытности. Для них важно: «мавр», «ревнив» — значит, он темнокожий дикарь. Знает, можно играть не мавра, а готтентота, бушмена — первобытного челове-

ка среди цивилизованных европейцев. А это разрешает надеть курчавый парик, намазать физиономию сажей — будут лучше сверкать белые зубы и устрашающие белки... Я лично никогда не разделял такого толкования Отелло. И поэтому Сальвини, густо вымазанный черной краской, с большими усами, которые он не сбивал и не заклеивал, не вяжется с моим представлением о том, каким должен быть этот благородный герой. Но голос!! — По лицу Остужева пробегает усмешка, полная сожаления по отношению к собеседнику. — Вы никогда не слышали такого голоса и, я боюсь, не услышите!.. Когда Сальвини в первый раз вышел для репетиции на сцену Малого театра, почтительно поклонился нам и бросил первую реплику — тоном спокойным и удивленным, — деревянный пол сцены начал вибрировать. Можно было подумать, что заиграл орган... Он говорил вполголоса. Но это «вполголоса» в каждой груди вызывало сладкую дрожь, звучало, казалось, даже в мягких складках бархатных драпировок, переполняло театр... Вообще он играл великолепно, очень темпераментно, очень умно, неожиданно, тонко. Казалось, что он впервые во время спектакля узнал об утрате платка и, бросив текст роли, говорит уже от себя. Публика с ума сходила, вызывала его неистово. Многие кидались за билетами, чтобы снова видеть его!.. Аааа!..

Следующий спектакль многих разочаровывал: это было полное повторение прежнего — до малейших деталей. То, что в первый раз казалось такой удивительной находкой, такой неожиданностью, раскрывалось, как рассчитанное и закрепленное вдохновение. Все отточено, тысячу раз проверено перед зеркалом... Ни малейшего отступления ни в чем! Никакой импровизации — ни в жестах, ни в интонациях... И при этом поразительная простота, естественность поведения на сцене!.. В первый раз я видел такое!.. Потому что актер лепит образ каждый раз как бы заново!.. Пусть эти слепки будут похожи один на другой, как близнецы. Но ведь нельзя каждый раз рождать одного и того же ребенка! Тут у Сальвини был какой-то просчет! Непосредственное переживание на сцене у него не рождалось. И тем не менее даже рентгеновский глаз Константина Сергеевича (Станиславского) принял это великое изображение страсти за самую страсть! Нарисованный огонь — за настоящее пламя! Он обжегся, прикоснувшись к пожару, бушующему на полотне!.. Это — величайшее искусство, то, что дал нам Сальвини! Но второй раз опытный зритель не ошибется. А слезы, каждый раз порождаемые на сцене непосредственным душевным волнением, будут трогать всегда!

В смысле непосредственности был очень интересен Таманьо — итальянец, который приезжал на гастроли в Россию и пел на сцене Большого театра партию Отелло в опере Верди. О, это был превосходный Отелло!

Надо вам сказать, что Таманьо обладал великолепным героическим тенором и настоящим артистическим темпераментом. Но он пришел на сцену, не владея актерской техникой, без которой Отелло не вытянешь ни в драме, ни в опере. А вокальную партию проходил с ним сам Верди — в ту пору уже глубокий старик.

Наблюдая на репетиции, как Таманьо в последней сцене пытается изобразить самоубийство Отелло и не может освободиться от ходульных приемов, Верди обратился к нему и сказал: «Синьор Таманьо, одолжите мне на минуту кинжал».

Взяв клинок в правую руку, он дал знак дирижеру, слабым голосом пропел последнюю фразу и коротким ударом поразил себя в грудь. Все выкрикнули беззвучно: «Ааа!..» — всем показалось, что клинок вышел у него под лопаткой. Никто не мог шевельнуться... Верди побелел, выдернул кинжал, сделал глубокий вздох и, протягивая руку к Дездемоне,

а другою захватив рану, стал подниматься по ступенькам алькова — не дотянувшись, стал оседать, оседать, рухнул, раскинув руки... и покатился с возвышения на авансцену!

Все кинулись, чтобы поднять прославленного маэстро, уверенные, что видели смерть.

Верди встал, отклонив помощь, и, возвращая кинжал Таманьо, сказал: «Я думаю, что вам будет удобнее умирать так».

Не удивительно, что он сумел научить его! Когда Таманьо в третьем акте оперы начинал комкать и разрывать занавеску, из-за которой наблюдал беседу Кассио с Дездемоной, публика инстинктивно приподнималась от ужаса! Все верили, что сейчас совершится убийство! И что такой Отелло может задушить, и не только Дездемону, но и сидящих в партере!

По всем правилам опытного рассказчика, Остужев делает паузу, чтобы я мог издать несколько восторженных восклицаний, потом продолжает:

— Когда Таманьо выступал на сцене Большого театра, московские студенты, которые всегда знали все лучше всех, никогда не приобретали билетов на галерею. Они слушали его задаром — с Петровки. У этого молодчуги был такой голосина, что ему приходилось перед спектаклем шнуровать на голом теле специальный корсет, чтобы не вздохнуть полной грудью. Как вы знаете, на улице никогда не слышно ни оркестра, ни хора... Но голос Таманьо проникал сквозь слуховые окна на чердаке. Если бы он не шнуровался, то, пожалуй, стены дали бы трещины, а какой-нибудь театр поменьше нашего Большого того и гляди загудел бы в тартарары!

Остужев умолк. Может быть, я больше ничего и не услышу сегодня: ведь это же не рассказ, а припоминания... Нет, вижу по взгляду, что он вернулся к началу.

— А про Сальвини я должен рассказать вам замечательную историю. Это было во Флоренции, где его страшно любили.

По городу расклеены афиши: «Томмазо Сальвини выступит в роли Отелло».

Билеты расхvatаны в тот же час: нельзя достать ни за какие в мире блага, потому что мальчишки-перекупщики сегодня сами будут смотреть Сальвини.

Театр переполнен за час до начала. В сущности, он мог бы уже не играть: в зале атмосфера триумфа.

Наконец пошел занавес. Никому не интересно, кто и что там болтает: все ждут появления Сальвини. И не успел мелькнуть в кулисе край плаща Отелло, как публика устроила ему бешеную овацию. Сверкая белками, весь черный, Сальвини стремительно вышел и остановился посреди сцены, положив руки на эфес сабли... Аплодисменты как срезало! И сразу: топот, крики, мяуканье! Пронзительный свист в дверные ключи! Все повскакало с мест! Все ревет!

Он понимает — случилось нечто ужасное!.. Ч т о???!!

Неторопливо обводит взглядом сцену... актеров... рукава своего камзола... А-а!

У него белые руки!.. Он забыл их нагримировать!..

Другой бежал бы со сцены!.. Из города!.. Из Италии!.. Но э т о т?..

Авторитет этого актера был так велик, что могучим жестом, исполненным какой-то сверхъестественной гипнотической власти, он сумел бросить публику на места, придавил, приковал ее к креслам! И в тишине, в которой можно было слышать дыхание, обратился к Сенату и начал свой монолог. Никогда еще он не играл так просто и вместе с тем

так возвышенно. Он рассказывал о том, как узнал Дездемону и впервые был одарен чистым счастьем... Он поправлял диадему на ее льняных волосах. Он склонял перед нею колени. Он пламенел к ней любовью. И при этом нарочно касался белой рукой черного бархата ее платья.

Кончился первый акт. Второй, как вы знаете, происходит на острове Кипр. Первые явления: Яго, Родриго, Монтано. Сейчас должен выйти Отелло.

Все, что сидело в зале, разинуло глаза и вытянуло шеи вперед, чтобы быть ближе к месту происшествия хотя бы на несколько сантиметров. Каждый боится пропустить его выход.

И едва Сальвини появился на сцене, как в зале раздались невообразимые вопли. Публика ринулась к рампе, и кто-то уже швырнул в прославленного актера огрызок яблока! У него опять белые руки!..

Тогда совершенно спокойно — под рев толпы — Сальвини — одну — за другой — снял — с рук — белые перчатки — и отдал — солдату!..

У него — черные руки!..

Оказывается, когда он в первом акте заметил, какой совершил промах, то, как только окончилась сцена, вышел за кулисы и тотчас послал в отель за парой белых перчаток. Тем временем намазал руки морилкой, подгримировал черным и, надев перчатки, вышел на сцену, сделав вид, будто он и тогда — в первом акте — тоже был в белых перчатках.

Буря аплодисментов вознаградила его находчивость. Театр буквально ревел от восторга, скандировал: «Бра-во!», «Саль-ви-ни!», «Ви-во!..»

Все поняли, что он ошибся и ловко вышел из положения. Все радостно простили ему эту ошибку. Но тем не менее каждый раз, приезжая во Флоренцию, Сальвини выходил в первом акте «Отелло» в белых перчатках. В других городах — с черными руками. А во Флоренции — только в белых перчатках. И мало-помалу все уверились, что и тогда было так! Что он и тогда вышел в белых перчатках. И ошибся тогда не он, Сальвини, а она, публика.

Вот это самое поразительное. дорогой, из того, что может случиться в театре! Вы понимаете, конечно, что убедить публику могут многие актеры — без этого не существовало бы сценическое искусство! Но переубедить публику — очень трудно. А чаще всего невозможно. Один раз поверив во что-нибудь, она уже не хочет верить в другое. Она не хочет знать многих Гамлетов и многих Отелло. Она хочет знать одного Отелло и одного Гамлета в исполнении разных актеров. Вот почему так трудно переменить даже внешность, а тем более характер героя, которого зритель уже знает и любит. Вот почему так трудно ломать театральные традиции и предлагать свое понимание знаменитой пьесы. Это под силу только очень большому мастеру. И я рассказал вам эту историю, дорогой, чтобы вы правильно меня поняли: Сальвини — гениальный актер! Он поражал своей властью над публикой и своей сценической техникой. Это тоже великое дело!..

## ДОКТОР СОЙНОВ

Как в любом деле мастер вернее всех может судить об искусстве другого мастера — будь то художник, агроном, сталевар, — так и подвиг лучше всех ценит тот, кто способен свершить его сам. Потому-то в нашей стране в таком почете геройство.

...В соседней с нами палате лежал Аркадий Фадеевич Сойнов, депутат Верховного Совета СССР, старый заслуженный врач, хирург одной из районных больниц Пензенской области.



За долгие годы работы — начинал он еще земским врачом — Аркадий Фадеевич сделал свыше тридцати тысяч хирургических операций. А теперь заболел сам и, совершенно ослепший (вследствие какого-то осложнения), был доставлен в Москву и помещен в Боткинскую больницу.

О том, как популярен и любим Сойнов в Пензенской области, можно судить уже по тому, что одной из пензенских районных больниц облисполком присвоил имя доктора Сойнова при его жизни.

Еще прежде, чем стать хирургом, Сойнов занимался филологией — изучал древние языки, — и с тех пор у него сохранился интерес к отысканию в словах греческих и латинских корней и к объяснению смысла имен.

— «Люблю» — по-гречески «филео», — говаривал Аркадий Фадеевич. — Отсюда имена: Филимон — любимый, Филарет — добролюб, Филофей — боголюб, Филипп — любитель коней, ибо «иппос» — конь; корень «фил» заключают в себе также слова: «библиофил» — книголюб, «филолог» — словолюб, «философ» — любитель мудрости, потому что «софия» — по-гречески «мудрость»... Каждое имя имеет значение на каком-нибудь языке: Марина — по-латыни «морская», Мавра и Мавр — по-гречески «темные». Поэтому темнокожих в средние века звали маврами. Меланья — «черная». Это же слово встречается в названии болезни «меланхолия», что по-гречески значит «черная желчь». А что «желчь» — «холе», это я могу подтвердить вам как врач...

Такие разговоры происходили у нас постоянно. Пока меня не перевели в палату к Остужеву, я лежал с Сойновым. И когда получил разрешение бродить, постоянно заходил к нему в гости — побеседовать, почитать ему газеты и книги.

— Я очень просил бы вас знакомить меня с советской литературой, — говорил Сойнов. — Мне бы хотелось использовать пребывание здесь, чтобы получить о ней более полное представление. Все больше я убеждаюсь, что нам есть что сказать миру и есть что оставить потомству, и не только в делах, но и в литературных творениях... Еще мне бы хотелось прочесть роман о старых большевиках. Я вышел из крестьянской среды, с юности разделял воззрения большевистской партии и стремился ей помогать. Но в ее ряды я вступил только недавно. Несмотря на мои годы, я, как принято говорить, молодой коммунист. И меня очень волнует, что деятельным членом партии я теперь уже быть не смогу...

Как умел, я старался его убедить, что с него могут брать пример многие коммунисты со стажем, что у него необыкновенная репутация, что он принадлежит к самым уважаемым людям в стране, что он правильно жил и живет и партия гордится такими.

— Но я же должен приносить пользу! — возражал он. — И сейчас все думаю: как это сделать? Коммунист — это не созерцатель, друг мой, но человек действия.

Он лежит поверх одеяла, в теплом халате, большой, благообразный, с темной, коротко остриженной головой, устремив в потолок думающее умное лицо и невидящий взгляд, и, волнуясь, теребит короткую сидящую щетинку усов.

Первое время, когда меня от него взяли, Сойнов оставался один. Потом на бывшей моей кровати поселился новый больной — седоволосый, с розовой лысиной и розовым лицом, еще не остывший от дел и полный городской торопливости. Сидя на постели, он деловито листает переплетенную диссертацию, делает на бумажке пометы, реплики подает, не отрываясь от рукописи. Еще не втянулся в больничную жизнь и пока еще к ней равнодушен. Я только что познакомился с ним в каби-

нете физиотерапии, хотя «познакомился» — слово не совсем в данном случае точное: он подошел, узнав, что я лежу с Остужевым, выспросил, в каком театре он служит и сколько лет, какое имеет звание, похмыкал и вышел, не попрощавшись, засунув руки в карманы пижамы.

Иду навестить Сойнова. Он, как всегда, интересуется самочувствием, процедурами, медицинские советы подает в деликатно-вопросительной форме:

— Вы бы не узнали у вашего лечащего врача, почему не применяют сейчас средство, эффективность которого не оспорена? Я знаю многие случаи... В тот раз он нашел возможным воспользоваться моей рекомендацией...

Он очень доволен соседом.

— Мне повезло! Игнатий Константинович очень интересно рассказывал мне вчера о гравиметрических съемках. Изменение силы тяжести позволяет, оказывается, посредством маятника обнаруживать под землей залежи железной руды, каменного угля, нефти и даже соли. По существу это раздел астрономии, поставленный на службу социалистическому хозяйству. До сего дня мне не приходилось слышать о чисто практических результатах подобных научных экспериментов... Много интересного узнал я еще об интрузиях. Это вулканические породы, которые рвались, но не смогли вырваться на поверхность и застыли в земной коре. Наши представления о рудных богатствах расширяются благодаря изучению интрузий. Между прочим, «интрузис» — слово латинское и значит «выталкивать». Я объяснил это вчера моему собеседнику. Его рассказы поразили меня. Хотя я утратил способность не только читать, но и видеть, я начинаю убеждаться, что и в моем положении многое можно узнать. И если мне не суждено восстановить зрение (как врач я лично решаю этот вопрос отрицательно), я охотно поделился бы подобными впечатлениями в нашем райцентре Белинском. Я хотел бы побеседовать с молодежью и рассказать ей о моих встречах в больнице. Здесь много интересных людей. Я рассчитываю, когда буду чувствовать себя несколько лучше, познакомиться с нашим соседом Остужевым. Было бы жаль пропустить такую возможность. Я слышал, что это знаменитый артист, но, к стыду своему, мне не пришлось видеть его игру.

— А мне Остужев ваш не понравился, — решительно объявляет Игнатий Константинович, сосед, откладывая рукопись и принимаясь приглаживать гребешком желтовато-седые зачесы. — Заносчив.

— Вот как! А в чем это выразилось? — встревоженно спрашивает Сойнов. — Вы, может быть, слишком поспешны?

— А я объясню. Он стар. И я не молод. Пошел мыться. Встретились. Я его на сцене не видел. Но знаю — народный СССР. Поздороваться с ним неловко — мы не знакомы. Но внимательный и воспитанный человек всегда угадает ваше желание познакомиться с ним. Тем более видит: я напруживаю шею, голову наклонил и стою... Поклонись! Нет! Вытарашил глаза и начал начищать зубы...

— Да что вы! — вмешиваюсь я. — Он просто не понял вас: это недоумение. Если б вы поклонились, он, конечно, ответил бы вам!

— Не буду я кланяться первый! Вместе, одновременно — пожалуйста. А мне гнуть перед ним голову нечего. Не хочешь — не надо!.. К аплодисментам привык!

— Он их, кстати, не слышит, — тороплюсь сообщить я. — Вы же знаете, что он глухой!

— Уши здесь ни при чем. А глаза у него в полном порядке — газеты без очков читает, поздороваться может!..

Тут я стал подробно рассказывать все, что мне было известно: о редкой скромности Остужева, о доброте, жизнелюбии этого необыкновенного человека, о тех невероятных усилиях, которых стоил ему его творческий труд и о которых не догадывался зритель.

Наконец я иссяк.

— Друг мой,— обратился Сойнов ко мне,— я просил бы вас сегодня ничего не рассказывать больше. Биография Остужева очень взволновала меня. Это поразительная судьба. Мне думается, что этот человек мог бы поспорить с великим Бетховеном. Бетховен из-за своей глухоты мог надеяться только на самого себя, на свои силы. Он прожил прекрасную жизнь, но очень трагическую, потому что впал в одиночество. А товарищ Остужев сумел найти свою судьбу в коллективе. Болезнь оказалась бесильной выбросить его из общественной жизни. И уже в старости он сумел доказать, что и глухой он не отстал от других и что советский театр может у него поучиться... Вот лежишь тут и по ночам малодушно раздумываешь, сожалея, что дожил до старости и теперь, потеряв зрение, не сможешь приносить пользы. Насколько же большая трагедия была для Остужева — молодого, и при этом актера,— потерять слух. Я прошу передать ему мой привет. Я очень уважаю его. И преклоняюсь перед его мужеством... А вам, дорогой сосед, я должен сказать,— Сойнов приподымается на локте,— вы прекрасный специалист и увлекательный собеседник. Но вы не разбираетесь в людях и позволяете себе дурно думать о них. Я прошу вас не возражать мне сейчас. Я взволнован и несколько слабо себя чувствую. Я сейчас не смогу вам ответить.

Я вернулся к себе.

— Где вы шля-э-тесь?..— Остужев читал, сидя в кресле, и теперь откладывает книгу.— Если вы будете без разрешения шнырять по палатам, я наябедничаю, и у вас отберут тапочки... Где вы были?

— В соседней палате — у Сойнова!

— Простите, если можно — чуть громче...

— Доктор Сойнов,— выкрикиваю я, — просил — передать — вам — привет! Он — сказал, что — глубоко—уважает—вас! И—восхищен—вами! Просил—кланяться—вам...

— А-а, спасибо!.. Но зачем все-таки играть в домино?.. Ужасающее занятие! И название дикое: «пошел забивать козла». Тут же не городские бойни!.. Муки ада я испытываю, когда вижу, что квартет ходящих рассаживается вокруг стола: растопырят пятерни и пошли лупить костяшками по доске за здоровье болящей братии... За это время можно было бы прочесть целую библиотеку! А кто же мне кланялся?

— Сойнов кланялся! Сойнов!..

— А-а! Я не понял! Сосед?..— Остужев прикрывает глаза ладонями.— Темная ночь?.. Что врачи думают?

Он говорит не спеша и негромко. Но мой-то крик слышит все отделение. Поэтому лучше соврать.

— Пошло на поправку!..

Остужев вопросительно вскидывает брови.

— Видит?.. О-о!.. Это счастье!.. Грустно было думать, что человек, который всю жизнь делал тончайшие операции, не может теперь прочесть строчку в газете. И что ему самому медицина бессильна помочь. Невесело лишиться слуха, но потеря зрения, по-моему, еще хуже! Глаза важнее!.. Когда имеешь возможность наблюдать такого человека, как этот доктор,— говорит он, поразмыслив и помолчав,— хандра улетучивается к черту!.. Прекрасно держится! Поглядите, как посторонние люди наперебой стремятся проявить внимание к нему. Персонал бегаёт в его палату, по-моему, без особенной надобности. Он не так часто нуждается

в них. Они в нем нуждаются больше. Похвала и внимание этого человека сбодряют и возвышают людей. Кроме того, мне говорили, он замечательный доктор. Я хотел бы с ним познакомиться. Но в его палату поместили субъекта, который вчера в умывальной комнате буквально сбнюхивал меня, очень странно держался: тарашил глаза, предлагал моему вниманию лысину, странно кашлял... Сумасшедшего привезли в терапевтическую больницу!.. Я абсолютным молчанием игнорировал эти непостижимые ужимки и выходки. И покинул ванную комнату, сделав вид, что я не вижу его. Но теперь, как только он встречает меня в коридоре,— немедленно показывает мне свой профиль, демонстративно отворачивает от меня свой «медальон»! Словно я оскорбил его и теперь он не желает знаться со мной! Между тем я не знаком с ним! Клянусь вам, я не сказал тогда ни одного слова!.. Я не могу пойти в палату, где поселился этот неуравновешенный тип! Поэтому мне придется передать товарищу Сойнову несколько слов через вас... Куда же вы укладываетесь? Раз уж целый день бегали, наденьте, пожалуйста, тапки и зайдите в соседнюю комнату — это отнимет у вас четверть часа...

Он делается задумчивым.

— Трудная тема — человеческое достоинство. Тут нужно быть очень кратким и сдержанным. Дайте понять доктору Сойнову, что такие, как он, украшают жизнь и вызывают огромное уважение. Поклонитесь ему до земли!..



---

РАСУЛ РЗА

★

## РАЗНЫЕ ГЛАЗА

*Посвящается некоторым зарубежным гостям.*

Мы стоим и глядим на Баку,  
Я и ты.  
Ты увидел у нас переулки кривые  
Да лачуги, сожженные до черноты.  
Я — людей,  
Их живые под солнцем черты,  
Их глаза, что светились улыбкой впервые.  
Ты увидел песчаник  
Да где-то во рву  
Воробьев отошавших,  
К отбросам привыкших.  
Я увидел  
Чинар молодую листву  
И весну, для которой тружусь и живу.  
Я увидел наш труд  
На прославленных вышках.  
Ты увидел,  
Что пятна мазута грязны.  
Что поделаешь!  
Тут же над Каспием стоя,  
Я увидел шаланды на гребне волны.  
Я увидел весь город с моей крутизны —  
Звездный блеск,  
Ожерелье огней золотое.  
Ты увидел,  
Что сер минарет, будто ствол,  
Оголенный грозой и осеннею стужей.  
А потом муэдзин свою песню завел,  
Клянчил ниший подачки.  
Ты заснял его тут же.  
Я увидел дома и постройки в лесах  
И раскрытые настежь окна и двери.  
Там живет молодежь,  
И в ее голосах  
Я услышал ту песню, в которую верю.  
Ты увидел ошибки и мелочи все,  
Ты влезал в эти щели уныло и праздно.  
Я увидел широкие ленты шоссе  
И плантации маков.

Смотрели мы разное!  
Что поделаешь, гость!  
Мы решительно за  
Твой приезд:  
Не боимся ни сглаза, ни порчи.  
Только знаешь?  
Возьми-ка ты наши глаза:  
Они чище и зорче!

*Перевел с азербайджанского П. Антокольский.*



---

НАБИ БАБАЕВ

★

## ГОВОРЯТ, ЧТО...

Говорят, что  
разъезжаю слишком много.  
— Слишком мало! —  
я в ответ им говорю.  
Сотни,  
тысячи дорог —  
моя дорога!  
А иначе  
я на жизнь  
и не смотрю.

Я схожу на итальянский шумный берег,  
подхожу в тайге уральской к шалашу.  
Даль развернута,  
как лист бумаги белой.  
Что хочу —  
на дальней дали  
напишу!

Шел у Волги  
и Куры,  
у Камы шел,  
был в садах,  
в тайге  
и пенистых песках,  
находил стихотворения,  
как камушки,  
в среднерусских  
и грузинских ручейках.

О дороги  
моей Родины великой!  
Все края,  
как край мой собственный,  
люблю  
и веселую  
бакинскую улыбку  
на губах у свердловчанина  
ловлю...

Говорят,  
что разъезжаю слишком много.  
— Слишком мало! —  
я в ответ им говорю,  
Сотни,  
тысячи дорог —  
моя дорога!  
А иначе  
я на жизнь  
и не смотрю!

*Перевел с азербайджанского Е. Евтушенко.*





---

---

АЛЕКСИС ПАРНИС

★

## РУССКИЙ ЯЗЫК

Он был огромен, как земля России,  
Но мы его совсем не понимали,  
И все слова нам были незнакомы,  
За исключением одного: «Товарищ!»  
«Товарищ» — это слово-проводник.  
Сквозь дебри слов оно ведет нас к людям.  
«Товарищ!» — говорю я русским братьям  
И тычу пальцем в золотой оазис,  
Сверкающий средь голубой пустыни.  
И русский отвечает: «Это — солнце».  
«Товарищ!» — я кричу  
и тычу пальцем.  
А люди называют: «Хлеб! Вода!»  
А вот весна на каблучках высоких.  
«Товарищ?» —  
«Девушка!» —  
мне говорят.  
Так постепенно формируем роту  
из слов.

Она шагает рядом с нами.  
«Товарищ» — это слово-командир.  
Он постоянно пополняет роту,  
Записывая новые слова.  
Идем, идем,  
шагаем по России  
И приступом берем ее слова.  
Таких завоевателей народы  
Встречают безо всякой злобы.  
По временам бывает очень трудно:  
Слова сбегают, словно дезертиры.  
Сейчас я расскажу вам,  
как бывает.  
Фракийца Драло́са свезли в больницу.  
Сестра взяла историю болезни  
И начала записывать. Она  
Спросила, как обычно, партизана:  
— Фамилия? —  
Лицо фракийца  
Становится безмерно грустным.  
«Фамилия» по-гречески «семья»,  
А у фракийца нет семьи.

Мать умерла от голода.

Отец?

Отца убили палачи. А братья  
Все пали там, на Грамосе, и Дралос  
Печально отвечает: «Нет фамилии!»

• • • • •

А иногда случается и так:  
После полочки к Псаришу подходит  
Его товарищ Николай:

— Пойдем!

— Куда?

— Сто грамм!

— Стограмм? —

И партизан от смеха  
Садится наземь.— Это далеко,  
За многими горами и морями.  
— Да что ты говоришь!

Сто грамм —

Здесь на углу. —

И оба долго спорят,  
Покуда выясняют, что «стограмм»  
У греков означает гору Грамос,  
Ту гору, где сражались партизаны.

Идем вперед!

Сначала наш словарь,  
Как утлый челн,  
С трудом переплывает  
Речонки обыденных разговоров.  
Потом он,

словно парусная яхта,

Пересекает озеро газеты.

Потом он пароход.

Но небольшой.

Рассказ прочтешь,

а больше — и не думай.

Потом он океанский пароход,  
Он море Пушкина переплывает  
И в море Маяковского плывет!  
О русский, необъятный и бескрайний  
Язык!

Поклон от моряков

Гомеровского океана!

Сибирскою тайгою закалённый,  
Пустынными ветрами опалённый,  
Гремучими дождями окроплённый,  
Прими поклон ты, океан-язык!

Твое «люблю» как шум листвы весной,  
Оно такое милое, родное,

Но в этом слове

также отзвук тайны,

И звук его таинственен и странен,  
Как разговор звезды с другой звездой.  
Твое решительное «ненавижу!»



---

---

СТЕФАН ГЕЙМ

★

## БЛИЗ ВОКЗАЛА ФРИДРИХШТРАССЕ

*Рассказ*

**И**онас вошел в клуб. Немного сутулый, лысоватый, с сединой на висках, с длинным носом и срезанным подбородком, он, казалось, что-то вынюхивал, а не искал материал для репортажа или статьи. Ионас никогда не одевался особенно тщательно, но сегодняшний костюм был даже для него необычным — синяя клетчатая рубаша, мятые брюки неопределенного цвета и потрепанная, выдававшая виды кожаная куртка.

Он заметил меня. Я ему кивнул — не слишком обрадованно, потому что у меня не было охоты слушать его: Ионасу вечно что-то не нравилось, вечно он что-то критиковал. И — что самое скверное — он почти всегда оказывался прав и этим нарушал мой душевный покой.

Ионас повел носом. Видимо, он колебался — подсесть ли за столик к нам с Джекки или поужинать в одиночестве. Джекки тихонько простонала и, отпив из своего стакана глоток пива — импортного, настоящего чешского, — шепнула:

— Разве ты не мог его не заметить?

— К сожалению, не мог, — прошептал я.

— Нет, мог! — сказала она. — Ты обещал мне, что этот вечер будет целиком наш. Что будем мы вдвоем, и больше никого.

Но тотчас же ее голос зазвучал приветливо и звонко:

— Ну, конечно! — ответила она на вопрос Ионаса: «Надеюсь, вы ничего не имеете против?.. Сто лет не видались... Как делишки?»

— Помаленьку, — сказал и я. — А у тебя? Присаживайся.

Он сел. Вытянул ноги, распахнул куртку, сдвинул пониже пояс.

— Одет я не очень-то парадно, — сказал он, обращаясь больше к Джекки, чем ко мне, но в голосе его не слышалось ничего похожего на извинение. — Я ведь был арестован.

— Запад? — спросил я. — Или Восток?

— Конечно, Восток, — сказал Ионас. — Выдумаете же!

У Джекки вытянулось лицо. Джекки всегда твердит мне, что надо быть осторожнее и нечего встречаться с кем попало; доброе имя так же легко потерять в социалистической стране, как и в любом ином месте.

— За что же тебя арестовали? — осведомился я.

— Контрабанда, — сказал он и заказал Адаму, суетливому, вечно топящемуся официанту клуба, бутылку импортного чешского пива и азу по-татарски.

Зеленоватые, цвета морской воды, глаза Джекки отразили сперва облегчение, потом пренебрежение: она считала романтичными только крупные преступления.

— А почему тебя отпустили? — спросила она. — И что именно ты собрался провезти?

— Яйца, — сказал Ионас. — Два десятка прелестных, свежих и крупных яиц. Два фунта масла. Полтора кило копченого окорока.

Джекки поперхнулась — пиво попало ей не в то горло.

— Ну и как, стоило этим заниматься? — спросил я.

— А видел ты когда-нибудь, чтобы Ионас занимался чем-нибудь, чего делать, с его точки зрения, не стоило? — ответила Джекки и подставила мне спину, чтобы я по ней похлопал.

Джекки была не так уж неправа. В статьях Ионаса всегда бывало нечто интересное, и он объяснял редакторам: «При коммунизме я буду писать даром, при социализме я рассчитываю получить плату».

— Социалистическое яйцо, — начал добросовестно растолковывать Ионас, — стоит сорок четыре социалистических пфеннига. Но, если его перевезти всего на одну остановку западнее вокзала Фридрихштрассе — в капитализм, то же самое яйцо, снесенное той же самой курицей, внезапно меняет характер. Оно превращается в западное, так сказать, капиталистическое яйцо, и цена ему теперь двадцать два пфеннига — притом западных. Однако по курсу черной биржи одна западная, то есть капиталистическая, марка равна в данный момент четырем восточным, социалистическим маркам; следовательно, в любом западноберлинском банке или разменном пункте можно получить восемьдесят восемь восточных пфеннигов взамен двадцати двух западных, вырученных при продаже яйца, которое в свое время было куплено за сорок четыре восточных. Так операция, требующая дополнительно лишь расхода на трамвай или метро, позволяет удвоить вложенный в нее капитал. Такой же фокус можно проделать и с маслом, мясом, фруктами, овощами. А тот, кто живет неподалеку от границы между секторами, может даже экономить проездные и прогуляться пешком.

— У этой операции длинная седая борода... — сказала Джекки. — Ты только теперь до нее додумался?

— Я только сейчас додумался, какие литературные возможности заключены в ней! — возразил Ионас.

Ни яйца, ни масло, ни ветчина ему не принадлежали. Он получил их утром, после того как они были конфискованы и стали собственностью государства, которое любезно одолжило их Ионасу как бутафорию для его маскарада. Его же собственностью был лишь объемистый кожаный саквояж, в который он уложил эти продукты, — достаточно засаленный и потертый, чтобы участвовать в рейсах из одной экономической системы в другую.

Ионас бережно нес свою драгоценную ношу, куда его вели с вокзала Фридрихштрассе в ветхий таможенный барак, приютившийся в конце перрона. Снаружи, за открытым окном, грохотал трамвай, красно-желтые вагоны, набирая скорость, пронеслись на запад. Потом шум затих, барак перестал вздрагивать, и тогда начальник таможенного пункта, маленький человечек в очках и в нескладно сидящем на нем темно-сером мундире, сказал Ионасу с угрозой:

— Итак, что вы собирались сделать с этим маслом, ветчиной и яйцами? Не хотите сказать этого нам — пожалуйста! В Главном таможенном управлении вам сумеют развязать язык...

— Я не спекулянт! — запротестовал Ионас. — Я ведь вам говорю, это подарок моей кухне, больше ничего, и если...

— Садитесь! — сказал таможенник, на которого эти слова не произвели ни малейшего впечатления.

У всех у них были в Западном Берлине кухни, которым они везли подарки! Никогда еще за всю долгую историю Берлина жители его «голодающего» восточного сектора не дарили столько продовольствия столько своим родственникам, живущим в западной части города.

Ионас сел. Он поставил саквояж на пол так, чтобы даме, сидящей справа, было удобно заглянуть внутрь и увидеть верхний ряд яиц. Дама искоса бросила на него презрительный взгляд — сказка о западной кухне даже ей показалась слишком уж неуклюжей, шитой белыми нитками. Перед ней стоял чемодан средних размеров, и Ионас уже знал, что он доверху наполнен теми рыженькими грибами, которые во Франции называют «chanterelles», проще говоря — лисичками: незадолго перед тем молодой, очень деловитый с виду таможенник раскрыл в задней комнатке барака этот чемодан и показал Ионасу его содержимое: товар свежий и крепкий, сплошь первый сорт! С коротким смешком таможенник сообщил, что эта дама месяца два назад уже была задержана в том же поезде с еще большим чемоданом, битком набитым спаржей, — а сколько раз и с какими еще продуктами ей удалось за это время проскользнуть незамеченной? Теперь она сидит тихо и скромно, со своими близко посаженными глазками и маленьким глупым ртом, и выглядит так, словно не умеет считать до десяти.

Начальник таможенного пункта распорядился отправить задержанных в управление.

— Каждый из вас лично отвечает за свою поклажу, ничто не должно пропасть или быть уничтоженным. Любая подобная попытка только утяжелит вашу вину... Господин Браун!

Никакого ответа.

Ионас уставился в поблескивающие очки начальника. Ах да, Браун — ведь это он!

— Господин Браун, — продолжал начальник таможенного пункта, — может быть, вы припомнили наконец, где ваш паспорт?

— Я уже говорил вам — я его забыл.

Женщина с перевязанной рукой, сидевшая слева от Ионаса, повернулась к нему спиной. Человек с таким количеством свежих продуктов и без паспорта — дурная компания...

Ионас подумал, что наступил момент, когда следует представиться товарищам по несчастью и раз навсегда доказать свою подлинность.

— Послушайте-ка, господин чиновник! — окликнул он начальника пункта.

Тот обернулся.

— Но свои бутерброды я все-таки имею право съесть? — Ионас по-рывисто вынул из сумки три заботливо упакованных бутерброда. — Или вы тоже хотите их сначала проверить?

— Именно это я и хочу сделать, — принял вызов начальник пункта.

Ионас с нарочитой медлительностью развернул свои бутерброды один за другим и поднял вверх три ломтя хлеба, как немой укор, — вот, мол, я самый что ни на есть честнейший человек, убедительно доказывающий, что ни в чем не повинен.

— Кровяная колбаса! — воскликнул он. — Это не бумажки по полсотни марок, а кровяная колбаса! А это вот ливерная. Ливерная колбаса на хлебе, намазанном маслом, тем самым маслом, которое я хотел отвезти кухне... Ни бриллиантов, ни золота, ни мейсенского фарфора! А тут — убедитесь, пожалуйста, сами — ломтик вареного окорока.

— Приятного аппетита! — сказал молодой таможенник с деловитым выражением лица. В это время он уже наблюдал за тем, как костлявая особа в шляпке с пером распаковывает свою хозяйственную сумку.

— Приятного аппетита!—с подчеркнутой горечью повторил Ионас.— Очень вас это интересует, какой у меня аппетит...

— Ваша сумка — с двойным дном,— обратился молодой таможенник к женщине в шляпке с пером.— Опорожните, пожалуйста, и второе отделение.

— Если вам, господин Браун, не нравятся наши действия,— сказал начальник таможенного пункта,— вам, как и любому гражданину нашей республики, предоставлено право обжаловать их в Главное управление.

— Я это сделаю! — ответил Ионас.— Сделаю, можете не сомневаться!..

— Тройка. Ну, на три с плюсом,— прокомментировала Джекки.— И что же, этот таможенный начальник был прямо-таки сражен на месте?

Официант Адам принес заказ, и Ионас перемешал кусочки мяса с яйцом, ломтиками лука, красным и черным перцем и солью в одну сплошную массу.

— Начальник? — отозвался Ионас.— Он превосходно провел свою роль до самого конца. Да и молодой, тот, что с серьезным выражением лица, тоже не показал и виду. В конце концов я ведь был не первым и не последним неприятным типом, с которым они должны были иметь дело. На мужчину, который, растоптав на полу барака полторы сотни яиц, валялся потом в клейкой массе, дрыгая ногами и рыча, они глядели с молчаливым участием. Начальник таможенного пункта был старый рабочий. Несколько лет назад его вызвали с предприятия, где он работал у станка, и сказали ему: «Это твое государство, твоя рабочая власть, помоги же их защищать» — и указали ему его участок фронта: здесь. Мне он сказал терпеливо, почти грустно: «Господин Браун, не общите ли вы нам по крайней мере свое имя, чтобы мы могли заполнить листок опроса?»

— И ты, конечно, гордо отказался! — сказала Джекки.

Ионас взглянул на нее. Его длинный нос, казалось, пытался различать, какие чувства испытывает к нему Джекки на самом деле.

— Было бы слишком бессмысленно запираяться,— сказал наконец Ионас.— Я подумал, что рядовой обыватель, желающий провезти товар из сектора в сектор, приберег бы свои басни для центрального управления. И тогда я заявил, что меня зовут Герберт. Герберт Браун.

— Герберт Браун! — повторила Джекки.— Гер-берт!..— Это имя таяло у нее на языке, точно конфета. Никогда не замечал я прежде, чтобы она к моему имени отнеслась столь нежно.— Герберт!..— снова повторила она.— Ну и что было дальше?

— Нас вывели из барака и повели по перрону. Каждый сам нес к следователю вещественные доказательства своего преступления. Нас было шестеро, я — единственный мужчина, не считая таможенников, из которых один открывал, а другой замыкал шествие. Сперва мне нестерпимо хотелось пригнуться, я боялся, что кто-нибудь меня узнает и окликнет: «Эй, Ионас, как это ты угодил сюда?» или «Наконец-то ты все-таки попался, а?» Но никто не обращал на нас внимания, это было, видимо, вполне заурядное явление на перроне вокзала Фридрихштрассе...

— Пять женщин!..— сказала Джекки.— Ты, должно быть, чувствовал себя пашой...

— Я завоевал в некоторой степени их доверие,— ответил Ионас, старательно пережевывая еду.— Как истый джентльмен, я помог им подняться в кузов грузовика и подождал, пока они разместятся друг против дружки на обитых кожей скамьях. Лишь тогда я сел тоже — меж-

ду дамой с лисичками и дамой с забинтованной рукой, которая везла в большой сумке, с какой ходят на рынок, сочную свиную лопатку, полдюжины котлет и шницелей да пару курочек. Ее заботила судьба двух оставленных дома щенков-спаньелей — как бы они не изгрызли ковер; и вообще, куда же нас везут?.. Против меня сидела костлявая дама в шляпке с пером. Она заботливо поддерживала под руку и нежно называла «мамой» странное существо с морщинистым лицом, своими глазами и острым крючковатым носом напоминавшее чучело попугая. Дальше, за мамой, чопорно и отчужденно восседала в строгой блузке с кружевным воротничком вдова какого-то старорежимного офицера или чиновника — это сразу было по ней видно.

Ионас отпил глоток пива и продолжал:

— Конечно, я-то знал, куда нас везут. Знала это, хотя бы по своему опыту со спаржей, и молчаливая дама с лисичками. Остальные были новички и пытались сквозь щели в брезенте разглядеть, где они едут. «Ах, Унтер ден Линден!» — сказала дама в шляпке, когда грузовик, грохоча и подпрыгивая, повернул к широкому бульвару, а Бранденбургские ворота — этот символ былых побед Пруссии и нынешней секторальной границы — исчезли из поля зрения. Казалось, Бранденбургские ворота заставили даму в шляпке с пером что-то вспомнить. «Я свободная гражданка Западного Берлина, — буркнула она вдруг, обращаясь к молодому таможеннику, который сидел тут же, уставившись с серьезным видом в угол кузова. — Вы не имеете права меня задерживать...» Но таможенник никак не реагировал и на это... Дама с забинтованной рукой объявила всем, кто хотел ее слушать, что у нее в сумке было так много мяса оттого, что она всегда покупает про запас; а на этот раз она управилась с покупками быстрее, чем ожидала, потому и решила навестить свою старую приятельницу в Западном Берлине.. Ей и в голову не приходило, что можно все эти покупки или хотя бы часть продать на Западе и на этом заработать, не то она ни за что не села бы в этот поезд и, конечно, осталась бы себе в Восточном Берлине, ведь у нее тут два щенка-спаньеля, и к тому же воспаление локтевого сустава. «А что вы думаете, господин Браун, может со мной случиться?..»

Ионас сгорбился в кресле и глянул поверх своей тарелки куда-то вниз, словно он и сейчас еще сидел с большим саквояжем, наполненным яйцами, маслом и ветчиной, на коленях и прислушивался к словам дамы с забинтованной рукой.

— Я сказал ей, — Ионас снова поднял глаза, — что поскольку мы оба, очевидно, ни в чем не повинны, то с нами вообще ничего не может случиться. В ответ она поглядела сперва на мой багаж, потом на меня самого, потом на молодого таможенника и, наконец, подмигнула мне одним глазом. Общность интересов рождает взаимные связи.

Он замолчал, чтобы сокровенный смысл высказанного им обобщения мог произвести достаточно сильное впечатление на меня и на Джекки.

Я знал излюбленный Ионасом иронический тон, и мне стало не по себе: случалось ведь, что этот тон ускользал иногда от бдительности его редактора и проникал в газетные столбцы. Но сейчас этот тон, по-видимому, имел успех у Джекки.

Она с яростью посмотрела ему прямо в лицо и сказала:

— Вы просто отвратительны.

— Жакелина! — с упреком произнес я.

— Он фиглярничает! — сказала она. — И при этом воображает себя самым что ни на есть разумным человеком между Одером и Эльбой, а на самом деле...



— Что же на самом деле, позвольте узнать? — спросил Ионас, и глаза его смеялись.

— Ах,— она отвернулась,— мне все это так отвратительно!

— У жизни две стороны,— сказал Ионас,— в ней есть героическое и отвратительное, положительное и отрицательное. Одно не может существовать без другого...— Он бросил взгляд на ее скрещенные ноги, удивительно красивые, покрытые загаром удивительно красивого цвета. Потом глаза его остановились на ее туфлях.— А это? — сказал он.— Разве это не куплено тоже на Западе?

Таможенное управление помещалось в длинном старом здании, которое отличалось от других учреждений неизвестно зачем пристроенным готическим подъездом. Из окон приемной открывался вид на развалины, едва ли не самые выразительные в центре города. «Странно обстоит дело с этими развалинами,— думал Ионас.— Время, заставляющее свежую зелень расти из всех щелей и пазов, смягчает грубость не только остроконечных очертаний; оно как будто приглушает также исходящее от развалин предостережение; а может быть, просто люди привыкли...»

Стены приемной были бы совсем голыми, если бы не три-четыре портрета видных общественных деятелей. Какой-то любитель порядка расставил стулья вдоль стен так, чтобы обитые материей чередовались с необитыми. Строго в центре комнаты стоял стол, на нем графин с мутной водой и четыре стакана. Ионас вошел вместе со своими товарищами во грехе — «задержанными», как назвал их молодой таможенник, ибо они ведь не были ни арестованными, ни обвиняемыми, их просто задержали для более подробного допроса. Бог весть, кем они считали себя сами — Ионас попытался разгадать это по выражению лиц; с того момента, как они услышали в вагоне роковые слова: «Прошу следовать за мной!» — они впервые очутились вне надзора. Пройдет еще минутка-другая, и исчезнет маска оскорбленной невинности, служившая одновременно самозащитой, успокоением совести, свидетельством добропорядочности и политической благонадежности. В итоге выходило, что никогда еще Ионас не был окружен таким скоплением убежденнейших друзей республики. Даже костлявая дама в шляпке с пером, несмотря на то, что жила в Западном Берлине, объявила, что и в социализме есть немало хорошего. Однако она не сумела настолько овладеть привычными рефлексами, чтобы назвать социалистическую часть Германии «республикой», — она говорила «зона», ее бедная старенькая мама жила в «зоне» и приехала к дочери в гости, вот они и отправились вместе на Восток сделать кое-какие закупки по маминому паспорту.

— В конце концов,— посочувствовал ей Ионас,— на Западе тоже не так уж роскошно... Так ведь?

Мама утвердительно кивнула. Ионас, указывая взглядом на свой саквояж, еще раз объяснил, что он просто не хотел остаться в долгу перед кузиной, которая живет в Западном Берлине; даму в шляпке с пером он информировал о том, что его кузина — вдова в самых цветущих летах и весьма ценит максимальную точность, особенно в сфере личных взаимоотношений.

— Как вы думаете, оставят нам хотя бы цветочки? — осведомилась мама.

Ионас недоуменно уставился на нее.

Дама в шляпке с пером открыла свою сумку и дала ему на миг заглянуть внутрь — на горшочек с мелкими синими цветочками.

— Восточные? — спросил Ионас.

— Восточные,— подтвердила мама, закрыв свои глаза попугая~и скромно поджав губы.— Для нашего папы.

— А папа покоится на Западе?

— На кладбище Геерштрассе,— подтвердила дама в шляпке.— Это всего лишь кладбищенские цветочки.

Ионас быстро прикинул: вместе с горшком цветы стоили примерно две марки. Купленные же на Востоке, обошлись — по курсу один к четырем — всего лишь в пятьдесят западных пфеннигов.

— Вы, по-видимому, очень любили папу,— с чувством произнес он,— если ради него решаетесь на такие хлопоты.

Дама в шляпке с пером смерила его подозрительным взглядом, потом щелкнула замком своей сумки. У нее едва не вырвалось: «Мертвым все равно, те марки или эти...» Но таким ясным, таким отчетливым было выражение соболезнования на лице Ионаса, что скорбь взяла в ней верх над желанием возразить. А Ионасу молчание дамы в шляпке дало повод поглубже вдуматься в порядок, требующий предъявления паспорта в магазинах Восточного Берлина; оказывается, можно по-разному заботиться о западноберлинцах: одни делают ради барыша, других на это толкает материнская любовь. Он повернулся теперь к другой соседке — надменной даме в блузке с кружевным воротничком. Она, несомненно, принадлежала к высшим классам общества и презрительно глядела на то, какие он прилагает усилия, чтобы держаться возможно ближе к драгоценному саквоюжу. Ее мина помогла Ионасу понять, что его заботы о продуктах были психологической ошибкой,— опасность исходила от властей, а не от людей, сидевших рядом с ним в приемной. Все это были богобязненные люди, и, если бы даже Ионас выронил из кармана бумажку в две марки, никто из них не наступил бы на нее ногой, безучастно уставившись вдаль, покуда не удастся улучшить мгновение и незаметно ее поднять. Наоборот, они наверняка спросили бы громко и отчетливо: «Вы, кажется, что-то обронили?» Это были, что называется, люди порядочные — они лишь извлекали выгоду из единственной в истории человечества ситуации, которая длилась вот уже десять лет: в громадном городе — одном! — два правительства, две валюты, две экономические системы и почти что не поддающаяся контролю граница. Упустить эти преподнесенные мировой историей коммерческие возможности население могло бы разве только в том случае, если бы оно состояло из одних схимников или из законченных социалистов.

Ионас пренебрежительно оттолкнул свой саквоюж в сторону и, повернувшись к даме, воскликнул:

— Ну и разочарована же будет моя кузина!

— Потому что у вас конфискуют продукты? — иронически спросила дама.

— Продукты! Будто уж в жизни нет ничего более ценного!

Он заметил, что у дамы с кружевным воротничком не было ни чемодана, ни рыночной сумки, ни вообще какой бы то ни было ноши, только маленькая, скромная — под стать всей ее внешности — сумочка в руках.

— Должно быть, и вас где-то ждут с нетерпением? — осторожно осведомился Ионас.

Она бросила на него быстрый взгляд. Видимо, Ионас коснулся чувствительного места, и хотя на юного героя он, конечно, не был похож ни в коей степени, все же — мужчина.

— Нет,— чуть помедлив, ответила она.— Никто меня не ждет.

— Вот это уж никуда не годится! — сказал он.— Женщина с такой внешностью... Вы потеряли мужа?

— В России...

— Кузина, с которой я условился, тоже вдова,— сказал он, заглядывая ей в глаза.— Характер у нее не из легких. Она вообразит, что я был у другой. Никогда в жизни она не поверит, что я так дурачки влип. А вы, за что взяли вас?

— Как вы думаете, долго нас здесь продержат? — уклончиво ответила она.

— Это зависит от...

— От чего зависит?

— От обстоятельств, связанных с делом. У дамы напротив — у той, что с повязкой на руке,— только мясо. Это случай простой. Я — тоже несложный случай...— Ионас вынул из сумки яйцо и поднес к самому носу дамы, которую никто не ждал.— Видите? Прекрасное куриное яйцо. Сегодня утром оно было снесено курицей, а сейчас вот находится в Главном управлении по таможенному контролю демократического сектора Берлина, как это официально именуется. Проще простого, не так ли? Но я забыл свой паспорт, и эти тут могут вообразить, что зацапали невесть кого. Тогда не скоро разделасься...

— У меня они нашли деньги,— внезапно прошептала она.— Надолго это может затянуться?

— Вы ехали на Запад?

— Да.

— Сколько денег?

— Пятьсот. Восточных.

— Немного денег каждый может иметь при себе...

— А пятьсот марок?

Ионас пожал плечами.

— Но дело в том, что деньги эти они нашли у меня в коробочке с пластырем,— сказала она.

На какой-то миг ее лицо отразило нечто похожее на гордость своей изобретательностью, но тотчас же тонкая сетка морщин вновь застыла в выражении надменного превосходства. Она все заранее обдумала.

— «Я сделала глупость»,— так я им и сказала,— продолжала она.— «Но ведь я не знала,— сказала я им,— имею ли я право держать при себе деньги. Кто может разобраться,— сказала я им,— во всех этих предписаниях, законах? А я не хотела рисковать...»

— И они вам поверили?

— Меня только спросили, почему купюры лежат по порядку номеров.

Ионас сочувственно цокнул языком.

— Вот уж действительно не повезло! Теперь они подумают, что вы специально взяли деньги из банка, чтобы переправить их на Запад.

Она открыла сумочку.

— Я думала, это достаточно надежно...

Ионас узнал упаковку — коробку оранжевого цвета с восточногерманской фабричной маркой. Между листами клейкого пластыря, аккуратно переложенными марлевыми салфеточками, трепетали, как большие темно-красные бабочки, новенькие пятидесятимарковые бумажки.

— Госпожа фон Левентьен!

Человек в форме просунул голову в дверь.

— Пройдите, пожалуйста!

Дама в блузке с кружевным воротничком торопливо спрятала в сумочку свою коробку с деньгами. Она побледнела, но на лице ее отразилось нечто большее, чем страх,— ненависть.

Джекки молча оставилась в скатерть. Она принадлежала к людям, которые охотнее наслаждаются жизнью, нежели размышляют о ней.

«Для размышлений у меня еще будет когда-нибудь время — когда ты перестанешь смотреть на меня такими влюбленными глазами», — сказала она мне как-то. Ионас заставил Джекки задуматься больше, чем когда-либо удавалось мне или утренней газете. И я с огорчением представил себе, как тонкая паутина морщинок, след первых раздумий, ляжет на ее гладкий красивый лоб.

Ионас тоже заметил, какое впечатление произвела на Джекки его история и, главное, манера, в которой он ее рассказывал. Он заставил себя рассмеяться, как будто смех мог защитить от холода ростки новой жизни, с таким трудом взращиваемые в этой части страны мужественными людьми.

Помолчав минуту, Ионас сказал:

— Быть может, мне лучше было оставить свою историю при себе? Вы ведь пришли в клуб повеселиться, а я со своими «задержанными» испортил вам настроение.

— Все нет, — возразила Джекки. — Это все пустяки... А мне всегда хотелось узнать, как это все происходит, когда кого-нибудь берут...

— Только это тебя интересует? — спросил Ионас. В его голосе звучало разочарование.

Я рассмеялся про себя. Как это было похоже на Джекки! Нет, опасаться нечего — ее лоб еще долгие годы не тронут морщины. Она великолепно владела собой, мастерски умела скрывать свои чувства — даже Ионас не заметил обмана.

— Что же вам еще рассказать? — проговорил Ионас с неожиданной усталостью. — Это было и смешное, и жалкое, и вместе с тем страшное зрелище. Там были люди, которые сделали то, что трудно назвать даже проступком, — их задержали при попытке провезти с Востока на Запад цыпленка или немного копченой колбасы. И тем не менее все это, в общем, было частью одного из худших преступлений, какое только можно себе вообразить. Ведь они вырывали куски изо рта детей — наших детей. Они продавались за чечевичную похлебку. Они тоже пытались убить в зародыше то, что только еще пробивается к жизни...

Трудно было сказать, что нашло на Ионаса, — то ли в нем вдруг пробудилось желание поморализировать, то ли он хотел своей тирадой произвести впечатление на Джекки.

— Я говорю совершенно серьезно, — подчеркнул он. — В приемную таможенного управления вводили все новых и новых задержанных, людей совершенно различного типа. Но все они так или иначе были с гнильцой, все, даже самые безобидные, были уже развращены спекуляцией между Востоком и Западом и теми выгодами, которые она сулила. Я сидел в этой приемной и мечтал о пере Диккенса, остром взгляде Бальзака и человеколюбии Толстого, чтобы описать этих людей и все, что ими двигало, всю совокупность сил и отношений. Какой смысл избличать марионеток, когда проклятия заслуживают те, что держат в руках нити и соорудили эту сцену; когда проклятия заслуживают цели, которые они преследуют...

— Насколько мне известно, ты обычно пишешь забавные фельетоны, — сказал я. — А сейчас ты разглагольствуешь, как автор передовицы.

— Надеюсь, хорошей?

— Выше среднего. Но в ней слишком много произвольных формулировок, чтобы она могла быть принята.

— А ты попробуй-ка сам написать об этом, — сердито буркнул Ионас. — Напиши! Опиши, к примеру, историю женщины с ребенком. Эта женщина пала так низко, дошла до последней степени ожесточе-

ния... Ее лицо, казалось, жизнь пропахала плугом. Видно было, что она проститутка, это сквозило в каждом ее жесте, в походке, даже в том, как она сидела. Она приехала откуда-то из провинции — должно быть, из самой глухой дыры. Дочке было лет пять. Ее звали Луизой. Луиза хотела есть, и я дал ей бутерброд. Этим я заставил женщину разговариваться. «Ваша?» — спросил я. «Да», — ответила она. «Единственная?» — спросил я. «Нет, есть еще мальчик, но тот постарше. Его отец умер, а отец девочки сбежал в Западную Германию». Нет, алиментов она не получает. Этот подлец меняет работу и переезжает в другое место всякий раз, как суд узнает его адрес... Женщина была полна ненависти ко всему: к мужчинам, к жизни, к ним. Они — это были представители республиканских властей, которые ее не оставляли в покое. «Если бы еще я потратила в Берлине кучу денег...» — сказала она с горечью. — Но у меня же было всего тридцать пять марок. Когда тебе нужно прожить месяц на семьдесят марок, то, будьте уверены, в Западном Берлине кучи денег не истратишь... Она, несомненно, лгала. Это была ложь, приготовленная для таможенников. Даже в глуши, из которой она приехала, ее работа безусловно приносила ей более значительный доход. «Я и м, будьте уверены, все выскажу, — грозилась она. — Скажу до последнего слова все, что я о них думаю. Они просто рады будут от меня избавиться... Если бы еще я потратила в Западном Берлине кучу денег, а то всего лишь тридцать пять марок...»

Ионас вдруг замолчал. Он говорил так громко, что человек, сидевший за соседним столиком, обернулся и взглянул на нас, но тут же поспешно отвел глаза.

— Но не об этом хотел я рассказать, — продолжал Ионас уже более спокойно. — Я хотел рассказать о разговоре, который произошел затем между ней и ее дочкой. Девочка съела бутерброд, почувствовала себя лучше и стала интересоваться окружающим. И вдруг она громко спросила: «Мамми, мы уже на Западе?» Во всей обширной приемной воцарилось испуганное молчание. Девочка все выдала. Раз она, такая крошка, знала о существовании Востока и Запада, значит подобные поездки были частыми, регулярными, — значит это была не случайная поездка для того, чтобы купить кое-какую мелочь на тридцать пять марок. И вот в водворившейся тишине раздался голос матери Луизы: «Нет, мы не на Западе, доченька. На Западе полиция добрая, а здесь полиция злая, она арестовывает маленьких девочек и все у них отнимает!»

У Ионаса пересохли губы. Он взглянул на свой стакан, но тот оказался пустым. Я подозвал кельнера.

— Скажу вам откровенно, от ее слов у меня защемило сердце. Ведь это говорила не буржуазная дама, а простая женщина, мать, и она учила свою пятилетнюю дочку ненавидеть полицию рабочих и крестьян. И я не мог ничего ей возразить, не выдав себя. Как могла родная мать наносить такой вред своему ребенку, его будущему, будущему всех детей?..

Ионас замолк. Молчал и я. Ни один из нас не знал, что на это сказать.

— Видно, эта женщина не была матерью девочки.

Этот ясный и определенный ответ на вопрос Ионаса дала Джекки. Ее глаза цвета морской воды потемнели, они казались почти черными, как бывало всегда, когда Джекки что-нибудь волновало.

Свежее пиво как будто взбудрило Ионаса. А может быть, это Джекки вывела его из дурного настроения своим замечанием. Он осушил стакан, вытер рот и подтянул повыше пояс.

— Смешное, жалкое и страшное зрелище,— повторила Джекки слова Ионаса.— А где же здесь смешное?

— Смешным был словоохотливый молодой человек из Карл-Маркштадта. Когда он по временам чувствовал приливы отчаяния, то хлопал себя по лбу.— Ионас принужденно засмеялся.— Этот молодой человек ужасно трусил. Едва переступив порог присмной, он принялся говорить и больше уже не закрывал рта. Это был нескончаемый поток слов, изъявления жалкой покорности вперемежку с глупыми угрозами. Судя по цветистым выражениям, которыми он украшал свою речь, молодой человек окунулся когда-то в диалектический материализм, и тот еще не совсем испарился из его головы.

Ионас, подражая молодому человеку, стукнул себя по лбу.

— «А я... А я к тому же, как дурак, прилетел из Карл-Маркштадта на самолете, для скорости. Чем терять время в этой таможне, я бы лучше спокойно ехал по железной дороге».

— А почему он так торопился? — осведомилась Джекки.— Что ему там, в Карл-Маркштадте, жарко стало или скука одолела?

Ионас ответил, что у молодого человека была девушка в Нейбранденбурге, которой не терпелось стать его невестой. Во всяком случае, так можно было понять из его объяснений. Прилетев в Берлин, он обнаружил, что до отхода поезда в Нейбранденбург у него есть час времени, который он и решил использовать. Намерения у него были лучшие, самые чистые. Он хотел содействовать утверждению передовых идей. Вот почему он решил потратить этот час на поездку в Западный Берлин, с тем чтобы сфотографировать наиболее броские рекламные киноплакаты. «Новые приемы! — говорил он.— Нам нужны новые приемы в рекламе, чтобы привить в Карл-Маркштадте вкус к социалистическому реализму в киноискусстве. Нам необходимы киноплакаты, которые вызвали бы еще больший интерес у нашего трудового зрителя к прогрессивной кинематографии, и вот там, в Западном Берлине, у вокзала Цоо...»

Ионас заговорил, подражая полуплаксивым, полуупрямым интонациям молодого человека:

— «...Там я и увидел эти маленькие часики. И я решил доставить своей девушке небольшое удовольствие. Продавщица запросила за часы сто сорок восточных марок. Тогда я вынул свой бумажник и показал ей, что у меня при себе только сто десять марок. Остальные деньги лежали у меня в кармане пиджака, но я, конечно, про них ничего не говорил, а сказал: «Видите ли, фройляйн, я ведь житель Восточной Германии, моя невеста живет в Нейбранденбурге, и мы хотим пожениться, так не могли бы вы уступить мне эти часы за сто десять марок?» Продавщица согласилась. Вообще на Западе очень милые люди. Они прекрасно понимают наши трудности...»

— Ты видел эти часики? — спросила Джекки.— Хорошие?

— Дрянь! — ответил Ионас.— Точно такие и даже с лучшей позолотой он купил бы здесь за полцены. Это я ему сказал. Да разве он слушал? Он ведь купил «западные» часы, и поэтому в его глазах они имели особый, «западный» шик. К тому же на него вновь напал приступ страха, и он принялся причитать по поводу того, что его ожидает: «Подумать только, что все это случилось со мной,— скулил Ионас, подражая молодому человеку, и стучал себя по лбу.— Со мной, освоившим весь марксизм!» Так он и сказал: о с в о и л. «Подумать только!..» После

своего грехопадения с часами молодой человек решил, что ему следует доставить небольшое удовольствие и родственникам своей невесты из Нейбранденбурга. Он купил четверть фунта «настоящего западного» кофе в подарок своей будущей теще, «настоящие западные» сигары для своего будущего тестя, «настоящее западное» игрушечное атомное ружье младшему брату девушки и, наконец, чтобы и себя не обидеть, купил два пакетика жевательной резинки марки «Райли» да пачку сигарет с фильтром, гарантировавшим «полную безвредность для горла и легких». И теперь у него уже не осталось ни одной восточной марки, и он опасался, что те скромные подарки, которые он купил, чтобы порадовать свою невесту и ее семью, пойдут на то, чтобы приумножить богатства марксистского правительства.

— «И должно же было все это случиться со мной! — Ионас снова ударил себя по лбу. — Со мной, который даже руководил кружком по изучению материалов Пятого съезда Социалистической единой партии...» Его карьера в кинопрокатной конторе Карл-Маркштадта теперь бесповоротно загублена, хотя им все время руководили лишь лучшие побуждения. Другой молодой человек, задержанный с набитой чертежами папкой и ожидавший теперь вызова к следователю по уголовным делам, посоветовал молодому человеку из Карл-Маркштадта выкурить, пока не поздно, все сигареты с фильтром. Но молодой человек из Карл-Маркштадта указал на объявление на стенке: «Курить воспрещается». «Ну и наплевать! — возразил молодой человек с папкой. — Подумаешь!» Тогда молодой человек из Карл-Маркштадта вытащил сигарету из пачки. Пальцы его дрожали, и сигарета упала на пол. Он пришел в ярость, растоптал ее ногой и сказал без видимой связи — хотя, если вдуматься, в его словах была своя логика: «Мой отец был членом национал-социалистической партии, я — кандидат в члены СЕПГ, мой будущий тесть состоит в ХДС, а все его родственники уже сбежали на Запад...»

Ионас ухмыльнулся.

— На это я ему сказал: «Чего же вам беспокоиться? У вас везде есть свои люди...» Сначала он, казалось, не понял меня, а затем лицо его просветлело. Юный приспособленец вдруг осознал, какие широкие перспективы открываются перед ним...

— И эта история кажется вам смешной? — спросила Джекки.

— Где же ваше чувство юмора, фройляйн? — сказал Ионас, не меняя выражения лица.

— Могу еще рассказать про двух глупых девчонок.

За несколько часов публика, ожидавшая в приемной, успела несколько раз смениться. Кое-кого из задержанных отпускали домой, других направляли в камеру народного суда, третьих пересылали в полицию. На место выбывших все время поступало новое пополнение. Это была как будто случайная добыча, выловленная редкой на первый взгляд сетью, расставленной на перекрестках улиц, в станциях метро, на автобусных остановках в не менее чем ста пунктах перехода через границу между прошлым и будущим, перерезающую самое сердце города.

Ионас устал от всего низкого и уродливого, что он был вынужден наблюдать в течение дня. Это были повседневные операции «холодной войны» — мелкие кражи, мелкая выгода, мелкие людишки. Все, что делали люди в погоне за наживой, постепенно уродовало их, унижало, съедало их и не оставляло места ни красоте, ни величию человеческого характера. Все здесь, в приемной, имело двойное дно — и хозяйственная сумка, которую человек держал в руках, и фраза, которую он про-

изнес, и голова, в которой эта фраза сложилась. Но во всем этом было также и нечто трагическое. На что могли рассчитывать эти люди в головокружительной смене войн, политических переворотов, жизненных перемен? Что может знать щепка о силах, вздымающих волны, которые швыряют ее куда хотят?

Да, Ионас устал от виденного, и поэтому он с удовольствием остановил свой взгляд на двух молоденьких девушках. Одна была темноволосяя, с черными, чуть раскосыми глазами, другая — рыжая, курносая, веснушчатая, с длинными нескладными ногами. Вскоре стул, который стоял по соседству с девушками, освободился. Ионас пересел к ним и пустил в ход все свое обаяние, чтобы расположить их к себе.

Не прошло и нескольких минут, как обе девушки рассказали ему все, что было у них на душе, — правда, должно быть не столько благодаря его обаянию, которое было не так уж велико, сколько благодаря его умению задавать вопросы и не казаться при этом чересчур любопытным. Рыженькую задержали с только что купленной косынкой, которую она ему тут же показала. Косынка была из неплохого льняного полотна в красный и зеленый горошек — правда, немножко маловата для пышных волос девушки. А *corpus delicti*<sup>1</sup> брюнетки красовался на ее ногах — пара ярко-красных босоножек.

— Должно быть, они бы меня отпустили, ведь косынка — это чепуха. К тому же послезавтра я ухожу в двухнедельный отпуск — потому, собственно, я ее и купила. Но они выяснили, что я служу в магистрате...

— Ну и что ж из того? — спросил Ионас.

— А это значит, что я принадлежу к государственному аппарату, — сказала она, не понимая комического несоответствия между этим строгим понятием и ее отнюдь не внушительной особой. — А сотрудники государственного аппарата не имеют права посещать Западный Берлин. Но, если меня спросят, почему я туда попала, я скажу, что послагала, будто это запрещение распространяется только на тех сотрудников аппарата, которые проживают в других городах республики, а не в самом Берлине... Но посмотрите, косынка красивая, правда?

Она сказала: «республика!» Смысл этого факта дошел до сознания Ионаса, пока он во второй раз послушно рассматривал косынку. Она сказала «республика», а не «зона», как та костлявая дама в шляпке с пером, да и другие подобные ей личности, у которых республика вызывает такое отвращение, что они не желают даже называть ее по имени. А у этой девушки успел выработаться противоположный рефлекс. Она уже, не задумываясь, говорила «республика», хотя и поехала на Запад, чтобы купить косынку в красный и зеленый горошек, в то время как могла приобрести такую же в магазинах Восточного Берлина. Все же в сознании этой девушки было уже что-то новое — брошенные семена принялись и пустили корни и на этой не очень плодородной почве. Но Запад приманивал девушку своими косынками, своими туфлями, своими огнями, ритмами своей музыки и своей продажностью... Дешевая пестрая косынка превращалась в нечто большее, чем косынка, — в начало той коррупции, с помощью которой растлеваются души людей.

— Красивая косынка, — сказал Ионас и мысленно понадеялся, что человек, который будет допрашивать эту девушку, не окажется настолько усталым и равнодушным, чтобы не заметить, что она говорит «республика».

Она продолжала болтать: о своей работе — она была стенографисткой в одном из статистических бюро магистратуры; о своих родителях — ей

<sup>1</sup> Состав преступления (лат.).



приходилось много помогать по хозяйству; об отпуске — она собиралась провести его в горах, и профсоюз брал на себя значительную часть предстоящих ей расходов; о политическом самообразовании — им занимались в рабочее время, и занятия эти считались даже более важным делом, чем другие работы. Но читать вместо материалов Пятого съезда детективные романы не удавалось, потому что потом проверяли, была ли брошюра подчеркнута и в каких местах. Она говорила и о кино — все сотрудники ее управления ходили на коллективный просмотр советского кинофильма «Коммунист», он ей понравился, потому что там нет надоевшего *harpy end...*<sup>1</sup> Пока она болтала, брюнетка сняла с ноги одну из своих новых босоножек и принялась изо всех сил дергать и рвать красные завязки, без которых туфли не держались бы на ногах. Наконец Ионас обернулся к ней и спросил:

— Господи, что вы делаете?

Брюнетка взглянула на него, и Ионас увидел, как в ее раскосых глазах вспыхнула злоба.

— Ведь они у меня все равно их отнимут! Уж лучше я их разорву,— ответила она и снова принялась дергать красные завязки. Но они были сделаны из какого-то прочного синтетического материала и не поддавались.

— Да что вы, что вы! — сказал Ионас.— Успокойтесь, пожалуйста...

Эта внезапная истерика была ему непонятна. Быть может, ее спровоцировал его спокойный разговор с рыжей девушкой; быть может, в брюнетке все кипело с той самой минуты, как ее повели в это помещение, и нервы не выдержали столь долгого ожидания. Ему стало жаль девушку, хотя она вполне могла быть одной из тех, кто шесть раз в день ездит с Востока на Запад и с Запада на Восток, а значит, по шесть раз в день провозит товары для спекуляции.

— Знаете пословицу,— сказал ей в утешение Ионас,— поспешишь — людей насмешишь?

Девушка поставила туфлю на пол, сунула в нее ногу с ярко накрашенными ногтями и настолько успокоилась от тихих, сочувственных вопросов Ионаса, что стала рассказывать о себе. Она работает продавщицей в магазине — но от этого ведь она еще не становится сотрудницей государственного аппарата! Ей давным-давно уже надо было стоять за прилавком, но что она может поделать, когда ее здесь держат...

Она умолкла, и Ионасу показалось, что в это время ее мысли пошли по тому же пути, что и его. Сколько может зарабатывать продавщица? Стоимость новых туфель, за которые ей в западноберлинском частном магазине пришлось заплатить раза в четыре больше их действительной цены, составляла, видимо, значительную часть ее месячной зарплаты.

— Если бы я догадалась выбросить свои старые туфли, тогда никто бы не узнал и никто бы меня не задержал.

Она схватила свою сумку, вытащила из нее свои старые туфли—черные удобные туфли, в которых можно простоять весь день за прилавком,— и принялась отрывать от них каблук. От напряжения и досады слезы выступили у нее на глазах. Каблуки не отрывались. И вообще все это было лишено всякого смысла, ибо даже если бы сотрудники таможни решили — случай почти невероятный — снять с ее ног ярко-красные босоножки, то к чему было портить еще одну пару туфель, которую она носила уже не меньше года? Но сейчас она была глуха к голосу разума, и, когда Ионас коснулся ее руки, чтобы хоть немного успокоить девушку, она крикнула:

<sup>1</sup> Счастливей конец (*англ.*).

— А вы... вы сами!.. Разбейте все два десятка яиц! Или дайте-ка лучше мне одно, я швырну им в стену!..

Она в ужасе умолкла. Боже мой, что она сказала! Кто эти люди, которые слышали ее слова? И в самом ли деле то, что она сказала, было ее тайным желанием?.. Она посмотрела на свои туфли — на черные, которые она держала в руке, и на красные, стоящие на полу.

— Послушайте, фройляйн,— сказал Ионас,— лучше не бить яйца. Вы когда-нибудь видели, как курица несет яйцо? Вы думаете, ей легко? Это работа, и серьезная. Шить туфли — это тоже работа... Быть может, вы дали за свои туфли слишком дорого и купили их не в той части города, где следовало бы...

Ионас прикусил губу: впервые с тех пор, как его задержали, он вышел из роли. Брюнетка это заметила, и рыжая девушка тоже.

— Ну ладно! — сказал он.— Не будем касаться вопроса о тех продуктах, которые лежат в моем саквояже. Это мое личное дело. Но вы не должны забывать, к какой части Берлина вы принадлежите. Не забывайте этого ради пары туфель, ради косынки или ради...

— Господин Браун!

Прошло несколько секунд, прежде чем он вспомнил, что это он «господин Браун». Ионас поднялся. Немного сутулый, лысоватый, с сседеющими висками, с длинным носом и срезанным подбородком, он бережно пронес через приемную свой саквояж с яйцами, маслом и ветчиной. Внешне он ничем не отличался от многих других невзрачных и по большей части немолодых задержанных мужчин, которые ежедневно, часто и в воскресные дни, ездили взад и вперед по надвое разрезанному Берлину.

За дверью его ожидал молодой работник таможенного управления.

— Сейчас ровно семнадцать часов,— сказал он и протянул руку к саквояжу с продуктами.— Прежде всего верните мне казенное имущество.

Ионас вручил ему саквояж.

— Мы получили указание освободить вас ровно в семнадцать часов.

— Да, я знаю, спасибо,— ответил Ионас.

— Быть может,— сказал молодой работник таможни, и в голосе его прозвучала неуверенность,— вы хотели бы провести в приемной еще некоторое время?

Ионас задумался, он мысленно вернулся в приемную и представил себя одним из тех задержанных, что попались в сети, которые на самом деле плелись не здесь, а много дальше — в Вашингтоне, в Бонне...

Сотрудник таможни повторил свой вопрос.

— Нет,— сказал Ионас,— сыт по горло.

Молодой человек рассмеялся, но лицо его при этом не утеряло своего делового выражения, и смех его тотчас же умолк.

— Мы это видим с утра до вечера, и так изо дня в день,— сказал он.

— Как вы это выдерживаете? — спросил Ионас.

Молодой работник таможни пожал плечами...

— А в самом деле, как они это выдерживают?

Этот вопрос задала Джекки. Однако Ионас ничего ей не ответил и принялся внимательно изучать счет, который официант Адам положил перед ним.

— Привычка, должно быть,— заметил я.— Кто занимается каким-нибудь делом изо дня в день, тот через несколько недель или месяцев утрачивает чувствительность. Дело стало привычным, притом же оно ведь необходимо, значит кто-то должен этим заниматься. Да и какой смысл портить себе кровь из-за несовершенства нашего мира?

— Ну, такова, может быть, твоя личная философия,— сказала Джекки тоном более жестким, чем обычно в разговоре со мной.— Это философия мясника, который рубит на куски забитую свинью. Здесь же речь идет не о забитой свинье, а о живых людях. А люди на меня так или иначе воздействуют — они мне нравятся или не нравятся, делают меня счастливой или несчастной. Я даже знала одного человека, который заболел язвой желудка оттого, что работал в отделе жалоб магистрата. А вот у тебя никогда, ни от чего и ни от кого не будет язвы желудка...

— А к чему еще язва желудка? Она не нужна мне для работы,— возразил я.

Джекки сердилась. Официант Адам получил по счету. Ионас застегнул молнию на своей кожаной куртке и проговорил:

— Мне очень жаль...

Но чего именно ему было жаль, он так и не сказал.

Мы вместе спустились по лестнице и, выйдя на улицу, остановились, словно не решаясь расстаться. Мой вечер с Джекки был безнадежно испорчен. Я ее хорошо знал, и мне было ясно, что у нее теперь будет дурное настроение и мы будем ссориться, пока я не посажу ее в такси и не отправлю домой.

— Куда ты пойдешь? — спросила она Ионаса и взглянула на меня краешком глаза, желая узнать, насколько мне неприятен ее интерес к нему.

— Да, собственно, никуда...— ответил Ионас и, словно почуяв своим длинным носом конфликт, назревавший между нами, и те чувства, которые за ним скрывались, добавил: — Я, пожалуй, с вами прощусь.

— Нет! — сказала Джекки.— Почему бы нам не провести время вместе?

Она обернулась ко мне, и я увидел в неоновом свете витрин, как зло поблескивают ее глаза.

— Почему ты мне никогда не расскажешь что-нибудь интересное? Ты, видно, считаешь меня душой, которая не способна ничего понять. Ты воображаешь, что раз ты мужчина, ты можешь ответить на все вопросы. Но когда я хочу узнать простую вещь — например, как они это выдерживают,— ты прикрываешься общими фразами... А ты ответь, пожалуйста: как? Как вообще может человек, различающий добро и зло, жить, не одевая свою душу в броню?

— Джекки,— сказал я,— я люблю тебя!

— Это вообще не ответ!

— Ну, ладно,— проговорил Ионас,— пойдете!

И он пошел по улице быстрым шагом, ссутулившись, опустив голову. И так как он, по-видимому, знал, куда идет, Джекки пошла за ним, не спрашивая его ни о чем, вынудив и меня пойти за нею.

Это был один из тех вечеров, какие бывают поздним летом, когда особенно приятно ходить пешком. Дневная жара спала сразу же после захода солнца, воздух был прозрачен, и на небе четко вырисовывались силуэты деревьев, фонарей, крыш, так четко, словно на старинной гравюре, даже слишком четко, чтобы казаться действительностью. Но вскоре Ионас свернул на боковую улицу, и дома заслонили небо. Убогая серость окружала нас, она теснила грудь, и уличные фонари бросали на этот безрадостный пейзаж неровный желтый свет. Ионас по-прежнему шел впереди. За ним едва попевала Джекки, постукивая по тротуару своими тонкими, слишком тонкими каблучками. Затем к этому постукиванию, словно контрапунктируя с ним, присоединилась доносящаяся издалека мелодия иных звуков — гул голосов, ритмичные удары молотков, скрип

железных колес по неровному грунту, грохот падающих на землю камней: тут шла работа!

За углом яркие лучи прожекторов слепящими белыми клиньями врезались в развалины, оставшиеся еще после давних бомбежек, и превращали в силуэты зубчатые руины стены и фигуры людей, таскавших камни, работавших кирками, собиравших мусор, нагружавших тачки, расчищавших сантиметр за сантиметром, метр за метром, возрождая к новой жизни землю, искалеченную войной.

— Господин Браун! — крикнул кто-то из работающих и засмеялся.

Ионас помахал рукой.

— Вы, наверное, хотите нам немножко подсобить, господин Браун?

Ионас остановился. В один из белых клочьев света вошел молодой человек. Он был гол по пояс, и капли пота прочертили блестящие полосы на его запыленной груди. Он вытер руку о штаны и протянул ее Ионасу. На Джекки он старался не глядеть.

— Мои друзья хотели бы узнать, как вы это выносите?

— Что именно? — спросил молодой человек и наморщил лоб, не понимая, чего от него хотят.

— Ваше ежедневное дело. Приемную таможенного управления. Задержанных. Всю эту отталкивающую работу...

Молодой человек из таможни скрестил руки на груди, словно только сейчас осознал, в каком виде он стоит перед незнакомыми людьми.

— Не знаю, — сказал он. — Собственно говоря, я над этим особенно не задумывался...

Затем, помолчав, он порывисто добавил:

— Я вам сейчас скажу. То, что видишь в таможне, — это ведь только часть картины. Жизнь имеет и другую сторону. Жизнь велика, господин Браун, она значительно больше, нежели приемная, в которой вы провели сегодняшний день. Видите... — Молодой человек обернулся, а его рука широким движением описала полукруг, как бы обводя рамкой расстилающийся перед ним черно-белый пейзаж. — Мы строим.

Он снова замолчал. Посмотрел на Джекки, оглядел ее с головы до ног, и на секунду глаза его с профессиональным интересом задержались на ее туфлях.

— Мы строим, — повторил он деловито. — И на то, чтобы ликвидировать обломки прошлого, нужно время. — Он скупно улыбнулся. — Это, пожалуй, лучший ответ, который я могу вам дать.

— Спасибо, — сказал Ионас.

Джекки промолчала.

*Перевод с немецкого Б. Лузгина.*



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

## ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЧЕХОВА\*

4

**К**ак все писатели, Чехов часто вкладывал в уста героев свои собственные мысли и, как почти все писатели, не любил, когда мысли, высказанные героями, приписывались автору. Особенно щедро он оделил своими мыслями героя «Скучной истории», профессора Николая Степановича, и особенно сердился, когда кто-либо принимал суждения Николая Степановича за мысли Антона Павловича: «Если я преподношу вам профессорские мысли, то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей. Покорно вас благодарю. Во всей повести есть только одна мысль, которую я разделяю и которая сидит в голове профессорского зятя, мошенника Гнеккера, это — «спятил старик». Все же остальное придумано и сделано...» Такие фразы относятся к душевной стыдливости, скрытности Чехова. Николай Степанович среди многого другого высказал отношение Чехова к равнодушию: «Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть». Стремление Чехова быть беспристрастным свидетелем некоторые принимали за равнодушие. «Беспристрастный» никогда не означало «бесстрастный». Стремясь правдиво показать своих героев, Чехов не скрывал своей любви и неприязни, он только избегал лжи, которая была противна и его совести, и его понимание законов искусства.

Издавна существовали и существуют различные виды изобразительного искусства; есть, например, графика, и есть живопись. Художник-график знает силу контрастов — белое и черное. Живописец никогда не применяет в чистом виде белила и черную краску, даже когда перед ним снег или траурное платье; он подмешивает к белилам охру, черную краску, изумрудную, в зависимости от освещения и от окружающих предметов, к черной — белила, жженую сиену, кобальт. На полотне белила образуют рельеф, а черная краска — дыру. Меняются времена, меняется и живопись; Рафаэль писал иначе, чем художники Помпеи, Рембрандт не походил на Ван-Эйка и Матисс — на Пуссена. Однако все они знали, что живопись не графика.

В произведениях Чехова нельзя найти в чистом виде белую и черную краски; это порой объясняли особенностями эпохи — тусклой и серой. Мне думается, вернее сказать об особенностях художника: в произведениях, посвященных не вылинявшим либералам, не растерянным интеллигентам, а искусству или любви, мы видим столь же старательное смешение красок, многообразие нюансов. Слово «реализм» само по себе

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. т.

ничего не определит: Салтыков-Щедрин в сатирических очерках, Горький в первых романтических рассказах тоже были реалистами. Правильнее сказать, что Чехов, стремясь раскрыть внутренний мир человека, прибегал к приемам не графика, а живописца. Его понимание своих задач как писателя лучше всего выражено в отзывах о книгах его предшественников. Он высоко ставил Тургенева, но любил в нем не то, что признавалось почти обязательным для любви и любования. О тургеневских женщинах он так отзывался: «...все женщины и девицы Тургенева невыносимы своей деланностью и, простите, фальшью. Лиза, Елена — это не русские девицы, а какие-то пифии, вещающие, избоблюющие претензиями не по чину». Я говорил о преклонении Чехова перед Толстым. Однако в любимом романе несколько страниц его огорчали: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка, и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов, — все это хорошо, умно, естественно и трогательно; все же, что думает и делает Наполеон, — это не естественно, не умно, надуто и ничтожно по значению». Было бы смешным полагать, что Чехов обиделся на Толстого за развенчание Наполеона, — Антон Павлович не любил ни войн, ни полководцев, ни дешевой романтики. Он обиделся за нарушение законов искусства: все герои романа Толстого написаны изнутри, живы, реальны, а Наполеон показан извне, он кажется случайно перекочевавшим с плаката на холст живописца.

Симпатии и антипатии Чехова ясны, но он не приукрашивает тех, кого любит, и находит человеческие черты у тех, которые ему не милы, даже ненавистны. Когда иные критики говорили (да и говорят до сих пор), что в его отношении к героям чувствуется холод, они тем самым выдают свой холод перед подлинным искусством.

Да, Антон Павлович не раз говорил, что писатель во время работы должен быть холодным. Приводя эти слова, Бунин добавляет: «Но, конечно, это была совсем особая холодность... Ибо много ли среди русских писателей найдется таких, у которых душевная чуткость и сила восприимчивости были больше чеховских». О каком «холоде» говорил Чехов? Девятнадцатилетним юношей он писал своему брату о «Хижине дяди Тома»: «Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью и почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки». Конечно, юношу мучило не потому, что он стоял за рабство, нет, соглашаясь с идеей Бичер-Стоу, он не мог вынести суррогата искусства. В 1892 году он старался объяснить молодой писательнице Авиловой: «Только вот Вам мой читательский совет: когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее — это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисовывается рельефнее. А то у Вас герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны». Авилова не поняла слов о «холоде»; и Антон Павлович терпеливо вернулся к вопросу: «Как-то писал я Вам, что надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы. И Вы меня не поняли. Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, пужно это делать так, чтобы читатель не заметил». Хочется добавить, что эти письма относятся к тому времени, когда Чехов работал над «Палатой № 6». Эта повесть потрясла и потрясает читателей. Можно ли на минуту подумать, что автор не разде-

лял страданий доктора Рагина и Ивана Дмитрича? Можно ли сказать, что «Палата № 6» — произведение, лишенное страсти, идеи? Ленину было двадцать два года, когда появилась в печати эта повесть; вот его впечатление от нее: «Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6».

Все герои Чехова — добрые и злые, умные и глупые, значительные и вздорные — показаны изнутри. Иногда рассказывает сам герой повествования («Скучная история», «Дом с мезонином», «Рассказ неизвестного человека», «Ариадна», «О любви» и другие), и это придает еще большую достоверность мыслям и чувствам лица, от которого идет повествование. Но если художник из «Дома с мезонином» и герой «Ариадны» раскрывают только себя, если в этих рассказах взбалмошная бабенка, обожающая кавалеров и курорты, или педантичная барышня Лида, проповедующая «малые дела», показаны глазами людей, от которых идет рассказ, то в «Скучной истории» и в «Рассказе неизвестного человека» мы видим людей, описывающих свою жизнь, с даром проникновения в сердца других. Мне приходилось читать, что старый профессор, скучный герой «Скучной истории», и неудачливый террорист, растерявший веру в свое дело, показаны Чеховым с некоторой иронией. Между тем писатель оделил их и многими своими мыслями, и своей восприимчивостью. Умный, пронизательный, душевно чуткий профессор раскрывает нам не только свою драму — драму старости, неправильно прожитой жизни, тоски по «общей идее», он освещает и внутренний мир совестливой, растерявшейся Кати, воспитанницы героя, которая в конце повести молит его: «Помогите!.. Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?» Профессор отвечает: «По совести, Катя: не знаю». Четыре года спустя Чехов написал «Рассказ неизвестного человека». Герой повести, Владимир Иванович, понимает чудесную женщину Зинаиду Федоровну, которая рвется от лжи, от пошлости к подвигу; он видит ее душевное превосходство. И снова в конце повествования мы видим ту же драму внутреннего крушения. Зинаида Федоровна в смятении обращается к человеку, которого приняла за героя: «Вы много пережили и испытали, знаете больше, чем я; подумайте серьезно и скажите: что мне делать? Научите меня. Если вы сами уже не в силах идти и вести за собой других, то по крайней мере укажите, куда мне идти». Владимир Иванович, как и старый профессор, не может ничего ответить. Здесь нет иронии, здесь — правдивый рассказ и о своем времени, и о сложных путях человеческого сердца.

Чехов и бесчеловечность сумел показать по-человечески. Матвей Саввич, герой рассказа «Бабы», вспоминает, как он сошелся с молоденькой солдаткой Машей, мужа которой вскоре после свадьбы взяли на службу, как с нею прожил два года и как неожиданно вернулся муж. Матвей Саввич спокойно говорит любовнице: «Слава богу, теперь, говорю, значит, ты опять будешь мужняя жена». Маша не хочет жить с мужем: она полюбила Матвея Саввича. Она ищет у него защиты: «Не могу жить с постылым; сил моих нет! Если не любишь, то лучше убей!» Матвей Саввич бьет Машу — учит... Внезапно умирает муж — то ли отравился с горя, то ли его отравила Маша. На суде Матвей Саввич выступает против Маши: «Ее, говорю, грех». Маше дают тринадцать лет каторжных работ. Ее любовник рассказывает: «После такого решения Машенька потом в нашем остроге месяца три сидела. Я ходил к ней и по человечности носил ей чайку, сахарку. А она, бывало, увидит меня и начнет трястись всем телом, машет руками и бормочет: «Уйди! Уйди!»

Матвей Саввич с его сахарком «по человечности» бесчеловечен — он не может понять, что такое любовь. Он подобрал, опять-таки «по человечности», сына Маши Кузьку; когда он кричит на мальчонка, у Кузьки лицо перекашивается от ужаса. Все это куда убедительнее, страшнее и оттого, что рассказывает историю сам Матвей Саввич, и оттого, что он носил на передачу чай с сахаром, а потом приютил сироту.

В рассказе «Скрипка Ротшильда» гробовщик Яков (который подрабатывает игрой на скрипке), когда его жена заболевает, железным аршином снимает с нее мерку: делает впрок гроб. После смерти жены он сидит возле речки и горюет: «Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания. Ведь река порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк... Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки!» Поступки Якова бесчеловечны, но в нем жив человек. Он играет на скрипке так печально, что обиженный им еврей музыкант плачет. Но есть слово «убытки» — оно придает раскаянию, печали, безвыходной тоске Якова ту реальность, которая потрясает читателя.

Герой рассказа «В усадьбе», Рашевич, рад гостю — следователю Мейеру. Рашевича не любят, его прозвали жабой. Денег нет. Нужно выдать замуж дочек, а нет женихов — никто к нему не заезжает. Вот только Мейер... И Рашевич с увлечением доказывает гостю, что есть белая кость и черная, что «чумадые» ни на что не годны. За ужином он предлагает Мейеру объединиться, дабы отразить нашествие «чумадых»: «В харю! В харю!» Гость возмущен: «Мой отец был простым рабочим, — добавил он грубым, отрывистым голосом, — но я в этом не вижу ничего дурного». Мейер уезжает. Рашевичу не по себе: «Раздевшись, он поглядел на свои длинные жилистые старческие ноги и вспомнил, что в уезде его прозвали жабой и что после всякого длинного разговора ему бывало стыдно...» Утром, вспоминая вчерашнюю неприятность, он пишет письмо своим дочерям, которые здесь же, в соседней комнате, пишет, что стар и скоро умрет. «Он чувствовал, что каждая его строчка дышит злобой и комедиантством, но остановиться уже не мог и все писал, писал». А из соседней комнаты доносятся голоса дочерей: «Жаба! Жаба!» Рашевич действительно жаба, но для того, чтобы читатель в это поверил, Чехов показал его по-человечески.

Я упомянул о рассказе «Случай из практики», в котором Чехов показывает не только несправедливость, но и трагическую бессмысленность капитализма. Врач, приехавший на фабрику к больной владелице, видит девушку, заболевшую неврастением от нелепости своей жизни, ее перепуганную мать, огромные фабричные корпуса, бараки, где прозябают рабочие, и гувернантку, вернее приживалку, Христину Дмитриевну, которая ест, пьет и рассказывает доктору: «Рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли, сами рабочие играют, ну чтения с волшебным фонарем, великолепная чайная и, кажется, чего уж...» Ночью доктор думает: «Тут недоразумение, конечно... Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на



брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в *pinse-peze*. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру». Наутро доктор ласково говорит больной Лизе, владелице фабрики, которая извела себя терзаниями: «У вас почтенная бессонница»... Чехов выступает свидетелем обвинения, но обвиняет он не больную, совестливую девушку, не ее мать, да и не гувернантку, а те социальные условия, которые рождают несчастье всех; и то, что он по-человечески, участливо показывает Лизу, придает больший трагизм картине.

В одном из первых рассказов, подписанных уже не Чехонте, а Чеховым, «Враги», у земского доктора умирает сын. К нему приезжает помещик Абогин: «У меня опасно заболела жена». Доктор не хочет, не может ехать, но Абогин просит, молит, требует. Когда они приезжают в имение, выясняется, что жена Абогина симулировала припадок: «Услала затем, чтобы бежать, бежать с шутом, тупым клоуном, альфонсом...» Доктор возмущен. «Позвольте, как же это? — спросил он, с любопытством оглядываясь. — У меня умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом... сам я едва стою на ногах, три ночи не спал... и что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии...» Начинается драматический диалог. Абогин пытается доказать доктору, что он тоже несчастен. «Несчастлив, — презрительно усмехнулся доктор. — Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шелопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!» Чехов внешне нейтрален: «Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления... В ожидании экипажей Абогин и доктор молчали. К первому уже вернулись и выражение сытости, и тонкое изящество. Он шагал по гостиной, изящно встряхивал головой и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать вид, что не замечает своего врага... Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолие, когда видят перед собой сытость и изящество». Беллетрист, не доверяющий читателю или более думающий о критике, нежели о читателе, наверно, изобразил бы Абогина циничным и уродливым, а оскорбленного врача если не изящным, то уж во всяком случае величественным. Читатель, закончив такой рассказ, в скуке подумал бы: а я об этом уже читал — то ли в «Русских ведомостях», то ли в «Русском богатстве»... Но критик поставил бы пятерку.

Иногда Чехов вкладывает в уста людей, которые ему чужды, неприятны, даже враждебны, верные суждения о людях, пользующихся снисхождением и симпатией автора. В рассказе «Дуэль» он показывает очередное душевное крушение. Надежда Федоровна оставила мужа, увидев в Лаевском человека больших чувств, больших идей. А Лаевский мечтает, как бы освободиться от опостылевшей ему женщины; у него больше нет ни чувств, ни идей. Молодой зоолог фон Корен видит ничтожество Лаевского и говорит об этом всем окружающим. Фон Корен во всем прав и кругом виноват. Рассуждения его чрезвычайно напоминают тезисы фашистов, хотя происходило это в те годы, когда Гитлер еще ходил под столон: «Первобытное человечество было охраняемо от

таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет и человечество выродится совершенно». Лаевский ведет себя плохо, но у него есть сердце; под влиянием жестоких уроков жизни он принуждает себя стать другим. Фон Корен увлечен наукой, прогрессом, он, однако, бессердечен, он хочет добиться счастья человечества ценой истребления слабых. Лаевский говорит о нем: «Он хлопочет об улучшении человеческой породы, и в этом отношении мы для него только рабы, мясо для пушек, выючные животные; одних бы он уничтожил или законопатил на каторгу, других скрутил бы дисциплиной, заставил бы, как Аракчеев, вставать и ложиться по барабану, поставил бы евнухов, чтобы стеречь наше целомудрие и нравственность, велел бы стрелять во всякого, кто выходит за круг нашей узкой, консервативной морали, и все это во имя улучшения человеческой породы... А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж... Деспоты всегда были иллюзионистами». И вот в конце повести фон Корен растерян — он не может понять, как Лаевский сумел душевно приподняться, найти мужество. «Никто не знает настоящей правды», — это говорит самоуверенный фон Корен — не себе, а своему вчерашнему врагу Лаевскому. Критики уверяли, что развязка «необоснованна», но Чехову удалось показать неправду фон Корена только потому, что фон Корен говорил и правду. В пьесе «Иванов» доктор Львов справедливо осуждает Иванова, но, как фон Корен, он и в правде неправ. Чехов о нем говорил в одном из писем: «Это тип честного, прямого, горячего, но узкого и прямолинейного человека... Все, что похоже на широту взгляда или на непосредственность чувства, чуждо Львову. Это олицетворенный шаблон, ходячая тенденция... Если нужно, он бросит под карету бомбу, даст по рылу инспектору, пустит подлеца. Он ни перед чем не остановится». В пьесе доктор Львов не кидает бомб, не бьет по лицу инспектора, но способствует самоубийству Иванова, к которому лежит сердце автора. Углублены не только Иванов, но и плоский Львов. Чехов писал о сухом и догматичном докторе: «Такие люди нужны и в большинстве симпатичны. Рисовать их в карикатуре, хотя бы в интересах сцены, нечестно, да и не к чему. Правда, карикатура резче и потому понятнее, но лучше не дорисовать, чем замарать...» Конечно, Львов не вышел симпатичным, но Чехов подошел к нему без желания его принизить; писатель с огромным сатирическим даром, он отказался от подмены портрета карикатурой.

Говоря о творческом пути Антона Павловича, обычно называют дату — весну 1886 года как начало «перелома»: именно тогда он получил неожиданно письмо от старого писателя Григоровича, ободряющее и в то же время укоряющее молодого автора за легкомысленное отношение к труду писателя. После этого письма веселый, не очень взыскательный к своей работе сотрудник различных юмористических изданий Антоша Чехонте превращается в писателя Чехова. Но вот рассказ «Тоска». Он был напечатан в январе 1886 года в «Петербургской газете» в отделе «Летучие заметки» и подписан А. Чехонте. Это рассказ об извозчике Ионе, у которого умер сын; напрасно он пытается рассказать об этом седокам — никто не хочет слушать печальную историю. Тогда извозчик ночью обращается к лошади: «Так-то, брат, кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Теперя, скажем, у тебя жеребеночек и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить...» Как сумел Чехов перевоплотиться в старого Иону? Письма

того периода, воспоминания современников показывают нам человека, любящего проказы, шутки, еще не знающего, кто он — врач или литератор, в один присест пишущего коротенький рассказ — то для «Осколков», то для «Будильника», то для «Сверчка», то для «Петербургской газеты». (В январе 1886 года были опубликованы семь рассказов Чехонте.) И вот именно тогда Антон Павлович написал «Тоску».

Три года спустя уже не Чехонте, а Чехов напечатал «Скучную историю». Автору было двадцать девять лет, а герою повествования — шестьдесят два года. Томас Манн незадолго до своей смерти написал статью о Чехове; он говорит, что больше всего дорожит «Скучной историей»: «Это совершенно необыкновенная, чарующая вещь, во всей литературе не сыскать ничего похожего на нее: сила ее воздействия, ее особенность — в тихом, грустном тоне. Эта история вызывает хотя бы уже по одному тому удивление, что именуется «скучной», в то время как она потрясает; вдобавок она написана молодым человеком, которому не было еще и тридцати лет; вложена она с предельным проникновением в уста старика, ученого с мировым именем...»

Перечитывая Чехова, я то и дело удивляюсь: как мог он показать и душевное спокойствие беременной Ольги в «Именинах», и муки Липы, потерявшей ребенка («В овраге»), и отчаяние тринадцатилетней Варьки в «Спать хочется»?

Куприн писал о Чехове: «Он видел и слышал в человеке — в его лице, голосе и походке — то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от глаза среднего наблюдателя». Свидетель на суде, который рассказывает то, что известно всем, никому не нужен — ни обвинению, ни защите. Любопытный писатель, если только он достоин именоваться писателем, видит нечто, ускользающее от глаза среднего наблюдателя. Не пора ли отказаться от наблюдательности как от основного качества писателя? Наблюдательным может быть умный и опытный репортер с фотоаппаратом; но вряд ли кто-нибудь, говоря о «Войне и мире» или о портретах Рембрандта, объяснит эти произведения искусства только наблюдательностью. Конечно, писателей куда меньше, чем профессиональных беллетристов, и писатель, большой, средний или даже маленький, умеет не только видеть своих героев, но разделять с ними их переживания. Этот дар сопереживания обычно называют перевоплощением автора, и если задуматься над книгами Чехова, то видишь, что за свою короткую жизнь он прожил сотни человеческих жизней.

## 5

Читателей неизменно интересует, кого автор изобразил под таким-то именем, с кого написал такой-то персонаж. Между тем романов или рассказов с ключом не так уж много и, пожалуй, это не вершины художественного творчества. При жизни Чехова ходили легенды о так называемых «прототипах» его персонажей. Эти домыслы удивляли, а порой и сердили Антона Павловича. Уверяли, например, что «Попрыгунья» — это Кувшинникова, муж которой доктор и которая влюблена в художника Левитана. Чехов писал Авилосой: «Можете себе представить, одна знакомая моя, сорокадвухлетняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи»... и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником». Казалось бы, на этом кончалось сходство, ибо художник Рябовский показан непривлекательным, а Левитана Чехов нежно любил и ценил, Кувшинникова, по словам современников, была отнюдь не попрыгуньей и ее муж — не ученым, пода-

вавшим надежды, но бесцветным полицейским врачом. Однако разговоры продолжались. Левитан всерьез обиделся на Антона Павловича. (Кажется, только Кувшинников, который когда-то учился медицине вместе с Чеховым, сохранял спокойствие; может быть, ему льстило, что он превращен в Дымова.)

Нечто подобное произошло и с «Чайкой». В Нине Заречной увидели Лику Мизинову, красивую молодую девушку, которая мечтала стать оперной певицей, часто бывала в доме Чеховых и влюбилась в Антона Павловича. Говорили, что Тригорин — это писатель Потапенко. Сходство подтверждалось и тем, что у него была связь с Ликой, и тем, что он ее бросил, а у нее после этого умер ребенок. Чехов, видимо вначале ни о чем не подозревая, просил Потапенко посодействовать скорейшему прохождению пьесы через цензуру. Когда разговоры о том, что в «Чайке» показана подлинная история, дошли до Антона Павловича, он всполошился: «Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать ее нельзя». Лика писала Чехову: «Здесь все говорят, что «Чайка» заимствована из моей жизни, и еще, что вы хорошо отделали еще кого-то...»

Для того чтобы понять сложность рождения героев Чехова, я хочу остановиться именно на «Чайке», где наличие прототипов внешне неоспоримо. По сюжетной канве Нина — Лика, Тригорин — Потапенко, Аркадьина — жена Потапенко, а Треплев — припутанный к истории «декадент». Что касается чайки, то и у нее имеется прототип: чайка — это вальдшнеп; в 1892 году Чехов ходил с Левитаном на охоту; художник пробил крыло вальдшнепу. Чехов писал: «Я поднял его: длинный нос, большие, черные глаза и прекрасная одежда. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: «Голубчик, ударь его головкой по ложу»... Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать».

Вполне возможно, что взгляд подстреленной птицы запомнился Чехову. Драма Лики Мизиновой была слишком связана с его жизнью, чтобы он о ней не думал, не вспоминал писем Лики: «Может быть, это глупо, даже неприлично писать, но так как вы и без этого знаете, что это так, то и не станете судить меня за это...». «Вы отлично знаете, как я отношусь к вам, а потому я несколько не стыжусь и писать об этом. Знаю также и ваше отношение или снисходительное или полное игнорирования... Умоляю вас, помогите мне, не зовите меня к себе, не выдайтесь со мной...» Отвергнутая человеком, которого она любила, Лика увлеклась беллетристом Потапенко; он ее вскоре бросил. Она после этого написала Антону Павловичу: «Видно, уж мне суждено так, что люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Я очень, очень несчастна. Не смейтесь. От прежней Лики не осталось и следа. И, как я ни думаю, все-таки не могу не сказать, что виной всему вы. Впрочем, такова, видно, судьба...»

Взгляд подстреленной птицы. Письма Лики, ее горе... Конечно, все это вошло в «Чайку». Но напрасно пытаться выдать поэзию за репортаж, живопись — за фотографию для удостоверений. Все герои «Чайки», как и вообще все герои Чехова, не копии существовавших в действительности людей, а сплав наблюдений, собственных переживаний, опыта, догадок, воображения.

Письма Антона Павловича изобилуют сетованиями на работу: «Все, что теперь пишется, не нравится мне и нагоняет скуку, все же, что сидит

у меня в голове, интересует меня, трогает и волнует...». «Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового...». «Собственное удовольствие, конечно, хорошая штука; оно чувствуется, пока пишешь, а потом?..». «Оборвавшись на повести, я могу приняться за рассказы; если последние плохи, могу ухватиться за водевиль и этак без конца, до самой дохлой смерти...». «Кончил свой длинный утомительный рассказ...». «Пишу с удовольствием, находя приятность в самом процессе письма...». «Я должен обязательно писать! Писать, писать и писать!..». «Пуды исписанной бумаги,— и при всем том ни одной строчки, которая в глазах моих имела бы серьезное литературное значение!..». «А мне надо писать, писать и спешить на почтовых...» В «Чайке» писатель Тригорин говорит: «День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую... Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю?.. Когда пишу, приятно... но... едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дряно... Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу...»

У писателя Тригорина имеется записная книжка, которая чрезвычайно напоминает записные книжки Чехова. Нина Заречная дарит Тригорину медальон, на нем вырезано название книги Тригорина, страница, строки; он берет свою книгу и читает фразу — не Тригорина и не Потапенко, а Чехова, взятую из рассказа «Соседи»: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». (В воспоминаниях о Чехове писательница Авилова рассказывает, что, влюбившись в Чехова, она послала ему брелок с условным обозначением той самой фразы, которую потом повторила Нина.) Треплев, недовольный своей прозой, рассуждает: «Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова...» Наставляя своего брата, литератора, Антон Павлович писал задолго до «Чайки»: «Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездой мелькнуло стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки».

Молодой Треплев, которого рассерженная мать именует «декадентом», как бы противопоставлен Тригорину. Я перечитываю записные книжки Чехова: «Сцена станет искусством лишь в будущем, теперь же она лишь борьба за будущее...». «Публика в искусстве любит больше всего то, что банально и ей давно известно, к чему она привыкла...» А вот какие советы давал Антон Павлович брату, когда тот задумал написать пьесу: «Не зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок... Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать...» Много раз Чехов говорил о своем отвращении к театральной рутине. И то же самое повторяет Треплев: «А по-моему, современный театр — это рутина, предрасудок. Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же,— то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своею пошлостью». Нужно ли доказывать, что и в рас-

суждения Тrepлева Чехов вложил себя? Лучшим доказательством является «Чайка», пьеса, которая порывала с театральной рутинной. Недаром на премьерe петербургские театралы ее освистали — свистели и пьесе Тrepлева, и пьесе Чехова.

Менее всего я хочу утверждать, что Чехов поделил себя между Тригоринным и Тrepлевым. Можно ли забыть о Нине — о самой «чайке»? У нее нет записной книжки, она не пишет пьес и не повторяет мыслей Чехова. Но разве письма Антона Павловича или воспоминания современников нам раскрывают, как терзался писатель Чехов, как неизменными разговорами о том, что «он должен писать», что пишет он «пустячки», он прикрывал главную страсть своей жизни — верность искусству? Эту страсть, эти терзания выражает Нина. Чехов был чрезвычайно стыдлив, на редкость скрытен, никогда бы он не сказал «Эмма — это я», как Флoбер.

Персонажи «Чайки» — это и Потапенко, и молодые декаденты, и, вероятно, еще десятки различных поэтов, прозаиков, драматургов, с которыми Чехов неизменно нянчился, это и Лика, и другие женщины, сердечные тайны которых он знал. Все это бесспорно. Но «Чайка» — это также сам Чехов, его мысли, его страсти, долгие страницы ненаписанного дневника, сжатые в короткие реплики, это и «комедия в четырех действиях», и поэма, и автобиография.

Я думаю, что можно установить прямую связь между Чеховым и многими из его героев. Конечно, художники не похожи друг на друга; разные работают по-разному; но трудно представить себе художественное произведение, в которое художник не вложил бы частицы своей жизни, своих чувств. Искусство требует не только наблюдений над жизнью, но и участия в ней. Можно сколько угодно говорить о прототипах литературных героев, это интересно, даже поучительно; но не следует забывать о постоянном прототипе, имя которого — автор.

## 6

Я сказал, что все произведения Чехова мне кажутся одним романом; я хотел сразу добавить — или одной поэмой, но смутился — скажут: конечно, в пьесах Чехова много поэтического, но можно ли, не смеясь, причислить к поэзии «Скучную историю», «Палату № 6» и даже «Человeка в футляре»?..

Первым запротестовал бы Антон Павлович. Когда Бунин осмелился заговорить о поэзии произведений Чехова, Антон Павлович усмехнулся: «Поэтами, милостивый государь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как «серебристая даль», «аккорд» или «на бой, на бой, в борьбу со тьмой». Чехов отшутился, но некоторых критиков и теперь может озадачить, почему я называю поэзией вполне реалистические рассказы из русской жизни восьмидесятых и девяностых годов прошлого века. Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой, это никого не удивляет: во-первых, так учили в школе, во-вторых, все вспоминают слова о русской тройке и другие лирические отступления. Однако Собакевич, Манилов, Ноздрев описаны столь же поэтично, как тройка. Поэзия Чехова иная: она в скрытой музыке (меня не удивило, когда Франсуа Мориак сравнил Чехова с Моцартом). «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» не комедии, как думал Антон Павлович, не драмы, как их воспринимали и воспринимают многие зрители, а поэтические произведения, необычайно музыкальные, где, наперекор всем театральным канонам, звучат даже паузы. Разве не относятся к большим поэтическим находкам и разговор старого извозчика с лошадей, и письмо дедушке

в деревню, и молодой снег в «Припадке», и чтение вывесок сзади наперед печальным героем «Скудной истории»? Дело, однако, не только в тех местах, которые даже по внешним признакам поэтичны: с годами все более и более освобождая свой язык от цветистости, Чехов сохранял и поэтическую настроенность, и ритм.

Вот повесть «В овраге». Молоденькая крестьянка Липа несет ребенка, которого Аксинья обдала кипятком. Ночь. Липа одна на дороге с мертвым младенцем. «Где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь, точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо. Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице, у самого пруда в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка и все сбивалась со счета и опять начинала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты такова!» Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз! На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. Липа не помнила, как долго она сидела у пруда, но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали и не было ни одного огня. До дома было, вероятно, верст двенадцать, но сил не хватало, не было соображения, как идти; месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка, уже осипшим голосом, со смехом, точно дразнила: ой, гляди, собьешься с дороги!.. Липа шла быстро, потеряла с головы платок... Она глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика: идет ли следом за ней, или носится там вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери? О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь радоваться, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы... Когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать, Прасковья, или Костыль, или кухарка, или какой-нибудь мужик!»

Чехов говорил, что подходит к своим героям, как химик. Он говорил также: «Простой человек смотрит на луну и умиляется, как перед чем-то страшно таинственным и непостижимым. Ну, а астроном смотрит на нее совсем другими глазами...» Разумный, порой научный подход к человеческим страстям не только не мешал Чехову-поэту, он помогал ему: его поэзия лишена случайного. Он не раз говорил, что знакомство с медициной облегчило ему понимание героев. Но не чудесно ли, что этот умный и знающий человек мог лучше любого романтика понять и показать прелесть человеческой наивности? Липа неожиданно увидела телегу, двух людей.

— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет. Мы из Фирсанова.

Почему эти строки так прекрасны? Может быть потому, что старик не удивился, а просто ответил: «Мы из Фирсанова?»..

Вот «Дама с собачкой». Сорокалетний женатый Гуров, легкомысленно подходящий к женщинам, познакомился в Ялте с дамой, думал, что это мимолетная встреча. «Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились

в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих».

Вот «Случай из практики». Доктор видит больную Лизу Ляликову: «Совсем уже взрослая, большая, хорошего роста, но некрасивая, похожая на мать, с такими же маленькими глазами и с широкой, неумеренно развитой нижней частью лица, не причесанная, укрытая до подбородка, она в первую минуту произвела на Королева впечатление существа несчастного, убогого, которое из жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных корпусов». «В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло, и Королев уже не замечал ни маленьких глаз, ни грубо развитой нижней части лица; он видел мягкое страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой, и хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом, а простым ласковым словом».

Я не люблю «поэтичности» в прозе — желания приблизить повествование к стихам: из произведений Тургенева «Песнь торжествующей любви» и «Стихотворения в прозе» мне кажутся наименее удачными; поэзия живет в других вещах Тургенева — в «Первой любви» или в «Асе». Мне трудно понять, как мог автор «Госпожи Бовари» написать «Саламбо». Поэзия Чехова не похожа на внешнюю «поэтичность» — она не в приподнятости или романтичности образов, не в гарнире пейзажей, не в наборе изысканных слов, она в лиричности, в доброте и вместе с тем в душевной красоте автора.

Чехов в прозе был революционером: он порвал с приемами своих великих предшественников. Вершинами художественного мастерства считались пейзажи в романах Тургенева; Чехов о них говорил: «Описание природы хороши, но... чувствую, что мы уже отвыкаем от описаний такого рода и что нужно что-то другое». Толстой понимал художественные дерзания молодого писателя: «Чехова, как художника, нельзя даже сравнивать с прежними русскими писателями — с Тургеневым, с Достоевским или со мной. У Чехова своя особенная манера, как у импрессионистов. Смотришь, как человек будто без всякого разбора мажет красками, какие попадают ему под руку, и никакого, как будто, отношения эти мазки между собою не имеют. Но отойдешь на некоторое расстояние, посмотришь, и в общем получается цельное впечатление. Перед вами яркая, неотраженная картина природы. И вот еще наивернейший признак, что Чехов истинный художник: его можно перечитывать несколько раз...»

Один из самых больших художников мира, Толстой в старости отрекался от искусства. Чехова такие суждения сердили: «Говорить об искусстве, что оно одряхлело, вошло в тупой переулочек, что оно не то, чем должно быть и проч. и проч., это все равно, что говорить, что желание есть и пить устарело, отжило и не то, что нужно. Конечно, голод старая штука, в желании есть мы вошли в тупой переулочек, но есть все-таки нужно, и мы будем есть, что бы там ни разводили на бобах философы и сердитые старики». Отрицая искусство, Лев Николаевич, однако, до последнего часа страстно его любил, повторял на память стихи Тютчева и по нескольку раз читал вслух полюбившиеся ему рассказы Чехова. Он видел, что Чехов опрокидывает многие эстетические каноны прошлого, и это его не возмущало, а радовало.

Но почему, говоря о прозе Чехова, Толстой вспомнил живопись импрессионистов? На первый взгляд сравнение кажется непонятным. Однако в нем есть известная логика. Молодой Моне твердил своим



друзьям Сислею и Ренуару: «Бежим отсюда! Эта школа нас погубит, здесь нет главного — искренности...» Увидев полотна молодых художников, задолго до того, как критики окрестили их «импрессионизмом», Золя говорил, что они кажутся реальным восприятием мира рядом с кондитерскими изделиями последователей академического направления. В конце восьмидесятых годов рассказы Чехова производили такое же впечатление на русского читателя: Антон Павлович новыми глазами взглянул на мир и рассказал об этом по-новому. Он говорил: «...Лучше не досказать, чем пересказать, потому что... потому что... не знаю почему!» Вот этот отказ от точного и подробного рисунка, от сухого, линейного восприятия мира сближает Чехова с импрессионистами: они близки в разрыве с прошлым, но, конечно, не в художественных методах.

Как это часто бывает, критики обрадовались ярлычку, и Чехов на долгое время был произведен в «импрессионисты». «Литературная энциклопедия» в 1930 году поучала: «Импрессионизм появляется как пере рождение бытового реализма, как завершающая фаза в диалектике развития реализма, на почве упадка и разложения мелкобуржуазной и разночинной интеллигенции в эпоху реакции 80-х годов... Ярким представителем этой разновидности импрессионизма является Чехов». В 1934 году Ю. Соболев писал: «Импрессионизм Чехова особенно явно выражается в пользовании сравнением и метафорой». Десять лет спустя слово «импрессионизм» стало для критиков уничижительным, и слова Толстого исчезли из книг, посвященных творчеству Чехова.

Чехов не пошел по проторенной дороге, хотя эта дорога была широкой и хорошо накатанной: он чувствовал несоответствие между старыми формами и новым содержанием. Сжатость диктовалась временем; и мы вправе его рассматривать как одного из первых художников XX века. Мопассан усовершенствовал новую форму: короткого рассказа, в основе которого не лежало ничего исключительного; однако и восприятие мира, и манера письма оставались традиционными. Золя нашел нечто новое в быстрой смене крупных планов и массовых сцен, в монтаже романа. Чехов был нов во всем: он не доказывал, даже не рассказывал, он показывал. Он освободил рассказ или повесть от длительных вступлений, разъяснительных эпилогов, от подробного описания внешности героев, от обязательности их биографий. «По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем... И короче, как можно короче надо говорить...»

Некоторые критики утверждали, что скупость деталей объясняется тем, что Чехов писал короткие рассказы. По-моему, Чехов выбрал форму короткого рассказа, потому что она соответствовала его стремлению к сжатости, к тому ритму, который ему казался современным. Краткость описания была для него связана с мироощущением, с желанием показать мир не условный, а реальный. Он писал Максиму Горькому: «...вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобратся и он утомляется. Понятно, когда я пишу: «человек сел на траву»; это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: «высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь». Ю. Соболев считал особенностью Чехова его любовь к сравнениям и метафорам. Мне кажется, что Чехов, напротив, старался освободиться от нагромождения метафор, от чрезмерной образности, отличавшей многих авторов конца XIX века. Даже в своих ранних произведениях он прибегал к самым простым, житейским срав-

нениям; говоря, что блеснула молния, замечал: «Налево как будто кто чиркнул по небу спичкой». (Тургенев описывал грозу иначе: «...на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, сколько разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы».) Антон Павлович как-то сказал, что самое лучшее описание моря он нашел в ученической тетради: «Море было большое». Скромность для него была не только этическим понятием, но и эстетическим законом. Он писал Горькому: «Особенно эта несдержанность чувствуется в описаниях природы, которыми Вы прерываете диалоги; когда читаешь их, эти описания, то хочется, чтобы они были компактнее, короче, этак в 2—3 строки. Частые упоминания о неге, шепоте, бархатности и проч. придают этим описаниям некоторую риторичность, однообразие — и расхолаживают, почти утомляют».

Чехову нетрудно было отказаться от манеры Тургенева, которая казалась ему устаревшей. Искусство Достоевского никогда его не искушало: он не любил ни идей, снабженных для правдоподобия именем и костюмом, ни аффектации, ни напряженной интриги повествования. Был, однако, писатель, под влияние которого Антон Павлович мог бы легко подпасть. В незаконченном рассказе «Письмо» герой повествования читает книгу неназванного автора и так отзывается о ней: «Какая сила! Форма, по-видимому, неуклюжа, но зато какая широкая свобода, какой страшный, необъятный художник чувствуется в этой неуклюжести! В одной фразе три раза «который» и два раза «видимо», фраза сделана дурно, не кистью, а точно мочалкой, но какой фонтан бьет из-под этих «которых», какая прячется под ним гибкая, стройная, глубокая мысль, какая кричащая правда!» Легко догадаться, чье произведение читал герой «Письма», — Чехов говорил Щукину: «Вы обратили внимание на язык Толстого? Громадные периоды, предложения нагромождены одно на другое. Не думайте, что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и оно дается после труда». С тех пор прошло более чем полвека; все переменялось в нашей стране — и ритм жизни, и люди, и орфография; но в книгах многих современных авторов я нахожу те самые придаточные, то замедленное, нарочито неуклюжее повествование, о которых говорил Чехов. А неуверенный в себе, скромнейший Антон Павлович, лично знавший Толстого, его боготворивший, сумел избежать подражания, создал свой ритм, свою манеру письма.

Флобер мечтал написать роман, в котором ничего не происходило бы. Такого романа он не написал. («Бювар и Пекюше» стал, может быть и не по воле автора, сатирой.) Чехов говорил много раз, что нужно писать просто и о простом, например, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Беллетристы шутили: Антон Павлович, исправляя рассказ, выбрасывает из него все, остается только, что он и она были молоды, влюбились, поженились, а потом были несчастны. Антон Павлович отвечал: «Послушайте же, но ведь так оно и есть на самом деле...»

Толстой, ценивший рассказы Чехова, не принимал его пьес, считал его неудачным драматургом; это мнение разделялось многими. В пьесах Чехова не было ничего связанного с вековым представлением о театре: ни внешнего, ни внутреннего действия, почти живые картины, порой с выстрелами под занавес, где пуля означает только точку. Жан-Луи Барро говорит о чеховском театре: «Каждая минута полна, но полнота эта не в диалоге, а в молчании, в ощущении жизни».

Опрокидывая все каноны, Чехов мгновенно переходил от смешного к печальному, от натурализма к поэзии, и в этом, как во многом другом, он был первым автором новой, сложной и трудной эпохи. Пьесу Треплева («Чайка») называли и называют пародией на декадентов. Нина

Заречная декламировала под гогот публики: «Люди, львы, орлы и куropатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом,— словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный путь, угасли... я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь». Треплев был молод и неопытен; но вот творчески зрелый драматург — не Треплев, Чехов — кончает две пьесы лирическими монологами. Ольга в «Трех сестрах» восклицает: «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь...» И, конечно же, Чехов не был бы Чеховым, если бы после этих слов военный врач не запел бы «Тара-ра-бумбия, сижу на тумбе я»...

Все знают, что Чехов страдал от пошлости и точно (по его определению, как химик) эту пошлость изобразил. Но вот рассказ молодого Антоши Чехонте «Поленька». Приказчик Николай Тимофееч влюблен в молоденькую Поленьку, а ей мил студент. Она плачет в магазине, и влюбленный приказчик, чтобы отвлечь внимание покупателей, через силу выкрикивает: «Испанские, рококо, сутажет, камбре... Чулки фильдековосые, бумажные, шелковые...» Этими словами заканчивается рассказ. Я не знаю, что значит «сутажет» или «камбре» — моды меняются, моды, а не чувства, и конец этого мнимо юмористического рассказа, с пошлыми галантерейными терминами, звучит для меня, как высокая поэзия.

## 7

Читаешь, перечитываешь рассказы Чехова и снова, снова изумляешься жизненности всех этих врачей, крестьян, студентов, учителей, следователей, либеральных дам и расфуфыренных горничных, горемык, ожидающих смерть, приживалок, монахов, толстовцев и пьяниц, жуиров, модисток, актрис, барчуков, голытьбы, «лишних» людей, которые нужны до зарезу, и людей, уверенных в том, что они приносят пользу, которые оказываются лишними, убийц, воров, сладострастников и недог, работяг и тунеядцев — множество человеческих судеб, больших трагедий, маленьких драм, драматических водевилей.

Антон Павлович прожил всего сорок четыре года; последние годы, тяжело больной, он был обречен на ялтинское заточение. (В сорок четыре года Толстой еще не приступал к «Анне Карениной», Достоевский работал над «Преступлением и наказанием», Гончаров не был автором «Обломова». Если бы Стендаль умер в сорок четыре года, от него остались бы только «Арманс» и несколько полемических статей.) Некоторые авторы изображали Чехова вялым, бездеятельным, называли даже «увальнем», а найти в относительно раннем возрасте ключи к тысячам сердец он смог только потому, что страстно любил жизнь, не созерцал ее, но в нее вмешивался.

Он то плыл по Амуру, то бродил по улицам Рима, то колесил по степям Украины, то забирался в глухое русское село. Оставаясь долго на одном месте, он начинал тосковать, строил планы — может быть, поехать в Австралию или на Новую Землю? Он писал в одном из рассказов: «Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку... Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа». Где бы он ни был, он повсюду тянулся к людям; не потому, что хотел о них написать, нет, писал он потому, что был увлечен человеческими судьбами.

Всегда у него было множество хлопот. Нужно... Что нужно? Нужно приобрести книги для библиотеки в Таганроге. Нужно построить школу и медпункт в Мелихове. Нужно собрать деньги для самарских детей и открыть столовую. Нужно помочь голодающим в Нижегородской губернии. Нужно устроить в Ялте санаторий для чахоточных. Нужно принять большую — у нее рожа руки. Нужно раздобыть лекарства — много приходит пациентов, а лекарств в аптеке нет. Нужно спасти великолепный журнал «Хирургическая летопись». Нужно раздобыть известь и купорос для дезинфекции. Нужно обходить дома, инструктировать счетчиков — идет перепись. Нужно устроить в Серпухове спектакль. Нужно принять у соседки ребенка. Нужно отправить большого студента Константинова в Крым. Нужно прочитать рассказы Шавровой и дать ей совет. Нужно начать строить вторую школу. Нужно помочь священнику Некрасову вернуться в деревню. Нужно отправить статую Антокольского в Таганрогский музей. Нужно помочь поэту Епифанову — он болен, нет денег. Нужно начать строить третью школу. Нужно написать, да поподробнее Гославскому, почему он не умеет писать. Нужно достать тысячу рублей для Мухалатского училища. Нужно добиться, чтобы в Москве построили клинику кожных болезней. Нужно исправить водевиль Лазарева-Грузинского — бедняга, сам не сможет. Нужно протолкнуть рассказ начинающего писателя, прописать лекарство почтмейстеру, помочь еврею, у которого нет правожительства, найти должность для неудачника. Он все время что-то делал и при этом уверял всех, что нет на свете человека более ленивого.

Я позволю себе остановиться на одном его увлечении, которое, казалось бы, не связано с работой писателя: он был страстным садоводом, сеял, пикировал, пересаживал, подвязывал, обрезал. Он волнуется, находясь в Ницце, не распочтут ли в саду две лилии. Он умоляет в письмах поливать получше эвкалипты. Когда в Ялте зацвела посаженная им камелия, он писал жене телеграмму. Он выписывал деревья, искал горшки для рассады, холит насаждения. Садоводство не было для него одной из страстишек, какими для многих являются рыбная ловля или охота; он чувствовал в росте куста, дерева то, что сильней всего его волновало — утверждение жизни. Куприн приводил его слова: «Послушайте, при мне же здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе... Знаете ли, через триста-четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад».

Люди, встречавшиеся с Чеховым, рассказывают, что дети и животные сразу чувствовали к нему доверие. Антон Павлович не только любил детей — он их понимал. Детский мир в его рассказах освещен изнутри. Всегда у Чехова были животные — собаки, мангусты, которых он привез с Цейлона, журавль. Таксы Бром и Хинна нам хорошо знакомы по его письмам. В. Л. Дуров мне рассказывал, что он дал Чехову сюжет «Каштанки». Но и здесь можно сказать: сюжет не имел существенного значения. Для того чтобы описать состояние Каштанки, когда умирает гусь, требовалось прежде всего понимание собак, любовь к ним.

Обычно считается, что оптимист не расстаётся с улыбкой, что у человека, любящего людей, душа нараспашку, что знающий вкус жизни вкусно жуёт, заразительно смеется, смачно изъясняется и о своем пристрастии к жизни распинается на всех перекрестках. Антон Павлович был сдержан, в его рассказах много описаний человеческих мук, его юмор не шумен, его оптимизм не слеп и о своей любви к жизни он не распространялся — он любил жизнь без клятв и без проповедей.

Деятельное участие в жизни помогло ему показать не только быт, не только внешний облик эпохи, но и то, что должен увидеть подлинный художник — душу человека; и, говоря об этом, необходимо остановиться на работе доктора Чехова. Как известно, вначале Антон Павлович считал себя врачом, а в свободное время писал юмористические рассказы. Уже будучи известным писателем, он все еще не решался определить свою профессию, говорил, что медицина его законная жена, а литература — любовница.

Некоторые утверждали, что Антон Павлович стал врачом случайно, что медицина его тяготила и он с радостью от нее избавился; такие суждения основывались на жалобах в письмах, на признаниях, что медицина ему опротивела. Но ведь в письмах Антона Павловича еще больше признаний, что ему опротивела литературная работа. Он никогда не был самоуверен, и если в годы больших успехов он все же не считал себя талантливым писателем, то и возвращаясь с приема больных он никак не думал, что он — толковый врач.

В 1899 году он писал: «Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избежать многих ошибок». Литературоведы говорят, что медицинское образование помогло Чехову хорошо описать роды в «Именинах», припадок студента Васильева, патологические элементы в поведении Иванова, героев «Палаты № 6», манию величия Коврина в рассказе «Черный монах». Все это, конечно, верно (наивно было бы, однако, снова поверить скрытному Чехову и рассматривать рассказ «Черный монах» только как описание патологического казуса). Но есть в одном из чеховских писем слова, которые куда лучше показывают, что ему дала врачебная практика: «У врачей бывают отвратительные дни и часы, не дай бог никому этого. Среди врачей, правда, не редкость невежды и хамы, как и среди писателей, инженеров, вообще людей, но те отвратительные часы и дни, о которых я говорю, бывают только у врачей, и за сие, говоря по совести, многое простить должно...» Чехов знал, что такое тревога за жизнь больного, сознание бессилия ему помочь, чередование надежды и отчаяния. Без тех «отвратительных дней и часов» ему было бы куда труднее понять дни и часы своих героев. В этом то основное, чем обогатила медицина Чехова-писателя, и это куда существеннее, чем сумма познаний, позволившая ему правильно описать различные патологические случаи.

Годы литературной работы Чехова были годами восходящей славы Золя. Французский романист стал быстро профессионалом; он то и дело изучал различные отрасли человеческой деятельности, различные слои общества: когда писал «Жерминаль», съездил в шахтерский поселок, работая над «Нана», в смущении расспрашивал малосмущающихся девиц, решив приступить к «Разгрому», отправился в Седан; говоря современному, он все время отправлял себя в творческие командировки. Это был крупный писатель, новатор, человек с большим кругозором и большой любознательностью; но его отличает от писателя склада Чехова внешнее описание внутренних процессов — он писал то, что видел, изучил, но с чем не был связан жизнью. Чехов рассердился, прочитав его роман «Доктор Паскаль»: «Золя ваш ничего не понимает и все выдумывает у себя в кабинете...»

Не любя Золя как писателя, Чехов часто с признательностью и

нежностью говорил о Мопассане. Есть в мастерстве Чехова и Мопассана нечто общее — хотя бы то, что они оба достигли необычайной выразительности короткого рассказа, зачастую лишённого фабулы. Однако Чехов не похож на Мопассана, и можно только удивляться, как могли некоторые критики десятки лет именовать Антона Павловича «русским Мопассаном».

Сравнение писателя с зарубежными авторами всегда натянуто: в художественном гении сказывается характер народа; не было и не могло быть французского Диккенса, русского Вольтера, французского, английского или немецкого Чехова. Писатель Елпатьевский вскоре после кончины Антона Павловича писал: «Несомненное несчастье для Чехова — то, что он родился в России. С его жадностью к жизни, к краскам ее, с его проникновением красоты, с его огромным дарованием и чисто художественным темпераментом, он развернулся бы во всю ширь своего таланта и расцвел бы во всю красоту своей художественной натуры там, где так много солнца и красок жизни, где ничто не мешает расти тому, что может расти, где не взваливается на плечи человека ноша, которой он не может нести. А он жил в сумерках русской жизни...» Полвека спустя мы видим, насколько случайны и необдуманны были такие сожаления. Дело не в том, что Мопассан, живший в стране, где много солнца и красок, томился не менее Чехова, хотя и совсем по иным причинам, страдал от жизни вдоволь и умер в возрасте сорока трех лет; дело в другом: если бы Чехов родился не в России, он, может быть, и стал бы замечательным писателем, но Чехова не было бы.

Конечно, как художник, Чехов многое начинал и со многим порывал. Конечно, в отличие от многих своих предшественников, он не любил поучать; от него нельзя было ждать ни «Дневника писателя», в котором Достоевский наставлял своих читателей, ни «Послесловья к «Крейцеровой сонате». Но то сознание ответственности, которое было присуще русским писателям XIX века — и Гоголю, и Достоевскому, и Толстому, — жило в Чехове. Елпатьевский в статье, которую я цитировал, рассказывает, что однажды Мопассан решил вместе с несколькими молодыми писателями издавать газету. Тургенев спросил, какими принципами будет эта газета руководствоваться; Мопассан ответил: «Никаких принципов!» Достаточно вспомнить, как рассердился Антон Павлович, когда в «Русской мысли» его назвали «беспринципным», чтобы понять пропасть, отделявшую его от Мопассана. «Отвратительные дни и часы», тревога за человека, ответственность за него были чужды не только Бальзаку, но и горестному Мопассану.

Я вспоминаю крестьян в повестях Чехова и в новеллах Мопассана. Оба показали уродливый, страшный быт; но для одного крестьяне — люди, исковерканные условиями жизни, для другого — чудища, раритеты, существа иного мира. И если Мопассан терзался от сознания своего одиночества, то Чехов страдал от одиночества людей. Мопассан дошел до отчаяния — не знал, что ему делать, как ухватиться за ободок жизни. Чехов мучился, подобно профессору в «Скучной истории», не зная, что ответить Кате, Зинаиде Федоровне, тысячам других, взыскующих правды, что подсказать людям для того, чтобы жизнь стала светлее, чище, человечнее. Я далек от желания умалить искусство Мопассана; это писатель, которого я люблю; да и не посмел бы я, говоря о Чехове, чернить художника, ему милого и близкого. Я хочу только отвести ненужное и неудачное сопоставление. Были у Мопассана краски, чувства, темы, чуждые Чехову, наверно ему недоступные. Но никогда Мопассан не смог бы написать «Скучную историю», «Рассказ неизвестного человека» или «Палату № 6». Говоря о России, французские литераторы слишком

часто пытаются объяснить непонятные им явления словами «славянская душа». Какне-то особые свойства особой души, по их словам, делают понятными и Октябрьскую революцию, и русскую музыку, и смерть Толстого на полустанке, и многое другое. Разумеется, статьи о Чехове не обходятся без «славянской души». Как ни наивны подобные суждения, они показывают наличие и в русской истории, и в русской литературе некоторых черт, чуждых Западу; мне думается, что зарубежных читателей поразила в русских книгах необычайно обостренная совесть, и, может быть, именно это сильнее всего отличает Чехова от Мопассана.

## 8

Меня всегда удивляло, что французское слово «conscience» имеет двойное значение — сознания и совести, хотя совесть не всегда связана с ясным сознанием. Я говорил, что именно обостренная совесть поразила читателей Запада в русской литературе XIX века — от «Шинели» до «Воскресения». Однако у сердца бывают большие открытия и большие ошибки: так, Гоголь пришел к мистическому оправданию ненавистного ему крепостничества, петрашевец Достоевский написал «Бесы», а величайший художник России в старости предал анафеме искусство. Чехов и в этом не походил на своих предшественников: он обладал и совестью и сознанием. Мы вправе говорить о его сложившемся, едином мировоззрении; с годами оно расширялось, углублялось, но не было у него ни крутых поворотов, ни отречений.

Во многом он опередил свое время. Когда старый Толстой проповедовал возвращение к простой, первобытной жизни, когда молодой Мережковский и его друзья пытались возродить религию, связать ее с идеалистической философией, Чехов предвидел взлет естествознания и ту роль, которая предстоит точным наукам; он писал в 1894 году: «Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и покорить ее своей массою, грандиозностью...»

Конечно, уж одно то, что он был врачом и до самой смерти не переставал следить за развитием медицины, предопределяло его отношение к науке. В молодости он увлекался Дарвином. В 1889 году он писал по поводу романа Бурже: «Если говорить о его недостатках, то главный из них — это претенциозный поход против материалистического направления. Подобных походов я, простите, не понимаю. Они никогда ничем не оканчиваются и вносят в область мысли только ненужную путаницу. Против кого поход и зачем? Где враг и в чем его опасная сторона? Прежде всего, материалистическое направление — не школа и не направление в узком газетном смысле; оно не есть нечто случайное, преходящее; оно необходимо и неизбежно... Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины».

В отличие от писателей-проповедников, писателей-трибунов, писателей-кликнуш, Антон Павлович был писателем, тесно связанным с наукой. «Вера в прогресс» для него была уверенностью, построенной на знании. Он писал Дягилеву, увлекавшемуся поисками бога: «Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, может быть, еще десятки тысяч лет... Теперешняя культура — это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает».

Еще и поныне многие философы и писатели Запада считают, что материализм убивает духовную жизнь и что прогресс науки влечет за собой падение искусства. Такие опасения были чужды Чехову: «Я хочу, чтобы

люди не видели войны там, где ее нет. Знания всегда пребывают в мире. И анатомия и изящная словесность имеют одинаково знатное происхождение, одни и те же цели, одного и того же врага — черта, и воевать им положительно не из-за чего. Борьбы за существование у них нет. Если человек знает учение о кровообращении, то он богат; если к тому же выучивает еще историю религии и романс «Я помню чудное мгновение», то становится не беднее, а богаче,— стало быть, мы имеем дело только с плюсами. Потому-то гении никогда не воевали и в Гете рядом с поэтом прекрасно уживался естествовед.

Против проповеди толстовцев протестовало сознание Чехова: «Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса». Одновременно совесть подсказывала Чехову, что одними словами «люби ближнего» и одной заботой о спасении своей души ближним не поможешь. В повести «Моя жизнь» героиня говорит своему мужу: «Мы преуспели в личном совершенстве; но эти наши успехи имели ли заметное влияние на окружающую жизнь, принесли ли пользу хотя кому-нибудь? Нет. Невежество, физическая грязь, пьянство, поразительно высокая детская смертность — все осталось, как и было, и оттого, что ты пахал и сеял, а я тратила деньги и читала книжки, никому не стало лучше. Очевидно, мы работали только для себя».

Стремление к миру более справедливому в сознании Чехова сливалось со стремлением к миру более разумному; именно поэтому он не останавливался на мечтах либералов об умеренной конституции.

«Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд... Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и — я уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха и даже от самой смерти» («Дом с мезонином»).

«Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь двадцать пять — тридцать лет работать будет уже каждый человек. Каждый!» («Три сестры»).

Он глядел вперед с доверием; этот автор многих печальных, даже безвыходных историй был настоящим оптимистом. «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней, он должен для этого видеть и знать больше, чем видели и знали его дед и отец», — говорил один из героев «Трех сестер», выражая те мысли, которые мы находим в письмах Чехова. Антон Павлович сердито отмахивался от рассуждений о вырождающемся человечестве: «Как бы ни было велико вырождение, его всегда можно победить волей и воспитанием». Он часто повторял это слово «воспитание»: знал, что такое невежество, грубость нравов, суеверия, темнота, знал также, что с ними можно и нужно бороться.



На-открытии памятника Чехову в Истре, или, вспоминая чеховское время, в Воскресенске, выступали старая заведующая местной библиотекой и ученик десятилетки; может быть, это примирило бы Антона Павловича с празднеством (он терпеть не мог торжественных церемоний). То, что в хорошо знакомом ему Воскресенске теперь есть средняя школа, что жители города много читают, бесспорно его обрадовало бы: ведь он был убежден, что необходимо научить людей грамоте, приобщить их к культуре, облегчить труд, и тогда многое на свете изменится.

В Россию он верил, хотя, будучи целомудренным и скромным, об этом не говорил. Ему часто казалось, что любовь к родине связана с болью за ее недостатки. Горький приводил в своих воспоминаниях грустные слова Антона Павловича: «Странное существо — русский человек!.. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого... Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, — об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада... Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» Таких размышлений много, и я их отношу к глубокому, подлинному патриотизму Чехова.

В одном из писем, отправленных по дороге на Сахалин, Антон Павлович писал: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!» Говорили, что Россию и русских людей он показал односторонне, что его внимание больше задерживалось на дурном, пошлом, уродливом. Это неверно; но и будь это верно, это не доказывало бы его равнодушия к родине: разве автор «Мертвых душ», разве автор «Господ Головлевых» не были патриотами? Чехов был врачом и знал, что болезни не лечат замалчиванием. Да и несправедливо, что в его книгах показаны только злые, никчемные или хмурые люди. Конечно, Чехов изобразил унтера Пришибеева и «человека в футляре»; но и они не родились держимордами, доносчиками, доморощенными прокурорами — никогда Чехов не сбивался на карикатуру, он показывал обыкновенных людей, изуродованных условиями, воспитанием, несправедливостью, насилием. Но разве только Пришибеева и Великова создал Чехов? От модистки Поленьки, от извозчика Ионы до Нади из рассказа «Невеста» и до Ирины из «Трех сестер», от героя «Скучной истории» и Кати до Зинаиды Федоровны — сколько добрых, сердечных людей он описал, заселил ими мир!

Чехову был чужд расизм. В 1897 году в России опасались эпидемии чумы. Антон Павлович интересовался работами микробиолога Хавкина, ученика Пастера, который с успехом применял в Индии противочумные прививки; он писал Суворину: «Карантины мера не серьезная. Некоторую надежду подают прививки Хавкина, но, к несчастью, Хавкин в России не популярен: «Христиане должны беречься его, так как он жид».

Он ясно понимал единство мировой культуры. В его записной книжке есть такая заметка: «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука». Он смеялся над подделкой под патриотизм; вот еще из его записной книжки: «патриот: а вы знаете, что наши макароны лучше, чем итальянские! Я вам докажу! Однажды в Ницце мне подали севрюги — так я чуть не зарыдал!» И сей патриот не замечал, что он патриотичен только по съедобной части».

Мережковский в свое время решил, что Чехов не понял Италии и Франции, отшатнулся от Запада. Чехов встречался с Мережковским в Риме и

писал об этом: «Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга. Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь, в мире красоты, богатства и свободы, нетрудно сойти с ума». Когда до Антона Павловича дошли слухи о том, будто он недоволен поездкой в Италию и Францию, он тотчас написал Суворину: «Надо быть быком, чтобы, приехав первый раз в Венецию или во Флоренцию, стать «отклоняться от запада». В этом отклонении мало ума. Но желательнее было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю вселенную о том, что будто за граница мне не понравилась? Господи ты боже мой, никому я ни одним словом не заикнулся об этом. Мне даже Болонья понравилась. Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с французами?» Он рассказывал, что из всех городов, которые он видел, ему больше всего по душе Флоренция, Париж и Москва. На вопрос Федорова: «А какой вам больше нравится?», Антон Павлович ответил: «Конечно, Москва».

Где бы он ни был, он думал о России. В Ницце он написал рассказы «Печенег», «В родном углу», «На подводе», «У знакомых»; сидел в комнате на улице Гуно, рядом с чересчур синим морем, чересчур пышными пальмами, и писал о любимых им русских людях, об учительнице, об отставном солдате, о Подгорине, который жаждет жизни более «высокой и разумной». Возвращаясь с Сахалина, Антон Павлович увидел Цейлон, говорил потом, что побывал в «раю»; и вот на Цейлоне он начал рассказ «Гусев» — в раю он не переставал думать о России.

Он умер за тринадцать лет до Октябрьской революции. История давно вынесла приговор прежнему строю, и, может быть, свидетель Чехов своими беспристрастными показаниями помог народу во многом разобраться. Самодержавие, державу сиятельных Пришибеевых обличали почти все писатели — одни сильнее, другие слабее, в зависимости от таланта; но ложь людей, которые хотели свободы только для себя, для просвещенных, для избранных, слишком многим современникам Чехова казалась заслуживающей если не уважения, то снисхождения. Чехов, в отличие от них, ненавидел лицемерие, корысть, власть денег, и в этом он был близок той новой России, которой не увидел.

Но если история давно вынесла приговор России конца прошлого века, то что же мы находим в произведениях Чехова близкого, понятного, сегодняшнего?

Доктор Астров в пьесе «Дядя Ваня» говорит: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Когда Чехов уверял, что через двести или триста лет жизнь на земле будет прекрасной, он не чудачил, не фантазировал — он думал о росте человечества, которое только начинает мыслить, о гармоничном развитии человека. Старый профессор, герой «Скучной истории», в конце своей жизни терзается оттого, что у него нет «общей идеи», придающей смысл человеческому существованию. Одни критики увидели в этом тоску по религии, хотя Чехов был далек от веры и верований. Другие утверждали, что профессор тосковал по четким политическим и социальным идеалам. Возможно, что последнее утверждение — правда, но далеко не вся правда. Чехов никогда не был равнодушен к судьбе своего народа. Однако это — правда частичная. Профессор страдал, как и автор «Скучной истории», от отсутствия подлинной гармонии, красоты, человечности существования. Вот почему Томас Манн мог сказать, что он не только в 1954 году понимает героя «Скучной истории», но что терзания старого профессора представляются ему куда более длительными, нежели то общество, те нравы или заблуждения, которые обличал Чехов.

Нет разрыва между злобой дня и поэзией, между темами эпохи и законами искусства: художник показывает то, что волнует его, его со-

временников, и если он способен увидеть не одну только оболочку, заглянуть в глубины человеческого сердца, то он создает произведение, которое поможет людям в очередной невзгоде и которое будет потрясать их детей, внуков много лет спустя после того, как история вынесет свой приговор, а пыль архивов припудрит давнюю злобу дня.

Проезжая мимо памятника Чехову в Истре, я гляжу всякий раз на знакомое лицо и улыбаюсь. Трудно выразить, сколько во мне благодарности к этому писателю, может быть самому человечному из всех! Он говорил, что человек обогащается, узнав о системе кровообращения или услышав «Я помню чудное мгновенье»; и вот Чехов меня воистину обогатил, открыл мне анатомию чувств, а многие его фразы застревали в моей голове, как стихи Пушкина или — ближе к нам — Блока. Он ничему не учил, а научил миллионы людей — и у нас, и далеко от Истры, от Бабкина, от Мелихова, от границ нашей большой страны — повсюду, где люди ищут, страдают, любят, борются, радуются. Я гляжу на старые деревья возле Новоиерусалимского монастыря — может быть, в летний день под ними сидел Чехов?.. Я никогда его не видел, но он мне кажется не классиком, а современником, и, смутно улыбаясь, про себя, чтобы не обидеть его скромности, я все повторяю и повторяю: «Спасибо, Антон Павлович!»



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛ. КАНТОРОВИЧ

★

## В МОЛОДОМ ГОРОДЕ

1

**М**олодое Каховское море осталось позади. Мы видели там затопленные плавни, острова и роши. Деревья росли словно из самой воды, полоскали в ней свои все еще зеленые ветви. По морю ходили речные буксиры, толкая перед собой плавучие цистерны,— таков новый метод буксировки судов. Баржи-самоходки покачивались на резвой волне. За дамбой, у Никополя, отстаивались от шторма колесные пароходы; моряки речного флота накапливали опыт плавания в полуморских условиях. И повсюду вдоль берегов, в челнах и просто на пне, под прибрежной ивой, торчали фигуры неподвижных рыболовов.

В верхнем бьефе горящая огнями Каховская плотина едва возвышается над уровнем воды. Неясно проступают на берегу очертания бетонного завода-гиганта, породившего плотину,— в ее тело уложено свыше миллиона кубометров бетона. Портальные краны, словно доисторические животные, пришедшие на водопой, выгибают навстречу пароходу свои металлические хоботы.

Пароход стремительно погружается в колодец шлюза. Вскоре раскрываются южные ворота, и нас выпускают в судоходный канал.

За короткое время все изменилось вокруг нас.

Облака словно начинены светом. Солнце еще не взошло, но ночная мгла уже прояснилась. Меркнут огни прожекторов Каховской гидроэлектростанции.

Снизу одним взглядом охватываешь стену гигантской плотины, опоясавшей Днепр, подпершей Каховское море. Вода, обрушиваясь с высоты четырнадцати метров, приводит в движение мощные турбины, дает электрический ток городам, селам, криворожским шахтам. Полная проектная мощность этой гидростанции, второй по очереди на Днепре, 312 тысяч киловатт — половина мощности Днепрогэса.

Под высокими водосливными щитами бушует поток. А в нескольких десятках метров ниже опять маячат примелькавшиеся еще в пути фигуры рыболовов в челнах; они вооружены, помимо удочки, еще и острой: ошеломленная падением рыба, случается, всплывает на поверхность воды.

По правому берегу тянутся бесконечные ряды украинских хат-мазанок. Это старинный городок Берислав. Через него, как и через Каховку (старую), шел некогда чумацкий шлях. По данным, приведенным Лениным в «Развитии капитализма в России», в этот район по весне прибывало на дубках, на пароходах и пешим ходом до сорока тысяч малоземельных крестьян, нанимавшихся в батраки к южноукраинским помещикам от троицы до покрова.

Берислав наполовину скрыт от нас островом Казачьим, вытянувшимся по течению реки на целый километр и густо заросшим деревьями и кустарником. Со своими бухтами, лагунами, песчаными отмелями и ручейками этот необитаемый остров стал запovedным уголком для рыболовов и охотников; кажется, что он самой природой предназначен для мальчишеских приключений. Может быть, в эту самую минуту там,

у костра,— кстати, и дымок вьется над берегом! — лежат какие-нибудь новокаховские Тома Сойеры и Геки Финны, рассказывают друг другу страшные истории, мечтательно поглядывая через всю ширь реки на огни родного города.

А вот и она — Новая Каховка!

С восходом солнца нам открылся на левом берегу Днепра аккуратный, чисто вымытый, прибранный, отлично распланированный, щедро озелененный, невысокий и не очень большой город.

Новая Каховка пленяет с первого взгляда; но приедем не сразу дано понять, что здесь проделан поучительный опыт градостроительства.

## 2

Город построен с умом, бережливо, а в некоторых отношениях — щедро. Видно, его проектировали и строили люди, обладавшие душой поэта, глазом геометра, практическим смыслом и расчетливостью опытной домашней хозяйки, устраивающей свое гнездо экономно, но так, чтобы все главные потребности семьи были удовлетворены.

Город состоит как бы из четырех секторов: прибрежного парка, пояса каменных жилых домов, пояса деревянных коттеджей и поселка индивидуальных застройщиков.

Центральное место в городе занимают жилые кварталы из камня. Впрочем, не нужно думать, что в Новой Каховке существует центр и окраины, как в городах, унаследованных от прошлого. Три прямые, как стрела, уличные магистрали тянутся из конца в конец города по высокому берегу Днепра. Дома, создающие внешний контур квартала, прилегающая часть улицы, внутриквартальное пространство задуманы как единое целое — и в архитектурном, эстетическом плане и попросту как удобный для жилья комплекс. Пожалуй, лицо социалистического города — Новой Каховки — выражено наиболее принципиально именно в этих жилых кварталах.

Но сначала об улицах. Магистрали — и в центре и на краях города — оформлены с одинаковой заботой. Повсюду вдоль стен домов тянется полоса газонов, за ними цветники, череда деревьев (главным образом акаций), асфальтированная дорожка для пешеходов, опять деревья, газоны и бетонный бордюр, отделяющий тротуары от проезжей части улицы. По вечерам, когда улица ярко освещена, приедем кажется, что он очутился на бульваре приморского курорта.

Дома в Новой Каховке очень просты, и ни один не имеет больше трех этажей. Они сложены из веселого цветного кирпича, покрыты розовой черепицей, имеют балконы, иногда и крытые галереи. Во всем каменном строительстве жилой части города повторяются одни и те же немногочисленные типы зданий, но размещены они со вкусом. Дома вовсе не выстроены в струнку, а расставлены так, что один из них глядит на вас фасадом, другой торцом; тут для группы домов принято угловое решение, там между домами оставлен проем, и вы свободно заглядываете внутрь квартала.

Характерно: в жилых домах нет парадных лестниц и выходов на улицу. Повсюду двери ведут в обширный двор, в котором не только размещены стандартные надворные постройки (нигде нет уродливых сараев, каморок, кладовых, типичных для старых домов), но устроены площадки для игр детей и оставлены обширные пространства под сады и древесные насаждения. Легко дышится в этих домах, окруженных садами. Кроме того, есть что-то уютное, семейное в том, что перед выходом на люди, на «шумную улицу», жители проходят несколько десятков метров по своему (домовому, квартальному) саду.

Второй пояс составляют коттеджи, расположенные среди небольших усадебных участков. Эта часть города строилась раньше других. Коттеджи отвоевывали «жизненное пространство» у бугристых кучугуров, у подвижных песков — барханов — так называемого Алешкинского клина. Улицы здесь не так широки, но зато они тенистее; деревья, посаженные четыре-пять лет назад, отлично принялись.

Большинство участков превращено в красивые сады, где на крохотной территории разместились цветы и кусты, фруктовые деревья. Иной нерадивый хозяин доволь-

ствуется тем, что вырастил несколько кустов, отдав остальное пространство дворика буйно растущей траве. Встречаются и любители коров, свиней и птиц.

Коттеджи финского, немецкого и русского образцов прибыли на стройку в разобранном виде. Это те самые стандартные дома, производство которых форсируется по недавнему постановлению правительства. В коттеджах — застекленные веранды, мансарды, к ним подведены водопровод и канализация.

В Новой Каховке свыше пятисот таких домов на две и четыре семьи. Они числятся в тресте Днепростроя на балансе временных сооружений, но в действительности простоят тридцать и пятьдесят лет, так как построены солидно, на бетонных фундаментах и предоставляют жителям все необходимые удобства. Меня не удивляло, что некоторые мои знакомые предпочли коттеджи квартирам в каменных домах. К тому же они хоть и инженеры, но все как на подбор садоводы-любители.

Поселок индивидуальных застройщиков менее благоустроен, но привлекает жителей особыми преимуществами. Улицы здесь до сих пор не асфальтированы, но зато расположены в самой живописной местности, над обрывом к Днепру, возле бесчисленных ключей, бьющих из земли, — грунты здесь фильтруют, сказывается напор поднятого на полтора десятка метров Каховского моря.

Во многих усадьбах тесно; на участке стоят уже по два дома: наспех сложенная хатенка, с которой началось строительство, и новый многокомнатный дом. В поселке мало деревьев, цветов. Зато каждый клочок земли тщательно обработан, каждая пядь земли на участке отдана неказистым с виду виноградным кустам, обсыпанным едким порошком, уничтожающим вредителей. Город строился возле плотины, на землях виноградарского совхоза; наиболее хозяйственные люди из числа строителей Каховской ГЭС (вероятно, недавние крестьяне) облюбовали себе здесь участки, рассчитывая на значительные доходы от необлагаемого налогами виноградарства. И они не просчитались, если судить по тому, с какой быстротой возводятся здесь новые, обширные дома, как часто к домам подъезжают машины, из которых выгружают новую мебель.

Город имеет еще одну зону, бесконечно увеличивающую его прелесть. Это зона прибрежного парка, в котором расположены все культурные, спортивные, увеселительные предприятия Новой Каховки — замечательный по красоте, хотя, быть может, и отличающийся излишней монументальностью Дворец культуры, летний театр, стадион, детский городок, водная станция, танцевальная площадка. Все это — здания капитального типа, отлично оформленные.

В этой зоне, где культурные учреждения размещены среди пышной природы, окончательно забываешь, что Новая Каховка — город строителей и эксплуатационников ГЭС, которому предстоит в ближайшем будущем превратиться в промышленный центр.

В устройстве парковой зоны строители Новой Каховки показали себя людьми большой культуры, с широким размахом, с отличным вкусом. В спешке и суете огромной стройки, для которой ежедневно прибывали сотни тонн грузов, размещаемых на берегу, строители сумели сохранить вековые деревья и разбить превосходный парк, расположенный несколькими террасами, сбегаящими к реке. Садовники высадили здесь более ста тысяч различных растений и постоянно заботятся о насаждениях. Парк содержится в образцовом порядке и, как он ни молод, может уже соперничать со старинными садами во многих областных городах.

Неповторимы в своем своеобразии и прелести пейзажи, открывающиеся сквозь листву деревьев на каждом повороте парковой дорожки. Внизу Днепр вольно мчит свои воды. Напротив — пронизанные светом кудрявые рощи на острове Казачьем, прибежище рыболовов и новокаховских мальчишек. Выше по течению Днепра открывается вся величественная панорама плотины — бетонного ошейника, надетого человеком на могучую реку.

Я невольно снова заговорил о новокаховском пейзаже, хотя, казалось бы, моя задача — рассказать о новаторском вкладе новокаховцев в советское градостроительство. Однако всякий серьезный разговор о строительстве нового города и его архитектуре неизбежно затрагивает эту подлинно поэтическую тему. Города — не заезжие

дома на перепутье; они создаются ради прочного благоденствия жителей, для их счастья. Новые города нельзя и замыслить иначе, как поселения, удобные для жителей и красивые. А красоту города создают не одни здания, но и сады и вся та окружающая, всегда прекрасная природа, которую строитель должен сделать обзримой для городского жителя.

И в этом отношении опыт Новой Каховки заслуживает признания.

### 3

Интересно в Новой Каховке то, что этот новенький, словно с иголочки, городок не несет на своих плечах груза прошлого. Он построен, как говорится, на голом месте и, следовательно, не мог наследовать уродливой мешанской застройки. Но в то же время здесь избегли ошибки многих новостроек: от начального этапа строительства не сохранилось ни одного барака, никаких общежитий, ни «вороньей слободки», ни «шанхая», составляющих, как известно, обязательную черту пейзажа во многих новых городах.

Города у нас зачастую строятся в таком порядке.

Сначала возводят за счет так называемой третьей части строительной сметы бараки, общежития и деревянные дома облегченного типа для строителей, лишенные элементарных коммунальных удобств и размещенные без учета будущих городских коммуникаций.

Затем форсируют строительство промышленного объекта и понемногу возводят кварталы современных благоустроенных домов. Как правило, жилищный голод не позволяет сносить временки, заселенные уже коренными городскими жителями, рабочими заводов. Так они и стоят повсюду, эти бараки, часто бок о бок с великолепными новыми домами.

Трудно перечислить все дурные последствия такого неестественного соседства и для архитектурного облика города, и для его санитарного состояния, и с точки зрения условий для воспитания молодого поколения.

Таких недостатков избежали в Новой Каховке, и это тем более примечательно, что город строился в основном как поселок для строителей. Известно, что эксплуатационный штат ГЭС незначителен, он легко разместился бы в двух кварталах города. С другой стороны, промышленные предприятия вступят в строй лишь после того, как строители ГЭС свернут свою работу.

Начальник Днепростроя А. С. Андрианов с самого начала строительства, рассчитанного на пять-шесть лет, хотел поставить своих работников в нормальные, а не бивуачные условия. Поэтому трест построил город совсем без временок, без общежитий барачного типа. Плотина, электростанция и город построены, а сносить ничего не приходится! Нетрудно представить себе, какая это экономия для народного хозяйства. Кроме того, город демократичен в самом глубоком понимании этого слова: между окраиной и центром нет существенных различий в качестве квартир, в коммунальном, транспортном, торговом обслуживании. В этих домах живут не только рабочие ведущих профессий, мастера и интеллигенция. В них живут все работники строительства, в том числе и вспомогательный персонал и неквалифицированные рабочие. Повсюду стоят простые, но красивые дома, растут деревья, цветы. В таком городе легко поддерживать чистоту: это вошло уже в традицию, стало как бы второй натурой новокаховца. Никто не рвет цветов на улицах, не топчет газонов, не ломает ветвей деревьев. Красивое жилье, благоустроенные, озелененные улицы воспитывают в тысячу раз эффективнее милицейских штрафов.

Устоять перед соблазном временок в Новой Каховке было не так легко. На стройку стекались тысячи рабочих, их размещали временно в окрестных деревнях и городах. Множество машин и катеров занято было доставкой рабочих на строительную площадку к началу смены. Это создавало немало трудностей и для Днепростроя и для самих рабочих. И все же до последних дней строители придерживались решения, принятого в самом начале стройки, и вселяли рабочих только в благоустроенные городские дома. Пожалуй, единственной уступкой обстоятельствам явилось создание временного

городка на колесах. Он просуществовал до последнего времени, хотя состав его жителей непрерывно менялся. «Вагонный городок», расположенный за чертой города и обросший даже сараями и свинарниками, не связывал ни в какой мере градостроителей и не отвлекал на себя средств, ассигнуемых на жилье по сметам. Прошло время, вагоны убрали, и люди переселились в обычные городские дома.

Вероятно, любой хозяйственник, в особенности строитель крупного объекта, постоянно испытывает стремление — практичное, но недалекое — ухватиться за первую полумеру, которая позволит быстро залатать дыры в хозяйстве, хотя тем самым коренное решение проблемы отодвигается на неопределенное время. Давший волю такому стремлению хозяйственник — всегда жертва «текучки», он готов во имя выполнения плана данного месяца пожертвовать будущим, итогами года, техническим прогрессом. Хозяйственник иного склада не мирится с этим оппортунистическим стремлением, он видит перспективу, глядит в будущее, ищет лучшие пути. Он ни за что не согласится на подмену принципиального решения удобным компромиссом, сулящим только хорошие взаимоотношения с начальством и кратковременные выгоды для хозяйства.

Принципиальность строителей Новой Каховки сказалась не только в том, что они обошлись без временок и сразу приступили к строительству благоустроенного города на вечные времена, но еще и в том, как его строили.

Город, каким мы его теперь знаем и любим, выстроен весь, целиком, включая крупные общественные здания, за два-три года. После 1954 года новые дома строились в основном только в поселке «индивидуалов», да еще в последнее время приступили к кварталу жилых домов нового завода. Построить город так быстро удалось не только потому, что Днепрострой, продолжая возводить плотину и ГЭС, не поскупился на материалы, технику и рабочую силу. Очень важно, что строительство шло потоком, по заранее разработанному технологическому плану. Строили не отдельные дома и даже не кварталы, а весь город по секторам и поясам. Как положено по науке, строительство действительно началось с планировки и прокладки всех коммуникаций. Строительство домов каждого типа осуществлялось поточно-расчлененным методом. Это значит, что за землекопами шли сантехники, бетонщики, за ними каменщики, плотники, штукатуры, монтажники, и место каждого звена и дневное его задание были заранее определены инженерным расчетом. Этот детальный технологический план разработала бригада Института строительной техники УССР (кандидат наук Будников), совместно с инженерами Днепростроя Баглером, Печонкиной и другими. Ежедневно поток захватывал новые объекты. На двадцать вторые сутки «выскакивал» из потока новый четырехквартирный дом и тут же заселялся рабочими строительства. Этим методом, например, за восемьдесят два дня построили сто пятьдесят три домика.

Труднее, не без перебоев, шло строительство каменных домов. Но и здесь дисциплинирующим фактором был технологический строительный план, охватывающий одновременно целую линию объектов. По вечерам мастера и бригадиры изучали рассчитанные инженерами циклограммы, а днем, справляясь с планом, руководили ходом строительного процесса. Налаженная по такому методу работа не терпит никакого нарушения ритма. Если звено не справляется с дневным заданием, оно обязано завершить его сверхурочно. И наоборот, выполнив задание за шесть часов, звено уходит с объекта. Очень скоро, как только определился ритм работы, рабочие звенья стали регулировать свой состав. Уже восемь человек выполняли задание вместо двенадцати, производительность труда, заработки росли, но шаг потока оставался неизменным, каким его задумали инженеры, поставившие перед собой задачу обеспечить единство строительного процесса.

Важным рычагом прогресса в строительстве стало упорядоченное техническое снабжение; крайне обобщенный и расплывчатый «план снабжения», который составляется на многих стройках по принципу «авось, небось и как-нибудь!», сменила комплектовочная ведомость. Характерно, что она заимствована строителями у передовиков-монтажников; оперируя ею, прораб уж не может формулировать рабочие задания, не соответствующие наличию материальных ресурсов.



Строить серию объектов одновременно, по продуманному технологическому плану, обеспеченному материалами соответствующей спецификации,— это ли не мечта каждого строителя?

Я вовсе не хочу утверждать, что эта мечта полностью воплотилась в строительстве Новой Каховки. Неполладки последних лет в снабжении, увлечение «волевыми» планами и заданиями в ущерб технологическим расчетам до некоторой степени развратили строителей. Трудно было бы ждать от одной из первых попыток поточного строительства целого города идеальной слаженности всех компонентов процесса. Но все же опыт удался. Хотя и часты были отступления от заданного технологического плана, восторжествовала система. Отличный, благоустроенный городок на двадцать тысяч жителей был создан за короткий срок.

## 4

Новая Каховка существует всего четыре-пять лет. Для любого поселения это ничтожный возраст. Но, оказалось, и пяти лет достаточно, чтобы город, в строительстве которого последовательно воплощались социалистические принципы, начал оказывать заметное влияние на нравственный облик жителей.

Вспомним, что на стройку Каховской ГЭС съезжались тысячи разных людей со всех концов нашей страны. Тут можно было встретить комсомольцев-энтузиастов, мечтавших о личном участии в огромной стройке, но также и многочисленных искателей длинных рублей. В Каховку прибывали опытные кадры механизаторов и монтажников, но среди рабочих решительно преобладала зеленая молодежь, не имевшая квалификации.

На каждой советской стройке, с первых ее дней, идет процесс объединения всех лучших элементов из числа строителей вокруг ядра квалифицированных рабочих, энтузиастов из молодежи. Процесс этот часто идет не так быстро, как хотелось бы, часто наталкивается на большие препятствия, но продолжается до самого конца стройки. Не одни юнцы, но и взрослые мужчины и женщины получают на стройке квалификацию, сбывают веру в будущее, с этих пор неразрывно связанное с новой профессией. Но случаются и потери. Неустоявшимся юношам подчас трудно бороться с влиянием дурных компаний — тем более в условиях перенаселенного общежития.

Жилищная политика Днепростроя сразу дала решительный перевес силам, борющимся за создание прочного, здорового коллектива.

Конечно, и в Новой Каховке молодежь живет в общежитиях. Но холостяки размещены по небольшим комнатам таких же благоустроенных каменных домов, как и те, в которых живут семейные люди. Здесь не увидишь казарм-бараков, в которых расставлены десятки коек. В одной части такой казармы развлекаются, выпивают, танцуют или бранятся, в другой спят, а в третьей сидит какой-нибудь юноша и, зажав уши, стоически зубрит учебник. В Новой Каховке не встретишь среди коек холостяков семейного «гнездышка», кое-как отгороженного простынями и занавесками.

Когда общежитие устроено в восьмиквартирном доме, всегда можно подобрать себе в комнату по склонностям, по роду занятий двух-трех соседей. И если в таком общежитии появятся молодожены, то уж не так неразрешима задача устройства новой семьи, тем более что город, в общем, не перенаселен.

Надо также отметить, что Новая Каховка выделяется высоким «коэффициентом семейности». Где еще среди строителей на одного работающего падает 2,1—2,3 иждивенца? В молодом городе родилось уже свыше тысячи детей, поломаны все «плановые» расчеты, приходится открывать новые ясли, школы работают (к сожалению!) в две и три смены.

Конечно, нельзя сказать, что при строительстве города не было допущено никаких просчетов.

Дворец культуры изумителен, его показывают приезжим, им любуются, в его комнатах на первом и третьем этажах работают многочисленные кружки... Но, к сожалению, в городе с двадцатитысячным населением нет кинотеатра, четыре-пять раз в неделю

зал Дворца культуры занят кинопрокатом. И вообще в городе, начатом с завидным размахом, не хватает зданий общественного назначения. Горсовет с его отделами, Дом туриста, нарсуд, музыкальная школа, ряд магазинов занимают жилые дома.

Видно, что одна из главных магистралей города, предназначенная для транзитного автомобильного движения, через несколько лет не справится с потоком машин. Вообще, город до последних лет не имел генерального плана развития, и поэтому новые кварталы, строящиеся за счет сметы завода, кажутся чем-то чужеродным в городе. Они пристраиваются к улицам, состоящим из приземистых коттеджей, при этом новые дома проектируются четырехэтажными.

И все же надо сказать, что главное в облике Новой Каховки радует и нет никаких сомнений, что строительство этого города — удачный опыт, который необходимо сделать достоянием всех проектировщиков, строителей, городских Советов в нашей стране.

## 5

Еще в пути, на пароходе, я встретился с группой строителей Каховской ГЭС, которые ехали на побывку к семьям. Сами они уже перебрались в Днепродзержинск и приступили там к строительству третьей гидроэлектростанции днепровского каскада, но нити хозяйственного руководства тянулись по-прежнему в Новую Каховку, где проживали их семьи. Между двумя городами на Днестре поддерживалась повседневная живая связь.

Петр Харитонович, жизнерадостный человек лет тридцати семи, с бронзовой от загара кожей, с бровями, выцветшими под южным солнцем, с руками механика — их не отмоешь и в десяти водах! — философствовал без видимой обиды на судьбу:

— Нас, строителей гидростанций, прозвали «перекати-поле». Верно. Монтаж последнего агрегата для нас вроде сигнала: собирай манатки, готовься к переезду! Без женских слез не обойдется, да и самому досадно. В Новой Каховке жить бы да жить! Но ремеслу своему не изменишь: кто в кони пошел, тому и воду возить!

— У тебя жена — клад! — возразил ему рыжий парень, на облик которого профессия еще не успела наложить отпечаток. — А с моей Маруськой, с тех пор как родила Валерика, сладу нет. Твердит: от добра добра не ищут, нигде сына воспитывать не буду — только в Новой Каховке! Меняй, говорит, профессию, переучивайся, поступишь на завод электромоторов, когда его достроят!

Новокаховцы держались на пароходе тесным землячеством; разговор происходил в столовой третьего класса, где они отмечали возвращение, хоть и кратковременное, в родную Каховку. Тут же, в столовой, сидел в стороне, прихлебывая кипяток из кружки, еще один человек — сухой, мускулистый, лет под пятьдесят.

— Права твоя баба, — рассудил он, самоуверенно вступая в разговор, — ее, материно, дело детей растить, а где и вить гнездо, как не в Новой Каховке? Уж на что мы, вятские, к родным местам привержены, но окоренился же я в Каховке? И из Днепродзержинска уволился насовсем.

— Не равняй нас с собой, Аким Сергеич. Ты хозяин: у тебя дом, виноградник.

Аким Сергеевич, человек, по-видимому, обидчивый и нравный, ответил так:

— В наших местах говорят: коли кто за едой укорит — сам подавится. Долго ли вятскому плотнику дом срубить? И виноградник всякому под силу в этом краю. Известно — лень без соли хлебает, лежа на печи, и то замрзнет! В нынешний год соберу на усадьбе пудов восемьдесят урожая...

С Акимом Сергеевичем спорить не стали, но вопрос о достоинствах Новой Каховки не был снят с обсуждения.

— Нет, скажите, будьте ласковы, — пожаловался еще один человек, шофер по профессии, походивший, однако, всем своим чуть наивным обликом на какого-нибудь пасечника, — что это? Кроме Каховки, и жить теперь негде? Моя говорит: перемаемся годик врозь, а когда завод построят — вернешься. Мы молодые — и жить врозь? Нет, так у нас не пойдет! Отпросился у начальника на три дня. Хай жена решает! Если

за мной не пойдет — значит не люб, готова мужа на Каховку сменять. Тогда — прощай! Я свою жизнь по-ининому устрою!

В те дни только и было разговоров, что о переезде в Днепродзержинск. И ни у кого не было охоты расставаться с Новой Каховкой. Руководители Днепростроя говорили, не скрывая лукавой улыбки (они не сомневались в своих кадровых рабочих!): «Оказывается, себе на беду построили городок, чересчур удобный для жилья, — никто и выезжать не хочет!»

Сосед по каюте, инженер Днепростроя, — уж он-то не променяет своей профессии строителя гидростанций ни на какую иную! — тоже восхищался Новой Каховкой и сожалел, что семье придется ее покинуть. В Днепродзержинске достраивали дом для инженеров; его ожидала квартира, нисколько не уступавшая той, в которой он жил в Каховке. Чем же мил его сердцу юный город на Днепре?

— Днепродзержинск, — рассказывал Алексей Владимирович, — похож на все другие большие промышленные задымленные города, в которых прекрасные каменные дома соседствуют с деревяшками. Мы строимся в старинной слободе; в ней до сих пор проживает немало людей сомнительного жизненного профиля. Их не завербуешь на стройку, они ускользают от воспитывающего влияния нашего коллектива. Напротив, станут, как магнитом, притягивать к себе в бараки, в клетушки, на задворки и в тупики самых податливых из наших строителей — холостяков. А опыт подсказывает, что новому городу нелегко вытеснить старый поселок. Как все это не похоже на Новую Каховку! Там возводили новый город на первозданной земле. И расселили всех просторно, и дали возможность пользоваться благами городской культуры!

Параллель между двумя городами закончилась откровенным панегириком Новой Каховке.

— В этом городе, — утверждал мой собеседник, — как нигде привольно и спокойно. Дома, улицы, площади как бы созданы для спокойной трудовой жизни. А Днепр!.. Само небо здесь приветливое, ветерок ласковый! Я думаю, даже разрастаясь, Каховка сохранит свой облик. Город молод, но у него уже сформировались прекрасные традиции. Ей-богу, когда-нибудь статистики раскопают архивы загса и установят, что человеческий век в Новой Каховке лет на десять длиннее, чем в любом другом индустриальном городе.

Ранним утром, по дороге с пристани, я спросил адрес гостиницы у женщины-дворника. Глядя на мой чемодан, она спросила:

— Приезжий? В командировку или напрочно?

— Думаю приглядеться, — ответил я из осторожности.

— Ну, значит, здесь и осядете, — усмехнулась она. — В Новой Каховке всем нравится.

На улицах проснувшегося города появились первые пешеходы. Какая-то девушка снова указала мне путь и посоветовала обратить внимание на небольшую вывеску по наружной стене.

— Без вывески не угадаете. Какая это гостиница! Просто такой же уютный домик, как все соседние!

По своему побуждению, только потому, что встретились с приезжим, о Новой Каховке тепло отзывались самые различные люди: сотрапезники в столовой, девушка, горевашая из-за того, что по семейным обстоятельствам ей предстояло переезжать в Херсон (в областной центр!), уборщица в гостинице, уверенная, что в Каховке ей, многодетной матери, легче будет поставить на ноги пятерых детей.

Плановик, человек женатый и многодетный, переучивался здесь на инженера-энергетика в вечернем отделении Одесского института. Он считал, что ему в его возрасте едва ли удалось бы совершить такой подвиг в крупном городе, хотя бы из-за больших расстояний и сутолоки. С ним переключался маляр, человек неожиданной биографии: он, например, в молодости проходил курс хореографических наук, а теперь учился в вечернем техникуме. «Есть все условия для учебы, — объяснил он, — приличная квартира, хорошие ясли, да и кругом все учатся: как-то неловко отставать от других». Плотник ЖКУ, он же любитель игры на трубе, не мог нахвалиться культурным обликом города: музы-

кальным училищем, кружками во Дворце культуры, образцовой школой, где опять-таки ценят музыку и с его помощью организовали духовой оркестр из ребят.

Я свел еще знакомство со старичком пенсионером, ежегодного гостящим у дочери. С утра он отправляется к реке, вооруженный спиннингом, и никак не может нахватиться Новой Каховкой. Раньше он ездил летом на курорт, но куда там, в Каховке лучше! Еще один пенсионер, садовод-любитель, привел меня на крохотный участок при коттедже, напоминающий по обилию насаждений японский садик, с гордостью показывал отличные персики, выращенные им, виноград, различную ягоду, цветы,— чего только там не было, в этом садике! Моему гостеприимному хозяину и многим его товарищам из местного общества охраны природы город обязан сохранением вековых деревьев, двух рощ вблизи города, нескольких гектаров общественных виноградников.

— Дух здесь здоровый, в Новой Каховке,— хвалила город жена одного известного тут слесаря.

Она радовалась тому, что муж унялся, перестал «зашибать», взялся за учебу. А слесарь не только сам записался в вечернюю школу, но привел с собой все звено и придирчиво следит за тем, чтобы молодые его товарищи не отлынивали от занятий.

Действительно, в Новой Каховке царит здоровый дух — всякий талант, всякий умелец получает признание и совершенствует свой дар. Я посещал собрание литературного объединения при местной газете. Среди них нет профессионалов, но стихи и рассказы новокаховцев уже проторили дорожку в московские и киевские журналы. Крановщик пишет стихи, служащий жилищного отдела — басни, диспетчер — рассказы. Регулярно встречаясь в литературном объединении, вдумчиво разбирают каждое новое произведение собрата по перу.

В клубе я познакомился с картинами местных художников. Их привлекает производственный пейзаж: Днепр, взнузданный человеком. Много портретов, акварелей. Вообще художники — наравне с садоводами и поэтами — один из самых деятельных отрядов местных патриотов.

Я думаю, что влияние города — благоустроенного, красивого и не перенаселенного — сказалось и в том, что проявили себя многочисленные люди доброй воли. Они по собственному побуждению, не в силу служебного долга, а по душевной щедрости отдают свой труд, свое время, свои заботы чужим детям, общественным садам, школе, дворovým клубам, своему кварталу в городе, соседу, нуждающемуся в помощи.

Такова, например, группа любителей природы, возглавляемая электриком И. Г. Новиковым, пенсионером И. С. Пономаревым и садоводом Степаном Марковичем Фальдинским,— я не могу забыть овацию, устроенную на любительном торжестве этому осанистому старику, заросшему седой бородой,— сотни людей пользовались его советами, получали у него посадочный материал для своих садов и поминали его добрым словом, отдыхая в парке и в скверах.

А. И. Тесменецкая, учительница английского языка, поставила балет, исполненный детьми; они дали не одно представление на сцене Дворца культуры и даже выезжали в район.

Рабочий В. Г. Почекутов дирижирует — единственно по склонности своей к музыке — школьным оркестром. Он неизменный участник концертов во Дворце культуры. Председатель горсовета В. П. Шкода пишет книгу, историю Каховки, старой, оваянной легендой, и новой, рабочего города при Каховской ГЭС. Главный инженер гражданского строительства В. Т. Баглер находит время, чтобы ставить любительскими силами оперу «Запорожец за Дунаем». Местные композиторы сочиняют музыку на стихи каховских поэтов. Выпускники поддерживают тесную связь со школами; на традиционный вечер школы № 1 съехалось много ее питомцев, студентов различных вузов.

Встречи с новокаховцами заставляют поразмыслить над явлениями местного патриотизма, над привязанностью жителя к своему городу.

Замечено, что толпы прохожих на Крешатике даже в рабочие часы движутся, как на прогулке. Куда бы ни торопился киевлянин, шаг его здесь произвольно замедляется.

Ленинградцы, куда бы ни шли по городу, стараются, чтобы хоть часть пути пришлась на солнечную сторону Невского.

Подобно киевлянам и ленинградцам, в свои города влюблены москвичи, ереванцы, тбилисцы. Немало на свете патриотов Одессы, Севастополя, Ростова, Ярославля, Владивостока и других городов. И само собой разумеется, их патриотические чувства питаются не одним только созерцанием совершенных архитектурных ансамблей.

Но немало еще у нас городов, а в особенности новостроек, которые пока не заслужили любви, душевной привязанности своих жителей. В таких городах, как любят об этом говорить хозяйственники, сильны «чемоданные настроения». Большинство, впрочем, продолжает жить и работать там, куда их забросила судьба, но при этом живут, как на бивуаке, без мысли о том, чтобы украсить двор, квартал, улицу возле дома, чтобы устроиться навсегда — для себя, для своих детей и внуков.

В эпоху первых пятилеток, когда гигантские стройки и молодые заводы нуждались в миллионах новых рабочих, мы открыто радовались тому, что тронулась, покатились по рельсам Россия, что тем самым расшатываются устои унаследованного от империи затхлого, косного мешанского быта.

Но с тех пор все коренным образом изменилось в стране — в экономике, в культуре, в быту. Мы создали мощную индустрию. Промышленность нуждается в квалифицированном кадровом рабочем. «Текучесть рабочей силы» нетерпима, она дезорганизует производство. Но с нею легче бороться в красных, благоустроенных городах, способных удовлетворить многогранные, непрерывно растущие потребности трудящихся. Жители таких поселений, как это доказал короткий, но весьма убедительный опыт Новой Каховки, вскоре становятся горячими патриотами своего города, не щадят усилий для его украшения; они не помышляют о переселении и накрепко связывают судьбы свои и своих семей с городом и производством; им легко здесь воспитывать своих детей здоровыми физически и нравственно.

Теперь, по призыву партии, выразившему чаяния всего народа, усилия страны будут направлены на то, чтобы в ближайшие 10—12 лет покончить с недостатком в жилищах. Очень важно, чтобы опыт таких молодых городов, как Новая Каховка, был воспринят повсеместно. Новые города, новые районы старых городов, поселки при возникающих вновь крупных промышленных предприятиях должны с самого начала строиться с таким расчетом, чтобы удовлетворить и производственные, и бытовые, и культурные потребности их будущих жителей.



---

---

Профессор И. ПИСАРЕВ

★

## ПРОБЛЕМЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

**В** период развернутого строительства коммунизма видное место в наших общественных процессах должна занять новая отрасль научных знаний — наука о народном потреблении.

Наука эта в Советской стране только формируется и пока еще не имеет резко очерченных контуров. Основное содержание ее — экономическое, вместе с тем она соприкасается с санитарией, гигиеной, физиологией питания и другими разделами медицины, органически связана с экономикой труда и демографией.

Материал этой науки — результаты наблюдений и обследований. Море цифр! На первый взгляд хаотически нагроможденных, сплетенных в запутанный клубок. А всмотришься — нет, не пляска математических символов, а логически тончайшие соединения и сочетания, необходимые звенья одной цепи умозаключений, своевременные, яркие и точные сигналы происходящих явлений, подобные вспышкам на колоссальном пульте управления.

Предмет новой науки, ее главные разделы официально называются очень сухо, академично. Это экономика и быт семьи. Это жизненный уровень трудящихся. Это народное потребление как момент расширенного социалистического воспроизводства. Но все вместе взятое — сама жизнь, существование и прогресс человека, всего общества, проблемы первостепенной важности. И лишь глубокое понимание взаимосвязи и единства этих проблем позволяет правильно выбрать пути их решения.

Некоторыми мыслями о научной организации народного потребления мне и хотелось бы здесь поделиться.

### 1

Труженики социалистического общества заняты либо в сфере материального производства, либо в непроизводственной сфере. Труд тех и других является общественно полезным трудом, но материальные блага в их вещественной форме производятся только людьми, работающими в промышленности, сельском хозяйстве и в других отраслях материального производства. В экономическом смысле это и есть производительный труд, в результате которого создается общественный продукт и национальный доход.

На основе первичного распределения произведенного обществом национального дохода образуется фонд удовлетворения личных потребностей работников, занятых в материальном производстве, где основополагающим является принцип оплаты по труду, и фонд удовлетворения общественных потребностей. Правильное разграничение этих фондов — одна из серьезнейших задач науки о народном потреблении.

Наиболее интересен с точки зрения перспектив и мобильности общественный фонд потребления. По мере движения к коммунизму все более и более будут возрастать объем и значение этого фонда. Принципы его формирования выражают собой высокую

мораль и гуманизм нового, социалистического общества, основанного на постоянной взаимопомощи.

Имеется немало оригинальных мнений, подчас довольно спорных, относительно использования средств этого фонда.

Один из советских экономистов, например, предлагает уже в ближайшее время приступить к бесплатной раздаче пятирублевых обедов для всего населения страны. Расход на удовлетворение этой «потребности», по мнению автора проекта, составит 365 миллиардов рублей в год, то есть по одному миллиарду рублей в день. В действительности материальные затраты на эту затею были бы значительно выше. Ведь надо же построить и оборудовать огромнейшую сеть столовых, включая и сельские местности. Потребовалось бы обучить многие сотни тысяч поваров и другого персонала. Думается, что счет расходов придется вести уже не на миллиарды, а на триллионы народных средств. Нужно ли это?

Несостоятельным представляется нам и предложение кандидата экономических наук П. Мстиславского (см. «Коммунист» № 16 за 1958 год), который считает целесообразным в семилетнем плане уменьшить на 70 миллиардов рублей капитальные вложения в жилищное строительство, соответственно увеличив вложения в строительство предприятий общественного питания. По мнению П. Мстиславского, эту операцию можно осуществить без ущерба для проблемы жилья, за счет уменьшения площади кухонь в новых домах, а то и просто их упразднения, для чего, мол, достаточно встроить в стену шкаф с установленной внутри него газовой или электрической плитой. Товарищ Мстиславский без каких-либо на то оснований, видимо, полагает, что кухня вообще не нужна людям, с ней нужно бороться, как с неким социальным злом. При этой поспешности забывается не только то, что кухня часто является в то же время и столовой, но и то, что для перехода на питание всего населения в столовых нужна еще весьма большая подготовка, в том числе и психологическая.

Рациональная основа общественного питания состоит вовсе не в том, чтобы все семьи в полном составе, то есть с малолетними детьми, бабушками и дедушками, три-четыре раза в день ходили в столовые и кафе. Суть дела в том, что процесс приготовления пищи становится индустриальным процессом. Зло домашнего труда — это ничтожно малая его производительность, и задача заключается в максимальном облегчении домашнего труда. Кстати сказать, свое рационализаторское предложение заменить кухни встроенными шкафами П. Мстиславский распространяет даже и на те семь миллионов домов, преимущественно деревянных, которые будут построены в текущем семилетии колхозниками и сельской интеллигенцией.

Нам кажется, что более близкую к жизни картину нарисовал свыше ста лет назад Этьен Кабе в своем «Путешествии в Икарью». Он писал, что в шесть часов утра, до начала работ, все рабочие совместно подкрепляются очень простым первым завтраком в своих мастерских (в наших условиях — заводская столовая). В девять часов они завтракают в мастерской, тогда как жены и дети их завтракают дома. В два часа, то есть после окончания рабочего дня, все жители данной улицы вместе обедают в республиканском ресторане. Вечером, между девятью и десятью часами люди ужинают в кругу своих родных. По воскресеньям семья питается у себя дома или проводит день в деревне. С этой целью, пишет Этьен Кабе, во всех ресторанах готовятся холодные блюда, которые доставляются по указанному адресу.

Но так или иначе, а будет очень хорошо, если наша широкая общественность, а не только специалисты-теоретики, включится во всестороннее обсуждение всякого рода житейских дел, вопросов быта. Ведь когда же и поспорить, обменяться суждениями, как не сейчас, когда мы стоим уже на пороге коммунизма.

Возвращаясь к проблеме питания, заметим, что следует различать несколько организационных его форм, а именно: питание на работе, в общественной столовой по месту жительства и дома, питание детей в детских учреждениях и школах, питание на отдыхе. Если в основе приготовления полуфабрикатов будет лежать индустриальный процесс, а домашний труд сведется к минимуму, все эти формы питания приобретут общественный характер. Другими словами, дело идет к более высокому уровню кол-

лективизации в этой области нашего быта. Надо только найти оптимальное сочетание различных форм, всемерно улучшать качество общественного питания и снижать его стоимость.

## 2

Уровень жизни... Очень часто приходится слышать и встречать в печати сочетание этих слов. Оно так примелькалось, что иной раз даже и не вникаешь в содержание самого понятия. А между тем существо его очень тонкое, подчас обманчивое; чтобы хорошо разобраться во всех его сторонах, надо знать политическую экономию. И как часто оказывается пойманным в ловушку ложных представлений человек, воспринимающий вещи и явления лишь с их внешней, фасадной стороны.

Сошлемся хотя бы на такой факт.

Машина американской буржуазной пропаганды всячески превозносит образ жизни в США. Кажется, что разве только птичьего молока не хватает счастливейшим в мире американцам. Рай земной, а не жизни! Но просветите поглубже суть американской действительности, и вы увидите в ней много отталкивающего и устрашающего. Известно ведь, что общие сравнения по укрупненным показателям носят, как правило, слишком обезличенный характер и по существу вопроса мало что говорят.

Экономистами из Научно-исследовательского института труда (Москва) была сделана попытка применить иной метод сопоставления. Взята рядовая, реально существующая семья советского рабочего и поставлена в жизненные условия, существующие в Америке. И вот как это выглядит.

В семье рабочего Гриднева четверо: муж 33 лет, слесарь одного из подмосковных заводов, жена такого же возраста, работает там же аппаратчицей, теща 76 лет, пенсионерка, и шестилетняя дочь. В 1958 году у Гридневых родился второй ребенок. Семья живет в коммунальной квартире на площади 29 квадратных метров. Общий денежный заработок семьи составляет 1942 рубля в месяц; сюда надо прибавить дополнительные доходы и услуги со стороны государства, равные 456 рублям в месяц.

Мы не будем затруднять внимание читателя экономико-статистическим анализом всей структуры бюджета семьи. Остановимся лишь на отдельных его статьях.

В течение года Гриднев был на приеме у врача пять раз, его теща — столько же, а жена — десять раз. Девять дней она лежала в родильном доме, четыре месяца была в декретном отпуске. Новорожденного ребенка каждый месяц показывают врачу. На протяжении года Гридневы вызывали врача на дом четыре раза.

В Соединенных Штатах Америки семья из четырех человек, согласно расчетам комитета Геллера, должна иметь доход в 488 долларов в месяц. Из этой суммы 10 процентов отнимают налоги, 28 процентов идет на питание, 8 процентов — на одежду, 15 процентов — плата за квартиру, 4 процента доходов откладывается в виде сбережений, 35 процентов остается на образование, лечение, транспорт, культурные нужды и прочие расходы.

Как известно, в Советском Союзе трудящиеся пользуются бесплатной медицинской помощью; квартирная плата в бюджете рабочей семьи у нас занимает не больше 5 процентов.

В бюджете комитета Геллера расходы на медицинское обслуживание предусмотрены незначительной цифрой — 36,3 доллара в месяц. Практически же получается совсем иное.

По американским расценкам, расходы, вызванные родами, составляют около 700 долларов, что приблизительно равно трехлетним сбережениям. Приглашение врача на дом стоит 6,36 доллара. Непомерно велика в США стоимость медикаментов. Семья американского рабочего, пользующаяся медицинскими услугами в той же мере, как и семья Гридневых, должна была бы расходовать не 36,3 доллара, а на 109,5 доллара больше.

С учетом этого размер дохода по бюджету комитета Геллера должен выразиться уже не в 488 долларах, как это рассчитано теоретически, а в 597,5 доллара в месяц.



Таковы итоги сопоставления отдельных сторон образа жизни двух семей, живущих в разных социальных условиях.

Но дело, конечно, не только в абсолютных цифрах. Суть в тенденциях.

Бюджет комитета Геллера составлен по нормативным расчетам. Но вот, например, в 1958 году средняя заработная плата индустриального рабочего в США фактически составила не 488 долларов в месяц, как предусмотрено в бюджете комитета Геллера, а только 320 долларов. При этих условиях сбережения становятся лишь мечтой, а болезнь членов семьи превращается в катастрофу. Что же в этих случаях остается от хваленного американского уровня жизни?

Применительно к условиям капиталистической экономики понятие «уровень жизни народа» означает ту совокупность материальных и культурных благ, какую трудящимся удалось отвоевать у эксплуататорских классов. Отвоєванные жизненные блага всегда находятся под угрозой покушения на них со стороны класса капиталистов. Крайняя неустойчивость, отсутствие уверенности в завтрашнем дне — вот характерные черты социальных условий, в которых живут трудящиеся в капиталистических странах, где с неустрашимой силой действует закон относительного и абсолютного обнищания пролетариата.

Применительно к условиям социалистической экономики понятие «уровень жизни» означает достигнутую степень материального благосостояния и культурного роста трудящихся. Уровень жизни трудящихся при социализме устойчив. Рабочему не грозит безработица, так как этот страшный бич пролетариата ликвидирован. Семье рабочего не грозит катастрофа в случае болезни кормильца, так как социалистическое государство придет на помощь через систему социального страхования. Нищета и пауперизм не грозят рабочему при наступлении старости, так как в стране социализма существует система социального обеспечения.

Характерная черта жизненного уровня трудящихся при социализме — его неуклонное повышение, все более полное удовлетворение материальных и культурных потребностей на основе роста производительности народного труда.

Интересно проследить те изменения, которые произошли за годы Советской власти в условиях быта, например, ленинградских рабочих-текстильщиков (сведения взяты из статьи Н. Кузнецовой и И. Немчиновой, опубликованной в только что вышедшем сборнике Института труда «Вопросы труда. Выпуск IV»).

Материалы бюджетных обследований, проведенных на прядильно-ниточном комбинате имени Кирова и на фабрике имени Желязова, показывают следующую структуру расходов семейных текстильщиков (в процентах к общему расходу):

| Статьи расхода  | Г о д ы |      |
|---|---------|------|
|   | 1908    | 1958 |
| Питание . . . . .                                       | 55,0    | 45,9 |
| Алкогольные напитки и табак . . . . .                   | 3,7     | 1,9  |
| Одежда, обувь и белье . . . . .                         | 15,7    | 22,6 |
| Жилище . . . . .  | 14,6    | 3,8  |
| Общественные расходы и культурные потребности . . . . . | 2,7     | 6,3  |
| Прочие расходы . . . . .                                | 8,3     | 19,5 |

Как видим, в прошлом у петербургских семейных текстильщиков затраты на питание и жилище составляли почти 70 процентов общего расхода. В наше время на эти цели рабочие расходуют менее половины денежных средств семьи. В то же время резко улучшилось качество питания. Обследуемые ленинградские текстильщики стали потреблять больше, чем текстильщики до революции (в пересчете на взрослого едока): мяса и мясоизделий — почти в два раза, крупы и бобовых — в два с лишним

раза, молока, молочных продуктов и сахара — почти в три раза, животного масла — в три с половиной раза.

В бюджете советских людей значительный удельный вес занимают расходы государства на те виды благ и услуг, которые население получает помимо заработной платы. Примерно каждый третий рубль из государственного бюджета сейчас расходуется на социально-культурные нужды народа. В прошлом году расходы государства на детские учреждения, на бесплатное обучение, повышение квалификации, бесплатную медицинскую помощь, здравницы, социальное страхование, пособия, пенсии, оплату отпусков и другие выплаты выразились в сумме 215 миллиардов рублей. А к концу семилетки они должны составить приблизительно 360 миллиардов рублей. Это значит, что каждый работник получит в год около 3800 рублей дополнительных доходов. Если к этому прибавить еще 800 рублей — государственные расходы на строительство жилищ, школ, культурно-бытовых и медицинских учреждений, то общая сумма в дополнение к заработной плате каждого работника составит 4600 рублей в год.

При капитализме существует антагонистическое противоречие между потреблением и производством, обусловленное действием закона прибавочной стоимости.

При социализме устанавливается новое соотношение между производством и потреблением, вытекающее из основного экономического закона социализма. Благо народа, максимальное удовлетворение разумных потребностей трудящихся является определяющим мотивом производства. При социализме сохраняется противоречие между потреблением и производством, так как рост потребностей обгоняет рост материального производства. Но это противоречие не является антагонистическим. Постепенно, в меру развития производительных сил, общество полнее удовлетворяет все большее число потребностей. Рост потребностей никогда не приостановится. Будут возникать все новые и новые общественные потребности, главным образом в сфере культуры и науки. Но и развитие производительных сил в социалистическом обществе тоже никогда не приостановится. Это ведет к тому, что на основе непрерывного повышения производительности труда будут созданы неограниченные материальные ресурсы для удовлетворения растущих потребностей.

Было бы неправильным считать, что уровень жизни целиком определяется национальным доходом, произведенным в данном году. Огромное значение здесь имеет аккумулированный, накопленный национальный доход, воплощенный в национальном имуществе (жилой фонд, средства транспорта, сооружения и здания общественного пользования), а также в известной мере и имущество, накопленное самим населением (кооперативные квартиры, коллективные сады, мебель, одежда и другие предметы длительного пользования потребительского назначения).

Понятие «уровень жизни» может быть конкретизировано, до известного предела разложено на составные части. Но только до известного предела, так как уровень жизни не есть арифметическая сумма материальных и духовных благ; это — сложное социально-экономическое явление, включающее исторический и моральный момент. Уровень жизни трудящихся в социалистических странах выше по своему социальному типу, чем в капиталистических странах, поскольку в социалистических странах устранена эксплуатация человека человеком, достигнута устойчивость жизненных условий и происходит непрерывный процесс их улучшения. Однако не исключается, что отдельные условия жизни (например, жилищные условия) до поры до времени остаются лучшими в некоторых капиталистических странах, чем в социалистических странах. В Советском Союзе исключительно важную роль в формировании жизненного уровня трудящихся играет общественный фонд потребления. В результате расширения этого фонда в ближайшие годы в нашей стране будут решены важнейшие социальные проблемы. Мы имеем в виду проблему жилья, освобождение женщины от малопроизводительного труда, общественное воспитание подрастающих поколений. Ныне уже в основном решены проблемы обеспечения старости, бесплатной медицинской помощи, образования и другие.

Чтобы наглядно представить себе исключительно массовый характер дополнительных доходов из общественных фондов, приведем такие факты. На обеспечении государства, колхозов и общественных организаций находится около 20 миллионов пенсионеров. 5 миллионов наших ребят воспитываются в яслях, детских садах и домах. 3,3 миллиона учащихся обеспечиваются государственными стипендиями и общежитиями. 5,6 миллиона детей ежегодно отдыхают в пионерских лагерях, на летних школьных площадках и на экскурсионно-туристских базах. Около 7 миллионов многодетных и одиноких матерей получают от государства пособия на воспитание детей. Свыше 3 миллионов человек ежегодно лечатся и отдыхают в санаториях и домах отдыха за счет средств государственного социального страхования и колхозов.

### 3

При изучении потребления совершенно исключается — как заведомо несостоятельный — обезличенный средний подход. Метод обезличенных средних не есть научный метод. В. И. Ленин в работе «Аграрный вопрос и «критики Маркса» писал по поводу данных баденской анкеты о крестьянском хозяйстве и по поводу комментариев этой анкеты буржуазным апологетом Герцем: «Эти данные еще и еще раз подтверждают, как негодны огульные отзывы и как фальшивы все вычисления доходности, игнорирующие различия в уровне жизни».

Перед наукой о народном потреблении стоит задача дифференцированного изучения уровня потребления по группам семей рабочих, служащих, колхозников. В основу группировки, как правило, должен быть положен совокупный доход семьи, приходящийся на одного члена семьи, или на одну потребительскую единицу. Это дает возможность анализировать фактические нормы потребления по группам семей с низким, средним и высоким душевыми доходами.

Основной доходной статьей во всех семьях, за исключением семей пенсионеров, является заработная плата (а также и доходы колхозников). Изучение фактических материалов позволяет установить следующие закономерности, присущие нашей экономике.

Дифференциация отдельных рабочих и служащих по уровню заработной платы больше, чем различия по уровню совокупных доходов семьи в целом.

Очень эффективным фактором сужения дифференциации и известного нивелирования различий служат социально-культурные мероприятия Советского государства, расходы из общественного фонда потребления.

Тенденция развития состоит в сокращении дифференциации как по уровню заработной платы работающих, так и по уровню совокупных доходов семей рабочих и служащих. Второй процесс протекает более быстро.

Эти закономерности являются специфическими для социалистической экономики. В условиях капитализма существует огромный диапазон в обеспечении семей, при этом пропасть, разделяющая класс эксплуататоров и рабочий класс, все увеличивается.

Исключительно важную задачу науки о народном потреблении составляет разработка и обоснование перспективных норм потребления в семье — продовольственных продуктов и промышленных товаров. В практике планирования народного хозяйства выяснилась необходимость двух взаимосвязанных видов перспективных норм, а именно: норм полного удовлетворения потребностей семьи и так называемых норм достатка, то есть норм с учетом некоторых, еще не преодоленных материальных лимитов.

Не следует дело понимать таким образом, что первоначально будут осуществлены нормы достатка, а затем, через известный период времени, будут достигнуты нормы избытка. В действительности процесс идет неравномерно. Так, например, потребность в хлебе и ныне удовлетворяется полностью, чего нельзя сказать, допустим, о потреблении фруктов. У нас существуют разработанные нормы полного удовлетворения потребностей в питании, одежде, обуви и др. Те и другие нормы подвергаются корректировкам на основе новых данных науки.

В основу проектировок семилетнего плана положены по ряду продовольственных продуктов и промышленных товаров не нормы изобилия, а более низкие нормы. Объясняется это тем, что производство той или иной продукции еще не позволяет достичь к 1965 году уровня изобилия.

Легко представить себе, насколько сложна, а главное, ответственна работа по установлению норм народного потребления. Малейший просчет может принести непоправимый вред. Тем более необходимы здесь организационное обеспечение взаимосвязей между отдельными областями науки и координация действий заинтересованных учреждений.

Однако уже сейчас, то есть по существу на начальном этапе развития науки о народном потреблении, видны и практически весьма остро ощущаются известные трудности, с которыми встречаются в своей работе экономисты-исследователи.

Очень существенным для всех перспективных расчетов является вопрос о нормах износа и оптимальных размерах запасов в семье предметов длительного пользования. Здесь наука о народном потреблении соприкасается с техническими дисциплинами и товароведением. Надо прямо сказать, вопрос этот изучен пока совершенно недостаточно. Отрицательно сказывается отсутствие статистических данных об инвентаре и гардеробе семьи. К сожалению, ЦСУ СССР на протяжении многих лет не производит соответствующих обследований.

Можно полагать, что насыщение каналов советской торговли товарами в большом и разнообразном ассортименте будет действовать как фактор снижения потребительских запросов (одежда, обувь и так далее). Полностью должны в ближайшие годы исчезнуть явления «страховых покупок», когда товар приобретается не потому, что он сейчас необходим, а из опасения, что его не будет в продаже в нужное время, как это еще бывает с сезонной промышленной продукцией.

Бюджеты рабочих семей открывают исключительно большие перспективы для изучения экономики и быта семьи. Возможности, заложенные в этом статистическом первоисточнике, буквально неисчерпаемы. Но современное бюджетное обследование должно быть значительно усовершенствовано как в программном, так и в организационном отношении. Похвальную инициативу проявило ЦСУ РСФСР, приняв решение всерьез заняться специальным обследованием бюджета времени членов рабочей семьи. Это сулит множество интереснейших и очень важных выводов и заключений. Ведь если экономика рабочей семьи, как в зеркале, отражается в приходе-расходном бюджете, то зеркалом, отражающим бытовые условия семьи, служит бюджет времени. Третьим, пока недостающим звеном единой цепи исследований должны явиться инвентарные списки, о значении которых уже говорилось.

#### 4

Изучение экономики и быта рабочей семьи по их фактическому состоянию—дело абсолютно необходимое. Но с такой задачей могла бы справиться и экономическая статистика. Наука о потреблении ставит перед собой цели более широкие и глубокие. Она изучает экономику и быт семьи в свете их закономерно складывающейся эволюции, постепенного усиления начал коллективности в быту.

Исключительно большую роль в преобразовании быта семьи играют общественные фонды потребления и практика реализации их средств — жилищное строительство, организация медицинских услуг, создание широкой сети детских учреждений и школ, общественного питания, бытового обслуживания и так далее.

В докладе на XXI съезде КПСС Н. С. Хрушев указывал, что «многие функции, выполняемые государственными органами, постепенно должны переходить в ведение общественных организаций». Несомненно, в ближайшие годы сильно возрастет роль общественных организаций в распределении и использовании общественных фондов потребления. Рассмотрим вкратце этот исключительно важный вопрос.

Сеть детских учреждений будет, видимо, развиваться все в большей мере по территориальному принципу, то есть по месту жительства родителей, а не по месту их

работы. Надо полагать, что так будет удобнее и для родителей и для ребенка. Территориальная сеть детских воспитательных учреждений должна включать ясли, детский сад, школу или школу-интернат, свой клуб или детскую секцию общего клуба и формируемый также по территориальному принципу, на базе школы, пионерский лагерь. Все эти учреждения, как известно, имеют свою администрацию и штатный персонал. Однако в их жизни, по нашему мнению, должно значительно больше, нежели сейчас, сказываться влияние родительских советов как органов общественного контроля и содействия.

Новую организационную форму примет общественное питание. Конкретные пути его развития на ближайшее время определены в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии и улучшении общественного питания», обнародованном 28 февраля текущего года, где, в частности, указывается, что предприятия общественного питания целесообразно перевести на работу с полуфабрикатами. Полуфабрикаты должны изготавливаться в специально организованных цехах, фабриках-кухнях или на предприятиях мясо-молочной и пищевой промышленности. Назовем такого рода предприятия «фабриками-заготовочными». Несомненно, что в недалекой перспективе ведущим звеном всей системы общественного питания должна стать именно такая крупная, оборудованная по последнему слову техники фабрика-заготовочная. Она будет обслуживать: производственную сеть общественного питания — столовые, буфеты, кафе на предприятиях; территориальную сеть, в составе которой очень большая роль должна принадлежать домовым кухням; сеть детского питания, в частности школьную сеть; сеть лечебного питания; сеть коммерческого типа — столовые, рестораны, кафе и так далее.

Система общественного питания хорошим качеством своей продукции, внимательным и заботливым обслуживанием, доступностью цен должна привлечь к себе потребителя. Материалы бюджетных обследований показывают, что расходы рабочих семей на общественное питание по отношению ко всем расходам на продовольствие пока невелики. В 1956 году, например, они в среднем составляли всего лишь 8,2 процента. За последние годы работа системы общественного питания улучшилась, но необходимого качественного перелома еще нет.

А вот какую картину дало специальное обследование, проведенное Научно-исследовательским институтом труда летом 1958 года. Было обследовано 274 рабочих завода «Комета» и трикотажной фабрики «Красный Восток».

| Группы рабочих по уровню дохода на душу | Процент пользовавшихся столовой |
|---|---------------------------------|
| До 250 рублей                           | 37,5                            |
| 251—350 рублей                          | 53,6                            |
| 351—750 рублей                          | 67,6                            |
| Свыше 750 рублей                        | 73,2                            |

Таблица наглядно показывает, что существующее ныне общественное питание малодоступно для рабочих с низким доходом.

Материалы обследования установили также, что обед, приготовленный дома, в ряде случаев обходится дешевле, чем обед в столовой, причем оказывается питательнее и вкуснее.

По-видимому, потребуется еще немало усилий, чтобы общественное питание завоевало популярность и должное внимание домашних хозяек хотя бы как фактор экономии времени. В этой связи большой интерес представляет опыт домашних кухонь. Сошлемся на такой пример.

В Москве, на Фрунзенской набережной, имеется домовая кухня, организованная Управлением общественного питания Мосгорисполкома год с лишним назад. Эта кухня, в отличие от столовой, не имеет обеденного зала и предназначена исключительно для

отпуска обедов на дом. В торговом зале здесь продаются полуфабрикаты, кулинарные и кондитерские изделия. В домашней кухне введены предварительные заказы на кур, мясо, рыбу, полуфабрикаты. В среднем в день кухня отпускает шестьсот обедов со скидкой 10 процентов. Стоимость обеда из трех блюд не более пяти-шести рублей. План оборота кухни составляет 450 тысяч рублей в месяц. Из опроса посетителей выяснилось, что домашняя кухня значительно высвобождает время женщин, занимающихся домашним хозяйством.

По данным Министерства торговли СССР, в стране имеется около двухсот предприятий общественного питания типа домашних кухонь. Перспективы развития их работы можно считать весьма благоприятными. Ведь преимущество домашней кухни в сравнении с обычной столовой состоит в том, что она рассчитана на постоянную клиентуру, имеющую к тому же возможность в организованном порядке (Совет кухни) контролировать работу кухни.

Десятки миллионов часов в сутки теряет наше общество из-за таких непроизводительных затрат времени, как хождение по магазинам для покупки тех или иных товаров. Вопрос тут не столько в том, что сегодня мы еще не имеем полного ассортимента нужных вещей для каждого магазина, что исключало бы необходимость тратить время на поиски. На наш взгляд, главная беда в недостаточно совершенной организации отпуски товаров. Положительную роль здесь могли бы сыграть, в частности, такие меры, как увеличение числа магазинов с самообслуживанием покупателей, продажа целых наборов расфасованных продовольственных товаров, включающих такие из них, которые пользуются массовым спросом. Есть нужда в резком улучшении работы столов заказов. Сеть их должна быть развернута значительно шире, чем сейчас. А главное, столы заказов надо создавать не только, а вернее, не столько при магазинах, сколько на предприятиях и в учреждениях, другими словами — по месту работы и по месту жительства потребителей, с последующей доставкой заказанных продуктов на дом.

Несомненные преимущества организации по территориальному признаку таких предприятий, как домашние прачечные или приемные пункты больших механизированных прачечных, пункты по коллективному использованию бытовых машин, по ремонту вещей, химчистке и др.

В нашей стране должны получить широкое развитие самые разнообразные, но вооруженные мощной высокопроизводительной техникой предприятия, работающие по обслуживанию бытовых нужд населения. Расчеты показывают, что такой путь — максимальной индустриализации этого участка — наиболее эффективен с народно-хозяйственной точки зрения. Много полезного, очевидно, можно было бы позаимствовать из зарубежного опыта.

В прошлом году Институт труда провел опытное обследование бюджета времени работниц. Выяснилось, что по сравнению с условиями тридцатых годов структура бюджета времени значительно улучшилась: сказались газификация и коммунальные удобства квартир, совершенствование городского транспорта и другие факты роста культуры нашего быта. Однако ряд показателей свидетельствует о неблагоприятном положении.

Семейная работница, мать малолетних детей, дополнительно к семи- и восьмичасовому рабочему дню затрачивает не менее трех-четырех часов ежедневно на уход за детьми и на хозяйство; больше половины выходного дня также уходит на домашние работы.

Небезынтересно ознакомиться, как складывается бюджет времени семейной женщины-работницы в будничные день в Москве. Приводятся данные в процентном отношении к общему итогу:

|  |      |
|--|------|
| Рабочее время . . . . .  | 33,3 |
| Прочие затраты времени, связанные с работой на предприятии (обеденный перерыв, проезд и ходьба на работу, общественная работа и т. д.) . . . . . | 6,2  |
| Работа в домашнем хозяйстве и по уходу за детьми . . . . .   | 14,0 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Отдых (кроме сна) . . . . .      | 6,9  |
| Сон . . . . .                    | 27,8 |
| Другие затраты времени . . . . . | 11,8 |

Материалы обследований показывают, что трудовая нагрузка семейных работниц, имеющих малолетних детей, составляет примерно 80—90 часов в неделю. Все это еще и еще раз говорит о необходимости быстрее развития сети хозяйственно-бытовых предприятий и детских учреждений.

Наиболее остро стоит вопрос о воспитании детей в возрасте до одного года. В это время они особенно подвержены заболеваниям и более всего нуждаются в уходе матери. На наш взгляд, было бы целесообразным установить для матерей-работниц длительные отпуска, сроком на один год или на два года, то есть до достижения ребенком двухлетнего возраста, когда он может быть отдан на воспитание в ясли. Такой отпуск следует засчитывать в производственный стаж, а место работы, занимавшееся матерью до отпуска, должно сохраняться за ней. Для малообеспеченных матерей, имеющих малолетних детей и воспитывающих их дома, желательно установить специальные пособия. Содержание одного ребенка в яслях стоит около шести тысяч рублей в год. Семейные пособия могли бы быть установлены в меньших размерах.

Можно не сомневаться в том, что вопрос о наилучших формах воспитания малолетних детей будет разрешен в ближайшее время в соответствии с указаниями науки. Август Бебель в известной работе «Женщина и социализм» писал: «Каждое дитя, родившееся на свет, является желанным для общества приращением; оно видит в нем залог своего дальнейшего существования, дальнейшего развития и чувствует поэтому и обязанность посылно покровительствовать новой жизни. Первым предметом его забот является, стало быть, роженица, мать».

В марте этого года Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по улучшению бытового обслуживания населения». Оно исходит из указаний XXI съезда партии и определяет на ближайший период времени деятельность государственных и общественных органов в этой исключительно важной области.

В постановлении отмечается, что существующий уровень бытового обслуживания отстает от возросших запросов населения. Во многих городах и рабочих поселках сеть предприятий бытового обслуживания недостаточна; производство плохо обеспечено оборудованием и сырьем. Местные Советы депутатов, партийные, профсоюзные и хозяйственные организации мало уделяют внимания этому делу.

Наряду с целым рядом конкретных организационных мер партия и правительство наметили создать в течение 1959—1961 годов около 77 тысяч предприятий, ателье, мастерских, призванных оказывать самые различные бытовые услуги. Вспомним также, что при рассмотрении вопроса о дальнейшем развитии и улучшении общественного питания Центральный Комитет партии и Совет Министров СССР постановили открыть за семилетие 64 300 столовых, кафе, ресторанов, рассчитанных на одновременное обслуживание 3100 тысяч человек.

Невозможно даже подсчитать, сколько удобств это сулит советским людям, сколько будет сэкономлено у них времени!

В названных постановлениях особо подчеркивается необходимость повседневного общественного контроля, направленного на усиление борьбы за высокую культуру бытового обслуживания трудящихся.

Наблюдение за работой территориальных предприятий и учреждений, обслуживающих бытовые нужды населения данного жилого массива, по-видимому, лучше всего смогут обеспечить специально созданные для этой цели выборные комитеты. Одни члены этих комитетов будут работать в области организации общественного питания, другие — коллективного отдыха трудящихся, третьи — по вопросам облегчения домашнего труда женщин и так далее. Одновременно комитеты явятся органами практиче-

ского содействия местным Советам, профсоюзным и хозяйственным организациям в их работе по улучшению бытовых условий трудящихся. В этой или в какой-либо иной форме, которая будет подсказана жизнью, организованное, коллективное участие жильцов в разрешении бытовых вопросов становится очевидной необходимостью.

С учетом всех материальных ресурсов, услуг, входящих в индивидуальный и общественный фонды потребления, а также с учетом закономерно складывающихся тенденций развития (движение в направлении коллективизации быта) может быть исчислен фактический и перспективный баланс доходов и потребления. Составление его — центральная, самая важная задача науки о народном потреблении.

В теоретическом отношении это не что иное, как исследование действий социалистического закона народонаселения. Практическое значение такого баланса исключительно велико — он необходим для уточнения планов промышленного производства товаров личного потребления, жилищного строительства, товарооборота и оборота предприятий общественного питания, кассового плана Госбанка, социально-культурных мероприятий.

На базе общественного фонда потребления в СССР удовлетворены потребности населения в образовании, в медицинской помощи, в обеспечении старости. В ближайшие годы мы решим труднейшую социальную проблему — жилищную, во многом облегчим домашний труд женщин. Одновременно в сфере материального производства будут происходить изменения принципиального, качественного порядка. На основе повышения производительности труда во все нарастающих темпах будет создаваться то изобилие вещественных благ и услуг для трудящихся, которое и является одним из условий, необходимых для перехода к коммунизму. Решающим же условием явится создание материально-технической базы коммунизма на основе опережающего развития тяжелой индустрии.





---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## З. ОСМАНОВА

★

### ПУТЬ АБАЯ

**М**огучий чинар, одиноко выросший на голой каменистой земле и поднявший вершину свою в сверкающую высь...» — с этим образом не раз сопоставляет Мухтар Ауэзов в своей четырехтомной эпопее великого поэта казахского народа Абая Кунанбаева.

Абай был действительно могучим, незаурядным человеком, возвышавшимся над своими современниками. Но он не был одиноким. Впрочем, и чинар вырастает только тогда, когда в изобилии получает из земли живительные соки. Почвой, вскормившей поэта Абая, были приволье казахских степей и его страдающий народ. Это ясно видит М. Ауэзов. Именно поэтому ему удалось в своем романе запечатлеть исполнительский размах деятельности замечательного сына казахского народа. Писатель стремился — и это не только его личная заслуга, это принципиальное завоевание советского исторического романа — прежде всего выявить взаимоотношения героя и народа, героя и истории. И он блестяще справился с этой трудной задачей. Нет, не одинок в его эпопее Абай. Рядом с героем встают его любимые сыновья Абиш и Магаш, во всех трудных начинаниях он находит поддержку не только своих родных (в юности — бабушки Зере и матери Улжан), но и близких ему по духу друзей: Ербола, Базаралы и других жигитов из далеких и ближних аулов, семипалатинской бедноты, затонских рабочих, беднейших жатаков, нарождавшейся казахской интеллигенции, признавшей его своим главой и воспитателем. Даже среди мусульманского духовенства были его — пусть немногочисленные — сторонники, некоторые из них заплатились жизнью за принадлежность к абаевскому кружку. Напомним хотя бы трагическую

участь муллы Сармоллы, который в холерный год во имя спасения людей по совету Абая смело пошел наперекор традициям и адатам и пал от руки фанатиков. А ссыльные русские революционеры Михайлов, Павлов, доктор Фидлер и все те, кто выступает в романе провозвестниками передовых идей эпохи? А русская литература, русская поэзия, ставшая такой верной союзницей лиры Абая, вдохновляющая его на борьбу со злом и социальной несправедливостью?

Е. Лизунова и И. Дюсенбаев в своем очерке об Ауэзове справедливо подчеркнули, что в его романах проходит не только и не просто жизненный и творческий путь Абая, а его «путь от своего класса к народу». Народ казахский был измучен и несчастен. Родина воспринимается Абаем, как «широкая безлюдная степь... Одинокие аулы затеряны в громадной пустыне. И так — везде, везде, где живут казахи... Безлюдье вокруг. Нет постоянного, обжитого места. Нет кипящих жизнью городов. Народ разбросан по степи, словно жалкая горсть баурсаков, высыпанная скупой хозяйкой на широкую скатерть...» Да, путь Абая, прослеженный в книге Ауэзова, — это путь к народу, жаждущему освободиться от векового ига, жестоко страдающему от темноты и нищеты, от родовой вражды и религиозной ограниченности.

В этом слиянии судьбы поэта с судьбой народа, на пути к которому были тяжелые потери, трагические коллизии, — весь пафос романа, его стержень, его основная линия.

Предоставим слово писателю: «Вместе с Абаем, становящимся постепенно духовным оком своего трудового народа, я старался постичь душу этого народа и раскрыть ее в лучших ее проявлениях. И пыл-

кие чувства юного Абая, раздумья и деяния зрелого Абая, борьба и драмы Абая—наставника, заступника народа в преклонные годы его жизни—все вместе должно было открыть пути к душе народа его эпохи.

Абай—зрячее око, Абай—отзывчивое сердце, Абай—мудрость народа—в моих поисках, в целом, является воплощением чувств, дум, волевых порывов народа, души его, всего сокровенного в нем».

Изучение творчества поэта, кропотливые поиски новых материалов (их не так много, главный источник сведений об Абаяе—это воспоминания, бережно сохраняемые престарелыми современниками)—все это, помноженное на художественную прозорливость, помогло М. Ауэзову достоверно воссоздать и характеры главных и второстепенных персонажей, и картины быта и общественных отношений. Пожалуй, лучше всего сам автор сказал о тех трудностях, которые ему пришлось преодолеть в процессе работы над романом: «Так запоздалый путник, отыскав в пепле костра, оставленного давно ушедшим караваном, тлеющий уголек, бережно и осторожно раздувает его, вызывая своим дыханием огонь. Восстанавливать по этим рассказам давно ушедшую жизнь было так же трудно, как по облику шестидесятилетней Айгерим представить себе всю прелесть ее девичьей красоты, пленившей когда-то Абая».

Книги Ауэзова об Абаяе часто называют многосторонним научным трудом по истории казахского народа, его этнографии, экономике, праву и т. д. Да, конечно, в них содержится обильный фактический познавательный материал, но весь этот богатейший материал, все исследования экономических и социальных процессов пропущены сквозь сердце художника, показаны на судьбах людей, на развитии их внутреннего мира. Ауэзов создает широкую реалистическую картину жизни народа, и его роман по праву может считаться подлинной энциклопедией жизни казахской степи конца прошлого века, кануна великой революции.

Многоплановое и многосюжетное произведение Ауэзова вобрало в себя опыт, накопленный не только казахской советской литературой, но и литературами всех народов нашей страны—от младописьменных

до обладающих зрелыми и многовековыми традициями. Это произведение может быть верно понято и оценено только в свете тех новых закономерностей развития национальных культур братских республик Союза Советов, которые складывались в процессе развития нового общественного строя.

Созданная Мухтаром Ауэзовым эпопея жизни казахского народа во второй половине прошлого века вобрала в себя и традиции народного казахского искусства, его великолепные песни и предания (письменной литературы у казахов не было почти до революции), и богатейший опыт современного реалистического искусства, прежде всего русской литературы, ее замечательного романа. И это органическое слияние традиций фольклора и литературы, традиций национальных и художественных завоеваний других народов—одно из замечательных явлений, характеризующих развитие многонациональной советской литературы. Расцвет национальных форм, критический пересмотр национальных традиций, когда отбрасывается все обветшалое, отжившее и совершенствуется то, что свойственно современному эстетическому мышлению народа,—этот процесс естественно сочетается с глубоким освоением принципов реалистического искусства, с освоением, которое в каждой национальной литературе идет по-своему, применительно к своим национальным задачам и особенностям. И если бы этот процесс приобщения младописьменных литератур к реализму, раскрывающему широчайшие возможности проникновения в психологию, внутренний мир героев, более глубокого изображения национального характера, если бы этот процесс не был повсеместен, не охватывал бы все молодые советские литературы,—появление такого романа, как «Абай» Мухтара Ауэзова, было бы необъяснимым чудом. Но это не чудо. Просто «Абай»—одно из блестящих, но совершенно закономерных достижений культуры, социалистической по содержанию и национальной по форме.

Но всякое ли произведение, принадлежащее перу писателя той или иной нации, является национальным? Каковы определяющие черты национального своеобразия литературы того или иного народа? Эти вопросы, особенно остро встающие в наше время, время расцвета национальных куль-

тур, время их тесного творческого содружества и взаимопроникновения, стараются разрешить и писатели и критики. И думается, что наиболее серьезные размышления вызывают те произведения, которые отражают развитие и становление национального характера героя в наиболее сложные и богатые событиями периоды жизни народа. Несомненно, в национальном характере героя, отражающем важнейшие черты той или иной нации,—ключ к пониманию национального своеобразия литератур.

Наши идейные противники утверждают, что метод социалистического реализма сглаживает, нивелирует национальное в искусстве, что национальная самобытность выветривается из советской литературы. Эти измышления не только опровергаются живой практикой советской многонациональной литературы,—они совершенно несостоятельны и теоретически. Напомним, что классицизм, романтизм, критический реализм, господствовавшие во многих литературах,—в каждой получили свое специфическое выражение, свои национальные особенности. Что же касается социалистического реализма, то ни один метод, ни одно литературное направление в прошлом не ставили перед собой так сознательно и последовательно задачу национального, стиливого многообразия литературы.

Вот почему особенно важно, чтобы критерии, определяющие национальное своеобразие произведения, были достаточно широкими и вместе с тем точными, диалектически единными и всегда учитывающими конкретную историю, они должны вмещать и индивидуальное и общее. Национальное своеобразие, как и всякая эстетическая категория, не терпит догматизма, схоластики, умозрительных и предвзятых заключений.

Во многих деталях запечатлел Мухтар Ауэзов национальное своеобразие всего уклада жизни своих героев, природы, их окружающей. Это подчас едва уловимый запах степных трав и парного кумыса, убранство юрты кочевника, обычаи и празднества, строй уходящих в изустную традицию образов народной поэзии, которые пленяют своей свежестью и неповторимой новизной. Вот лишь некоторые из них. «Они — как птенцы, впервые выглянувшие в мир из теплого гнезда»,—такими рисуются воссражению Абая глаза люби-

мой им жены Айгерим. Фигура отца Абая, богатого и властолюбивого Кунанбая, выступает в соответствующем стилистическом обрамлении, разительное меняющем содержание уже знакомых нам будто бы образов: «Двадцать аулов, тесным кольцом окружавшие Кунанбая, походили на стаю хищников, вылетевших из одного гнезда».

А картина осенней степи! «Высушенный за лето ковыль чуть слышно шелестит под слабым южным ветерком, поблескивая на солнце, как поверхность пологой волны. Она едва заметна для глаза — белое море лишь переливается из серебристого в желтое и темное, словно блестящая шелковая ткань. Ковыль уже принял свою осеннюю серебристую окраску, полынь слегка пожелтела, а степной курай, который весной выбрасывал зеленые кисти и синие цветы, стал красновато-бурым...»

Эта поэзия в прозе, прекрасно переданная Ауэзовым, очаровывает читателя, обогашает его мироощущение, раздвигает границы познания жизни.

Но эта искусная живопись, это богатство красок, создающие национальный колорит романа, еще не делают его истинно национальным. Ибо главное, что дает нам право назвать то или иное произведение явлением национального искусства,—это прежде всего полнота отражения национальной действительности во всей ее исторической достоверности и верной перспективе, это, как уже говорилось, проникновение в суть народного, национального характера. Сказанное в полной мере отличает произведение Ауэзова.

Действие романа Ауэзова охватывает вторую половину прошлого века. Это было время, когда устоявшийся веками уклад жизни в казахской степи начал резко меняться. Русские купцы и промышленники, представители царской администрации, стремившиеся покорить казахов, насаждали там волчьи законы Российской империи. Но казахская степь, ставшая местом ссылки русских революционеров, увидела и других людей—носителей свободолобивых, прогрессивных идей. Казахстан оказался включенным в орбиту политической, экономической и культурной жизни России. Это привело к обострению социальной борьбы в аулах и призвало к активной деятельности лучших сынов казахского народа, стремившихся к сближению с молоды-

ми революционными силами России. Об этом трудном и решающем этапе судьбы родного народа и пишет в своем романе Ауэзов. Фигура Абая — идейный и художественный центр романа. Юность Абая проходит в «темном царстве» степных феодалов, среди дикого произвола отца Абая — грозного Кунанбая. Обман, насилия, кровавые стычки богатых родов и страшная нищета и бедствия народа заставляют юношу рано повзрослеть, открывают ему глаза на подлинный смысл происходящих событий.

Эпизод второй части романа, посвященный юношеским годам Абая, заключается словами: «Жизнь с ее горькой правдой, с ее жестокой борьбой снова властно звала Абая в схватку». Главы последующих частей, продолжающих рассказ о жизни Абая, названы соответственно: «Во мраке», «Над бездной», «В кручине», «Во вражде», «В схватке», «В гололедицу» и т. д. Резко меняется колорит описаний. Все острее и непримиримее становятся социальные конфликты. Все большая пронзительность отделяет Абая от его отца, с которым он в конце концов резко и навсегда порывает, от его привычного окружения, от его класса. Все теснее и теснее становятся связи Абая с народом, поэте целиком отдается борьбе за лучшую жизнь и справедливость. Это уже зоркий и зрелый политический деятель. Все яснее видится Абаю и его ученикам единственно возможный путь казахского народа к процветанию и прогрессу — путь дружбы с русским народом, с его передовыми, демократическими силами, теми силами, что борются против произвола царизма, чиновничества, полицейского аппарата, против власти духовенства. «Ты раскрыл мне глаза на мир, дорогой Евгений Петрович... Теперь переключивается моя Кааба<sup>1</sup>, и Запад становится Востоком, Восток стал Заладом для меня... И пусть же будет так!» — воскликнул однажды Абай, мысленно обращаясь к своему русскому другу Михайлову. И эти слова отчетливо характеризуют позицию Абая — просветителя, общественного деятеля, верного сына своего народа.

Однако путь к новой жизни, к новому мировоззрению был долог и труден. К этому новому берегу Абай шел сквозь крово-

пролития родовых междоусобиц, теряя силы, друзей, обретая все новых и новых врагов, шел сквозь непонимание и недоверие одних, опираясь на нечастое сочувствие других. Безжалостная смерть вырывала одного за другим сыновей и единомышленников Абая. Эпидемии и джут уносили сотни беззащитных перед стихийными бедствиями людей. И горечь личных потерь и неурядиц отступала перед бедой, постигшей народ.

Мужает и закаляется в борьбе лира Абая. Он становится подлинным поэтом-гражданином, обличителем зла, народным печальником и заступником. И сквозь скорбные причитания традиционных поминальных плачей (а в последних книгах смертей и поминок немало) все громче слышны новые, социальные мотивы, рождаются исполненные надежды и решимости песни.

И все настойчивее звучат слова поэта, обращенные к землякам: «А как же ты будешь существовать, отстранившись от русских, казахский народ?.. Оставим в покое правоверных из далеких стран, поговорим о вас, семипалатинские казахи. Вот течет перед нами русская река Иртыш — даже вода, которую мы пьем, связывает нас с русским народом! Ты, семипалатинский казах, — ты народ, хлеба не сеющий, не трудящийся на пашне. Значит, и хлеб, который ты ешь, вырастил на полях, убрал, обмолотил и смолот в муку русский мужик. Все твое имущество: одежда, которую ты носишь, утварь, дом и двор, кров над головой, — во все это вложена частичка русского знания, опыта и богатства... И ты хочешь отдалиться от всего этого русского мира?» Так думал, так говорил Абай, предостерегая народ от лживых увещаний панисламистских проповедников, которые стремились вызвать вражду к русским братьям, разъединить складывающиеся в процессе общей борьбы с царизмом классовое единство, интернациональную солидарность трудящихся.

Многонациональная, единая по своему методу социалистического реализма советская литература насчитывает немало великодушных произведений, посвященных острой классовой борьбе, борьбе, сопровождающей смену общественных формаций, периоды революционных бурь и потрясений. Шолохов и Айни, Фадеев и Упит, Фе-

<sup>1</sup> Кааба — священный храм мусульман, находящийся в Мекке. Место традиционного паломничества (З. О.).

дин и Кербабаев, Алексей Толстой и Лацис сильны именно своим смелым, глубоким и всесторонним художественным анализом процессов, происходящих в жизни страны и ее народов. «Тихий Дон» и «Рабы», «Разгром» и «Просвет в тучах», «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Хождение по мукам», «Буря» — все эти и многие другие произведения вскрывают глубокие противоречия в психологии людей в периоды их «второго рождения», когда они обретают невиданные доселе возможности для своего творческого развития и служения обществу. Но ни в одном из названных и не названных здесь произведений, даже тех, что рисуют трагическую участь героев, нет и не может быть пессимизма — он органически чужд советской литературе.

Как ни тяжела была жизнь казахов в те времена, которые описывает Мухтар Ауэзов, какие невзгоды ни приходилось преодолевать его герою, четыре книги об Абае — произведение оптимистическое. Пафос эпопеи — в непоколебимом убеждении автора в том, что самоотверженное служение справедливому, народному делу всегда приносит свои плоды.

Абай проповедовал: «Пусть процветает такое искусство, которое может бороться с мрачной и косной степной жизнью, пусть даст оно силу каждому мужественному человеку... Пусть лев разобьется, пытаясь прыгнуть на луну, — все равно его львенок не бросит своих львиных повадок. Пусть белый сокол запутается в тенетах — все равно его соколенок, вылетев из гнезда, соколом и останется...» Этот образ приобретает значение символа. Злоба тех, кто держал во власти роды и племена, аулы и волости, могла сломить одного человека, разлучить влюбленных, лишит бедняков последнего скота. Но «жизнь они не победят, и историю не повернут... Не повернут!» Мухтар Ауэзов не «снимает» трагедию народного поэта в условиях феодально-патриархального быта и господства самодержавия, а сообщает этой трагедии новое, исторически конкретное значение и содержание.

Принципы, выстраданные Абаем в жестокой борьбе и дорогие ему, он передал своим молодым друзьям: талантливому акыну Дармену и всем тем, кто на всю жизнь остался верным заветам поэта. Среди этих людей был и Джамбул (в отличие от Дармена — личность исто-

рическая), образ которого появляется в конце книги.

Один из важнейших принципов, завещанных Абаем, заключался в популяризации эстетических, философских и нравственных богатств русской литературы. Вот где видел Абай, изучавший русский язык и читавший в подлиннике любимых своих поэтов — Пушкина, Лермонтова и Некрасова, — источник обогащения родной культуры.

Эта идейно-художественная линия проводится автором очень тонко. Ауэзов находит для ее воплощения разнообразные приемы изобразительности: от короткой, документально точной записи о первых переводах из Пушкина и Крылова до пространственных внутренних монологов; от мастерски сделанной портретной характеристики до списания сложного процесса рождения песни; от назиданий учащимся семипалатинских школ до мудрых философских речей, произносимых при торжественном и почтительном молчании общества аксакалов; от интимных бесед в кругу ближайших друзей и сподвижников до чисто литературного разбора новой поэмы Дармена, сочиненной им в память о погибшем в буран пастухе Исе, — поэмы, в которой Абай увидел отзвуки некрасовских стихов. «Письмо Татьяны», переведенное на казахский язык Абаем и переложенное на музыку, обрело новую жизнь в казахских степях, в сердце народа. Оно стало огромной эмоциональной силой, оно одно оказалось в состоянии, например, сблизить Абая и Айгерим, разделенных было бытательской сплетней. «Песня развязала тяжелый узел, долгие годы стягивавший их души, — пишет Ауэзов. — Она снова соединила их, равных и равно вдохновенных; она не позволила ни изменить, ни потерять друг друга. Угасшее вспыхнуло, потерянное вернулось к ним с любовью и песней Татьяны...»

Нельзя не подчеркнуть, что на фоне узаконенной шариадом и обычным правом полигамной семьи, в условиях полного бесправия казахской женщины важное значение приобретали и те черты нового, гуманного, равного отношения к ней, которые пропагандировал и защищал Абай. Сам Абай — и об этом Ауэзов пишет удивительно проникновенно — очень гордится и дорожит тем осознаваемым им нравственным совершенствованием своего характера, которого

он достигает в результате чтения русских книг, приносивших «плоды чистоты и чело- вечности».

«Просветитель» — для нас это уже все- го-навсего историческое понятие. Мухтар Ауэзов сумел показать в своем герое такое неодолимое стремление к свету, такую страстную веру в науку и культуру, в их мощь, что те, кто прочитал его роман, вероятно будут теперь слышать в этом слове «просветитель» и восторг перед силой человеческого разума и восхищение подвигом людей, которые посвятили свою жизнь борьбе против мрака невежества. «Дети мои, младшие братья мои! — восклицал Абай, обращаясь в одном из своих посланий к детям. — Учитесь с одной только целью — стать человеком! Учитесь, чтобы быть полезными своему краю, чтобы быть честными людьми, заступниками за свой народ...»

Вот почему акын Дармен, образ, несомненно очень удавшийся автору, видел в Абае гигантское плодоносящее дерево, всю свою жизнь щедро одаривающее своими бесчисленными семенами открытые просторы безлесной степи. Вот почему полны символического песенного звучания последние страницы эпопеи, которые рассказывают о втором рождении Абая в песнях-плачах Айгерим и Дармена. И образ одинокого дерева, проходящий через все книги эпопеи, получает, таким образом, свое завершение.

«Нет, не погибнет твое семя, высокочтимый отец! Твоя жизнь не пройдет бесследно. Пусть сейчас еще нет широкошумной роши, осеняющей цветущие луга, но по всей беспредельной шири степей рассеяны и взойдут твои семена, возрастут во множестве, в невиданном доселе цветении. Они будут расти ввысь, укрепляясь с годами... Ради этого всю свою жизнь до самой смерти клянусь я беречь и лелеять драгоценные твои слова...» Эта пылкая клятва Дармена воплотилась в яви наших дней, в том быстром и чудодейственном расцвете казахского искусства и литературы, которому все мы свидетели.

В самом деле, прозаические жанры в казахской литературе появились в основном после Октябрьской революции. Особенно быстрого развития они достигли в послевоенные годы, когда вышли в свет произведения Г. Мустафина «Шиганак Берснев» и «Миллионер», романы Г. Мусрепова «Солдат из

Казахстана» и «Пробужденный край», С. Муканова «Школа жизни», «Ботагоз», «Сыр-Дарья», А. Нурпейсова «Долгождан- ный день», Т. Ахтанова «Грозные дни» и другие.

Все эти произведения посвящены современности, в них отображены различные периоды истории Советского Казахстана: борьба за коллективизацию, участие в Великой Отечественной войне, освоение целинных земель, появление национального рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, сложная борьба за преодоление пережитков феодально-патриархальных отношений в быту и сознании людей. В целом, все вместе, эти книги дают яркое представление о развитии нового национального характера казаха. Формирование этого национального характера, как оно представляется по произведениям казахских писателей, происходило в очень сложной борьбе с укоренившимися традициями, с идеализацией тех черт этого характера, которые сложились в период кочевого феодализма.

Мухтар Ауэзов, который уже в начале двадцатых годов выступил вместе с названными писателями одним из зачинателей советской казахской прозы и драматургии, своими романами об Абае внес огромный вклад в осмысление тех процессов, которые происходили в казахском обществе в период приобщения к русской и всеевропейской цивилизации. Эпопея его «является художественным открытием прошлого с позиций социалистического реализма», — справедливо говорят о нем авторы очерка истории казахской советской литературы. Это открытие прошлого, сделанное с позиции социалистического реализма широко образованным и талантливым писателем, помогает прежде всего увидеть те подлинно прогрессивные черты характера казахского народа, которые выкристаллизовывались в могучей фигуре поэта Абая.

Кстати сказать, многие наши писатели, стремившиеся осмыслить исторический путь своих народов к эпохе, рожденной Великим Октябрем, избирали главным героем своих произведений народного поэта — акына, ашуга, сказителя. Вспоминается в связи с этим очень тонкая книга новелл дагестанского прозаика Эфенди Капиева «Поэт». Прообразом ее главного героя явился прославленный ашуг Сулейман Стальский. Со-

вершенно не похожая на книгу об Абае ни творческой манерой, ни выразительными средствами, ни, тем более, своим историческим фоном (действие в книге «Поэт» происходит уже целиком в наше время, а прошлое проступает в ней как бы ретроспективно), она, тем не менее, удивительно близка своей идейно-эстетической основой книге Мухтара Ауэзова.

Причина этой близости раскрывается в том, что оба писателя отчетливо осознают, как велика и исторически ответственна была роль и сила талантливой и своевременно произнесенного поэтического слова, особенно у народов, не имевших в прошлом своей письменной литературной традиции, в том, что оба художника видят в судьбе поэта отражение судьбы своего народа.

Национальный характер Абая — главного героя эпоса Ауэзова, — так же как и характеры других персонажей, выступает в сложном взаимодействии и борьбе традиционных черт с тем новым, что приносили с

собой меняющиеся исторические условия. Эта верность исторической правде, это глубокое постижение характера народа в его развитии сделали самобытный роман Мухтара Ауэзова одним из лучших произведений советской литературы.

«Мы не должны забывать ни на минуту, — сказал в своем докладе на IV съезде писателей Казахстана, проходившем в марте 1959 года, Г. Мусрепов, — что казахская литература вступает в большое соревнование с литературой всего мира, вступает как составная часть литературы социалистического реализма. Это борьба не только за новую тему и богатое содержание, но и за высокое мастерство».

Роман М. Ауэзова, удостоенный Ленинской премии, вместе со значительными достижениями всей современной казахской литературы является тем серьезным вкладом, который она и теперь уже вносит в грядущую победу советской литературы в этом соревновании.



Б. САРНОВ

★

## „ВЕСЕЛОЕ ЗВАНЬЕ ПОЭТА...“

(К 70-летию со дня рождения Н. Н. Асеева)

**Д**вумя чертами определяют обычно лицо лирического поэта. Эти черты — своя лирическая тема и свой лирический герой. Но есть еще и третья черта, не менее существенная. Это «лирический сюжет» — развитие, движение характера лирического героя.

Вспомним Лермонтова, в стихах которого перед нами встает резко выраженный человеческий характер, цельный, от юношеских строк:

Мне нужно действовать, я каждый день  
Бессмертным сделать бы желал, как тень  
Великого героя, и понять  
Я не могу, что значит отдыхать...

до горьких слов о поколении:

В бездействии состарится оно...

В промежутке между двумя этими отрывками лежит судьба человека и судьба целого поколения. Самые разные, не похожие друг на друга лермонтовские стихи рисуют эту судьбу. Горькие раздумья, язвительные эпиграммы, мимолетные зарисовки связываются в единую и цельную биографию (и не просто биографию, — биографию души) лирического героя.

Свой «лирический сюжет» есть у каждого лирического поэта — у Есенина и Блока, у Гейне и Маяковского.

Истоки «лирического сюжета» Николая Асеева лежат в самом начале его творческого пути.

Далеко не всегда поэт начинается с первой своей книги. Чаше бывает наоборот: первые книги поэта представляют лишь исторический интерес, они нужны исследователю, так сказать, для контраста,

для того, чтобы показать, как менялся поэт, постепенно обретая свое лицо, собственный поэтический голос.

Первые стихи Асеева во многом несамостоятельны, они несут на себе отчетливые следы самых разнообразных влияний. Поэт Николай Асеев далеко ушел от своих первых книг. И все-таки, перечитывая сегодня эти первые книги, безошибочно узнаешь в них черты зрелого, сегодняшнего Асеева.

Ранняя лирика Асеева чуть ли не с самых первых стихотворных опытов молодого поэта оказалась во власти стихии бунтарской, разбойничьей песни. Конечно, в первых стихах Асеева отдана щедрая дань словесному эксперименту. Конечно, в них очень силен элемент стилизации.

Но было здесь и другое.

За всеми этими стилизованными, разорванными, смутными и неотчетливыми словесными построениями встает образ бунтаря, изгоя, образ человека отверженного и враждебно противостоящего городу и миру. Недаром он грозит «повыморить город мором». Недаром злорадно предсказывает:

Не спасти  
худым ковыям  
стольный град;  
нынче ночью  
зацелуем  
ваших лад.

Иногда его угрозы звучат еще яснее, еще откровеннее:

Как из-под лохмотьев рваных,  
мой нож заблестит из строчек...

Образ одинокого человека, не связанного прочными социальными узами с окру-



жающим миром, неприязнь к этому миру, отношение к нему как к чуждому и враждебному началу.— вот что скрывается за бутафорскими костюмами «казаков и разбойников» в ранней лирике Асеева.

Для поколения Асеева первая мировая война была самым глубоким и тягостным из всех потрясений. Конечно, не только война впервые столкнула юные души с кровью и грязью эпохи. Но война проявила смутные ощущения недовольства, протеста, сделала их отчетливыми и ясными.

То, что раньше в стихах Асеева было недоговорено, зашифровано, только просвечивало сквозь туманные, разорванные образы, теперь приобретает вполне определенные и резкие формы.

Притиснуть бы за руки небо,  
опять наигравшее юность,  
спросить бы: «Так боль эта — небыль?»  
и — жизнью в лицо ему плюнуть!..

А может, мне верить уж не с кем,  
и мир — только страшная морда.  
И только по песенкам детским  
любить можно верно и твердо...

Пусть в интонации этих стихов явно ощущается влияние Маяковского. Но это настойчивое юношеское стремление во что бы то ни стало верить в то, что «любить можно верно и твердо»,— это его, асеевское. Если попытаться извлечь это «асеевское» из-под всех чужих наслоений и напластований, если попытаться как-то суммировать и перевести на язык логических понятий то, что уже тогда определяло индивидуальность, неповторимость лица поэта, можно сказать, что главные черты его лирического героя — это сила, молодость, душевное здоровье.

Чтобы понять, что скрывается за этими довольно общими словами, нужно очень ясно представить себе время, о котором идет речь.

«То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком... Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, невращение — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия...

Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, без-

любой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго — предсмертного гимна,— он (Петербург.— Б. С.) жил словно в ожидании рокового и страшного дня».

Эти строки, завершающие первую главу «Хождения по мукам», не являются, конечно, исчерпывающей и полной характеристикой эпохи; в них речь идет о следствиях, а не причинах. Но они помогают ощутить самый «воздух» времени. Они как бы дополняют своей конкретностью гневные ямбы Блока, давно уже ставшие для нас самым сильным выражением духовной жизни поколения, «рожденного в год глухих»:

И отвращение от жизни,  
И к ней безумная любовь,  
И страсть и ненависть к отчизне...  
И черная, земная кровь  
Сулит нам, раздувая вены,  
Все разрушая рубежи,  
Неслыханные перемены,  
Невиданные мятежи.

Вот оно — время, когда прозвучало збонкое асеевское:

Не верю ни тленью, ни старости,  
Ни воплю, ни стону, ни плену,  
Вон: ветер запутался в парусе,  
Вон: волны закутались в пену...

Ранняя лирика Асеева не была легкой и бездумной. Да и как могла она быть такой в пору, когда восприятие действительности невольно окрашивалось в трагические тона. Но, вопреки всем канонам «декаданса», поэт славит жизнь:

Но не умрут глаза —  
мир ими видели дважды мы,—  
крикнуть сумеют назад  
смерти приспешнику каждому...

Он славит молодость. Он мечтает пронести душевный заряд молодости через всю свою жизнь:

Не уроню такого взора,  
Который — прах, который — шорох.  
Я не хочу земного сора,  
Я никогда не встречу сорок.

В пору, когда «чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком», он пишет свой задорный вызов умудренному сединой «здравому смыслу», высокую клятву сохранить нерастряченным и горячим юношеское, бескорыстное и поэтическое отношение к жизни:

За картой убившие карту,  
Все, чем была юность светла,  
Вы думали: к первому марту  
Я все проиграю — дотла.

Вы думали: в вызове глупом  
Я, жизнь записав на мелок,  
Склонюсь над запахнувшим супом,  
Над завтрашней парой чулок.

Неправда! Я глупый, но хитрый,  
Я больше не стану считать!  
Я мокрую тряпкою вытру  
Всю запись твою, нищета.

Меня не заманишь ты в клерки,  
Хоть сколько заплат ни расти,  
Пусть все мои звезды померкли —  
Я счет им не буду вести...

Отсюда, с этих вот самых строк, берет свое начало «лирический сюжет» Асеева.

Развитие этого «сюжета» могло пойти в разных направлениях. Лирический герой Асеева мог упасть с этих высот и разбиться. Его падение могло бы сопровождаться взрывом отчаяния или холодным блеском скептического равнодушия к жизни. Мог он и не упасть, а просто тихо и скромно «спуститься с неба на землю», что называется «повзростеть», решить, что пора ему стать старше, что молодость молодостью, а жизнь жизнью. История литературы знает немало таких превращений, стоит вспомнить только героя гончаровской «Обыкновенной истории», героя бальзаковских «Утраченных иллюзий».

Наивная вера молодости неизбежно должна была столкнуться с трезвыми, беспощадными законами, на которых испокон веков стоял мир. Но лирическому герою Николая Асеева был уготован иной путь. Его ждала другая, не совсем обычная судьба. Ему посчастливилось. Счастье это заключалось в том, что его молодость совпала с молодостью века: началась социалистическая революция.

## 2

Молодость для Асеева всегда была категорией социальной.

В одном из самых ранних своих стихотворений Асеев говорит об океане: «Он всему молодому сверстник» — и совет его в союзники.

Ополчись же на злую сушу,  
На огни и хрип кабаков.  
Океан! Загляни нам в душу,  
Смой с ней сажу и жир веков.

А позже:

Да здравствует Революция,  
сломившая  
вдвѣть стариков!

И снова в «Синих гусарах» — стихотворении, воспевшем подвиг декабристов:

Позорней и гибельней  
в рабстве таком,  
голову выбелив,  
стать стариком.  
Пора нам состукнуть  
клинок о клинок:  
в свободу — сердце  
мое влюблено!

«Стать стариком» для Асеева — это значит смириться, приспособиться к унылому благополучному существованию. Быть молодым — это не беречь себя, не соглашаться ни на какие компромиссы, не позволять спокойствию и равнодушию охладить жар сердца, влюбленного в свободу. Иначе говоря, это значит — быть и революционером. Молодость и революция в асеевских стихах — почти всегда синонимы.

Асеев сразу и безоговорочно принял революцию. Мало сказать — принял. Это все равно, что о заключенном в одиночной камере, перед которым вдруг рухнули стены тюрьмы, сказать, что он «принял» внезапно доставшуюся ему свободу.

Асеев принял революцию сердцем, ощутил ее, как живительную и очищающую, могучую и грозную стихию, единственно способную смыть с людских душ «сажу и жир веков».

Революция для Асеева — это прежде всего горнило переплавки быта, с революцией для него было связано ожидание немедленного изменения, как он сам говорил, «всех людских взаимоотношений, всех душивших нас ханжески мещанских норм этики, морали и эстетики осточертевшего нам буржуазного общества».

Его отношение к революции, его служение ей было очень искренним, очень страстным, но не всегда достаточно политически зрелым. Поэтический максимализм, жажда немедленных кардинальных изменений всех форм быта неизбежно приводили в столкновение с трудными, но единственно возможными путями, которыми шла революция в реальной жизни.

Вот почему с такой болезненной остротой воспринял поэт нэп, воспринял все то,

что стало темой его «Лирического отступления».

Пафос этой асеевской поэмы, как и пафос поэмы Маяковского «Про это», — терпение человека, всей силой души преданного яростной молодости революции, «всеми порами» ненавидящего

все,  
что в нас  
ушедшим, рабьим вбито,  
все,  
что мелочинным роем  
оседало,  
и осело бытом.  
Даже в нашем,  
краснофлагом строе.

Но, в отличие от «Про это», поэма Асеева была отступлением. Лирический герой поэта оказался отброшенным назад, к тому времени, когда он был одиночкой-отщепенцем, а не хозяином жизни. Не случайно в этой поэме промелькнул излюбленный молодым Асеевым «разбойничий» образ:

Но кто-нибудь сразу,  
вчистую,  
расплатится ж  
блеском ножа  
за эту вот  
носу густую,  
за губ остывающий жар?

В «Про это» тоже немало строк, воскрешающих интонации и образы раннего, трагического Маяковского — Маяковского «Облака в штанах», «Флейты-позвоночника», «Человека». Но Маяковский, задыхаясь в удушливой атмосфере ненавистного ему мешанского быта, искал и находил выход в обращении к будущему, в твердой вере в победу революционного братства людей.

Асеев же просто обрывал себя на полуслове яростным проклятием всему, что связывало его с прошлым:

Если делаешь все вполсилы, —  
разрывайся ж  
и сам пополам.  
О, кровавая лет пуповина,  
о, треклятая  
губ набала!

## 3

Асеев однажды сказал о себе:

Я лирик  
по складу своей души,  
по самой  
строчечной сути.

На протяжении своего долгого творческого пути он с огромной отдачей душевной энергии работал чуть ли не во всех поэтических жанрах. Он писал сказки и баллады, песни и агитки, героические поэмы и стихотворные фельетоны. Но в каком бы жанре ни работал Асеев, настоящая большая удача всегда ждала его там, где побеждала лирическая стихия.

Вспомним одну из самых известных и самых значительных героических поэм Асеева — поэму «Семен Просакаков».

Произведение это было задумано как своего рода поэтический комментарий к извлеченным из архива Истпрофа дневниковым записям реально существовавшего человека — Семена Просакакова, рабочего Ленского рудника в Сибири и красного партизана. Первые издания поэмы даже назывались «Стихотворные примечания к материалам по истории гражданской войны».

Какая-то часть критики, поверив поэту на слово, встретила «Просакакова» в штыки. Поэма была объявлена законченным выражением лефовской «теории факта» и явной неудачей Асеева. Но была и другая точка зрения, впоследствии ставшая почти общепринятой. Согласно этой точке зрения «Семен Просакаков» — едва ли не лучшее произведение Асеева, вещь необыкновенно цельная и глубоко лирическая.

В действительности все было гораздо сложнее.

Конечно же, поэма «Семен Просакаков» родилась не от приверженности поэта к теории «литературы факта», а от столкновения его с ярчайшим человеческим документом — дневниками рабочего Семена Просакакова, человека драматической судьбы, одного из безвестных героев гражданской войны. Дневники поразили Асеева своей суровой безыскусственностью и простотой. Вот несколько строк из записок Просакакова: «...каратели издевались над моей семьей, а именно, над моей женой Татьяной Ефимовной Просакаковой, испорили ее в лоскутья и выстегнув ей глаз, которая в последнее время осталась с половиной свету».

За дневниковыми записями Семена Просакакова вставала фигура человека не слишком грамотного, не всегда способного правильно понять смысл происходящих событий, но бесконечно преданного рево-

люции, стихийно талантливого, умеющего ярко видеть, остро и сильно чувствовать.

Интерес к документу, стремление поэта ввести в самую ткань произведения подлинные дневниковые записи с их живым, подчас неуклюжим слогом — все это тоже не было случайностью.

Здесь сыграл свою роль повышенный интерес поэта к языку, к сложным языковым переменам, явившимся прямым результатом революции. Не случайно поиски очень разных писателей шли в то время примерно в одном направлении. Особенно заметно это у художников, обращающихся к тематике, связанной с гражданской войной.

Такие разные и по темпераменту и по языковой культуре писатели, как И. Бабель и Вс. Вишневский, работая над произведениями о Первой Конной, оба тяготели к документу, к письму, к монологу, то есть к форме, максимально отражающей своеобразие речи и мышления их персонажей.

Асееву издавна было свойственно стремление поэтически осознать процесс языковой перестройки, сделать язык нового героя, впервые вышедшего на арену истории, языком поэзии. Об этом стремлении свидетельствует написанная поэтом еще в 1922 году всенародно известная песня о Конной Буденного («С неба полуденного...»). Работа над «Семеном Проскаковым» шла в том же русле.

Конечно, поэма не стала «стихотворными примечаниями» к дневниковым записям. Художник победил в Асееве ярого приверженца левовских теорий.

Дневниковые записи Проскакова, отрывки из протоколов допроса Колчака, отрывки из следственных материалов по делу Анненкова остались в поэме как эпиграфы к отдельным ее главам, не более того.

В поэме есть куски, исполненные большой поэтической силы. Чудесна печальная песня отступающего партизанского отряда:

Что ты не веселый,  
наш товарищ командир,  
скоро ль наши села  
завиднеют впереди?  
Шагу  
не наступишь:  
натрудилася нога.  
Ты ли  
нас погубишь,  
распроклятая тайга.

Отвечал печально

наш товарищ командир:  
— Я вам  
не начальник,—  
кто куда хотишь иди...

Сосны

еле шепчутся,  
обстигла  
нас беда.

Обнимемся покрепче,

разойдемся  
кто куда...

Есть в поэме сильные драматические эпизоды, строфы, пронизанные стихией песенного асеевского лиризма. Но если говорить о том, чего не хватает этой поэме,— так это именно той «насыщенности лирикой», в которой критики видели ее главное достоинство.

Лирический герой асеевской поэмы растворился, затерялся в отдельных ее эпизодах. На какое-то мгновение врывается в повествование его голос, например там, где раздаются проклятия карателям:

Если б  
были они мне  
братья,  
эти люди-звери,  
я стрелял бы в них,  
слов не тратя  
и словам  
не веря! —

и тут же исчезает, чтобы вновь зазвучать только в самом конце поэмы:

Все пережив  
и все победив,  
с прошлым  
будущее сливая,  
встань, Проскаков,  
и обведи  
землю  
выцветшими очами...  
Разве не ты  
в боевых рядах  
поднимаешь лицо свое,  
и под марш мой  
идешь сюда,  
и на строчках моих поешь...

Лирическое «я» поэта не стало стержнем поэмы, способным собрать воедино ее разрозненные главы и эпизоды, как это произошло в поэмах Маяковского, как это произошло в поэме Асеева «Маяковский начинается» — поэме, по праву считающейся вершиной поэтического творчества Николая Асеева и одним из замечательных произведений советской поэзии.

## 4

На титульном листе первого издания этой поэмы значилось: «Маяковский начинается. Повесть в стихах в 17 главах с эпилогом». Это определение как будто подчеркивало эпический характер вещи, указывало на то, что «Маяковский начинается» — биографическая повесть. Так она и была в свое время воспринята критикой. Отсюда и обычные по адресу этого асеевского произведения упреки в некоторой композиционной расплывчатости.

На первый взгляд упреки эти могут показаться справедливыми. В самом деле: в первой главе поэт рассказывает о своем знакомстве с Маяковским, во второй главе он возвращается вспять и повествует о детстве Маяковского. В следующих главах соблюдена хронологическая последовательность в изображении событий. Но потом вдруг в повествование врываются целые главы, уводящие читателя далеко в сторону от биографии Маяковского: «Хлебников», «Разговор с неизвестным другом» и т. п.

Действительно, если воспринимать поэму «Маяковский начинается» как биографическую повесть, архитектура ее не может не вызвать некоторого недоумения. Но в том-то и дело, что произведение это не просто повесть, но «повесть в стихах», а это уже жанровое определение. Оно понадобилось поэту как указание на то, что его произведение не поэма в обычном смысле этого слова, а какое-то новое жанровое образование.

Повесть в стихах «Маяковский начинается» представляет собой сложный сплав самых разных, казалось бы несоединимых, элементов. Здесь и элемент «биографической повести» в собственном смысле этого слова, и откровенная публицистика, и строки самой личной, самой интимной лирики. И тут же, рядом, — литературные споры, литературная борьба: споры о футуризме и о том, можно ли в наше время писать ямбом, РАПП и «Красная новь», Хлебников и Крученых, Шкловский и Джойс.

Обилие в поэме всякого рода литературных ассоциаций, литературной полемики было одной из причин узко литературоведческого подхода критики к этому произведению.

Казалось бы, отношение к асеевской поэме как к рифмованному историко-лите-

ратурному исследованию настолько абсурдно, что оно даже не нуждается в опровержении. Однако упреки этого рода впоследствии повторялись очень часто.

Между тем все то, что на первый взгляд является историко-литературным фоном, в действительности несет в поэме совершенно иную смысловую нагрузку.

Теперь это  
давняя перебранка,  
с которой  
и в книгу не сунусь,  
а было —  
периодом  
Sturm und Drang'a,  
боями  
за право на юность!

«Бои за право на юность» — так вдруг оборачивается литературная полемика в поэме Асеева. Ну конечно же, это спор не о литературе, не о школах и направлениях в искусстве. Спор идет о различном отношении к жизни.

Нас всех воспитали  
и образовали  
по образу своему и подобию.  
На собственный лад  
именами назвали,  
с младенчества приучая  
к надгробью...  
...Нет,  
мы не давались  
запрячь нас в упряжку;  
ведь то и входило  
нам жизни в задачу,  
чтоб не превратиться  
за денежку-бляшку  
в чужого нам промысла  
тощую клячу...

Вот он, тот лирический накал, та высокая температура плавления, которая слила воедино такие разные, не похожие друг на друга эпизоды и главы. Так все, на первый взгляд несоединимые, элементы поэмы оказываются неразрывно связанными с ее внутренней, лирической темой. И даже глава о Хлебникове, которая может показаться «вставной новеллой», легко и безобидно изымаемой, на деле множественностью кровеносных сосудов связана с живой тканью произведения, с главной лирической темой поэта.

Строки, завершающие эту главу

А вы — в эту дверь  
напиратьте,  
стучите,  
чтоб не потерять  
дорогого следа! —

эти строки, вызвавшие в свое время резкие нападки критики, были поняты как призыв к молодым поэтам учиться хлебниковской зауми. Но не о зауми и вообще не о поэтической традиции идет в них речь. Асеева интересовал в Хлебникове не футурист, а человек, не растративший молодость души, отрекающийся от пут старого мира. Поэт хочет сохранить в памяти будущих поколений облик того, кто

...жил — не ища  
ни удобства, ни денег;  
жевал всухомятку,  
писал на мостах,  
граненого слова  
великий затейник;  
в житейских расчетах  
профан  
и простак.

Глава о Хлебникове в поэме «Маяковский начинается» — это круги по воде, расходящиеся от брошенного камня. Камешек был брошен давно, еще в юные годы.

Вспомним:

Меня не заманишь ты в клерки,  
Хоть сколько заплат ни расти,  
Пусть все мои звезды померкли —  
Я счет им не буду вести.

В Маяковском Асееву тоже дорога эта органическая неспособность «стареть», обрастать бытом:

Он — вон он, — шагает  
большой и беспечный  
к своей неустроенной  
славной судьбе!

Но то, что в Хлебникове кажется странностью, нелепым, хотя и трогательным чудачеством, в Маяковском выглядит естественным, убедительным, единственно возможным, неотделимым от его человеческого облика.

Молодой Маяковский, встающий со страниц начальных глав асеевской поэмы, странен странностями новой эпохи, он человек будущего.

Для Асеева это — главное в Маяковском. Маяковский прежде всего дорог ему тем, что он прожил жизнь, ни к чему и ни к кому не приспособливаясь. Тем, что пророческими были его слова:

Пускай седины обнаруживает стрижка и  
бритье.  
Пусть серебро годов вызванивает  
уймаю.

Надеюсь, верую: во-веки не придет  
ко мне позорное благоразумие.

Маяковский для Асеева — это вечное беспокойство, вечная молодость революции, неостывающая, нестареющая, не подвластная никакой инерции времени, никому «позорному благоразумию».

Недаром в сегодняшней лирике Асеева, в стихах, вошедших в его последнюю книгу «Самое лучшее», образ Маяковского естественно сливается с образом весны и молодости — ярким, солнечным образом молодости нашей страны:

Март:  
весна вступает в азарт,  
мчаться куда-то хочется;  
школьники в окна глядят из-за парт —  
не могут сосредоточиться.

Апрель:  
в воздухе ласка и хмель,  
сколько слов надо добрых и нежных;  
в небе  
гудит самолет, словно шмель,  
в долах  
умытый подснежник.

Вот так Маяковский  
шел по весне,  
по мартам и по апрелям,  
навстречу солнцу  
с народом тесней  
по лужам и по капелям.

Зачем я вспомнил сегодня о нем  
среди шумного майского люда?  
Затем,  
что — горевший предмайским огнем —  
он сам был  
весеннее чудо!..

Спасибо тебе, весна,  
что ты светла и ясна  
без всяческих разъяснений!  
Спасибо тебе, страна,  
что ты сильна и стройна,  
полна надежд и стремлений!

Свыше сорока пяти лет работает Асеев в литературе. Он уже немолод. Но и сегодняшние его стихи до предела насыщены живительным озоном душевной молодости, по-юношески свежи и непосредственны:

Как лед облака, как лед облака,  
как битый лед облака,  
и синь далека и синь высока  
за ними — синь глубока;

летят облака, как битый лед,  
весенний колотый лед,  
и синь сквозит, высока, далека,  
сквозь медленный их полет!..

Сегодня, как и полвека тому назад, все так же ненавистна поэту тупая, косная сила прошлого, тянущая человека назад, к спокойному, уютному и неменяющемуся бытию:

Еще за деньги люди держатся,  
как за кресты держались люди  
во времена глухого Керженца,  
но скоро этого не будет.

Еще ко власти люди тянутся,  
не зная меры и цены ей,  
но долго это не останется:  
кастанут времена иные...

Мне кажется, что власть и почести —  
вода соленая морская:  
чем больше пьешь, тем жгучей хочется,  
а жажда все не отпускает...

С тех пор, как шар земной наш кружится,  
не уставая в безднах мчаться,—  
людей великое содружество  
впервые стало намечаться!

По-прежнему поэт верен себе, своей  
давней лирической теме — нестареющей мо-  
лодости души, молодости страны, первой  
открывшей миру дорогу к «людей велико-  
му содружеству».

Нам ли с тобою  
жить в скорлупе?!  
В поезде  
ездить в отдельном купе,  
на самолете  
в кабинке сидеть,—  
только в окошко  
на землю глядеть...  
Вспомним свои  
молодые года:  
Как нас подхватывали поезда!  
В красных теплушках  
песню везли,  
слов ее  
слышать без слез  
не могли...  
Время нам молодость  
снова вернуть:  
ею намечен  
проложенный путь!



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Н. Крымова.** О Зоре Дановской.— **К. Ваншеннин.** Настоящая поэзия.— **Кирилл Андреев.** Мир завтрашнего дня.— **З. Кедрина.** Великая опора.— **Л. Жуховицкий.** Зрячее сердце.— **М. Злобина.** «Естественный» человек в современном обществе.— **Л. Осоват.** Будем знакомы: Маркос Рамирес.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Л. Толкунов.** Под знаменем социализма.— **Е. Фильнов.** Когда Россия подымалась...— Полковник **Н. Денисов.** Прочитай, передай товарищу! — **Ю. Милешин.** Образ великого ученого.— **Е. Померанцева.** Конец «тайны» Тибета.— Кандидат исторических наук **А. Немировский.** Происхождение христианства.

## Литература и искусство

### О Зоре Дановской

**Т**на окраине Москвы шоссе вилоккой расщидится надвое. Направо оно остается Ленинградским, налево идет как Волоколамское. Мы едем налево.

Дорога круто петляет, как где-нибудь в горах, на юге, а рядом с шоссе так же, только медленнее, как-то задумчиво петляет речка Истра. Петрово-Дальнее — последняя остановка автобуса. Через поле, на холме, лежит село Дмитриевское, обыкновенное русское село с церковью, видной издалека, и одной широкой улицей. Рядом с церковью колхозный клуб — деревянный дом, выкрашенный ярко-голубой краской.

Мы подходим к этому клубу волнуясь, хотя знаем, что никто нас не ждет и никого мы своим приездом не удивим.

Входим в дом. Покрытые штукатуркой бревенчатые стены с прибитыми к ним бронзовыми бра, сцена не выше человеческого роста, обтянутая красным трибуна, ряды стульев, сбитых досками, — обычная клубная обстановка. А мы стоим, захвачен-

ные знакомостью каждой детали, будто видели этот клуб когда-то и хорошо его знаем.

Год назад здесь работала заведующей девушка из Москвы — Зоря Дановская. Чтобы расспросить о ней, мы и приехали в Дмитриевское. Она пробыла тут одно лето. Готовила клуб к фестивалю, лазила на столбы вешать флаги, доставала малярам олифу и синьку, возила колхозных комсомольцев на фестиваль в Москву, ела зеленые яблоки, которыми угощали мальчишки, а по вечерам меняла пластинки на клубной радиоле. Когда просил парторг, печатала на машинке заметки в «Боевой листок» и отчеты в район.

А к осени она написала пьесу, куда попала и эта деревня, и маляры, ремонтирующие клуб, и танцы под радиолу, и, как сейчас кажется, даже ветер с Истры, гуляющий по улицам села. Пьесу она назвала «Вольные мастера». Под названием написала — «трагедия», потом, видимо, подумала и зачеркнула. Перепечатала рукопись на машинке, в конце подписала: «Истра. Кол-

**Зоря Дановская. Вольные мастера. Пьеса. «Театр», 1958, № 11.**



хоз «13 лет Октября» — и послала в редакцию театрального журнала.

А через несколько дней, в начале октября, возвращаясь из Москвы в Дмитриевское на попутном колхозном грузовике с саженцами, Зоря Дановская погибла в нелепой дорожной аварии — на крутом повороте шоссе столкнулись две машины.

В редакции, куда по почте пришли «Вольные мастера», пьеса всех взволновала. Стали искать автора, но поиски эти закончились известием о том, что Зори Дановской нет в живых. Пьесу напечатали, и театры приняли ее к постановке.

Такова была история, приведшая нас в подмосковное село Дмитриевское и заставившая совсем по-особенному воспринимать и этот клуб на холме, и разговоры мальчишек о «Зое Николавне», которая пускала их бесплатно в кино, и крутое шоссе, залепленное огненными осенними листьями точно так же, как осенью прошлого года.

Пьеса, написанная Зорей Дановской, удивительно достоверна. Иногда кажется, что она просто списана с природы. Как будто просто так, на завалинке клуба сидела девушка и внимательно слушала перебранку работающих в клубе маляров, а потом записывала все это. И действительно, перебирая черновики пьесы, находишь листы бумаги, на одной стороне которых напечатано, например: «Коллектив птичник приложил все усилия для выполнения обязательств... Бригадир полеводческой бригады Юсков С. И. не принимает надлежащих мер к нарушителям трудовой дисциплины...» (Это чья-то заметка в стенгазету.) А на обороте листка быстрым почерком записаны слова: «Единоличник ты, Семен Иванович! (Возмущенно и наставительно): Нет! Я не единоличник. Я — мастер!» Это — уже для пьесы.

Пьеса была почти целиком «услышана» в жизни. Ее можно так и прочесть — почти как очерк, как списанный с природы случай в одной деревне. В Дмитриевском особенно чувствуешь эту достоверность пьесы. Действительно, совсем так, как описано в «Вольных мастерах», в прошлом году отремонтировали колхозный клуб маляры-халтурщики, в закусочной работает похожая на Глафиру из пьесы заведующая — самостоятельная женщина, живет в селе и старик маляр, которого зовут так же, как ста-

рого мастера в «Вольных мастерах», — Семен Иванович.

Но вот ходишь по деревне и постепенно начинаешь понимать, что пьеса не просто списана с жизни и, во всяком случае, не только в этом ее сила.

Нет в селе, где жила Зоря Дановская, нового клуба, такого, на ступеньках которого (как описано в пьесе) пришлось заночевать Яшке и его малярам, когда они вернулись в деревню через несколько лет. В Дмитриевском рядом с огромной бело-розовой церковью пока еще стоит неказистый деревянный дом с вывеской «Клуб».

И маляры, что работали здесь прошлым летом, обратно не возвращались. Где они бродят сейчас, никто не знает. И нельзя было списать с природы это трагическое возвращение и распад Яшкиной «вольной артели», которым заканчивается пьеса.

Простой факт, даже не явление, не событие: пришли маляры-халтурщики и ушли, причем ушли с победой — изуродовали клуб, обобрали правление. Кто знает, в чем именно, но был в этой победе залог будущего поражения людей, живущих безответственно, работающих безрадостно. Это зернышко будущего увидела Зоря Дановская и поняла, завязкой какой реальной жизненной драмы оно может стать. В простых будничных делах одной деревни раскрылась большая современная тема — крушение индивидуалистической психологии. Бытовые фигуры маляров приобретают силу художественного обобщения — последние могикане индивидуализма.

И вот мы ходим по деревне и видим то новое, что, наверно, видела и Зоря Дановская и что меняет облик многих деревень, оставляя за бортом таких людей, как Яшка.

Вдоль центральной улицы деревни тянутся горы желтого песка, это прокладывается через Дмитриевское шоссе новая дорога. В село пришел новый председатель. За два года он сделал колхоз миллионером. Перестроил всю работу, нашел новые источники доходов, открыв в колхозе мастерские, развернул невиданное тут раньше строительство.

Мы расспрашиваем про председателя. Единогласно говорят: хороший, деловой. Одна женщина выразилась так — головастый.

— Строгий? — спросили мы у мальчишек. Им послышалось другое, и они ответили:

— Строит, строит. Вот не было птичника — построил, скотный двор построил, ферму построил, сейчас ясли строит.

Дойдет, конечно, очередь и до клуба. И уже трудно будет соревноваться с этим клубом попу, служащему в церкви села Дмитриевского, тому самому, про которого Зоря записала в своем дневнике: «Матерый поп, бывший полковник царской армии...»

Все будет именно так. В это веришь, наблюдая жизнь колхоза на Истре, в это веришь, читая пьесу, в которой о неумолимой логике развития жизни рассказано просто и глубоко.

Уже несколько месяцев у меня в комнате стоит чемодан, полный рукописей. То, что не поместилось в нем, лежит на книжных полках и подоконниках, в папках и просто завернутое в газеты.

Стихи, рассказы, поэмы, повести, переводы с таджикского и персидского, большой роман, киносценарии, дневники и — планы, планы, планы. Рукописей так много, что работоспособность двадцатисемилетнего автора кажется невероятной.

Это была какая-то лихорадка замыслов, бурный и почти непрерывный процесс творчества.

Перелистываешь страницы рукописей и словно ощущаешь биение чужого пульса — то ровное, спокойное, то лихорадочное, потрясенное. Понятны мысли и чувства этого человека — он твой современник, он жил в те же годы, что и ты, обдумывал те же события, которыми жил и ты.

Но, кажется, жизнь привычная, будничная волновала этого человека больше, чем других. Какая-то постоянная внутренняя приподнятость была в отношении к окружающему. И возникала потребность рассказать об этом своем радостном и интересном общении с миром, в котором каждый день — новость, каждый человек — открытие, и все достойно внимания: Предметом поэзии становится старый дом, упирающийся окнами в стены завода на Авиамогильной улице, и московский трамвай, которому «пора на пенсию, куда-нибудь на Пресню», и пестрый таджикский базар, и хлопок, который сушат прямо на улицах города.

Выпал снег на улицах Сталинабада.  
Снег на улицах Сталинабада  
в теплом месяце октябре.

Пушистый и белый, он лег на асфальт

в раскаленный от солнца полдень,  
И, блестя глазами,  
в которых  
отражается чистое небо,  
объезжают его машины,  
прижимаясь к обочинам узким,  
окантованным жирной чертой арыков.

Выпал снег на улицах Сталинабада.  
Прикрывая стриженные затылки  
тюбетейками в майских узорах,  
босоногие звонкие ребятишки  
помогают снег досгавать из мешков,  
на усталых грузовиках привезенных  
с шумных далеких полей;  
помогают его рассыпать  
по блестящим отглаженным мостовым  
широких проспектов.

Выпал снег на улицах Сталинабада,  
где, смеясь, пробегают девушки  
в светлых, легких, просторных платьях,  
тонко тканых из снежной пряжи,  
на которых цветы распустились,  
образуя ковер весенний,  
завиваясь в венки улыбок.  
И на мягком снегу бутоны  
ярких маленьких босоножек.

Выпал снег на улицах Сталинабада.  
Выпал снег небывалого урожая,  
теплый, пушистый снег,  
выросший  
в горячих полях у подножий высоких гор.  
(У колхозов не хватает сушилок!)  
Он лежит, отдыхая на гладком асфальте.  
на шелковистом платке асфальта.  
Он лежит и не тает под солнечным взглядом  
и совсем не дает прохлады, —  
скорей —  
согревает сердце<sup>1</sup>.

«Баллада о воде» — называет Зоря Дановская другое свое стихотворение. В номере гостиницы из плохо закрытого крана капает вода. От усталости нет сил встать и закрутить кран. И вот в полудреме кажется, что вода начинает рассказ о сожженных солнцем песках и человеку, который добывал в степи воду:

Покой далек,  
Тревожен сон.  
Открытки редкие жене.  
Он в воду, говорят, влюблен —  
Седой, высокий инженер.  
Он степь, как девушку, любил,  
Ее он видел в каждом сне,  
Живой водой ее поил  
И разговаривал он с ней...

Нечеловеческие усилия людей напоить землю кончились победой. Другой стала степь, другой будет тут жизнь. Меняется

<sup>1</sup> Все стихи З. Дановской, которые приводятся в статье, печатаются впервые.

внутренний ритм рассказа, и по-новому слышит теперь звук капель усталый человек в гостинице:

Стучала стель из-под копыт,  
Румянцем солнца залита.

Стучит

стучит,

стучит,

стучит

Из умывальника вода.

Вода! Ты не мешаешь мне.  
Как хорошо, что ты стучишь!  
Как чье-то сердце в тишине,  
Как песня в комнате звучит.

Закончив стихи, Дановская меняет название. Теперь это «Баллада о любви». Рассказ о воде обрел смысл героический, возвышенный.

Просто и смело сплетает Зоря Дановская прозу с поэзией, возвышенное с самым земным. Она пишет «Поэму о картошке», как повесть о горе и радости, о наступлении человека на темноту и его победах, не боясь переходов от юмора к эпическим, торжественным интонациям.

...потихоньку она прижилась.  
Забыла надменность латинской основы  
и стала своею на родине новой.

Забыла о блюдах в изысканном стиле,  
Забыла барственные замашки.  
И именем новым ее окрестили,  
русским именем,

вроде Машки,  
иль синеглазой веселой Наташки,  
иль деревянной румяной Матрешки.  
На долю ей выпало имя Картошки...

А через несколько строк маленькая грустная главка резко меняет настроение поэмы — переворачиваются страницы истории.

...На тихой поляне,  
где брызги ромашки,  
лежит продармеец в зеленой фуражке.

На липовой ветке — глубокий излом.  
Лежит продармеец и спит вечным сном.

А на промятой недавно лишь стежке  
рассыпан мешок молодой картошки.

В лесной тишине,  
обжигающе ярки,  
заснули в траве  
земляные яблоки.  
И цвет их не сер,  
а тревожно багров.  
Их окрасила кровь...

На тихой поляне,  
где брызги ромашки,  
лежит продармеец в зеленой фуражке.

Там съежились травы под липой высокой.  
...Поля за рекой зарастают осокой.

Во многих стихах Зори Дановской волнует прежде всего человеческий характер автора, это умение не отступать, когда трудно, и душевная честность, заставляющая верить любому ее слову. Вот стихи о приезде в Одессу, о встрече с городом — другом детства. Может быть, больше, чем остальные, эти стихи — исповедь, правда, исповедь в невеселый час, который бывает у каждого.

...Я везу тебе самое дорогое  
из всего, что есть у меня.

Вот мой чемодан. В чемодане этом  
с углами потертого дерматина —  
стихи, еще не видавшие света,  
и несколько песен, еще без мотива.

Приехала дачница.  
Солнечный вечер.  
Все та ж неудачница.  
Хвастаться нечем.

Что значит удача?!

Какая удача?!

Разве могла бы я жить иначе?!

Опять, бы всю жизнь отстучать  
на машинке —  
опять повторила бы все ошибки.

Опять повторила бы все невзгоды,  
поздно б считать научилась годы.

Опять, как в самом, самом начале,  
прошла бы я через все печали.

Как матрос, впервые берущий риф,  
долго бы путалась в дебрях рифм.

Однажды бы в сердце закрался уж,  
что у подруги хороший муж;

обида, что я судьбой не уважена,  
что у кого-то вся жизнь налажена:

работа ладится,  
мягки диваны,

со вкусом выбранные картины...  
А я вот по свету брожу с чемоданом  
из потертого дерматина.

Одесса!

Жемчужина алых степей!  
Еще раз мне песню свою прогуди!  
Думаешь,

ехала я к тебе,  
чтобы выплакаться на груди?!

Нет.

Ты понимаешь.

А море вздыхает.  
И в сини — голуби парусиновые.  
Я так люблю тебя, дорогая!  
Какая ты стала теперь красивая...

С детства знакома мне эта дорога.  
Давай на песок у воды приляжем.  
Давай помолчим с тобой немного  
на пустынном Лузановском пляже.

...И вот обещаю любимой своей я:  
пускай морщинами лоб будет сломан,  
пусть радость сердце мое не согреет —  
ни одного фальшивого слова!  
Ни одного фальшивого звука!

И молча кивает в ответ подруга.

Бывают люди, оседлые по природе. Они с трудом снимаются с насиженного места, неохотно пускаются в путь и никогда не чувствуют себя дома в чужом городе. Дорога для них — наказание, хлопотливое, вынужденное дело.

Реже встречаются другие — путешественники по натуре, люди, живущие с беспокойным любопытством в душе. Зоря Дановская была таким человеком. И потому нет в ее стихах покоя, как не было благополучной устроенности в ее жизни, а мир, ее интересующий, — широк, просторен и богат. Потому любимая тема, которая проходит через все, написанное ею, постоянно возвращает к себе, тревожит, — это дорога. Дорога, уходящая вперед, к неизвестным краям и незнакомым людям.

Меня тянет вокзал.  
Это ждет новый край.  
Это ищет меня  
почтальон его — ветер.  
Это руки мои  
стосковались по делу.  
Это песню мою  
еще там не слышали.  
Я еще не видала,  
как там солнце восходит.  
Я не знаю, что там.  
Я должна это знать.

Меня тянет вокзал.  
До свиданья, любимый!

Вот ее дорожные записки. Вернее — просто письма к любимому человеку, которые писались каждый день, как дневник, во время пятидневной дороги из Москвы в Сталинабад. Она ехала туда работать после окончания университета.

«...Прибываем на станцию Кузнецк. Пойду — выйду. Никакого Кузнецка не видать — сплошные составы, расписанные мелом, как доски в классах. Здесь тепло. Чужая мокрая земля, качаются по ветру голые, черные деревья.

Третий день моего «сентиментального путешествия». Пошел Казахстан. Голая, черная безбрежная равнина, чуть присыпанная белой пылью. Город в этой степи появляется, как берег в море: сначала синяя дымка над горизонтом, затем начинает рисоваться

волнистая черная линия — это верхушки деревьев, потом среди них проглядывают крыши, все приобретает окраску, и через пять минут поезд останавливается...

На краю платформы в гордом и унылом одиночестве возвышается синий, как небо Таджикистана, книжный киоск. Накинув платок на голову, я бегу купить чего-нибудь чтива. Розовые мечты. В киоске только сельскохозяйственная литература, рассказы Короленко и «Мать» Горького. Все пути забыты товарными составами с грузами для целинных земель. Цистерны, цистерны, лес, машины — Северный Казахстан.

...Как холщовый полинявший занавес, спускается куда-то за горизонт пыльное, серое небо. Какая-то дикая, сказочная красота есть и в этой пыльной картине. Впрочем, это для Мясникова. А я хочу, чтобы здесь были сады.

...Сегодня голосуют в поезде. А я, дураха, не взяла удостоверения. Так жалею, так жалею. Это событие — проголосовать в поезде.

Ах, какие места идут голые. Бурые горы, бурые долины, безжалостное, гжучее небо и больше ничего, ничего! Все символично, как иероглиф. Через 6 часов Сталинабад. Скоро будут Сурханы. Если я когда-нибудь напишу роман о себе, то эту главу моей жизни я назову «Сурханы»...

Прошло около двух лет, и в ящик стола лег черновик романа, одна из глав которого называлась «Сурханы». Но это был роман не о себе. Сталинабадская жизнь отодвинула старые планы, увлекла и закужила новыми замыслами.

Роман был написан о строительстве первой железной дороги в Таджикистане, той самой дороги, где станции появляются, «как берег в море», а вокруг все «символично, как иероглиф». Героями романа стали строители дороги, комсомольцы двадцатых годов: автору близка была одержимость и самоотверженность людей тех лет.

На многих маленьких карточках сделаны торопливые записи. Наблюдения, окружившие потом, в романе, образы героев реальной жизнью, бытом, атмосферой Таджикистана: «...У Марифат болят ноги, их можно пойти погреть в черной грязи...», «...Кунжут. Мелкие цветы, сидящие в пазухах листьев. Окраска от белого до фиолетового, цветков лиловый, как небо перед грозой». На обо-

роге этих карточек — таджикские слова: уже владея языком как филолог-иранист, Зоря продолжала изучать его, занимаясь переводами из таджикской и персидской поэзии.

Ни одному человеку она не успела сказать, что написала большую вещь. А может быть, не сказала потому, что знала — работа еще не закончена. Прошел почти год после ее смерти, и как-то родные, открыв шкаф, в который давно не заглядывали, нашли на дне его аккуратно уложенные толстые стопки бумаги — это и был роман о Таджикистане.

Она выростала внутренне — почти незаметно для окружающих. Друзья учили наизусть ее стихи, а она писала их все реже и реже. В ящик стола ложились другие рукописи — начинался какой-то новый этап жизни, может быть тот самый, который у художника принято называть зрелостью. У Зори Дановской он связался с театром, с драматургией. И так же как, занимаясь переводами, она с головой уходила в изучение восточной филологии, так теперь она старалась понять законы жанра, обдумывала черты современного стиля в драматургии.

На тетрадном листке наброски мыслей:

«После завершения должна продолжаться жизнь. Нарастание действия. Занимательная фабула. Большие страсти. Любовь, страдание. Множество сравнительных линий или две, ярко выраженные. Смех. Большие человеческие проблемы. Символика. Четкие характеры и соответствующая речь. Характерные выражения. Игра вещей. Взаимодействие многих действующих лиц. Завершение в последнем действии всего, что начиналось в первом. Развитие характеров. Естественные и простые действия (итальянское кино). По возможности детали. Идея. Внутренняя идея. Сквозное действие. Люди самых разных профессий...»

Это — азбука драматурга. Но в ней как раз те простые истины, которые каждый должен открывать для себя сам.

Среди бесчисленных планов и драматических набросков — несколько пьес законченных, цельных. Трагедия «Сапфо» — о древнегреческой поэтессе, пьеса «Когда не заходит солнце» — о людях северного края, о героической девушке по имени Любка — Любовь. Эту, последнюю пьесу Зоря Да-

новская написала, услышав об открытии молодого театра «Современник». Написала и не решилась никому показать. Так пьеса и осталась лежать в столе. Ее нашли там после смерти автора. Сейчас эта пьеса принята к постановке в театрах Москвы, Ленинграда, Киева. Принял ее и театр северного города Мурманска, подивившись тому, как любит и знает молодой автор тот край, где ему никогда не пришлось побывать.

Весной 1957 года Зоря Дановская пошла в райком комсомола и попросила дать ей направление на работу. Она не собиралась бросать свою профессию, только что была закончена большая работа — переводы для издательства «Иностранная литература». Но хотелось дела живого, которое целиком заняло бы голову и руки и дало бы реальное ощущение собственной пользы.

Приближался фестиваль. Люди были нужны, и по путевке райкома комсомола Зоря Дановская поехала в колхозный клуб под Истру.

Четыреста двадцать четыре рубля зарплаты плюс двести рублей надбавки от правления колхоза, но, как всегда, не это было главным. Она получала здесь то, что всегда искала, — работу, дающую радость людям и ощущение, что видишь жизнь такой, какая она есть.

Последние странички дневника:

«...Истра. Я прошла через всю Истру и была от нее в восторге. Какой чудный маленький городок! Разыскала я исполком. Заведующий отделом культуры Рольнов. Он сразу взялся за меня: «В самый трудный район. Дмитриевское на Истре». Я еду. В селе роскошная церковь в железной ограде. Подметенные дорожки, чистота. Рядом маленький черный клуб. (Черный, как бывает черная баня.) В селе орудует поп, умный матерый поп, бывший полковник царской армии. Он всеми путями привлекает людей на свою сторону. Здесь провалился недавно заведующий клубом. Он помог попу оформить «колонну демонстрантов» — крестный ход. За то и вылетел, прогремев на всю Московскую область.

...Я боялась ложиться спать в клубе, а ночевать мне было негде. Тогда я заперла двери на веранду. И легла там. Я составила две скамьи и положила на это одеяло. В разбитые стекла веранды прѣбывался ветерок с маленькой романтической Истры,

пахло лесом, лугом, речкой и миллионом приятнейших запахов. Скамейки были разной величины. Я прочувствовала это очень глубоко...»

Так началась ее жизнь в колхозе «13 лет Октября». Началась не легко и не очень весело, но меньше всего о бытовых неудобствах думает в эти первые дни заведующая клубом. На страницах ее дневника мелькают люди — Нина с фермы, которая «в клуб не ходит — некогда. Да, видимо, и скучно». Председатель колхоза, уже второй колхоз за два года выдвинувший в миллионеры. Клубный художник, инвалид войны, громыхающий протезами, энтузиаст и бесребреник; «завклуб» из Грибанова Юра — «умница, хотя и уверен, что главное в культработе — это кино и танцы. Ему пригрозили, что его снимут. Он смеется. Не бойся, Юра! Тебя не снимут. Парней с такой улыбкой не снимают, а то очень скучно будет жить на свете». Как всегда, девушку тянет к людям, в каждом она находит что-то свое, особенное, и кажется по ее дневнику, что именно тут, в Дмитриевском, живут самые интересные люди из всех.

В июле в клубе начался ремонт. Пришли маляры. «Сегодня я целый день гонялась за всякими материалами. То моим малярам нужна была соль, то купорос, синька, мыло. Я проехала на телеге на склад (впервые в жизни ехала на телеге. Удовольствие ниже среднего, но надо испытать все)». «...У меня в голове идея романа: «Гравич и Макаров». Это о двух председателях. Гравич — это Альперович. Макаров — председатель из Шихова. Роман о разных методах работы. Фамилии для романа: Подвизнова, Курганская (Липа)».

Комсомольские совещания в Истре, фестиваль и ежедневные приезды делегаций, ремонт клуба и споры с правлением, купание в Истре и танцы под гармошку — как всегда, с головой влезла она в жизнь и ее хлопоты. Даже дневник писать было некогда.

Тем не менее за два осенних месяца и была написана пьеса «Вольные мастера».

И вот ходишь по улицам Дмитриевского, вспоминаешь странички из дневника и рассказы родных о том, как в последний раз примчалась Зоря в Москву, чтобы закупить карнавальные маски к колхозному празднику, и невольно думаешь: может быть, именно так, в непрерывном, нелегком, хлопотливом общении с жизнью и должна вырастать истинная литература?

Разным людям свойственно оставлять по себе разную память. Никто не знал в Дмитриевском, что их «завклуб» пишет пьесы и стихи, переводит с таджикского и персидского и не просто достает малярам олифу и синьку, а обдумывает их судьбы и гадает об их будущем, но ее там не забыли.

Мы рассказывали милой женщине, уборщице клуба Елене Васильевне, про пьесу Дановской, а она, вытирая платком глаза, говорила нам свое: «Вижу я в окошко — она все бежит, все бежит... Я говорю, что ты все бегаешь, Зоенька, на этой работе никто до тебя не бегал. А она послушает, засмеется и опять бежит...»

В одном из своих писем Зоря Дановская писала: «Надо иметь большое сердце, очень большое, потому что лучшее, что есть на земле, — это не брать, а давать. И надо, чтобы было что давать».

**Н. КРЫМОВА.**



## Настоящая поэзия

Бывает, читаешь иные стихи, и все там вроде есть: и мысль, и образ, и интонация, но все это какое-то необязательное, вялое, можно на ходу заменять одни слова другими, причем сразу же, не задумываясь, предложить несколько вариантов такой замены, и стихи от столь грубого вмешательства не только не ухудшаются, а, наоборот,

становятся лучше. Таких стихов, к сожалению, много.

Встречается часто и другая крайность: все сбито, подогнано, размер четкий, рифма звонкая, а не задевает за душу — все холодное, как говорят литераторы в обиходе, «сделанное», идущее «от головы», то есть рационализм выдается за эмоцию. И, главное, видно, как все это делалось.

Это не искусство, а ремесло.

В первом случае стихи обычно сразу же раздражают опытного читателя, но во вто-

Борис Ручьев. Лирика. Редактор Р. Ушеренно. 168 стр. Челябинское книжное издательство. 1958.

ром можно обмануться, это очень похоже на настоящее, как отполированная стекляшка похожа на бриллиант, и бывает трудно доказать, что это подделка. Это нужно просто знать, чувствовать. У некоторых людей бывает врожденное понимание поэзии (так же как, например, абсолютный музыкальный слух), другие достигают этого постепенно, приобретая опыт.

И гораздо реже видишь стихи истинные, заставляющие трепетать сердце, стихи, произнести вслух которые доставляет удовольствие, стихи, о которых и сказано: «Из песни слова не выкинешь».

Таким счастливым даром обладает поэт Борис Ручьев. Его книгу «Лирика» мне довелось недавно прочесть.

Вот две строчки:

...дует ветер с Украины  
паровозу в фонари.

Это сказано между прочим, это пейзажный фон. Как в поэзии часто бывает, даже трудно сказать, в чем здесь прелесть. Но как это свободно, непринужденно, естественно и неожиданно, если хотите.

Или «Стихи о первой любви»:

Длинной бровью повела,  
Руку в руку подала...

Такое нельзя придумать. Это получается как бы само собой. (Я не хочу, конечно, сказать, что поэт не должен работать. Напротив, именно в процессе упорной работы и преодолений и рождается подобная легкость и свобода в обращении со словом.) Если было бы сказано просто «руку подала», мы не заметили бы этих слов. А в этой строке: «руку в руку подала» — виден не только жест, но даже и характер.

Поэзия Бориса Ручьева тесно связана с жизнью страны. Это стихи о людях, пришедших на стройки первых пятилеток, в брезентовые палатки и дощатые бараки тогдашнего Магнитостроя, о времени, когда

каждый праздник — как награду —  
получали от страны  
то рубаху из сатина,  
то суконные штаны,

стихи о рожденном в душах людей новом чувстве трудового долга, стихи о жестоких испытаниях, о трескучих морозах «заполяной сказочной земли», где «почти всю зиму бродит по дороге страдающий бессонницей

медведь», стихи о войне. В книге Ручьева много прекрасных стихов о любви, полных легкой грусти и легкого юмора, психологически очень точных.

Но главная тема его стихов, его жизни — это любовь к работе, к той, что «равна отвагою войне», к суровому труду, создающему новый

...город мой,  
каждым камушком родимый,  
каждой гайкою родной...

Несмотря на то, что половину книги составляют поэмы, она совершенно справедливо названа «Лирика», настолько в ней все идет от автора (как говорится, от лирического героя), через его сердце.

Борис Ручьев обладает своим собственным почерком и манерой, своей интонацией, хотя и заметно, что он испытывает влияние некоторых других поэтов, оставаясь, повторяю, самим собой.

Талантливую книгу Б. Ручьева составляют стихи, написанные более чем за четверть века. Не все, конечно, здесь равно. Не стоило, по-моему, включать в книгу поэму «Атака», наивны, часто несовершенны ранние стихи. Это естественно. И я говорю об этом сейчас с легким сердцем, потому что значительно выше всего остального стоит его работа последних лет — «Индустриальная история».

Синей осенью, в двадцать девятом,  
о руду наострив топоры,  
обнесли мы забором дощатым  
первый склад у Магнитной горы.  
Друг на дружке обиду срывая,  
мы пытали друг друга до слез:  
— Где ж индустрия тут мировая,  
до которой вербовщик нас вез?..

«Индустриальная история» — это главы из не оконченной еще поэмы, поэмы не в классическом понимании этого жанра, а в традиции поэм, где каждая глава, составляющая как бы отдельное, законченное произведение, соединяется с другими не столько внешним развитием сюжета, сколько своей внутренней сутью.

Это страницы жизни нашей страны, страницы, ставшие уже историей, — первые пятилетки, строительство отечественной тяжелой промышленности.

До чего ж это здорово было..  
..Той же самой осенней порой,  
как пошла вдруг да как повалила —  
вся Россия на Магнитострой..

В нашей поэзии действительно мало настоящего удачных произведений о труде и рабочем классе. И хотя это, конечно, нелепо, когда делят литературу на «производственную», «колхозную», «военную» и т. п., все же очень приятно вдруг встретить такую вещь, именно о рабочем классе, написанную не потому, что «нужны» стихи о труде, а потому, что не написать ее было невозможно.

Это — внутренняя тема Б. Ручьева, составляющая главную привязанность его жизни. И великое счастье художника, когда его главное совпадает с главным народа.

Повествование Ручьева очень живо. Масса здесь так называемых «находок» — удачных образов, выражений, эпитетов. Выпуклы и зримы картины строительства Магнитки.

И такое испытываешь чувство, будто сам ты тот деревенский парень, пришедший из далекого села, одна из тех ста «украинских, русских, татарских — околдованных городом душ», будто над твоей барачной койкой

грамот бумажное пламя  
так и пышет, аж сердце печет,—  
и на всех — золотыми углами  
припечатано слово  
п о ч е т,—

будто сам ты тоскуешь по своей милке  
Любаве, сам «бетонишь до пота», сам

встречаешься с «Железным наркомом» Серго, сам свистишь вслед «заморскому киту» — мистеру Шпроту.

Кончишь читать — и жаль, что не пришлось тебе самому повидать все это, самому строить Магнитогорск,

за два года — пройдя сивозь века:  
Земляной,

Деревянный,  
Бетонный...

И уже замирает душа,  
как загрохал над первою домной  
завершающий век Монтажа...

...В кожанке бронзового закала,  
пятым  
праздничным  
веком Литья,  
на глазах, по часам выростала  
домна-матушка,  
юность моя...

А ведь так заставить пожалеть, что сам ты не участник описываемых событий, может лишь настоящее искусство.

Книга Бориса Ручьева «Лирика» — и особенно его «Индустриальная история» — очень заметное явление в нашей литературе.

У Бориса Ручьева трудная судьба. Жизнь его складывалась не гладко. И тем более отраднo, что его поэтический голос звучит сейчас ярко и сильно.

К. ВАНШЕНКИН.

★

## Мир завтрашнего дня

В чудовищной черной пустоте космического пространства, заполненного лишь похожими на стрелы цветными или призрачными лучами звезд, летит космический корабль жителей Земли. Он был послан на мертвую планету Зирду, жители которой погубили себя и свою планету, заразив ее атмосферу продуктами радиоактивного распада. Вот под звездолетом появляется поверхность Зирды, покрытая сплошным ковром цветов, похожих на бархатисто-черные маки Земли. Все погибло — люди, животные, леса, травы, кустарники. Словно ребра громадных скелетов, виднеются среди черного ковра улицы городов, красными ранами ржавеют металлические конструкции.

И. Ефремов. Туманность Андромеды.  
Редактор С. Жемайтис. 368 стр. «Молодая гвардия», М. 1958.

Нигде ни живого существа, ни деревца — только одни-единственные черные маки, давшие под действием радиации жизнеспособную мутацию.

И звездолет снова уходит в вечную ночь, чтобы много лет лететь со скоростью, близкой к скорости света, к такому милому Солнцу и пленительной родине — Земле...

В чистых просторах жилого пояса Земли поднимается к небу выше чем на километр могучий спиральный город. Крутая спираль, выходящая на море, светится на солнце миллионами опалесцирующих стен из пластмассы, фарфоровыми ребрами каркасов из плавленного камня, креплениями из полированного металла. На головокружительной высоте висят легкие мосты, балконы и выступы садов. Широкие лестницы спадают к основанию, постепенно переходя в ступенчатые парки и густые рощи окрестности...



Многоэтажный вагон всемирной дороги, опоясывающей всю Землю, мчится по колее десятиметровой ширины со скоростью в двести километров. Сквозь прозрачный силиколовый колпак верхнего этажа видны протянувшиеся узким поясом вдоль дороги автоматические заводы. Ослепительно сверкают на солнце их купола из «лунного» стекла, сквозь которые смутно проступают четкие и суровые формы колоссальных машин. Промышленную зону сменяет зона земледелия: деревья хлебные, ягодные, ореховые с тысячами сортов богатых белками плодов, сменившие хлебные поля далекой древности, поднимают свои пышные гигантские кроны на уровень полотна дороги. Электрические солнца, «подвешенные» над полярными областями, освещают и согревают Арктику и Антарктику. Вся планета превратилась в великолепный сад, охваченный вечным, неугасимым цветением, по которому можно из конца в конец пройти босиком, не поранив ног...

Такой странный и далекий мир предстает перед читателем, раскрывающим книгу И. Ефремова «Туманность Андромеды».

Но такой ли странный, такой ли далекий?

Сам автор еще в процессе писания несколько раз изменял время действия в сторону его приближения к нашей эпохе. Много из того, что казалось фантастическим, почти несбыточным, уже осуществлялось, пока автор сидел за своим письменным столом. Сначала И. Ефремову казалось, что понадобится не меньше трех тысяч лет, чтобы осуществились мечты, воплощенные в романе. Позже, после публикации отрывков из него в журнале «Техника — молодежи», автор сократил этот срок на тысячелетие. Но запуск искусственных спутников Земли заставил автора поверить в то, что события романа могли бы совершиться еще раньше. Жизнь догоняла самую смелую фантазию писателя! Да и как могло быть иначе: ведь для нас будущее — не бесплотная мечта, но живая реальность. Оно уже существует рядом с нами — в планах, проектах и чертежах. Ученые в своих прогнозах развития науки уже заглядывают за грань двухтысячного года. Сейчас мы являемся свидетелями бурного развития науки и общества. В этом одна из трудностей, которые встречает писатель, пытающийся набросать хотя бы общий абрис облика грядущего. Это признает и сам автор в предисловии к кни-

ге: «Я исходил в расчетах из общей истории человечества, но не учел темпов ускорения технического прогресса и главным образом тех гигантских возможностей, практически почти беспредельного могущества, которое даст человечеству коммунистическое общество».

И однако автор не побоялся почти непреодолимых трудностей и написал умную, страстную книгу, продиктованную смелой фантазией писателя и ученого, опирающейся на самое передовое мировоззрение человека нашего времени, книгу, во многом спорную, в отдельных деталях, может быть, надуманную, но нужную всем тем, кто своими руками создает это грядущее, — ибо это не научно-фантастический или приключенческий роман, но книга о будущем коммунистическом обществе.

О завтрашнем дне немало пишут и за рубежами социалистического мира, особенно в другом полушарии. В американской литературе, пытающейся заглянуть в третье тысячелетие нашей эры, много выдумки, есть интересные писатели, но этот фантастический мир трансгалактического масштаба при ближайшем рассмотрении оказывается до смешного похожим на сегодняшнюю Америку. Мы видим здесь и капиталистов, организующих тресты в масштабах всей солнечной системы, и безработных, выселяемых в пустынные области Марса, и «низшие» расы, находящиеся в подчиненном положении, и межпланетных полицейских, сражающихся с гангстерами мирового пространства. Английский язык, точнее, нью-йоркский жаргон — слэнг, является господствующим в этом мире, а деньги — высшей силой и моральной ценностью. Не будем поэтому удивляться, если житель какой-нибудь отдаленной планеты при виде прибывшего туда межзвездного пришельца с Земли скажет товарищам: «Хэллоу, парни! Что за чуело выкатилось из этого старого дилижанса, о-кей!»

«Будущее, изображенное мною в повести «Когда спящий проснется», — писал в автобиографии Г. Д. Уэллс, — имело в основе простое увеличение реально проявившихся тенденций: знания стали выше, города — грандиознее, капиталисты — злонамереннее, а рабочие — еще более угнетены и готовы к возмущению. Все стало крупнее, быстрее и скучнее. Люди овладели воздухом, финансовые спекуляции приняли бешеные раз-

меры. Это — наш современный мир, но во всем увеличенный».

Речь здесь идет о раннем периоде творчества Уэллса. Позже он не только отказался от этой формулы, но сам написал роман «Люди-боги», посвященный коммунистическому обществу будущего. И хотя творчество Герберта Уэллса, ставшего для нас классиком, несоизмеримо с современной американской научно-фантастической литературой, эту формулу шестидесятилетней давности можно целиком применить ко всей западной литературе о будущем. Облик грядущего, который рисуют современные писатели Соединенных Штатов, это лишь уродливо искаженное лицо сегодняшнего дня Америки. И это понятно: для того чтобы нарисовать иное общество, не похожее на мир капитализма, нужно в него страстно верить и за него бороться.

Труднее объяснить, почему книги о коммунистическом обществе не созданы в нашей стране. Но, чтобы решить такую грандиозную задачу, мало одного писательского таланта — нужна огромная культура мысли, широкое знание проблем современной науки, владение методом диалектического материализма. Авторы многих наших научно-фантастических романов (А. Казанцев, Вл. Немцов и другие), заглядывая в будущее, не ставили перед собой задачи нарисовать коммунистическое общество высшей фазы. Их романы — лишь проекции на близкий завтрашний день еще не решенных научных и технических проблем. И. Ефремов в отличие от них на широком фоне далекого будущего говорит о проблемах науки, сегодня даже не поставленных, и подводит итоги своих раздумий над социальными проблемами высшей фазы коммунизма.

Любопытно, что почти одновременно с книгой И. Ефремова в Варшаве вышел роман польского писателя-коммуниста Станислава Лема «Магелланово Облако», тоже посвященный описанию будущего коммунистического общества. Не зная ничего о работе друг друга, русский и польский писатели создали очень похожие книги — не по сюжету, конечно, но по своим социальным идеям. Даже названия их романов сходны: они говорят, что нет предела воле человека, люди когда-нибудь не только достигнут ближних и дальних звезд, но продолжат пути к другим галактикам — Магелланову Облаку, Туманности Андромеды.

«Наши знания в области законов общественного развития, строения материи, формирования и проявления духовной жизни человека неполны, — пишет Лем в предисловии к своему роману, — но отражают нынешний этап познания. Опираясь на них, мы не можем создать какой-то окончательной, завершенной во всех деталях картины будущего мира. Однако это отнюдь не означает, что наука на нынешнем ее этапе совершенно бессильна в отношении будущего. Известные положения теории исторического материализма, а также основное направление в развитии техники и естественных наук позволяют набросать в общих чертах картину будущего...»

Эти слова полностью применимы и к роману И. Ефремова. Вот почему эти книги очень разных писателей так сходны.

Высшая фаза коммунизма, которая в книге «Туманность Андромеды» именуется ЭВК — эрой Великого Кольца, — это эпоха полной победы человека над земной природой, овладения неисчерпаемыми источниками энергии и перехода к следующему этапу овладения миром — достижению других звезд и заселению пригодных для жизни планет далеких солнц.

Описания иных миров принадлежат к лучшим страницам книги И. Ефремова. Они поэтичны, очень точны и в то же время полны великолепной фантазии — будь то мир, освещенный черными лучами железной инфразвезды, или миры-близнецы зеленой циркониевой звезды вблизи гиганта Ахернара, или мир бронзовых людей, освещенных призрачно-фиолетовым светом солнца Эпсилон Тукана.

Для фантастической литературы, описания чуждых Земле миров не представляют собой ничего нового. Новым в книге И. Ефремова является великий и одушевленный, если так можно выразиться, «космический» гуманизм, под знаменем которого все высококоразвитые мыслящие существа нашей Галактики объединяются в Великое Кольцо.

Когда-то Герберт Уэллс, впервые сведший на Землю марсиан, первых гостей из космоса, не пожалел красок, чтобы изобразить гипотетических обитателей соседней планеты в самом непривлекательном виде:

«Кто никогда не видал живого обитателя Марса, не может представить себе, какое странное и отталкивающее впечатление он производит своей внешностью. Рот в виде

клина, с заостренной верхней и раздвоенной нижней губой, постоянно вздрагивающей, отсутствие бровей и подбородка, лучеобразно расположенные группы щупальцев, как у спрута, шумное дыхание, неловкие, неуклюжие движения благодаря более сильному земному тяготению и в особенности напряженный, пристальный взгляд огромных глаз,— все это вместе противно до тошноты. Особенно отвратительна эта маслянистая кожа, напоминающая оболочку гриба, а неловкие, медленные, но очевидно сознательные движения щупальцев имеют в себе что-то невыразимо ужасное...

Такая беспричинная ненависть к обитателям другого мира, к сожалению, стала традицией. Чудовищные формы жизни вне Земли стали почти обязательными для фантастической литературы на Западе. С обложек дешевых американских журналов на читателя глядят гнусные рожи отвратительных созданий. Искривленные тела огуречно-зеленого цвета, скользкая кожа моллюска, щупальца спрута, клыки кабана, глаза насекомого, движения пресмыкающегося — таковы почему-то обязательные внешние признаки обитателей иных звездных систем.

Но авторам американских фантастических рассказов мало отвратительной внешности «небожителей»: они наделяют их и чудовищно гнусными моральными качествами. Кровавожадные, злобные, завистливые, трусливые, вороватые, лишенные стыда, совести и чувства чести — подобные существа могут вызвать у читателей только ужас и отвращение.

Это не только и даже не столько проявление своеобразной расовой ненависти к жителям иных миров. Это скорее отражение идеи исключительности и неповторимости земной жизни, характерной для очень многих западных ученых.

На все это И. Ефремов ответил как писатель и ученый много лет назад в своем первом рассказе на космическую тему «Звездные корабли».

Великолепен в этом рассказе разговор двух советских ученых, размышляющих о том, каким может быть высокоорганизованное мыслящее существо. Для несения колоссальной дополнительной нагрузки — мозга — оно должно быть достаточно большим, но не огромным, иметь мощные органы чувств, и из них наиболее развитое и важное — зрение, зрение двуглазое, стерео-

скопическое. Оно должно свободно передвигаться и иметь развитые конечности, быть способным держать оружие, пользоваться орудием, изготавливать оружие. Без орудия и труда нет и не может быть человека. Следовательно, больше всего он должен походить на нас, жителей Земли: форма человека, его облик как мыслящего существа не случаен. «Между враждебными жизни силами космоса есть лишь узкие коридоры, которые использует жизнь, и эти коридоры строго определяют ее облик».

Эта мысль Ефремова-ученого доведена до логического завершения Ефремовым-писателем в романе «Туманность Андромеды». Красота — это высшая организация и целесообразность. Таковы люди системы звезды Эпсилон Тукана: «Люди Тукана были так похожи на людей Земли, что постепенно утрачивалось впечатление иного мира. Но красивые люди обладали такой отточенной красотой тела, какая не была еще достигнута всеми на Земле и жила в мечтах и творениях художников, воплощаясь в небольшом числе необычайно красивых людей».

Отсюда совершенно естественно вытекает идея писателя о братстве Великого Кольца — о единой семье всех гоминOIDов, человекоподобных мыслящих существ, населяющих бесчисленные миры нашей Галактики.

Быть может, И. Ефремов и неправ: мы знаем, какие разнообразные формы может принимать жизнь, сколь многими путями может идти эволюция. Но великий гуманизм этой идеи, противопоставленный идеям вражды и борьбы миров, страху перед вторжением на нашу Землю обитателей иных планет, невольно покоряет: он очень хорошо отвечает нашему представлению о гуманизме человечества высшей фазы коммунизма.

Показывая блистательный расцвет науки и техники при коммунизме, И. Ефремов не занимается популяризацией, не раскрывает перед читателями сущности излагаемых им научных проблем, не рассказывает об устройстве чудесных машин будущего. Для него все это лишь величественный романтический фон, на котором он смелыми штрихами рисует людей тридцатого века и их отношения.

Коммунистическое общество, даже высшей фазы, изображено в романе не розовыми красками.

Для большинства это будет временем борьбы и творческого труда, эпохой освобождения человечества от мелочных работ и лишений, а для других — тех, кто идет впереди, разведывая новые пути для бесконечного движения вперед, — оно будет временем, полным опасностей, страданий и тяжелого, но еще более вдохновенного труда, часто сокращающего жизнь «впередсмотрящих». Да, утверждает автор, человек никогда не перестанет бороться — и с косной природой и со своими слабостями и страстями. Но задачи, которые будет ставить перед собой освобожденное человечество, будут решаться в великой борьбе, рождающей великих героев. Да, даже через тысячу лет будет существовать неразделенная любовь, останется горечь разлуки с близкими людьми и родной планетой. Но вечным пребудет движение человечества к объединению в единую семью всей нашей Галактики и мечта проложить неторные пути к другим Островным Вселенным.

В изображении людей будущего И. Ефремов также вступает в спор с писателями Запада, рисующими облик грядущего.

Кто герой современной американской фантастики?

Почти во всех произведениях это человек дела, решительный, беспощадный. Его стихия — борьба. Редко он сам бывает носителем новых научных идей; обычно он лишь повелитель сверхчеловеческой техники будущего, организатор, разведчик и боец одновременно. Но всемогущий герой — он, а ученые — лишь исполнители его воли, почти его рабы.

Ему противопоставлен человек, выходящий из тени, — злодей, гангстер, диктатор. Но год от года роль этого антагониста героя все повышается, власть его растет. Он бесчеловечнее, а следовательно, с точки зрения своего создателя, и сильнее положительного героя. Все чаще он побеждает, все страшнее становится поработанная им наука, и все больше восхищаются им реакционеры, и все больше боятся прогрессивные писатели этого человека тьмы.

Но кто бы ни был герой, он всегда одинок. Путешественник, искатель приключений, фанатик-ученый — все они лишены всякой поддержки народа, обречены на борьбу со всем светом. Пусть у каждого из них есть жена, невеста, друг, помощник, но

настоящее чувство товарищества, борьба за общее дело им не известны.

Совсем в ином мире живут герои И. Ефремова, и совсем непохожие страсти булвуют их. Почти все люди Земли в эпоху высшей фазы коммунизма — высокоодаренные люди творческого труда: ученые, астролетчики, музыканты, художники. Они одушевлены страстью к неизведанному, и тысячи молодых людей принимают участие в опасных опытах, ежегодно происходящих на планете. Случается, что иные и гибнут, но новые идут с не меньшим мужеством на битву с неизвестным за счастье человечества, объединенного во всемирное братство. Трагическим и одновременно мажорным аккордом кончается роман. Тридцать восьмая звездная экспедиция отправляется к звезде Ахернар, чтобы никогда не вернуться: летя со скоростью девятьсот миллионов километров в час, звездолет достигнет цели только через восемьдесят четыре года!

Но как ни прекрасны далекие миры зеленых, фиолетовых и призрачно-белых солнц, для межзвездных путешественников милее всего родная Земля. Очень образно это раскрывается в романе в истории с погибшим звездолетом «Парус».

Последнее сообщение, полученное на Земле от экспедиции, отправившейся на исследование миров голубой звезды Веги, прерывалось и потом совсем замолкло. Были записаны лишь слова: «Я Парус, я Парус, иду от Веги двадцать шесть лет... достаточно... буду ждать... четыре планеты Веги... ничего нет прекраснее... какое счастье!..»

И только через восемьдесят пять лет, когда мертвый звездолет был обнаружен другим на черной планете страшной Железной звезды, удается полностью расшифровать это сообщение: «...четыре планеты Веги совершенно безжизненны. Ничего нет прекраснее нашей Земли. Какое счастье будет вернуться!..»

В будущем коммунистическом обществе не будет борьбы человека с человеком, столкновения человека с обществом, борьбы миров. Будут лишь отдельные люди, совершившие ошибку, чаще всего без всякого злого умысла, и добровольно удаляющиеся на Остров забвения, чтобы быть навсегда забытыми, так утверждает И. Ефремов.

Любопытно отметить, что Станислав Лем, идеи которого о высшей фазе коммунизма, воплощенные в романе «Магелланово Обла-

ко», во многом совпадают с идеями Ефремова, в этом пункте значительно с ним расходится.

Лем утверждает, что даже через тысячу лет останется различие между людьми, слабыми духом, и более сильными, между ведущими и ведомыми. Очень образно и очень сильно рассказано это в главе «Коммунисты» — может быть, лучшей главе романа Лема.

Огромный космический корабль «Гея» с экипажем в несколько сот человек отправляется в первую звездную экспедицию человечества — к созвездию Центавра. И вот при достижении «светового порога скорости» у людей с наименее устойчивой нервной системой обнаруживается явление «мерцания сознания». На космическом корабле разражается бессмысленный бунт: толпы людей бросаются к наружным люкам, чтобы выбраться в межзвездное пространство в нелепой надежде вернуться назад на Землю. И руководители экспедиции, люди, сильные духом, возвращают разум обезумевшим людям и ведут их дальше, к звездам. Так Лем утверждает мысль, что и через тысячи лет не только будет существовать коммунизм, но и останутся коммунисты — передовой отряд человечества.

Может быть потому, что в мире Лема больше сложных противоречий, чем в мире Ефремова, герои Лема кажутся нам ближе: они человечнее, чем несколько приподнятые и более суровые обитатели мира, описанного в романе «Туманность Андромеды».

Герои «Магелланова Облака» кажутся нам человечнее, может быть, еще и потому, что Лем признает необходимость семьи как первичной ячейки человеческого общества. Это полностью отрицает И. Ефремов. Слишком мало нежности и жалости в его героинях, рационалистически произносящих: «Я выполнила долг каждой женщины с нормальным развитием и наследственностью — два ребенка, не меньше» или «Одна из величайших задач человечества — это победа над слепым материнским инстинктом. Понимание, что только коллективное воспитание детей специально обученными и отобранными людьми может создать человека нашего общества». Не надо забывать, что коммунистическое общество не только плод коллективной мысли человечества, но и проекция его мечты о счастье на туманную завесу, скрывающую от нас грядущее. Не

следует лишать эту мечту той теплоты и ничем не заменимой радости, которую нормальному человеку дают семья, дети.

Трудно спорить с художником, если его эстетика в чем-то не совпадает с твоей. И. Ефремов — большой писатель, имеющий право на свой собственный творческий почерк. Но как мешает порой его читателям, любящим смелую мысль и великолепное творческое воображение писателя, его стиль, столь далекий от нашего времени! Нет, он не заимствован писателем из завтрашнего дня, как его идеи, он целиком принадлежит прошлому — и не лучшему, классическому периоду развития русской литературы, но ближе всего к кудрявому, неточному стилю начала нашего века. В романе «Туманность Андромеды» эта старомодность проступает особенно явно, пристрастие автора к «красивым» словам и «возвышенным» описаниям часто мешает читателю понять героев, увидеть в них характерные черточки, позволяющие запомнить и полюбить их: все слишком красивы и поэтому слишком похожи друг на друга. А жаль! Читателю романа невольно вспоминается иной Ефремов, которого мы так любим и хорошо помним: безукоризненно точный и скупой рассказчик, знающий, как спят в машине, идущей по пустынной бездорожью, положив голову на согнутый локоть, как плетут снасти и крепят паруса, как, по каким признакам находят кости ископаемых чудовищ, погибших — быть может, от руки межзвездных пришельцев — десятки миллионов лет назад!

Немного надуманны деления истории человечества на эры: ЭРМ — эра Разобренного Мира, ЭМВ — эра Мирового Воссоединения, ЭОТ — эра Общего Труда, ЭВК — эра Великого Кольца. Несколько вычурны названия общественных организаций будущего мира Академия Горя и Радости, Академия Стохастики и Предсказания Будущего, Академия Пределов Знания... Впрочем, здесь И. Ефремов является таким пионером, вторгается в такие неизученные области, что его трудно критиковать.

«Особенностью романа, не сразу, может быть, понятной читателю, — пишет автор в предисловии к роману, — является насыщенность научными сведениями, понятиями и терминами. Это не недосмотр или нежелание разъяснять сложные формулировки. Только так мне показалось возможным придать ко-

лорит будущего разговорам и действиям людей времени, в которое наука должна глубоко внедриться во все понятия, представления и язык».

И здесь, как мне кажется, И. Ефремова можно поздравить с большим успехом. Созданные им слова-неологизмы не только органически входят в его повествование, но они просто необходимы: без них невозможно объяснить многое из того, что совершается в этом далеком от нас, во многом фантастическом, но совсем не вымышленном мире, являющемся логическим продолжением нашего мира. В самом деле, если существуют обычные тригонометрические, эллиптические, гиперболические и шаровые функции, то почему не могут существовать функции спиральные, или, иначе, кохлеарное исчисление, по терминологии И. Ефремова? Почему, если люди сумеют разрушить мезонные связи в ядрах атомов, им не удастся создать фантастический анамезон — вещество со скоростью истечения, близкой к скорости света? А диалектическая логика — разве не нуждается она в создании

биполярной математики, исследующей моменты перехода (репагулюма) из одного состояния в другое? Такие же выражения, как «квантовый предел», «изографы», «гемисферный экран», совершенно логически входят уже в наш сегодняшний технический и научный язык.

Книга «Туманность Андромеды» — интересное явление в нашей литературе. Книга эта новаторская и спорная, поэтому о ней, вероятно, не очень охотно будут говорить профессиональные литературные критики. Но то, что она спорная — хорошо: нам очень не хватает большой дискуссии о задачах литературы в изображении будущего, в изображении коммунистического общества высшей фазы. И хотелось бы, чтобы в этой дискуссии приняли участие не только писатели, но и философы, социологи, экономисты, ученые многих специальностей. И чем больше людей примет в ней участие и чем она будет жарче, тем лучше, потому что в больших спорах рождается истина.

Кирилл АНДРЕЕВ.

★

## Великая опора

По существующей традиции определения «лирический герой», «лиризм» (понимаемый как постоянное присутствие личного, сердечного отношения автора к тому, о чем он пишет) применяют обычно только к поэзии, особенно к ее лирическим жанрам.

Думается, что без лирического героя не существует и никакой хорошей прозы. Этот лирический герой может быть персонифицированным и даже слегка перереяженным под «объективного» героя, как пасечник Рудый Панько у Гоголя, может обращаться непосредственно к читателю через голову своих персонажей, как в «Звезде» Э. Казакевича, может воплощаться в образе центрального персонажа, как в первой книге «Абая» М. Ауэзова, или совершенно растворяться в тексте, не выдавая себя ни лирическими отступлениями, ни прямыми авторскими оценками. Но он неизбежно будет присутствовать в книге, проявляя во всех ее компонентах свой характер: суровый или

мягкий, мужественный или мечтательный, холодный, уступчивый, гордый. Без авторского участия нет художественного произведения, будь то многотомный роман-эпопея или четырехстрочное лирическое стихотворение.

Азербайджанский прозаик Мирза Ибрагимов, которого мы знаем по роману «Наступит день», написал новый роман «Беюк даяг» — «Великая опора», вышедший в русском переводе под названием «Слияние вод».

Если пересказать его сюжет, то роман М. Ибрагимова может показаться мало оригинальным. Речь здесь идет о хорошем председателе колхоза Рустаме-киши, который в свое время вывел колхоз из отстающих в передовые, а затем, не в меру захваченный, зазнался, оторвался от народа, оказался окруженным проходимцами и подхалимами. Недостойные дружки завели его на край гражданской гибели. Когда же, распознав их истинное лицо, Рустам-киши обратился против них, они попытались устранить его физически. Только доброта народа спасает старика от смерти.

Мирза Ибрагимов. Слияние вод. Роман. Перевод с азербайджанского Вит. Василевского. «Дружба народов», 1958, №№ 5, 6, 7, 8.

Нетрудно заметить, что сюжет этот сам по себе не нов, и если даже мы будем излагать его более подробно, то и в деталях своих он вряд ли даст нам возможность понять характер произведения, увидеть то, что отличает это повествование о современной колхозной деревне от многих других, пусть разноязычных, но черпающих свои сюжеты и конфликты из одной и той же нашей советской действительности примерно одного и того же этапа развития.

Вспомним книги, повествующие о коллективизации,— «Поднятую целину» М. Шолохова, «Шиганак Берсиева» Г. Мустафина, «Огни Кошчинара» А. Каххара — или множество романов, изображающих роль офицера-фронтовика в послевоенном восстановлении родного колхоза,— от «Кавалера Золотой Звезды» С. Бабаевского до «Ветра золотой долины» Айбека. Действительность — одна, факты, лежащие в основе сюжета,— сходные, а образы героев национально и индивидуально отличны друг от друга, их внутренний мир неповторим. Личное, глубоко эмоциональное отношение автора к действительности, непременно — хотя и в разных формах — присутствующее в любом произведении искусства, определяет не только его идейное содержание, но и художественную форму, мастерство. Если взять, к примеру, «голый сюжет» путешествия героя романа Г. Мустафина Олжабека («Шиганак Берсиев»), то он совпадает с поисками «бесколхозной» земли, предпринятыми Никитой Моргунком («Страна Муравия» А. Твардовского) и Никитой Гурьяновым («Бруски» Ф. Панферова). Но образно-эмоциональное наполнение этого сюжета у каждого автора совершенно различно. Отражая общие для своего времени — времени коренной ломки старого деревенского уклада — раздумья и колебания среднего крестьянства, каждое из названных произведений имеет свои образные средства, продиктованные и национальными особенностями жизни и особым складом авторской индивидуальности, проявляющейся в образе лирического героя. Так формируется жесткий, настойчивый характер Никиты Гурьянова, по-мужичьи недоверчивого, желающего все посмотреть собственными глазами, потрогать своими руками, прежде чем принять что-то, но уж если принять, то навечно. Так возникает образ душевного, мягкого Моргунка с его философической

складкой ума, уже впитывающего — незаметно для себя — идеи новой эпохи. Так вырисовывается облик по-детски доверчивого и по-детски упрямого Олжабека, с тем большей легкостью пускающегося в путешествие на поиски бесколхозной земли, что это путешествие, по сути своей, мало отличается от исконного, привычного, милого сердцу степняка кочевья.

По-разному и любят своих героев их творцы: с сердечной добротой — один; с суровой, но уважительной требовательностью — другой; с терпением и мягкостью — третий.

И вот это-то авторское отношение к жизни и ее героям, наполняя неповторимым содержанием сюжетный каркас, делает роман произведением искусства, характер действующего лица — художественным образом, оригинальным и неповторимым.

Сердечное, взволнованное отношение Мирзы Ибрагимова к изображаемой им жизни азербайджанской деревни и ее людям, отчетливо раскрывающее национальный и индивидуальный характер лирического героя, и придает «Слиянию вод» яркое своеобразие.

Автор редко выступает непосредственно, хотя его немногочисленные прямые обращения к читателю с совершенной точностью выражают национальный характер лирического героя. «Хороши муганские рассветы! Солнце еще не взошло, поля покрыты белесым туманом, но едва выйдешь на порог, глотнешь, словно молодое вино, степной воздух, и от сладкого опьянения на миг закружится голова... Дымятся очаги на крестьянских дворах, разбросанных по берегам Аракса и Куры, среди садов и кустарников, и запах свежепеченого хлеба пробуждает в твоей душе священные чувства, и губы твои в порыве сыновней любви шепчут: «Отчий край...» А расцветающая, ежегодно обновляющаяся по весне природа как бы приветствует тебя: «Доброе утро, друг!» И в эту минуту плоские низкие дома, неугасимые семейные очаги, запах дыма и хлеба и серая земля, липкими пластами наветывающаяся тебе на сапоги, кажутся стократ дороже всех сокровищ мира...»

Выражение «священные чувства» в применении к дыму очагов, поднимающемуся над крестьянскими дворами (очаг, на котором готовят пищу в азербайджанской деревне, находится не в доме, а во дворе), к

запаху хлеба и даже к липкой, вязкой земле на улице могло бы показаться читателю-горожанину чересчур пышным, риторичным. Но это только в том случае, если не знать, что у азербайджанского народа дымящийся очаг издревле является символом семьи, признаком крепости рода; если не знать, что во имя того, чтоб не угас очаг, сложенный мужем, его вдова обрекает себя на одиночество, оставаясь на долгие годы в опустевшем доме, часто отказываясь переезжать к любимым детям в далекие города. Об этом можно прочесть во многих произведениях азербайджанской литературы, в частности в романе Мехти Гусейна «Черные скалы», где мать знатного бурильщика Таира, тоскующая по единственному сыну, все же не решаетя переехать в его благоустроенную бакинскую квартиру, остается жить в своем немудрящем деревенском домике, у очага, сложенного покойным мужем.

Что же касается «запаха хлеба», то в этих простых словах скрывается двойной смысл. Во-первых, запах свежего хлеба свидетельствует, что очаг горит, семья жива, существует. Во-вторых, хлеб особенно дорог здесь, где его так трудно выращивать — и в маловодной, знойной степи, почву которой надо пядь за пядью отвоевывать от засоления, и на крутых горных участках, где землю ежегодно смывают дожди и тающие снега. Потому так мила сердцу азербайджанца эта серая, липкая по весне земля, потому и вызывает картина мирного сельского утра «священные чувства» в душе лирического героя. Дымят очаги, пахнет степью и хлебом — жива семья, жив народ, жива Родина.

Однако ощущение счастья, запечатленное в этой картине сельского утра, отнюдь не делает автора слепым к нуждам и недостаткам отчего края. Один из любимых героев М. Ибрагимова, бригадир Ширзад, пробирающийся по грязной улице, с досадой думает о том, что давно пора замостить эту улицу, и, глядя на низкие темные дома, ни в чем, казалось бы, не изменившиеся с дедовских времен, с негодованием восклицает: «Как же деды выносили такую жизнь?» И в этом недовольстве, в повышении требовательности, выражаются уже новые черты растущего национального характера, черты, сегодня сближающие между собой всех советских людей, борющихся за ком-

мунизм, за то, чтобы внуки жили лучше, красивее, чем жили их деды.

Сердечная и требовательная авторская любовь освещает и характеры героев романа. Чувство, которое движет в этом романе писателем, как и многими другими писателями советского Востока, — это чувство человека, смотрящего на свой поэтический труд прежде всего как на учительство, как на средство воспитания людей. Вся образная система романа строится согласно древней традиции поучения.

Согласно этой традиции в «Слиянии вод» положительным героям прямо противопоставлены отрицательные. На одной стороне стоят строители новой жизни. Это и члены семьи председателя колхоза Рустама: его жена — Сакина-хала, дочка — звеньевая Першан, невестка — инженер-мелиоратор Майя, и колхозники: языкастая тетушка Телли, ее сын — чабан Керем, молодой бригадир и парторг Ширзад, заместитель директора МТС Шарафоглу, председатель передового колхоза Кара Керемоглу, знатный полевод Зейнаб, секретарь райкома Аслан, «заобразованием» Гошатхан. Им противостоят осколки старого мира, проходимцы и подлецы, не останавливающиеся ни перед чем в своем стремлении к личной наживе: предрайисполкома Калантар-Лелеш, его подхалимы — «плоский» Салман со своей продажной сестрицей Назназ, сын муллы, отрекшийся от отца, счетовод Ярмамед, пробравшийся в бригады, лодырь и вор Немой Гусейн.

Характеры положительных и отрицательных героев отличаются предельной цельностью. Хороший здесь прекрасен лицом, мыслями и поступками, как беззаветно преданные колхозному делу Ширзад, Сакина, Майя, Першан. А уж плохой действительно плох, как плоский лицом, помыслами и чувствами, незаметно, подобно клопу, пролезающий всюду Салман; как скользкий, трусливый и беспринципный доносчик и предатель Ярмамед; как жирный, сластолюбивый, равнодушный ко всему, кроме собственной утробы, Калантар или наглая, жадная и вздорная Назназ.

При всей контрастно-лобовой определенности в обрисовке характеров героев, Мирза Ибрагимов, однако, находит для многих из них свои реалистические краски.

Полудетская вспыльчивость и озорство очень твердой в своих жизненных принци-



пах Першан, мечтательная нежность и страстная любовь к песне сурового и даже суховатого в своей преданности долгу Ширзада, острый язык и введливая настойчивость в общественных делах тетушки Телли, бытовая нетребовательность, даже неумелость и горячая обидчивость замыкающегося в себе от первого враждебного слова Керема — все это делает образы героев жизненно достоверными, объемными. И все же принцип прямого противопоставления приводит на страницы книги и традиционно-дидактические фигуры героев-резонеров, вроде секретаря райкома Аслана или знатной колхозницы Зейнаб, все слова и поступки которых абсолютно правильны и не вызывают ничего, кроме сочувствия, но зримый образ которых никак не складывается в представлении читателя. И нам думается, что такие образы возникают там, где автор чересчур пристально повергает алгебры гармонию, рационалистически ревизует свое чувство схематическими тезисами должного.

А напрасно! Автору следовало бы больше доверять своему сердцу, равно горячему в ненависти и любви, безошибочно находящему точные краски: туповатую маску глухого и идиотического «лырч», произносимое в затруднительные моменты мошенником Немым Гусейном; липкие лягушачьи лапки и тонкие ножки суетливого, как болотная птица, Ярмамеда, его смиренную улыбочку, за которой угадывается глубокая, годами выношенная злоба; тяжелые и тупые мечты толстой Назназ о посещении театра с «собственным» шикарным мужем, в собственной машине, в шуршащем платье из тафты, — театра, где она пройдет, не поклонившись умирающим от зависти подружкам.

Однако вопреки дидактической системе прямого противопоставления в романе Мирзы Ибрагимовича существует еще и третья группа героев, которые не могут быть прямо отнесены к положительным и, еще менее того, к отрицательным и которые свидетельствуют о росте реализма в азербайджанской литературе, о постижении едва ли не самого трудного в искусстве — диалектики характера. Это честные люди, стремящиеся к общественному благу, преданные народу и его интересам, но в силу тех или иных причин допустившие промахи, ошибки или даже на какое-то время ото-

рвавшиеся от народа. Таковы председатель колхоза «Новая жизнь» Рустам-киши и его единственный сын тракторист Гараш.

Если мы пристально взглянемся в характеры этих людей, мы увидим, что они относятся к категории близких и любимых автором персонажей. Ведь главная мера, которой он ценит достоинство человека, это созидательный труд. Все положительные его герои — умельцы, золотые руки; все отрицательные — тунеядцы, стяжатели и себялюбцы.

И Рустам и Гараш — неутомимые труженики, общественно полезный труд для них — главное в жизни. Но и отец и воспитанный им сын не свободны от пережитков прошлого, еще подогреваемых теми почестями и захваливанием, которые — сначала по заслугам, а потом по инерции — в течение многих лет в изобилии сыпались на голову знатного председателя.

С первой же страницы романа мы видим, как цепко держат Рустама пережитки рабского прошлого, когда цена человеку определялась по его достатку и размаху, с каким он может пустить людям пыль в глаза; когда женщина была рабой мужа и не имела права ни на самостоятельный труд, ни на равный голос в семье; когда сильный и знатный привечал около себя только покорного и бессловесного; когда доблесть мужчины опиралась на приниженность женщины.

Мирзе Ибрагимовичу чуждо искусственное размежевание личного и общего в человеке. Оторванность Рустама-киши от народа, от общечеловеческой справедливости прежде всего на его собственной семье, где он стремится сохранить остатки патриархального уклада. Еще в молодости его первая серьезная ссора с женой, Сакиной, произошла потому, что, сделавшись известным в республике, передовым председателем колхоза, он задумал «снять» жену с тяжелых полевых работ. Эту его ошибку исправила жизнь: во время Отечественной войны, на фронте, Рустам узнал о трудовых подвигах Сакины и честно признал ее правоту. Теперь же, уже после того, как он снова вывел колхоз из послевоенных трудностей, Рустам вступает в конфликт с юной невесткой, которую сын, тракторист Гараш, вопреки обычаю ввел в дом без родительского разрешения. Майя — культурная городская девушка, на голову выше по об-

разованию всех окружающих ее людей. У нее мягкий, добрый характер, ей и на ум не приходит, что именно может вызвать неудовольствие свекра, который все больше и больше поддается оживающим в его душе пережиткам прошлого и которому всякое разумное и естественное слово или замечание Майи кажется грубостью, неуважением к старшим. Постепенно и сын начинает разделять настроения отца, и его горячая любовь к жене остывает, сменяясь натянутыми, тягостными своей неравноправностью отношениями.

Одновременно с семейным конфликтом развивается неотрывный от него конфликт деловой. Старейший председатель колхоза, стремящийся к бестревожному существованию за счет прежних заслуг, все больше отстраняется от «беспокойных» людей, болеющих за колхозное благополучие, и все глубже запутывается в сетях Салмана и его присных. Эта теплая компания постепенно пролезает во все щели. Они захватывают руководящие посты в колхозе и стремятся даже разрушить семью Рустама: Назназ становится любовницей Гараша, надеясь занять место Майи, вынужденной покинуть дом мужа, а сделавшийся заместителем председателя Салман, имеющий свои виды на красавицу Майю, старается породниться с Рустамом-киши, став мужем его единственной дочери Першан. И едва не успевает и в этом.

Только ревизия, воочию открывшая упрямцу Рустаму явную картину неблагоприятия в колхозных делах, да неопровержимое доказательство нравственного падения сына заставляя старика обратиться против своих вчерашних дружков. Может быть, автор напрасно свел здесь их конфликт к физическому столкновению, в результате которого полумертвый Рустам-киши был брошен в реку, но был спасен случайно проезжавшим мимо колхозником. В этом эпизоде есть элементы мелодраматизма, снижающие в известной мере реализм повествования. Однако в оценке этого эпизода нельзя все же согласиться с рецензентом «Литературной газеты» Чингизом Гусейновым. В своей статье «Роман о силе народной» (20 ноября 1958 года) он пишет: «Сложная судьба Рустама, драматическая в своей основе,— результат потери человеком народной опоры. Она должна была завершиться трагически, хотя Рустам и осознал свою ошибку

и раскаялся. Смерть Рустама прозвучала бы мужественной правдой, послужила бы ярким художественным завершением авторского замысла, авторской идеи о великой народной опоре. Рустам не должен был, по моему мнению, отделаться легким испугом за тяжкую ошибку».

Положение это свидетельствует, что критик не понял существа замысла писателя. Не о крахе человека, потерявшего народную опору, а о слиянии с народом, возвращении к нему человека, осознавшего силу и необходимость этой опоры, пишет Мирза Ибрагимов. Спасение Рустама-киши у Ибрагимова так же закономерно, как смерть героя романа грузинской писательницы Тины Донжашвили «На Алазани»—героя, считавшего себя опорой народа, но убедившись, что это была только иллюзия, что на самом деле он окончательно и бесповоротно оторвался от почвы народной жизни.

Кроме того, трагический конец Рустама-киши придал бы подхалимам Калантара несвойственный этим ничтожествам характер зловещей непреодолимой силы, а всему роману—чуждый ему уголовно-детективный колорит.

Не гибель, символизирующую конец определенного стиля руководства (как у Т. Донжашвили), изобразил Мирза Ибрагимов, а выздоровление зарывшегося было этим стилем хорошего человека из народа, с повинной головой возвращающегося к народу, ибо весь пафос романа в том, чтобы «вовремя подсказать человеку, не приказать, не распорядиться, а именно подсказать, по какой тропе ему идти в жизнь...» И это отнюдь не менее закономерно, правдиво и поучительно.

Роман Мирзы Ибрагимова дает основания и для рассмотрения назревшего вопроса о национальном своеобразии в литературе социалистического реализма. Мы отчетливо видим в нем, как традиционная для наших восточных литератур задача поучения сливается с воспитательной задачей, общей для всех социалистических литератур. Но сливается она там, где поучительная мысль воплощена при помощи реалистических образных средств. Там же, где она выступает в форме прямой дидактики, возникает мелодраматизм или иллюстративная схема, снижающие действенную силу произведения.

Роман дает материал и для многосторон-

него изучения исторического роста национального характера, обогащающегося—по мере развития социалистических отношений—все новыми и новыми интернационалистскими чертами, роднящими всех советских людей между собой. Это особенно ясно видно в характере лирического героя, сочетающего в себе лучшие живые качества азербайджанской народности — душевную открытость, строгое почитание семейного очага как основы жизни, мягкий лиризм — с решающими чертами коммунистической

партийности: единством личного и общего, доброжелательной требовательностью к своим, непримиримой ненавистью к врагу.

Читая эту душевную, поэтичную книгу, начинаешь яснее понимать формулу: социалистическая по содержанию, национальная по форме, и вместе с тем видишь, как, в преддверии коммунизма, национальное все больше проникается социалистическим, обещая в будущем великое и всеобщее поэтическое «слияние вод».

З. КЕДРИНА.

★

## Зрячее сердце

Есть у поэта-дальневосточника Степана Смолякова такие строки:

Даль темна. Но и за десять верст  
Сердцем вижу, как светится тихо  
Серебристым разливом — овес,  
Розоватую пеной — гречиха.

Это точно сказано: «сердцем вижу». Люди, лишенные зрения, пишут порой изумительные стихи. Но человеку со слепым сердцем никогда не создать ни одной поэтической строки.

Лучшие стихи Степана Смолякова говорят о том, что у него зрячее сердце.

Пишет Смоляков главным образом о родном крае, о своих земляках — хлеборобах, рыбаках, лесорубах. Он любит природу, и трудно назвать стихотворение, где бы она не жила. Страсть вполне естественная — ведь Дальний Восток мог бы вдохновить сотню своеобразнейших пейзажистов. Попробуй найти край с более богатой природой...

Январского леса убранство  
Щемящим морозом прожглось.  
Зажатое в сопках пространство  
Метелью прошито насквозь.  
И вдребезги воздух расколот,  
И злые поэмки метут...

Это — Дальний Восток.

Степь да степь,  
Под раскаленным сводом —  
Струй речных приглушенная речь,  
Словно неохота зейским водам  
По песку расплавленному течь.  
...В этом надвигающемся зное —  
Все хлеба, хлеба, хлеба, хлеба.

Степан Смоляков. Ветер с полей.  
Редактор Н. Максимова. 80 стр. Благовещенск. 1958.

Небо светло-синее, сквозное  
Облетают только ястреба.

И это Дальний Восток.

Суровые ветры восточных морей  
Лютуют на крайних пределах...

Это тоже Дальний Восток.

И уж, конечно, родной край Степана Смолякова — это тайга, тайга без конца и края. Она проходит через весь сборник (не в строках, так между строк), давая о себе знать порой сравнением, порой особым, «таежным» словечком, названием цветка или кустарника.

Смолякову удаются стихи о природе: он хорошо знает ее потаенную жизнь. Потому и догадается, что мальчишки в малиннике собирают вовсе не спелую ягоду, а солнечные брызги; увидит, как «вдруг к электростанции, к вагону, прибежит разбуженный енок»; точно опишет, как осенью «засыпают рыбы, в лесных бочагах выметав икру».

Но присущ этим стихам и один общий недостаток, о котором хочется сказать особо, не отсылая его на традиционное место — в конец статьи.

То, что стихотворение начинается с названия, — истина азбучная. Может, именно поэтому ее так редко принимают всерьез. Вот и у Степана Смолякова немало заглавий привычно безликих. Порой стихи хорошие, а название, как номерок с вешалки, принадлежит всем и никому: «Рассвет», «Восход солнца», «Вечер на Уссури», «Март», «Зима», «Осень в сопках», просто «Осень»...

Такие заглавия не вызывают особого желания прочесть стихи. И не без оснований.

Слишком уж консервативной становится обычно наша лирическая поэзия «на природе». Из множества своих обязанностей помня здесь лишь об одной — быть красивой, — она зачастую уходит в пейзаж, как в прошлый век, оставляя современность на автобусной остановке. Тогда и появляются на свет божий луны, похожие друг на друга, как городские фонари, однотипные березки, которых давно уже набралось по крайней мере на три хореографических ансамбля. За традицией лирик как за каменной стеной. И не беда, если стихи не очень удались. Опытный читатель сам знает: березка — это красиво. Не потому ли стихотворцы до каменной крепости уоптали лесные тропки, а асфальтовая мостовая до сих пор ждет своего поэта?

Но как не хочется, чтобы читатель, прочитав заглавие «Вечер на Уссури», равнодушно перевернул страницу: опять вечер! Вечер, но не опять:

Пока берега не уснули,  
Качает вода поплавки —  
Снуют по широкой Уссури  
Соседней земли рыбаки...  
Механик, свернув на фарватер,  
Проходит на холостом,  
Мотор выключает, чтоб катер  
Снастей не встревожил винтом.  
Ему эти снасти знакомы,  
Не раз приходилось встречать:  
— Небось, перед ихним райкомом  
Им тоже за план отвечать!

Думается, удачный сюжетный ход — все-таки не главное в этих стихах. Важней другое — взгляд на вещи.

Степан Смоляков любит и воспевает сегодняшнюю Уссури, хотя у этой знаменитой реки вполне хзатило бы и традиционных, «апробированных» красот. Подбором деталей, лексикой, живой разговорной интонацией он создает образ реки — нашей современницы. Такой Уссури не была ни триста, ни сто лет назад, ни даже во времена Арсеньева.

Это — позиция. В лучших стихах Степана Смолякова («Осень», «Восход солнца», «Жаркий день» и других) пейзаж — его земляк и современник.

Хочется привести еще один пример — коротенькое стихотворение «Яблоня на Севере».

Укутанная в рыхлые снега,  
Как в белый мех одетая по брови,  
Стоишь ты,

Молчалива и строга,  
Подружек южных проще и суровой,  
Из мест далеких и привольных,  
Ты —  
Не гость, не добровольная беглянка:  
Ты здесь работник —  
На тебе куклянка  
И северные добрые унты,  
Как все здесь ходят,  
Так и ты шагай.  
Чем дальше юг,  
Тем мы с тобой нужнее.  
Ну а подружки, те, что понежнее, —  
Они потом приедут в этот край!

В этих стихах не столько внешний облик яблони, сколько ее «душа» — это портрет, а не фотография. И пусть нет здесь любования легкой, розовато-белой красотой цветущей яблоньки, нет восхищения солнечным отливом спелых плодов. Степан Смоляков умеет ценить труд, а не только его плоды.

Потому и чувствуется в каждой строке большое человеческое уважение — чувство понятное, ибо речь идет о дереве-труженике, соратнике по нелегкому делу освоения Севера. И хотя в тексте стихотворения не говорится прямо о важных проблемах, стоящих сегодня перед Дальним Востоком, подтекст его полон горячей, важной «сегодняшностью» и обращен к человеку — нашему современнику. Да и в самой смелой яблоньке, в ее нерешительных подружках, тех, «что понежнее», ясно проступают человеческие черты.

В сборнике не так уж много стихотворений о любви. Зато почти в каждом из них звучит та особая, воспринимаемая непосредственно чувством струна, которая, может быть, больше всего отличает поэзию от прозы. Приведем полностью одно стихотворение:

Пройдя через беды-невзгоды,  
Мы моря полдневные воды  
И неба полночные глубли  
Еще горячее полюбим.

Мы снова взойдем на вершины,  
Где шепчутся листья крушины,  
Где млеют в осеннем предгрозье  
Калины пахучие гроздьи...

А если, томясь и скучая,  
Встревожусь я, вас не встречая, —  
Я вас, не встречая, повсюду  
По имени спрашивать буду:

Не вы ли средь звонкой капли  
Звенели в стеклянном апреле  
Иль, белые ветви ломая,  
Прмчались грозами мая?

И вы отзоветесь, я знаю,  
Я вас среди тысяч узнаю,  
И будем мы чутки и строги,  
Как в самом начале дороги.

Перечитываешь эти стихи, и с каждым разом они нравятся все больше. Почему? Объяснить это очень трудно, пожалуй, даже невозможно. Разложив стихотворение на пресловутые «элементы художественного мастерства», мы добьемся немногого. Да, «звенели в стеклянном апреле» — превосходная аллитерация. Вот и все.

Но ведь прелесть стихотворения еще и в том, что оно от первой до последней строки пронизано ощущением какой-то нежной, бережной тревоги. Эта тревога — и в ритмическом строе, и в дважды повторенном «я, вас не встречая»... Словом, это настоящие стихи, затем и созданные, чтобы выразить то, чего нельзя передать без их помощи.

Вдвойне обидно встретить рядом такие строки:

Поля родной страны моей! Без края  
Вы пролегли.  
Шумите вы, из года в год меняя  
Лицо земли.  
По вам плуги под ветерком весенним  
Пройдут опять.  
Поля Отчизны! Новым поколениям  
Вас не узнать,  
(«Холмы»)

Думается, эти строки не нуждаются в комментариях. Здесь все ясно: есть ритм, есть рифма, нет поэзии.

Такие стихи — как шпоны в газете. Они увеличивают размер сборника, но отнюдь не его художественную ценность. Наоборот, книжка только выиграла бы, если бы автор убрал стихи-шпоны — «Холмы», «Тишину», «У Петровской Косы», «Рождение песни».

Есть у Степана Смолякова одно странное пристрастие: создавать видимость проблемы там, где ее нет и в помине. Так, в конце хорошего стихотворения «Вырастал я на зейском просторе» автор ставит ребром вопрос: что же ему любить, если родился он в лесной глухомани, а рос на зейском просторе? Отвечает, разумеется, правильно: можно любить и тайгу и степь. Но беда в том, что после этих рассуждений глубокие по чув-

ству стихи начинают казаться всего лишь иллюстрацией к очень мелкой «проблеме» концовки.

Вот еще один пример — стихотворение без заглавия:

Это я проходил мимо окон твоих,  
Горевал, и смеялся, и пел за двоих,  
Когда ветер расветный вздохнул и затих  
В розоватых кустах у причала...

Почему ты меня не встречала?

Это я приходил в твои девичьи сны  
Вместе с буйным цветением амурской весны,  
Когда яблоня пеной клубилась...

Почему ты в меня не влюбилась?

А кончаются эти стихи скупой угрозой:

Но какой ты мне правдой ответишь,  
Если лучшего парня не встретишь?

Вероятнее всего, в этом печальном случае девушка ответила бы пословицей: «Насильно мил не будешь»...

Стоило ли портить образ лирического героя последним нудным двустушием?

Хочется сказать еще об одном. Дальний Восток и до сих пор край первопрохождений, край опасностей и нераскрытых тайн. Геологи, зимовщики, географы изучают его просторы, порой гибнут на тяжелых таежных тропах и все-таки доводят свое дело до конца, потому что может умереть самый смелый романтик, но никогда не умрут смелость и романтика.

Мало, слишком мало пишет об этих людях Степан Смоляков. А ведь без них просто невозможно представить себе сегодняшний Дальний Восток.

И хотя советовать поэту, о чем писать, дело наивное и почти всегда безнадежное, все-таки рискнем обратиться к Степану Смолякову словами его же собственных стихов:

Там, где пройдут отважные,—  
их путь раздели, поэт:  
Быть с ними строкою каждою—  
завиднее счастья нет!

Л. ЖУХОВИЦКИЙ.

## «Естественный» человек в современном обществе

У Вильяма Сарояна — счастливый дар: он умеет радоваться жизни с непосредственностью, которая обычно свойственна лишь молодости. Он видит мир в его первоначальной красоте и не устаёт восхищаться и удивляться ему. Повторяя давно известные (хотя и забытые многими его собратьями) истины, он не становится банальным. Сароян словно заново открывает эти банальные истины, и их читаешь, как неожиданное откровение. «Дышать — это так радостно, видеть — так чудесно». Солнце и дождь, небо и трава, песенка нищего и стук колес поезда, свет звезды и улыбка ребенка — все это и многое другое, мимо чего мы проходим привычно и спокойно, он воспринимает как великое чудо. Но из всех чудес, существующих на земле, самое удивительное — это человек. Умный или глупый, счастливый или неудачливый, молодой или старый, красивый или безобразный — для Сарояна он неизменно «венец творения». Сароян видит, во всяком случае хочет видеть, его прекрасным и нередко выдает желаемое за существующее. Но доверие к человеку, освещающее его книги, неизменно подкупает и «заражает». «Две тысячи лет — и больше! — люди указывают друг другу на то, как они плохи, а вот я думаю, что пора говорить о том, как и чем они хороши». Думается, Сароян охотно присоединился бы к этим словам Горького. Он настойчиво, без усталости напоминает людям, что они должны и могут быть «хорошими», ведь человеку от природы свойственно быть любящим, добрым, благородным.

Герой Сарояна — это именно «естественный» человек, недаром же писатель так любит и умеет изображать детей. Можно сказать и иначе — человек для Сарояна хорош до тех пор, пока он остается «естественным». Возникает неизбежный вопрос: возможно ли это в том мире, где живут герои Сарояна?

Весли Джексон — симпатичный парень, веселый, добрый, покладистый. У него непутевый отец, к которому он нежно при-

вязан, у него есть дом и любимая песня «О Валенсия!» — песня его судьбы; ему девятнадцать лет, он живет в Сан-Франциско и мечтает о счастье и любви — о чем же еще мечтать человеку в девятнадцать лет? Но в один прекрасный день он получает «письмо от президента Соединенных Штатов» — призывную повестку, из которой узнает, что должен вступить в армию. Так начинаются приключения и злоключения Весли Джексона, о которых он рассказывает с присущей ему искренностью и прямотой.

С Весли Джексонном происходит масса радостного и грустного, несправедливого и забавного. Он попадает в казарму, где выясняется, что он вовсе не свободная личность, а «человекоподобная обезьяна, порядковый номер такой-то». Он знакомится с удивительным парнем Лу Марриаччи, который, вернувшись домой, каждую неделю посылает Джексону деньги в благодарность за то, что тот собирался (только собирался!) помочь Лу сбежать из армии. Он находит замечательных друзей, с которыми проводит все свободное время, он встречает «современную женщину», которая приглашает его в свой дом и становится его подругой, и другую, тоже очень милую женщину, которая распевала на улице «Валенсию», а потом спасла Весли от ареста. Он сталкивается с очень воинственными людьми, которые, как и он, служат в армии, пишут сценарии о том, как лучше убивать врага, и остаются дома, в то время как другие (и Весли) едут за океан. Он, наконец, находит в Лондоне «свою девушку» — Джиль, после чего его посылают на фронт; он попадает в плен, а затем снова в Англию, где и соединяется навеки с любимой.

Все это изложено неторопливо и вместе с тем лаконично, с равной внимательностью ко всему, что попадает в поле зрения героя. Удивительно осязаемо передана прелесть повседневных радостей, аромат и обаяние маленьких житейских подробностей. Хорошо после унылой казарменной муштры мчаться в поезде и смотреть в окно на простирающуюся перед тобой родную землю, выбегать на станциях, чтобы купить всякой всячины. Благословенна горячая ванна, которая смывает с тебя грязь и усталость трехнедельной качки в океане, и мяг-

кая кровать в гостинице, заменившей тебе отчий кров, и розы, которые продает уродливая старуха нищенка, и песня, что звучит в твоей душе, и необходимая шутка друга, и грустно-веселая беспечность «современной женщины», горячность ее ласк, нежная белизна ее кожи. Прекрасно все то, что приносит человеку радость, — Весли Джексон умеет ценить все дары судьбы, даже самые скромные из них.

Характер героя дает писателю широкие возможности для прославления простейшего счастья бытия. Вместе с тем он дает особые преимущества для критики современного мира. Сароян пользуется наивностью Весли для остранения привычных понятий и событий. Он судит общество с позиций своеобразного руссоизма, противопоставляя обществу «естественного» человека; и тогда обнаруживается, как несправедливо и противоестественно оно устроено, как жестоки его законы.

«Выходило, что я рожден быть солдатом и лишь временно околачиваюсь на Взморье и в Публичной библиотеке Сан-Франциско, в ожидании, пока объявят войну. Несмотря на это, я не был расположен идти в армию». Совесть у Весли чиста — ни он, ни его отец, ни те парни, что служат вместе с ним, ничем не помогли вызвать войну. Кто в этом виноват, ему неизвестно. Но он знает, что существуют «люди с мощной» — «ужас какие патриоты», которые в войне не участвуют, но зато изрядно наживаются на ней. Неужели же ради этого он должен ехать за океан и убивать себе подобных? Весли не хочет ни убивать — ему это просто противно, — ни быть убитым. Весли хочет жить, и все люди, населяющие землю, хотят жить, это их естественное право, — так дайте же им жить, для этого они родились на свет божий...

Сароян ненавидит войну, как ненавидит ее каждый из нас. Но, стремясь решить проблему войны, так сказать, в чистом виде, писатель совершает ошибку, последствия которой оборачиваются против него же. Война с фашизмом велась во имя жизни, братства и свободы — всего того, что так дорого Сарояну. Развалины городов, пепел жилищ, кровь и страдания народов с жестокой и непрерываемой очевидностью показали миру, что такое фашизм. В то время, когда Сароян писал свой антивоенный роман, вторая мировая война давно уже

превратилась в войну освободительную. Сароян и сам понимает, что конкретный исторический материал книги меньше всего подходит для утверждения абстрактных пацифистских идей. Ему ничего не остается, как просто снять все идеологические и общественные мотивы, связанные с войной. В результате она, конечно, теряет смысл. Само слово фашизм в книге упоминается, кажется, лишь один раз, да и то по адресу... демократической партии Америки. Не случайно среди пестрой толпы персонажей, где встречаются даже последователи йогов, нет ни одного сознательного антифашиста. Гуманист Сароян не смог бы вступить с ним в открытый спор, он не смог бы и высмеять его, как других сторонников войны. Появление такого героя взорвало бы изнутри концепцию книги.

Искусственность схемы, построенной Сарояном, очевидна. Несмотря на конкретность отдельных бытовых подробностей, картина войны в целом получилась не только условной, но искаженной. Точнее, в ней причудливо переплетены истина и ложь. Сароян безжалостно правдив в изображении «внутреннего врага» — американской женщины, всякого рода демагогов и фразеров, мастеров муштры, проповедников демократии и смерти, околачивающихся в тылу. Все эти люди и явления увиденны глазами Весли Джексона — «естественного» человека, что делает их очевидно бесчеловечными и нелепыми.

Но Сароян уклоняется от правды, показывая фронт, плен и вообще все то, что связано с «внешним врагом». Для него враги Весли не за океаном, а только в самой Америке, это они захватили в плен миллионы честных парней, лишили их свободы, дали в руки орудия смерти и заставили убивать. Характерно, что американский «плен» выглядит в романе порой более жестоким, чем плен у немцев. В германском лагере для военнопленных, где живет Весли, царит благодушная атмосфера, и немецкий караульный, любитель музыки, отправляется в Париж за шляпой для чудака из штата Огайо, который не может играть на тромбоне без соломенной шляпы. А в штате Огайо, где служил Весли, американский капрал доносит на него за самовольную отлучку, и только счастливая случайность спасает Джексона от военного суда и тюрьмы.

Расисты, которых встречает Весли, опять-таки американцы. Вся военная пропаганда строится на принципиальной дискриминации. На занятиях лейтенант говорил солдатам, что «японцы — это обезьяны», и военные писатели, авторы патриотических фильмов, тоже бывали ужасно «недовольны, если немца... или японца... считали человеком».

Даже смерть на войне в «Приключениях Весли Джексона» вовсе не всегда результат действий противника. В книге Сарояна бессмысленность и бесцельность убийства иллюстрируются последовательно, настойчиво и парадоксально. Первая жертва войны, о которой мы узнаем, — американский солдат, погибший на родине от выстрела американского часового. На занятиях по боевой подготовке другой американский солдат получает пулеметную очередь в живот — просто потому, что ему не понравилось ползти и он захотел выпрямиться во весь рост. («Между нами говоря, начальство считает, что временами должны быть небольшие потери. Это показывает, что обучение проводится в жестких условиях».) Первые потери американской армии на фронте — результат бомбежки своей же авиации. Единственная героическая смерть, которую изображает писатель, — это смерть ради спасения жизни другого.

Бесспорно, что подобная постановка вопроса возможна лишь в литературе народа, на территорию которого не ступала вражеская армия, народа, не знавшего ужасов войны, отступления, оккупации, лагерей смерти, всего того, что пришлось пережить народам Европы. Книга Сарояна отражает не только его личные противоречия, она в чем-то помогает понять настроения «среднего американца».

Американский президент, над которым посмеивается Сароян (он, правда, не называет его имени, но оно нам хорошо известно: ведь это Франклин Рузвельт послал Весли за океан), знал, что «наша цивилизация не сможет уцелеть, если мы, отдельные люди, не пойдем нашу личную ответственность перед остальным миром и нашу зависимость от него... «Самостоятельно живущий» человек стал таким же пережитком старины, как человек каменного века...» Весли Джексон — «отдельный человек», пытающийся жить «самостоятельно», — по су-

ществу предаёт человечество: свобода в его представлении не что иное, как свобода от ответственности перед обществом. («Честно скажу: пускай, как говорится, погибнет цивилизация, лишь бы я сам жив остался».) Таким образом, «естественный» человек в условиях современного общества оборачивается просто-напросто обывателем — пусть обаятельным, добрым и любящим, но все же обывателем. Правда, которая заключена в его критике общественного зла, парадоксально и в то же время вполне закономерно сочетается с неправдой его индивидуалистической проповеди.

Сароян прилагает все свое искусство, чтобы доказать правоту Весли, и так как сделать это, оставаясь на почве реальности, невозможно, ему не остается ничего другого, как приукрасить своего героя. И здесь, как и в изображении войны, условность и ложь тесно переплетаются с правдой. Талантливый художник превращается в посредственного проповедника. И если связь Весли с «современной женщиной» при всей откровенной мимолетности этих отношений искренна и человечна, то его возвышенный роман с невестой лишен художественной убедительности, а образ Джиль бесплотен и бесцветен.

Многословная и пышная декламация, к которой слишком часто прибегает Сароян, не может скрыть ограниченности его идеала. Тепло и свет домашнего очага, любящая жена и сын — все это дорого любому человеку. Но нельзя не заметить, что, во-первых, эта идиллия имеет в романе Сарояна отнюдь не идиллическую основу — торговое процветание друзей и родственников Весли, у которых редкое бескорыстие и щедрость весьма удачно сочетаются с ростом доходов; во-вторых, — и это, пожалуй, самое главное — любовь к сыну и семье делает Весли трусом и потенциальным дезертиром. Насколько выше и человечнее любовь тех отцов, которых тревога за будущее своих и чужих детей заставила взять в руки винтовку... В те дни, когда они сражались, в те дни, когда народы поруганной Европы с надеждой и нетерпением ждали прихода союзников, Весли Джексон, рядовой американской армии, прогуливался по Пиккадилли с Джиль и больше всего на свете боялся разлуки с любимой и открытия второго фронта.



«Приключения Весли Джексона» написаны в той намеренно наивной литературной манере, которая заставляет вспомнить авантюрно-бытовые романы XVIII века. Автор не пытается заинтриговать читателя неожиданными поворотами сюжета; в полном соответствии с традицией заголовков каждой главы заранее уведомляет о том, что случится с героем: «Весли получает важное письмо...», «Весли рассказывает отцу о своей молодой жизни...», «Весли проползает сто ярдов», «Весли находит себе невесту...» и т. д. Действие разворачивается живо и непринужденно, события сменяют друг друга без видимой связи, отдельные эпизоды объединяет только личность главного героя. Диалог почти лишен «подтекста», герои откровенно выражают свои мысли и чувства, стремления их отличаются простотой и определенностью, любовь и добродетель в конце концов торжествуют. Но при всем сходстве (Сароян воспринял традицию очень органично) есть одно принципиальное различие в идейной концепции Сарояна и его далеких предшественников. В романах Лесажа или Филдинга обязательная счастливая развязка была оправдана художественно и исторически. Она стражала не только горделивую веру писателя в могущество человека, способного преодолеть любые трудности, но и реальные возможности и силу молодой буржуазии, уверенно завоевывавшей свое место под солнцем. Иное дело в «Приключениях Весли». Благополучный конец романа носит условный характер (недаром же и

Джилль спаслась от бомбежки исключительно благодаря случайности), он не более закономерен, чем лотерейный выигрыш. Весли Джексон не способен бороться за свое счастье, он предельно пассивен, он не действующее лицо, а, так сказать, объект приложения различных сил, жалкая щепка, которой играют могучие волны. Благожелательный и заботливый автор приводит Весли в укромную гавань, награждает любовью и счастьем. Но призрачен, иллюзорен его покой, непрочны стены его дома. В слишком сложное и жестокое время живет Весли Джексон — нет уж больше на земле такой тихой пристани, где можно было бы укрыться от борьбы и ответственности, жить согласно «естественным законам» и растить своего сына, не думая о будущем чужих синовей...

Книга Сарояна одновременно пленяет и отталкивает. Идеализация действительности — и беспощадная критика ее, непримиримость к общественной несправедливости — и наивная беспомощность иллюзий, проповедь человеческого братства — и обывательский, почти зоологический индивидуализм, — все это переплетено в ней неразрывно. Нет таких весов, при помощи которых можно было бы определить, что «перевешивает» в книге — истина или ложь. Да и нужно ли это? Сароян искренен, даже когда заблуждения его очевидны. Он никого не обманывает — он обманывается сам. Обаяние его бесспорно. Но так же бесспорны и его ошибки.

М. ЗЛОБИНА.

★

## Будем знакомы: Маркос Рамирес

Повесть Карлоса Луиса Фальяс о приключениях мальчишки из далекой страны Коста-Рики предназначена Детгизом для школьников среднего и старшего возраста. Можно не сомневаться, что у этой категории читателей успех ей обеспечен. Хочется от души порекомендовать эту книгу и взрослым. Некоторые из них, быть может, поставят ее в один ряд с теми книгами о детстве, которые, подобно марк-твенновским «Приключениям Тома Сойера» и «Детству»

Горького, остаются нашими спутниками на всю жизнь.

Я не случайно вспомнил здесь именно эти две книги: с героем каждой из них у маленького костариканца найдутся общие черты. С Томом Сойером его сближает пылкая фантазия, нестоищая страсть к проказам. С Алешей Пешковым его роднит пытливый ум, обостренная наблюдательность, мятежный склад характера.

А впрочем, повесть Фальяс — тем-то она и хороша! — восходит не к литературным образцам, а непосредственно к жизни, совсем не экзотической и все-таки удивительной жизни маленькой центральноамерикан-

Карлос Луис Фальяс. Маркос Рамирес. Повесть. Перевод с испанского Ю. Дашневича и А. Малкова. Редактор Л. Касюга. 222 стр. Детгиз. М. 1958.

ской страны, с ее землетрясениями и государственным переворотами, богомольцами и матадорами, с ее сказочной природой и прозаической нищетой. И так созвучна всей этой жизни непринужденная интонация автора, легко переходящая от патетики к юмору, насмешливая и страстная одновременно!

Мы уже слышали однажды этот голос, читая вышедший на русском языке в 1952 году роман Фальяса «Мамита Юнай». Писатель рассказал нам тогда о каторжном труде пеонов Коста-Рики, о жадной хватке «Юнайтед Фрут компани» и о чудесных, неунывающих парнях, прорвавшихся через все преграды к великой правде коммунизма. Теперь он рассказывает нам о детстве одного из этих парней — может быть, о своем собственном детстве...

Рассказ ведется от первого лица, что в данном случае требует особого искусства: так легко, вспоминая о своем детстве, расчувствоваться, либо, наоборот, впасть в ложно-насмешливый тон — и наивным же, дескать, я был! Фальяс счастливо избегает этих крайностей; манера его настолько непосредственна, что иным строгим педагогам такая непосредственность может показаться (особенно там, где речь идет о шалостях); чрезмерной, снижающей, так сказать, воспитательное значение повести. Между тем Фальяс действительно воспитывает своего читателя — только не рассуждениями, а правдивым изображением жизни своего героя.

До чего же не везет Маркосу Рамиресу! Несчастья так и сыплются на него: попытка научиться плавать без посторонней помощи едва не кончается его гибелью; камень, брошенный им наугад, разбивает голову соседу; свечной огарок, найденный в пустом доме, навлекает на него обвинение в краже... Лишь постепенно начинаешь понимать, что не в невезении тут дело, а в непокорном мальчишеском нраве, в том отчаянном упорстве, с которым Маркос рвется из паутины мещанского быта, бунтует против мертвечины, которой пичкают его и его сверстников семья, школа, церковь, власти.

Его бьющая ключом энергия выливается в самые различные формы. То он с увлечением занимается разведением и дрессировкой... раков, то ввязывается в кулачные бои, то, забросив уроки, погружается в чтение книжек. Проделки маленького Рамиреса

далеко не всегда безобидны. Он может порой жестоко подшутить над учителем; недолго ему и соврать и даже стянуть, что плохо лежит... Но зато никогда он не отступит в драке, не бросит в беде товарища и, если поймет, что был неправ, не побойтся признать это. И такая незаурядная натура чувствуется в этом взьерошенном, покрытом ссадинами и шишками, ежеминутно ввязывающемся в новую передрагу ларнишке, такая кипит в нем внутренняя работа, что все симпатии читателя на его стороне, а не на стороне благопристойных, чинных, нестерпимо скучных обывателей, законы которых он то и дело нарушает.

Мир, в котором подрастает Маркос Рамирес, способен и в самом деле ожесточить подростка. Идет уже второе десятилетие нашего века, а здесь, в этаким тропическом пошехонье, ничто как будто не меняется: та же, что и много лет назад, диктатура тупой военщины, то же засилье церковников, те же бедствия обезземеленного крестьянства. Исковерканные судьбы людей, уродливые, смешные, а порой и трагические картины действительности проходят перед нами, и оттого, что мы видим все это глазами озорного мальчишки, щедро наделенного чувством юмора, особенно остро ощущающего под двойным гнетом — «своих» помещиков и американских империалистов.

Вот в результате пограничной стычки вспыхивает конфликт между Коста-Рикой и соседней Панамской республикой. Народ поднимается на защиту страны, формируются отряды добровольцев. Простым людям невдомек, что конфликт этот спровоцирован могущественной американской монополией «Юнайтед Фрут», что все их патриотические чувства и самые жизни — лишь мелкая разменная монета в грязной игре империалистических хищников.

Двадцатилетний Маркос Рамирес, разумеется, не может остаться в стороне от событий: удрав из дому, он вступает в добровольческий отряд. Во всей своей красе открывается перед ним изнанка походной жизни. Оказывается, бедняки и здесь несут на себе все тяготы, а их бездарным и эгоистичным командирам война не мешает устраиваться с удобствами. Но вот комедия, едва не ставшая кровавой, оканчивается: «Юнайтед Фрут» добилась своего, и североамериканский военный корабль выступает с

угрозой по адресу костариканцев, вышедших из отведенных им рамок. В довершение всего Маркосу, мечтавшему хотя бы пройти по возвращении торжественным маршем в рядах своего отряда по улицам родного города, приходится вместо этого по приказу полковника одиноко плестись по улицам, таща на себе господское барахло.

Это лишь один из тех уроков, которые закаляют Маркоса Рамиреса, внушают ему трезвые представления о мире, учат его отличать настоящие ценности от поддельных. И когда Маркос уже подростком загорается желанием стать рабочим и поступает учеником в железнодорожные мастерские, это не просто очередное увлечение. Что-то очень глубокое, настоящее чувствуется и в той хорошей зависти, которую испытывает он к мастерам своего дела — кузнецам и механикам, и в том, как по-мальчишески гордится он честью принадлежать к сословию чумазых, закопченных людей, своими руками создающих богатство мира.

«...Я так жаждал хоть разок проехаться на паровозе — пусть даже в трубе! — лишь бы потом в замасленном, почерневшем от сажи комбинезоне пройти под завистливыми взглядами прохожих по улице». Это признание свидетельствует не только о тех переменах, которые произошли в самом Маркосе, но также о том, что кое-что стало меняться и в окружающем мире...

Книга заканчивается знаменательной сце-

ной. Вследствие несчастного стечения обстоятельств Маркос Рамирес вынужден покинуть так полюбившуюся ему работу. Ночью в пути его застигает тропический ливень. Одинокого подростка охватывает отчаяние, в памяти его воскресают суеверия, насаждавшиеся с малых лет, и на какой-то момент он готов отказаться от своих дерзких стремлений, вернуться в тихую заводь семейной жизни, сдаться. Но именно тогда в нем с новой силой вспыхивает гордость. Вымокший до нитки, дрожащий подросток отважно бросает вызов всем призракам, которые ему мерещатся, всем страхам, овладевшим его душой:

«— Пусть придет за мной дьявол, если он существует!.. Не верю ни во что!.. Я-я-я не-е-е ве-е-е-рю!»

...Я выдержал тяжелую борьбу, от которой меня бросало в жар, несмотря на ледяной ветер и ливень. Но я знал, что победил — раз и навсегда!»

Так окончилось детство Маркоса Рамиреса.

Повесть Карлоса Луиса Фальеса хорошо издана, снабжена содержательным и живым предисловием Юрия Дашкевича. Острые, чуть гротескные и в то же время трогательные иллюстрации художника Хосе Санча прекрасно гармонируют с ее стилем. Юный Маркос Рамирес из Коста-Рики завоеует себе немало друзей среди советских людей.

Л. ОСПОВАТ.

★

## Политика и наука

### Под знаменем социализма

В прошлом году редакция «Известий» выпустила несколько специальных номеров газеты, посвященных жизни социалистических стран. Советские читатели почерпнули в них много новых и интересных сведений; зарубежные читатели в странах, о которых рассказывалось на газетных страницах, увидели еще одно проявление глубокого интернационализма советского народа.

Первый секретарь ЦК Албанской партии труда Энвер Ходжа писал, что «выход спе-

циального номера «Известий», посвященного Албании, глубоко трогает нас, ибо это лишний раз свидетельствует об искренней любви советских людей к своему младшему брату — албанскому народу, об их величайшей заботе о нем. Этот чрезвычайно дружеский акт оказывает нам большую честь и наполняет радостью наши сердца. Он поможет читателям «Известий», всем советским людям еще лучше ознакомиться с прошлым и настоящим нашего народа, послужит еще большему укреплению дружественных, братских связей между нашими народами».

А вот высказывание первого секретаря ЦК Венгерской социалистической рабочей

**Под знаменем социализма. Отв. за выпуск А. Баулин, А. Гребнев, М. Михайлов. 632 стр. Издательство «Известия». М. 1959.**

партии товарища Яноша Кадара: «Узнав, что газета «Известия» намеревается опубликовать одновременно ряд материалов о Венгерской Народной Республике, я подумал о том, как приятно внимание, с которым советская общественность следит за трудом и борьбой венгерского народа».

Со статьями в «Известиях» выступили многие выдающиеся государственные и партийные деятели, писатели, журналисты, ученые, рабочие и крестьяне социалистических стран. Они подробно рассказали о жизни своих народов.

Глубокое понимание сути исторических преобразований, происходящих в народно-демократических странах, а в то же время и трудностей роста, трезвая оценка успехов и пылкий взгляд в будущее — все это отличает не только большие, фундаментальные статьи и очерки, но и небольшие заметки, принадлежащие перу рядовых труженников. Читая эти материалы, чувствуешь национальный колорит, биение сердца народа, мысли и стремления людей, творящих великое дело.

Вполне оправдано поэтому издание книги «Под знаменем социализма», составленной из материалов специальных номеров «Известий». Книга получилась большой — в ней свыше шестисот страниц. Читателю она дает достаточно полное представление о великом социалистическом лагере. В книге нет специального раздела о Советском Союзе, но почти в каждом материале находишь сердечные слова о советском народе, открывшем новую эру в истории человечества.

Статьи руководящих деятелей социалистических стран посвящены основным вопросам, находящимся в центре внимания коммунистических и рабочих партий. В настоящее время социалистический лагерь вступил в новый этап своего развития. Характерными его чертами являются развернутое строительство коммунизма в Советском Союзе, завершение строительства социализма в ряде стран народной демократии, постепенное создание перевеса социалистической системы над капиталистической в мировом производстве. Важнейшая проблема максимального выигрыша времени в мирном экономическом соревновании социализма с капитализмом стоит перед всеми странами народной демократии.

Как известно, мировая социалистическая

система в целом уже догнала капиталистическую систему по производству продукции на душу населения. В 1958 году по сравнению с 1937 годом промышленное производство социалистических стран возросло в пять раз. В настоящее время благодаря высоким темпам экономического развития СССР и стран народной демократии соотношение сил на международной арене продолжает изменяться в пользу социализма.

Напрягая все силы, стремительно идет вперед великий китайский народ. В статье заместителя премьера Государственного совета Китайской Народной Республики, кандидата в члены Политбюро ЦК КПК Бо И-бо рассказывается, что с января по август 1958 года по сравнению с тем же периодом 1957 года промышленное производство страны возросло почти в полтора раза. В течение одного 1958 года вдвое увеличилась выплавка стали. Общая сумма вложений в капитальное строительство в прошлом году составила половину всех капиталовложений за первую пятилетку.

Большой скачок сделало сельское хозяйство. За девять месяцев — с октября 1957 года по июнь 1958 года — площадь орошаемых полей увеличилась в Китае более чем на 30 миллионов гектаров. Интересное сравнение: ирригационные сооружения, которые строились в течение тысячелетий, дают возможность орошать вдвое меньшую площадь! Трудно найти более разительное сравнение, отражающее все величие наступивших в Китае перемен. «Снегам не погасить в нас веры запылавшей, буранам не сломить могучей воли нашей», — говорят китайские труженники.

Пред вечными не пресмыкаемся отныне  
небесами,

Надежды все на коллективный труд, —  
Пусть небеса дождей и не прольют,  
Природу покорив, напоим землю сами —  
Польем поля, хлеба, зазеленев, взойдут.

(Из народного творчества  
провинции Гуанси)

«Коммунистическая партия Чехословакии, — пишет секретарь ЦК КПЧ Иржи Гендрих, — может предстать перед всем своим народом и международным рабочим движением с гордым итогом: в Чехословакии по существу ликвидирована эксплуатация человеком и созданы основы социализма».

Чехословакия принадлежит к числу наиболее развитых в промышленном отношении стран мира. В настоящее время она вступает в знаменательный период — период завершения строительства социализма. Накапливаются и создаются новые материальные предпосылки для постепенного перехода страны к коммунизму. XI съезд КПЧ, состоявшийся в июне 1958 года, выдвинул задачу: за предстоящие семь лет повысить производительность труда в промышленности примерно на 75 процентов, в сельском хозяйстве — не менее чем на две трети.

О победе социализма в Болгарии пишет председатель Совета Министров Антон Югов. Индустриализация республики была осуществлена в течение нескольких лет. Завершено социалистическое преобразование сельского хозяйства. Развернулось огромное жилищное строительство — только в селах за десять лет построено свыше трехсот пятидесяти тысяч новых жилищ.

Весьма характерны приведенные в сборнике сравнительные данные о развитии Болгарии и ее капиталистических соседей — Греции и Турции. В 1939 году в Болгарии объем сельскохозяйственной продукции в три раза превышал объем промышленной продукции. В 1957 году это соотношение резко изменилось: промышленная продукция больше чем вдвое превысила сельскохозяйственную. За этот период в промышленности Греции и Турции отмечены лишь незначительные сдвиги. В Болгарии прирост промышленной продукции за годы второй пятилетки составлял в среднем 11 процентов; в это же время в Греции он шел неуклонно вниз: в 1955 году — 6,3 процента, в 1956 — 2,7 процента, а в 1957 году прироста вообще не было. Турции же принадлежит своеобразный мировой рекорд — она занимает самое высокое место в мире по дороговизне жизни.

Социалистические страны постепенно выравнивают общую линию своего экономического и культурного развития. Советский Союз, Чехословакия и другие промышленно развитые социалистические государства, наращивая темпы своего движения вперед, содействуют быстрому подъему других стран, ранее отстававших в экономическом отношении.

«Сила и эффективность экономического сотрудничества социалистических стран за-

ключаются в том, — пишет в сборнике первый заместитель председателя правительства Чехословацкой Республики Яромир Доланский, — что оно позволяет им совместно решать основные проблемы экономического развития, рационально использовать ресурсы, производственные мощности и природные условия отдельных государств, увеличивать путем специализации и кооперирования серийность производства и т. п. Все это ускоряет рост производительности общественного труда, темпов расширенного социалистического воспроизводства и повышения жизненного уровня трудящихся, увеличивает экономическую мощь социалистического лагеря в целом и притягательность социалистической системы».

Многие материалы сборника посвящены успехам культурной революции в странах народной демократии. Ученые, писатели, артисты, педагоги рассказывают о расцвете национальной науки, культуры, о приближении к знаниям десятков миллионов людей.

Президент Академии наук Китайской Народной Республики Го Мо-жо сообщает о том, что во всех провинциях и автономных районах Китая организованы филиалы Академии наук. Только в первой половине прошлого года было создано 462 новых научно-исследовательских учреждения. Особенно быстрый прогресс наблюдается в области развития технических наук. Полупроводниковые кристаллические лампы большой мощности и высоких частот, пробное производство которых намечалось на 1967 год, изготовлены уже в 1958 году. За несколько месяцев до срока были пущены экспериментальный реактор и ускоритель, построенные с помощью Советского Союза.

Монгольский драматург Л. Ванган знакомит с театральным искусством своей родины. Монголия совершила поразительный скачок от темноты и неграмотности к расцвету просвещения, здравоохранения, науки и искусства.

Неустанно укрепляя свои страны, свободные народы тем самым укрепляют мир во всем мире.

Товарищ В. Гомулка пишет: «Социалистический лагерь, его политика, его созидательный труд, его материальная и моральная мощь являются в нашу эпоху главной надеждой и опорой человечества в его стремлении к миру и прогрессу». Именно в

социалистическом лагере прочно обеспечивается национальная независимость и суверенитет каждой страны.

А вот что писали албанские патриоты в 1915 году: «Бедная албанская нация! Что за печальная судьба досталась тебе на этом свете? Никогда не было у тебя истинного друга... которому было бы больно за тебя, который позаботился бы о тебе». Эти полные гнева и печали слова были ответом на позорный лондонский договор, по которому Албания была разделена между четырьмя странами.

Независимой и суверенной Албания стала, вступив на путь строительства социализма, связав свою судьбу с могучим содружеством, в котором каждая страна стремится помочь другой.

Сталелитейщик болгарского завода «Электрометалл» Иван Руков, обращаясь к советскому другу, пишет: «Горжусь, что я сын страны, которая вскормила Благоева и Димитрова, Ботева и Вапцарова и сегодня рука об руку с советским народом и народами других социалистических стран строит жизнь, о которой люди мечтали веками, прокладывает миру путь к коммунизму». В единстве интернационализма и патриотизма — великая политическая и мо-

ральная сила человека социалистической эпохи.

Книга «Под знаменем социализма» дает яркое представление о том, как коммунисты подняли к активному творчеству многомиллионные массы трудящихся, которые еще недавно были придавлены гнетом помещиков и капиталистов.

К недостаткам сборника следует отнести то, что сравнительно слабо показана работа органов народной власти в социалистических странах. Газета «Известия» имеет большой, многолетний опыт освещения этой тематики. В сборнике можно и нужно было подробнее рассказать о социалистической демократии, о том, как трудящиеся все более широко вовлекаются в управление государством, в решение важнейших вопросов экономики и политики.

Издание книги «Под знаменем социализма» явится вкладом в благородное дело упрочения дружбы и братского сотрудничества свободных народов. Можно пожелать, чтобы наши издательства выпускали больше литературы о социалистических странах. Необходимость этого вызывается огромным интересом к жизни братских народов, который проявляют советские люди.

Л. ТОЛКУНОВ.

★

### Когда Россия подымалась...

Интересно бывает наблюдать за ходом исторических событий, увидеть объективную неизбежность и взаимосвязь общественных законов, читая специальные исследования. Но не менее интересно и полезно проследить эти события на судьбах и отношениях самих людей прошлого.

Об этом думаешь, когда читаешь «Воспоминания» Л. Ф. Пантелеева. Книга написана современником революционных демократов. Автор сам участвовал в революционном движении шестидесятых годов, и во многих отношениях его судьба характерна для прогрессивных деятелей того времени.

Пантелеев первым выступил в русской легальной печати с рассказом о тайной организации «Земля и воля», призывавшей

к борьбе с самодержавием, и мемуары его до сих пор не теряют своей ценности. Подробно рассказывая о своем пути к «Земле и воле», автор говорит как бы от лица целого поколения.

Книга открывается ранними воспоминаниями, которые в прежние издания мемуаров Пантелеева не включались. Уже здесь, при описании детских и юношеских лет, проведенных в Вологде, автор ярко передает ограниченность духовных интересов обитателей российской провинции. «По части внутренней политики» местные обыватели знали, что есть поляки, которые «Варшаву проспали», водятся где-то на Кавказе черкесы, «бедовый народец», но им «наши» тоже спуску не дают. В области политико-географических сведений о других странах вологодцы недалеко ушли от своих предков, которые всех нерусских называли «немцами». Нетрудно представить себе положение молодого студента, члена петербург-

Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. Редактор М. Блинчевская. 848 стр. Гослитиздат. М. 1958.

ского комитета «Земли и воли», приехавшего в родные места с целью организации здесь революционного общества. Все кончилось игрой местных помещиков в якобинство.

Между тем Россия жила в предчувствии революционного взрыва, в стране росла волна антикрепостнических и антиправительственных выступлений. Идеи Герцена, Огарева, Чернышевского пользовались особой популярностью среди учащейся молодежи. В среде студенчества, пишет автор, все оценивалось молодежью с точки зрения предстоящих реформ, и прежде всего крестьянской. «Как во всякое переходное время, неуверенность и недовольство господствовали во всех классах», — вспоминает Пантелеев.

Стараясь удержать поток нарастающего общественного возмущения, правительство не ограничилось прямыми репрессиями. Оно организовало зверскую травлю революционных деятелей. Вспыхнувшие в Петербурге в мае 1862 года стихийные пожары истолковывались реакционной печатью как дело рук учащейся молодежи. Одной из жертв сделался В. А. Обручев, сотрудник «Современника», друг Н. Г. Чернышевского. Его осудили на каторгу за распространение прокламаций «Великорусс». Однако лозунги, которые выдвигали герценовский «Колокол», прокламации «К молодому поколению», «Молодая Россия», «Великорусс», продолжали будоражить умы. Нужна была всероссийская революционная организация, ведомая партией единомышленников.

В начале 1862 года в Петербурге было положено в кружке Н. Серно-Соловьевича начало тайному обществу «Земля и воля». Окруженный строгой конспирацией, состав центрального комитета «Земли и воли» остался неясен даже самому Пантелееву, хотя он и стоял у руководства петербургским комитетом организации. Можно предполагать, что в состав центра «Земли и воли» входили Н. и А. Серно-Соловьевичи, Н. Обручев, А. Слепцов, В. Курочкин, может быть П. Пушторский и М. Гулевич, а потом вместо двух первых — Н. Утин и Г. Благовослов. Принадлежность Н. Чернышевского к обществу установить не удалось до сих пор. Но несомненно, что он принимал руководящее участие как в идейном воспитании революционеров, так и в орга-

низационном их объединении. «Земля и воля», в сущности, представляла лишь начальный этап создания задуманной Чернышевским и его соратниками боевой революционной партии. Предстояла длительная и напряженная работа по выработке ясной программы, по сплочению сил.

Арест Чернышевского, а затем Н. Серно-Соловьевича и С. Рымаренко тяжело отразился на состоянии общественного движения. Как писал А. И. Герцен Н. И. Утину: «На одной сильной личности держалось движение, а сослани — где продолжение?» При всей энергичности, предприимчивости Слепцова, Утина, Гулевича, Бокова, вспоминает Пантелеев, даже после выпуска петербургским комитетом собственного манифеста «Свобода» для землевольцев столицы смутно представлялась их ближайшая цель; вся деятельность сводилась к выпуску прокламаций.

Некоторые участники «Земли и воли» впоследствии стремились подчеркнуть организационное и идейное единство общества. По словам журнала «Народное дело», «Земля и воля» представляла «стройную, крепко сплоченную и широко разветвленную организацию пропагандистов». Между тем в период подготовки крестьянской революции, когда «в связи с освобождением крепостных вспыхнула война между либеральной и революционной партиями в России» (К. Маркс), петербургский комитет бездействовал. Естественно поэтому, что, когда в 1863 году вспыхнуло восстание в Польше, землевольцы не могли ему оказать реальной поддержки и выразили лишь свою полную солидарность с польским народом. Делегат центрального национального комитета Польши Зигмунд Падлевский, прибывший в Петербург для переговоров, «сам вынес ясное впечатление о слабости «Земли и воли».

В своей книге Пантелеев старается передать дух того времени: «Из журналов особенно был в ходу «Современник»; его влияние было скорее широко, чем глубоко; этим я хочу сказать, что многие быстро усваивали его идеи, а потом преспокойно устраивались чиновниками, и очень исправными, в департаментах». Заурядная судьба либералов характерна даже для тех людей, которые прошли школу тайных обществ: П. Пушторского, А. Слепцова, М. Гулевича, И. Смирнова, Ф. Судакевича,

Следует сказать, что и сам Пантелеев не избежал этой эволюции, став впоследствии кадетом.

Обстановка колебаний, непоследовательности среди русской интеллигенции в период подготовки буржуазно-демократической революции убедительно показана в книге с помощью многочисленных фактов и характеристик. Субъективно честный подход к материалам позволяет автору наглядно передать атмосферу печальных иллюзий, которые еще владели в то время умами многих. Землеволюцы думали, например, что народ готов для революции, и, вместо того чтобы активизировать свою революционную, пропагандистскую и организационную деятельность, стали ждать крестьянских выступлений снизу, рассчитывая, по сути, на некоторое подобие крестьянской войны. Выжидательность прямо вела к либеральной политике борьбы с самодержавием «мирными средствами», которые, по словам Ленина, «так блистательно доказали свое ничтожество в 60-ые годы».

Многочисленные страницы воспоминаний, посвященные Чернышевскому, Серно-Соловьевичу, русским и польским ссыльным, воссоздают в то же время и образы стойких, последовательных борцов, оставшихся до конца дней верными революционно-демократическим взглядам.

Даже в жестокой сибирской ссылке настоящие революционеры не оставались бездеятельными и не оставляли надежды на организацию вооруженного восстания ссыльных. «В успехе его Серно-Соловьевич не сомневался: он по дороге имел возможность вступить в сношение с местными жителями и, по-видимому, вынес впечатление, что восстание найдет поддержку и может повести не только к освобождению ссыльных, но и вызовет революционное движение сначала в Сибири, а затем и в России».

В книге подчеркиваются дружественные взаимосвязи и взаимоподдержка русских и польских революционеров. И на поселении, каторге, в острогах эти самоотверженные люди быстро установили контакт. Организация восстания возглавлялась, по-

мимо Н. Серно-Соловьевича, Н. Владимиров, П. Ветошникова, поляками П. Ляндовским, которому «были, конечно, готовы виселицы во всех городах Польши», и Шленкером, который лишь благодаря знатному происхождению «отделался только каторгой».

Из сибирской ссылки Пантелеев возвратился в Петербург лишь в 1874 году и спустя некоторое время развернул активную издательскую деятельность. На протяжении тридцати лет он выпустил много трудов отечественных и иностранных философов, экономистов, ученых-естественников, историков. Работа на новом поприще позволила Пантелееву установить множество добрых знакомств в писательской среде. В воспоминаниях приводятся интересные записи о поздних годах жизни Салтыкова-Щедрина, о встречах с Чернышевским, Герценом, Гаршиным.

Огромный фактический материал не воспринимался бы с такой живостью и непосредственностью, не будь к нему приложена рука мастера литературного слога, талантливое публициста.

Как сообщает в своих комментариях к книге С. Рейсер, при работе над «Воспоминаниями» Пантелеев настойчиво собирал документы, «забрасывал письмами ряд знакомых и вовсе не знакомых ему людей с мельчайшими справками о годе, месяце и дне того или иного события, проверками чужих реплик, своего впечатления или оценки того или другого лица». Страницы его мемуаров говорят о том, что не пристрастный исследователь подгонял факты из жизни десятков самых разнообразных людей под заранее заданные рамки, а сама сложная и противоречивая эпоха шестидесятых годов определила судьбы ее современников. И читатель видит, что если в тот период русскому народу, этому, по выражению Герцена, «просыпающемуся исполину», не удалось расправить плечи, то великие жертвы революционных демократов явились мощным призывом к организации систематической, беспощадной и стойкой борьбы с самодержавием.

**Е. ФИЛЬКОВ.**



## Прочитай, передай товарищу!

В траншеях переднего края, на артиллерийских позициях, возле танков и самолетов, у торпедных аппаратов кораблей в грозную пору Великой Отечественной войны часто можно было видеть бойцов, внимательно вчитывавшихся во фронтовые листовки. Некоторые из них представляли собой небольшие клочки бумаги с наспех набросанными карандашом словами; другие издавались полевыми типографиями военных газет.

Листовка рассказывала о том, что происходило на фронте, описывала подвиги солдат и офицеров, призывала воинов напрячь все силы для победы над врагом. Часто листовки заканчивались фразой: «Прочитай, передай товарищу!» Так, переходя из рук в руки, шли они по всему фронту, зажигая пламенным большевистским словом сердца пехотинцев и летчиков, моряков и саперов, танкистов и связистов.

Перед нами объемистая книга «Герои и подвиги» — сборник таких листовок. В его составлении приняли участие Институт истории Академии наук СССР, Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Государственный музей революции СССР и Центральный музей Советской Армии. В книгу включено более двухсот пятидесяти листовок; сюда вошли тексты и тех листовок, подлинники которых хранятся в Архангельском, Великолуцком, Пермском, Мурманском и Омском областных краеведческих музеях, в Музее обороны Царицына — Сталинграда. Все материалы публикуются впервые.

В этих своеобразных боевых документах, как бы расширяющих рамки оперативных сводок, хорошо показана авангардная роль коммунистов и комсомольцев, раскрыта великая дружба народов Советского Союза. Наряду с такими бессмертными именами, как Виктор Талалихин, Александр Матросов, Юрий Смирнов, Николай Фильченко, публикуемые в книге материалы содержат около пятисот имен славных защитников Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда, героев вели-

ких битв на Курской дуге, на Днестре, в Крыму, на Висле и Одере, советских воинов, сражавшихся за свободу Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Югославии и Польши.

Нельзя без волнения читать, например, воспроизведенную в книге копию рукописной листовки, выпущенной на Сталинградском фронте. В ней говорится: «Сталинградцев! Будь стойким, как Матвей Путилов. Он был рядовым связистом и часто находился там, где вражескими снарядами и минами коржились провода, где разрывающиеся бомбы непрерывно выводили из строя связь — нерв Сталинградской обороны. Сегодня на линии вражеской миной ему раздробило руку. Теряя сознание, он поднес концы проводов в рот и крепко зажал провод зубами. Восстановив связь, он умер с проволокой в зубах. Отомстим за Матвея!»

Советская Армия — армия массового, коллективного героизма. Чувство локтя, взаимовыручки и взаимопомощи удесятеляло силы воинов, позволяло им совершать подлинные чудеса. Это остро чувствуешь, читая рецензируемую книгу. Многие из листовок повествуют о беспримерных подвигах, совершенных целыми подразделениями. Шестнадцать солдат из 111-го гвардейского стрелкового полка, во главе с младшим лейтенантом Василием Кочетковым, преградили дорогу дюжине вражеских танков и нескольким сотням гитлеровцев. Описание этого боя, в котором натиск врага разбился о стойкость и мужество гвардейцев, мы находим в листовке, напечатанной в типографии фронтовой газеты «Красная Армия». В том же документе приводится приказ войскам фронта о награждении отважных воинов орденами, а также вылившиеся из глубины сердца стихи, сложенные солдатом Гр. Ясинским.

О неравном бое советского тральщика под командованием старшего лейтенанта Петра Каргина с тридцатью кораблями противника мы узнаем из листовки, изданной на Краснознаменном Балтийском флоте. Подвигу гарнизона дота, состоявшего из двадцати трех гвардейцев во главе с капитаном Н. Яковлевым, не пропустивших врага через важный рубеж, посвящена листовка, напечатанная в феврале 1945 года

Герои и подвиги. Советские листовки Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Ответственный редактор Д. А. Чугаев. 564 стр. Госполитиздат. М. 1958.

в типографии солдатской газеты «На штурм!».

Весьма примечательной и, надо сказать, очень сильной стороной большинства листовок было то, что они не только информировали воинов о новых и новых подвигах, но и учили, как надо действовать в той или другой обстановке, передавали боевой опыт. Несомненно, что приведенный в одной из первых фронтовых листовок рассказ заместителя командира эскадрильи Виктора Талалихина о том, как он таранил вражеский самолет, возбудил немало смелых мыслей и стремлений у других советских летчиков. Приемам мастерского использования боевой техники учил советских танкистов яркий рассказ командира взвода 158-й танковой бригады Дмитрия Шолохова, экипаж которого, находясь в засаде, за пять часов боя уничтожил двадцать пять фашистских танков и батальон вражеской пехоты.

В годы Великой Отечественной войны партия направила в ряды Советской Армии и Военно-Морского Флота более полутора миллионов своих лучших сынов, сплотивших воинов в единую боевую семью. И, конечно, не случайно в документах сборника часто говорится о подвигах, совершенных рядовыми коммунистами и руководителями армейских и флотских партийных организаций.

«Уничтожайте врага так же, как парторг роты Хирков,— с большевистской страстью, неутомимой ненавистью и железным упорством!» — призывала одна из листовок, выпущенная в июле 1943 года.

«Бить врага, как коммунист Павел Анашкин! Храбрость героя зовет на подвиг!» —

читаем в листовке, появившейся во время боев в Карпатах.

«Сердце большевика» — так озаглавила солдатская газета «Боевой путь» выпущенную ею в феврале 1945 года листовку. С какой силой звучат приведенные в ней слова записки, найденной у погибшего в неравном бою офицера-коммуниста: «Товарищи! Дорогие! Здесь я погиб, не отступая ни на шаг. Бился до последнего патрона. Гвардии старший лейтенант Иван Семенович Хитрик».

Немалую долю работы над листовками взяли на себя наши писатели и поэты — фронтовики. Так, листовку с «Балладой о трех коммунистах» написал Н. Тихонов, листовку о защитниках Сталинграда — И. Эренбург. В ряде листовок приведены стихи А. Безыменского, П. Панченко, З. Каца, М. Талалаевского и других поэтов.

К сожалению, имена авторов подавляющего большинства фронтовых листовок остались неизвестными. Присоединяясь к обращению составителей и редакторов книги к читателям о присылке всех известных им дополнительных сведений об опубликованных документах, добавим и еще одно пожелание: чтобы эти сведения касались также и авторов листовок — писателей, поэтов, сотрудников фронтовой печати.

«Герои и подвиги» — нужная книга, имеющая огромное воспитательное значение. И отзыв о ней хочется закончить пожеланием каждому читателю:

— Прочитай, передай эту книгу товарищу!

Полковник Н. ДЕНИСОВ.

★

## Образ великого ученого

Гимназист в большом, не по росту, штатском костюме идет в Харьковский университет. Он заявляет о своем желании изучать протоплазму, но профессор рекомендует пылкому мальчику сначала окончить гимназию... В Харькове уже давно говорят о любопытнейшем юноше, который «свободно читает специальную литературу, составил превосходный гербарий и коллек-

Б. Могилевский И. Илья Ильич Мечников. Редактор Е. И. Грушко. 352 стр. «Молодая гвардия». М. 1958.

цию минералов, берет у студентов микроскоп и наблюдает за жизнью инфузорий». Это Илюша Мечников.

Восемнадцатилетний юноша публикует свою первую научную работу по зоологии и вскоре вступает в полемику с известным немецким ученым Кюне, одерживая в споре победу. Это студент Харьковского университета Илья Мечников.

На берегу лазурного Неаполитанского залива двое молодых русских ученых с увлечением обсуждают сложные вопросы разви-

тия животных. Один из них — Александр Ковалевский, другой — Илья Мечников. Это будущие светила науки, основоположники эмбриологии — науки о зародышевом развитии.

Этап за этапом рисует жизнь замечательного русского биолога писатель Б. Могилевский в своей новой книге. Мы видим Мечникова на профессорской кафедре. Не достигший и тридцати лет, пылкий профессор становится кумиром студенчества, защитником его интересов. Вместе с другими передовыми русскими учеными он ведет неустанную борьбу за свободу научного исследования, страстно воюет с реакционными царскими чиновниками. В результате в «высших кругах» складывается мнение о Мечникове как о «человеке крайних убеждений, невозможном ни в каком учебном заведении». В конце концов Илья Ильич попадает под негласный надзор царской охраны.

В поисках пристанища для спокойной научной работы Мечников вынужден покинуть Россию. Он переселяется в Париж, где его тепло принимает великий Пастер в своем институте. Вскоре Мечников становится виднейшим деятелем института, а после смерти Пастера — научным руководителем этого всемирно известного научного учреждения.

«В Париже, как в Петрограде, как и в Одессе, Вы стали главой школы и зажгли в этом институте (Пастера) научный очаг, далеко разливающий свой свет. Ваша лаборатория — самая жизненная в нашем доме, и желающие работать толпой стекаются туда», — говорил, обращаясь к Мечникову, доктор Ру, ближайший помощник Пастера.

Но и будучи во Франции, Мечников оставался русским как по духу, так и по подданству. В его лаборатории вели микробиологические исследования многие русские ученые, почти все крупнейшие наши микробиологи конца прошлого и начала этого века.

Автор ярко характеризует жизненный и творческий путь прославленного ученого. Его книга не научно-популярное произведение. Это повесть о жизни и творчестве великого человека, повесть, в которой владение средствами художественной литературы сочетается с основательным знанием фактического материала — и истории науки и содержания работ Мечникова. Многие

в книге основано на изучении новых архивных материалов о Мечникове, хотя ссылок на них в книге нет. Так, например, Б. Могилевский использовал еще нигде не опубликованную обширную переписку между Э. Ру и О. Н. Мечниковой — женой, другом и биографом нашего ученого.

Свою первую книгу о Мечникове Б. Могилевский опубликовал еще в 1945 году. Постоянство влюбленности в своего героя, эта верность теме — очень похвальная, по нашему мнению, — принесли хорошие плоды. Писателю удалось справиться с нелегкой задачей: создать книгу, написанную на должном научном уровне, очень полезную и в то же время легко читаемую, интересную и доступную для широкой аудитории.

Из этой книги читатель узнает не только о том, какими научными проблемами занимался Мечников, чем именно прославил он русскую науку. Получаешь представление и об эпохе, в которой жил и работал Илья Ильич Мечников, знакомишься с такими его современниками, как Пирогов, Сеченов, Ценковский, Ковалевский, Пастер.

Книга написана увлеченно, а не холодной рукой бесстрастного исследователя. Поэтому прощаешь автору некоторые ошибки и неточности, которые легко могут быть устранены, если произведение это, как того хотелось бы, будет совершенствоваться и переиздаваться.

Рассказывая об истории чумы в России, автор уделяет большое внимание классическим работам основоположника русской эпидемиологии Д. С. Самойловича, но слишком уж мало говорится о враче А. Ф. Шафонском, которому принадлежит важнейшая заслуга в распознавании и ликвидации чумы в Москве в 1771 году. Эта несправедливость должна быть устранена.

В книге указано, что «малое увеличение микроскопа не дало ему (Самойловичу. — Ю. М.) возможности открыть микроба чумы». Дело не только и не столько в недостаточном увеличении микроскопа тех лет, а прежде всего в том, что тогда еще не существовало методов выделения чистых культур. Эти методы были разработаны лишь во второй половине следующего века Пастером, Кохом и другими. Не умея культивировать болезнетворные микробы, выращивать их на твердых и жидких питательных средах, нельзя было научиться от-

личать один вид возбудителей от другого. Этим и объясняется факт, что палочка чумы была открыта учеником Мечникова французом А. Йерсеном и японским ученым Ш. Китагато только в 1894 году, хотя задолго до этого многие ученые были убеждены в существовании специфического возбудителя этой грозной болезни.

Рассказывая о препятствиях, которые встретила фагоцитарная теория Мечникова в связи с опытами по разрушению возбудителей холеры, Б. Могилевский приписывает эти опыты только немецкому ученому Пфейферу. Между тем широко известные специалистам эксперименты в этой области были выполнены главным образом выдающимся русским ученым В. И. Исаевым. Вот почему явление растворения холерных вибрионов в брюшной полости морской свинки носит название «феномена Исаева — Пфейфера».

Отрадное впечатление производит внешний вид книги. Заслуживают внимания удачно подобранные иллюстрации; среди

них — несколько малоизвестных снимков. Нам думается, что следовало бы снабдить книгу хорошим портретом И. И. Мечникова на фронтисписе. Его никак не заменяет силуэт ученого на переплете.

Очень полезны приложения к книге: «Основные даты жизни и деятельности Ильи Ильича Мечникова» и «Краткая библиография». Непонятно только, почему в список основной литературы о Мечникове не попала лучшая из научно-популярных книг, автором которой является Р. И. Белкин.

О нашем великом биологе написано много книг, брошюр, статей, рассчитанных и на специалистов и на широкие круги читателей. Книга Б. Могилевского займет видное место в этой литературе как наиболее живо, ярко и правдиво рисующая образ замечательного исследователя, гуманиста, страстного борца за науку, за здоровье и долголетие людей.

**Ю. МИЛЕНУШКИН.**

★

## Конец «тайны» Тибета

С давних пор Тибет притягивал к себе замкнутостью, особым, скрытым от посторонних глаз строем жизни, слухами о несметных богатствах и ослепительном блеске золотых крыш дворца Поталы.

В 1950 году американец Томас Лоуэлл опубликовал книгу о Тибете, название которой — «Вне этого мира» — лишней раз подчеркивало обособленность изолированной самой природой высокогорной страны.

Семь лет спустя в Лондоне вышла книга корреспондента газеты «Дейли уоркер» Алана Уиннингтона «Тибет. Рассказ о путешествии», написанная в прямой полемике с книгой Лоуэлла. «Тибет находится не «вне этого мира», как озаглавил свою книгу Лоуэлл Томас, а как раз в этом мире, хотя, пожалуй, и не в мире самого Лоуэлла Томаса», — пишет Уиннингтон.

«Крыша мира», «поднебесная страна», где человек, привыкший к более высокому атмосферному давлению, задыхается, испы-

тывает сердцебиение и головокружение, — Тибет был отделен от внешнего мира не только недоверием к чужеземцам, не только непроходимостью своих дорог, но и временем: чтобы добраться верхом из Пекина в Лхасу нужно было несколько месяцев.

В 1951 году было подписано соглашение между Тибетом и Китайской Народной Республикой, первый пункт которого гласит: «Тибетский народ объединится и изгонит империалистические агрессивные силы из Тибета; тибетский народ вернется в великую семью народов матери-родины — Китайской Народной Республики». Вслед за тем в страну, где знали только молитвенное колесо, двинулась техника двадцатого века, его транспорт, его промышленные товары, его наука.

Алан Уиннингтон совершил свое путешествие на вездеходе «Газ-69» по новому шоссе, проложенному китайской армией с участием советских инженеров через Тибетское нагорье, и оказался в Лхасе спустя всего лишь две недели. Шоссе это проходит через всю его книгу, как нить, связующая главы. И чего бы ни коснулся он в своих беседах с тибетцами — скотоводства, тор-

---

Алан Уиннингтон. Тибет. Рассказ о путешествии. Перевод с английского В. Л. Кона. Редакция и вступительная статья В. П. Леонтьева. 342 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1958.

говли, участи жителей, пострадавших от наводнения,— вновь и вновь возникает образ шоссе, олицетворение нового этапа в жизни Тибета.

«Автомагистраль,— рассказывает автор,— является чудом инженерного искусства, созданным людьми, на канатах спускавшимся по склонам крутых утесов, чтобы сверлить и взрывать, повиснув над ущельями, откуда дорога кажется протянувшейся по грунту тонкой ниткой». На высочайшем перевале Чжу-ла остановился автобус. Из него вышли несколько тибетцев, чтобы добавить к традиционному кургану свои молитвенные камни, и машина двинулась дальше. «Почему-то,— продолжает Уиннингтон,— именно этот дерзкий автобус, взобравшийся как ни в чем не бывало на высоту почти 17 тысяч футов, знаменвал собой — казалось, даже больше, чем все автоколонны,— конец прежней уединенности Тибета, конец его «тайны». Мало кто из тибетцев — пассажиров автобуса оплакивал это, ибо, как бы романтически они ни были настроены, все же они предпочитают автобусы коням».

Удивительная страна, где беспредельна власть и неисчислимы богатства монастырей, где религия определяет весь уклад и психологию народа, где не было светского литературного языка, где до сих пор существуют отношения крепостного и сюзерена, где верят, что душа может переселиться в любое живое существо, а следовательно, грешно убить даже муху, и, вместе с тем, в междоусобных схватках рода с родом безжалостно убивали и наносили друг другу увечья, страна, где созданы в прошлом поразительные архитектурные ансамбли и где нет ни промышленности, ни рабочих,— таков Тибет, молодые силы которого все более привлекает современная цивилизация.

Здесь все полно противоречий. Медик-монах идет учиться хирургии в больницу, выстроенную китайским правительством, участвует во вскрытиях, хотя это запрещено ламаизмом, и восхищенно говорит о новом познании человека. А девушка-ветеринар работает на лхасской фабрике по производству сыворотки, где ей приходится убивать крыс, страдает от того, что губит свою душу, и по выходным дням ходит в храм замаливать грехи, поневоле совершенные на работе, которой она очень увлечена,

Подобные противоречия возникают всюду, иногда совершенно неожиданно. В качестве примера Уиннингтон приводит научную выставку, организованную в Лхасе, где тибетцам впервые довелось заглянуть в микроскоп: «Монахи были в восторге от микроскопов. Мальчишек-монахов приходилось с большим трудом буквально отрывать от них, а скотоводы пристально вглядывались в окуляр и уходили с широко раскрытыми от удивления глазами и недоверчивым выражением на лице. Здесь, несомненно, возникает трудная для ламаизма задача. Когда дело идет об убое какого-либо животного, например такого крупного, как овца или як, для употребления его в пищу многими людьми — причем убой этот совершается не теми, кто будет есть мясо, а кем-то другим,— то в таких случаях строгий запрет лишить кого-либо жизни просто игнорируется или же прикрывается всякой софистикой. Но ведь микроскоп показывает, что никому не дано съесть хотя бы кусочек сыра, не уничтожая в то же время при каждом глотке бесчисленное множество живых организмов».

Нужны бесконечный такт, терпение и осторожность, как отмечает Уиннингтон, чтобы, не задевая религиозных убеждений тибетцев, утвердить здесь каждое нововведение, направлено ли оно к тому, чтобы увеличить поголовье скота, или к тому, чтобы привить жителям элементарные санитарные навыки.

Центральные главы книги Уиннингтона посвящены Лхасе. «Как бы велики ни были ожидания или надежды, возлагаемые чужеземцем на Лхасу,— пишет путешественник,— то, что он встречает, превосходит всякое воображение». Монахи, паломники, падающие ниц на всем протяжении круга Линкора (пятимильный путь вокруг города), торговцы, торговки в полосатых передниках, лодочники, несущие на спинах огромные, но легкие лодки из шкур яков, автоколонны с чаем и бесчисленные бродячие собаки, истреблять которых запрещает тибетцам их религиозная совесть, чиновники-монахи, за которыми следуют их слуги, и светские чиновники в ярких одеждах тоже в сопровождении положенного числа слуг, скотоводы в домотканых платьях из грубого сукна и снова монахи, разъезжающие на мотоциклах,— все это создает неповторимый облик улицы Лхасы. «То, чего не

хватает Лхасе в области благоустройства или облегчения труда, не хватает также и во многих других местах мира. Но зато ничего подобного тому, чем обладает Лхаса, нельзя найти уже нигде в мире. Недаром этот город и дворец Потала стали магнитом, притягивавшим людей со всего света... Никаким воображением или воспоминанием нельзя должным образом воспроизвести всю красоту этих строений, рощиц, рек, лугов, песчаных дорог, равнин и гор. Никакими описаниями нельзя передать эту истинно неземную яркость и прозрачность красок в разреженном воздухе и синеве небес.

Алану Уиннингтону выпало на долю не только жить в Лхасе, но и встретиться с далай-ламой и панчен-ламой — этими «живыми богами» Тибета, обреченными на затворничество, безбрачие и раз навсегда определенное ритуальное поведение. В беседах с крупными и не очень крупными чиновниками, как светскими, так и монахами, в разговорах со студентами-тибетцами или ремесленниками, скотоводами или наборщиками из первой тибетской типографии английский путешественник собирал по частицам те сведения, которые могли бы воссоздать наиболее полно картину жизни этой очень мало изученной страны.

Правосудие, изобретшее такую смертную казнь, чтобы никому не пришлось быть палачом и брать грех на душу, случаи полиандрии, когда одна женщина становится женой нескольких братьев, повинность «ула», требующая от крестьян множества бесплатных услуг и работы, организация хозяйства в монастырях, которые владеют большей частью земли в Тибете, наконец, традиционный порядок поисков и определения того младенца, в которого перевоплотился умерший лама, — тщательное описание каждого из этих обычаев помогает читателю ощутить в какой-то мере своеобразие Тибета.

Однако экзотика не самоцель для Алана Уиннингтона. Отдав должное в нескольких главах тому, каким был Тибет, его истории, его борьбе против английского империализма, писатель направляет острейшее внимание туда, где традиция приходит в соприкосновение с новым бытом. Он говорит о том, что принесло в Тибет соглашение с Китаем, о присланных китайским правительством врачах и ученых и, конечно, о шоссе, влияние которого ощущается бук-

вально всюду, даже в самых отдаленных районах.

В 1953 году, еще до постройки шоссе, на берег реки Ки верхом прибыли сотрудники будущей опытной агротехнической станции. Они поставили палатки и занялись выведением более устойчивых в условиях Тибета культур, семена которых теперь сотрудники станции раздают даром, — так крестьяне на собственном опыте убеждаются в необходимости совершенствовать сельское хозяйство. Впрочем, по наблюдениям Уиннингтона, и в этой области есть немало противоречий: «Религиозные верования мешают применению инсектицидов, и даже глубокая пахота имеет своих противников, так как она-де беспокоит богов почвы».

Экономика Тибета сегодня еще малопродуктивна. В главе «Начало промышленной революции» Уиннингтон рассказывает о том, как открытие больших запасов полезных ископаемых, с одной стороны, и с другой — пример бурного промышленного расцвета во всем Китае приводит тибетцев к мысли о необходимости создавать промышленность и в тибетском районе. Эта идея завоевывает все больше сторонников не только среди светских лиц, но и среди монахов.

Традиционные взгляды и привычки тибетцев меняются все заметнее. Несмотря на то, что ламаизм с философской точки зрения рассматривает болезнь как нечто несущественное, амбулатория бесплатной Народной больницы в Лхасе, где работают китайские врачи, ежедневно принимает около пятисот, а иногда и тысячу больных. С утра около ее дверей выстраивается очередь, где пышно разодетый сановник или высокопоставленный монах стоит нередко позади косматого кочевника или босого монаха-прислужника. По словам главного врача, «даже прорицатели на Линкоре советуют теперь своим клиентам посещать амбулаторию. Эти прорицатели все еще взимают свою обычную плату и кидают, как всегда, жребий, но теперь уже они говорят: «Сегодня счастливый день для посещения Народной больницы».

«На яках Тибету далеко не уехать», — сказал Уиннингтону один тибетец. Это ощущение постепенно проникает в самую глубину народа, — не случайно бесплатная начальная школа в Лхасе не может принять и половины всех детей, желающих учиться,

а знатные люди и купцы все чаще посылают сыновей и дочерей в учебные заведения Пекина.

Подводя итоги своему путешествию, в главе «Каков дальнейший путь Тибета?» автор пишет: «Во всяком случае, теперь уже ясно, что Тибет не является больше «загадочной страной», если только он вообще был когда-либо ею. Прежней уединенности Тибета, делавшей его столь таинственным для людей с Запада, настал конец... Так же как юные тибетцы совершили переход от лошади прямо к самолету, не видев в глаза даже простой тележки, так и тибетское общество совершит переход от феодализма прямо к социализму, минуя капитализм... Влияние единственного в своем роде общественного строя Тибета с его древней исто-

рией и глубокими традициями долго еще будет отражаться в будущем. Как именно — покажет сама жизнь, которая содержательнее и вернее догадок и предположений».

События последних месяцев привлекли к Тибету всеобщее внимание. Тем больший интерес представляет очерк истории, экономики и нравов тибетцев, который дал в своей книге Уиннингтон. Достоинство ее не только в обилии материала. Ее стиль сочетает рассказ пытливого наблюдателя, множество выразительных эпизодов и деталей, рисующих жизнь Тибета, со статистическими расчетами. Автор избрал самую доказательную форму публицистики — публицистику цифры и факта.

**Е. ПОМЕРАНЦЕВА.**

★

### Происхождение христианства

В один из летних дней 1940 года на склоне Ватиканского холма в Риме появилась группа людей с лопатами и кирками. Среди рабочих блуз выделялись фиолетово-черные рясы. Шелкали затворы фотоаппаратов... Здесь начались не совсем обычные раскопки: разыскивалась гробница апостола Петра, который согласно католической традиции считается первым римским епископом и основателем церкви. Это предприятие должно было, по мысли его организаторов, подкрепить миф о пребывании Петра в Риме и заодно поднять авторитет пап, которые склонны считать себя прямыми преемниками Петра.

И вот в конце сороковых годов в католической печати под крупными заголовками появились сообщения о находке могилы апостола Петра. Но вскоре оказалось, что рассчитанные на сенсацию сообщения являются бесстыдным обманом. Скрепя сердце это вынуждены были признать и руководители раскопок. Так потерпела полное фиаско попытка католических кругов привлечь на помощь археологию.

Почти в это же время простой бедуин Мухаммед Диб из племени Таамира по воле случая дал для изучения истории раннего

христианства неизмеримо более богатый материал, чем все католические археологи, вместе взятые. В поисках пропавшей овцы он проник в пещеру у побережья Мертвого моря, где обнаружил большие глиняные сосуды с многочисленными старинными рукописями.

Известие о находке облетело весь мир. В район Мертвого моря были направлены научные экспедиции. Сотни свитков и фрагментов на древних языках, монеты, оружие, предметы домашнего обихода позволили определить, что люди, которым они принадлежали, поселились в районе Мертвого моря во втором веке до н. э. и были вынуждены оставить свое поселение в 67 году н. э., когда местность (называемая теперь по-арабски Хирбет-Кумран) была занята римским легионом, прибывшим для подавления восстания в Иудее.

Так наука обогатилась памятниками, относящимися ко времени возникновения христианства, причем более ранними, чем любой из текстов, входящих в состав христианских священных книг. Среди свитков оказался подробный устав общины, именуемой себя «Новым союзом». Принимая такое название, община подчеркивала свою независимость от официального иудаизма, признававшего лишь «Ветхий завет» или «Закон Моисея». Такое же противопоставление характерно и для христианства, называвшего свои книги «Новым заветом».

Я. А. Ленцман. Происхождение христианства. Ответственный редактор С. И. Ковалев. 268 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1958.

Но этим совпадением названий далеко не исчерпывается сходство между Кумранской общиной и раннехристианскими общинами. Главным, что их объединяло, была вера в основателя нового религиозного движения — «праведного учителя», который явился посредником между богом и людьми, подвергался преследованиям и претерпел мученическую смерть. Ряд буржуазных авторов утверждал, что «праведный учитель» и Иисус Христос—одно и то же лицо. Свитки из района Мертвого моря стали рассматриваться в качестве свидетельства исторического существования Христа.

Но сколь бы ни была привлекательна такая точка зрения для церковников, они вскоре были вынуждены от нее отказаться. Изучение вновь найденных текстов показало, что они относятся к середине первого века до н. э., то есть ко времени более раннему, чем жизнь мифического основателя христианства. Тогда в буржуазной и особенно в католической литературе возобладал взгляд, что документы относятся к иудейской секте, не имеющей к христианству никакого отношения, что аналогия между «праведным учителем» и Христом является греховной и что вообще не требуется никаких доказательств земного существования божественного спасителя.

К сожалению, наши атеисты еще в полной мере не осознали выдающегося значения новых памятников как важнейшего, до сих пор недостававшего звена решения проблемы возникновения христианства. Авторы первых появившихся у нас работ о текстах из района Мертвого моря старались избегать «опасных», как им, видимо, казалось, параллелей с христианством. И лишь в книге Я. А. Ленцмана «Происхождение христианства» сделана попытка наиболее полного использования новых источников.

Автор считает, что памятники относятся к иудейской секте ессеев (первый век до н. э.), и раскрывает роль этих документов для правильного понимания того, как в иудейской среде складывались элементы будущей легенды о Христе.

Содержание книги не ограничивается оценкой новых документов. Проблема происхождения христианства трактуется во всей полноте всех доступных науке данных.

Христианство, возникшее в условиях римского рабовладельческого общества, до сих пор служит идейным оружием господствующ-

щих классов буржуазных государств. Если на заре капитализма выдающиеся представители научной мысли подвергли христианскую догму беспощадной критике, то позднее эта критика стала заметно ослабевать. Современная буржуазная наука капитулирует перед теологией и даже не пытается поставить вопрос о социально-экономических предпосылках христианства.

Ответ на этот и многие другие вопросы истории раннего христианства можно найти лишь в трудах классиков марксизма-ленинизма. Опираясь на их положения, автор рисует отчетливую картину социально-экономической структуры Рима первого—второго веков н. э., показывает экономические и политические последствия римских завоеваний. В условиях Римской империи, когда у народных масс не было реальной надежды на свержение ига угнетателей собственными силами, им оставалось предаваться мечтам об избавлении с помощью небесного посланца. Такие общественные настроения, охватившие широчайшие народные массы, как нельзя более способствовали возникновению новой религии — христианства.

Эта религия уходила своими корнями прежде всего в иудейский, а вообще в древневосточный мир. Многие элементы восточных культов вошли в качестве составных частей в христианскую проповедь. Таковы были представления об умирающем и воскресающем боге, о загробной жизни, об извечной борьбе сил света и мрака и многое другое.

Но были в раннем христианстве и такие моменты, которые отличали его от других древних религий и способствовали его превращению в мировую религию. В отличие от старых религий, носивших печать тех или иных культовых и этнических особенностей, раннее христианство полностью отказалось от какой-либо обрядности и решительно отметало всяческие разграничения в области веры. Новая религия обращалась не только ко всему многоплеменному населению Римской империи, но вообще ко всем людям, вне зависимости от их социального положения. Особенно большой успех имело такое обращение среди беднейших и бесправных слоев населения, из которых и состояли ранние христианские общины.

Одной из старых восточных религий, оказавших большое влияние на формирование христианской идеологии, был иуданзм. Его



роль позволяет лучше понять тексты, найденные в районе Мертвого моря. Сомнительным кажется поэтому категорическое утверждение автора, что христианство зародилось лишь среди иудеев, рассеянных на территории Римской империи, а не среди евреев Палестины. Ведь именно в Палестине возникла секта, создавшая культ «справедного учителя». Рассеяние иудеев, очевидно, способствовало лишь окончательному оформлению образа Мессии-Христа и распространению христианства среди нееврейского населения.

В книге уделено много места вопросам датировки и анализа различных христианских писаний и нехристианских источников. В этой связи следует остановиться на одном злободневном вопросе исторической науки.

У нас справедливой критике подверглось направление историографии XX века, носящее название «гиперкритицизм». Буржуазные историки — «гиперкритики» — отрицали всякую ценность греческой и римской традиций в вопросах ранней истории античного общества. Впоследствии археологические открытия показали беспочвенность подобного скепсиса. Может быть, настала пора сказать, что гиперкритицизм проявлялся не только в отрицании возможности изучения ранних периодов истории Греции и Рима, но и в оценке некоторых проблем истории раннего христианства. К их числу относится вопрос об интерполяциях (подложных отрывках) у античных писателей. В борьбе с теологической концепцией возникновения христианства кое-кто из историков заходил так далеко, что наряду с подложными документами подвергал сомнению и вполне надежные источники. Так, академик Р. Ю. Виппер считал интерполяцией все, что сообщалось о христианстве в произведениях нехристианских писателей. Я. Ленцман в известной мере отвергает гиперкритицизм, свойственный некоторым исследо-

вателям раннего христианства, но делает это, на наш взгляд, чрезмерно осторожно.

Следует отметить, что гиперкритицизм отнюдь не способствует успехам антирелигиозной пропаганды, так как дает в руки теологов довод о предвзятости наших взглядов. Между тем отказ от гиперкритицизма вовсе не означает отказа от критики реакционных теологических тенденций в буржуазной науке, а, наоборот, делает советскую науку более действенной в борьбе против религиозного мракобесия.

Особое внимание автор обращает на социальные принципы новой религии, разоблачая утверждение богословов о том, что христианская проповедь — это вершина человеческой морали. Анализируя социальную программу евангелий, автор подчеркивает ее компромиссный характер — двойственное отношение к богатству, светским властям, иудаизму. Заслуживает внимания то соотношение, что чем сильнее становилась в христианстве тенденция к примирению с императорской властью, тем больше смягчалось в евангельском мифе отношение к римлянам и тем сильнее подчеркивалась враждебность к иудаизму.

Автор доводит изложение истории раннего христианства до конца второго — начала третьего столетия. Это оправдано задачей рецензируемой книги, посвященной проблеме происхождения христианства. Неоправданным является вынесение за рамки исследования такой проблемы, как отношение государства к раннему христианству (автор кратко останавливается на этом лишь в заключении, считая, что гонения на христиан — позднейшее явление).

Книга дает много нового и ценного материала по истории раннего христианства. Тем самым она будет иметь не только чисто познавательное значение, но и послужит серьезным подспорьем в антирелигиозной пропаганде.

*Кандидат исторических наук*  
**А. НЕМИРОВСКИЙ.**



## НЕИЗВЕСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ГЕРЦЕНЕ

Нам удалось недавно обнаружить на страницах забытой французской газеты «La Cloche» («Колокол») от 29 января 1870 года содержательные и яркие воспоминания о Герцене, скончавшемся в Париже неделей ранее, 21 января 1870 года. Принадлежат эти воспоминания, озаглавленные «Погребальный салют. Гражданин мира» и напечатанные в газете в виде передовицы, перу известного историка, романиста и мемуариста Жюля Кларти, встречавшегося с Герценом в последний год его жизни. Подобно многим другим западноевропейским писателям прогрессивного лагеря, таким, как Гюго, Мишле, Кине, Леру, Кларти с безграничным уважением относился к Герцену, справедливо видя в нем великого представителя великого народа, гениального мыслителя и отважного борца за счастье всего человечества, «великого русского патриота, прах которого когда-нибудь потребует от нас освобожденная Россия» (слова Кларти). «Мы во Франции недостаточно знакомы,— писал Кларти,— с этими воинствующими личностями, с этими бойцами за право и свободу, с этими ожесточенными противниками деспотизма, которые, сражаясь за свою угнетенную родину, сражаются за все человечество, которые, служа делу одной нации, трудятся для освобождения всех народов».

Кларти рельефно воссоздает в своих воспоминаниях внешний облик Герцена, разносторонне характеризует, на основе собственных своих впечатлений, его обаятельную личность, повторяет слышанные от него рассказы, излагает его суждения. Мемуарная литература о Герцене обогащается еще одним незаурядным памятником, значительность которого читатель может оценить по приводимым ниже (в нашем переводе) наиболее интересным отрывкам.

«На мою долю выпало большое счастье,— пишет Кларти,— быть знакомым с Алек-

сандром Герценом и честь внушить ему некоторую симпатию.

То был самый жизнерадостный, пылкий, выносливый человек. Кто мог предвидеть эту внезапную болезнь, эту скоропостижную смерть? Бодрый в пятьдесят четыре года<sup>1</sup>, словно сорокалетний, он был здоров, коренаст; всепожирающая и горестная жизнь не могла сломить его. В изгнании, как и в тюрьме, он оставался неутомимым и могучим бойцом. Вступив в новый период своей жизни, готовый обосноваться во Франции, куда лишь недавно получил он свободный доступ (Бельгия изгнала его в августе прошлого года), Герцен вознамерился занять здесь свой боевой пост.

«Колокол» должен был вскоре возобновиться.

Он говорил мне еще совсем недавно о новой газете, которую его друзья создавали в России и которая должна была там появляться в литографированном виде или печататься в тайной типографии. Однажды, когда я осведомился у него об этой готовой к бою газете,—«Она не выйдет в свет,— сказал он с заметной грустью.—Весь состав редакции арестован еще до появления первого номера и отправлен не знаю куда — в крепость или в Сибирь».

Казалось, подобные развязки были ему привычны. В непрерывном поединке, который Герцен и его товарищи вели с царской полицией, он столько раз подсчитывал жертвы, столько раз видел, как гибнут или исчезают друзья его юности и бойцы, сражавшиеся за его дело! Более тридцати лет тому назад завязалась эта битва; новая Россия преклонится когда-нибудь перед именем Александра Герцена, как перед именем своего освободителя.

Герцен любил рассказывать, и рассказывал с несравненным остроумием, убежденно и в то же время подтрунивая, с гортанным смешком, с своеобразным юмором.

Все лицо его говорило; особенно красноречив был его взгляд — взгляд, полный огня, проникновенный, живой; взгляд острый, сверкавший чудесным блеском, и только

<sup>1</sup> Ошибка: Герцен умер пятидесяти семи лет. (Л.Л.)

когда в разгаре беседы Герцен внезапно впал в задумчивость, его огненные зрачки скрывались под опустившимися веками.

Этот взгляд с самого начала обращал на себя внимание. Голова его была прекрасна, живописна; Герцен не стриг бороды — седой бороды, которая вместе с его длинными, откинутыми назад волосами, обнажавшими обширный, прорезанный морщинами, стягощенный мыслью лоб, придавала ему внешнее сходство с Гарибальди, лицо которого, кстати, более приближается к славянскому типу, чем к типу итальянскому.

Он был исполнен деятельности и мощи.

Его полнокровное лицо, мужественное и гордое, сияло дерзновением. Заметно было, что ничто не в состоянии согнуть, сломить эту решимость и эту веру.

— Сколько людей, эмигрировавших в Лондон, — говаривал Герцен, — чувствовало, что гибнет в этом тумане, среди этой равнодушной, эгоистичной толпы, которая пройдет мимо обессилевшего, умирающего, не обернувшись, чтоб оказать ему помощь. Что до меня, то я любил сознавать себя одиноким, безвестным, забытым, утопающим в этой безыменной волне. Для сильного человека одиночество — истинная свобода.

Он добавлял:

— Возможно, что меня заставило полюбить это одиночество насильственное общение с некоторыми ссыльными в Новгороде во времена моей молодости.

Осужденный со многими из своих товарищей по Московскому университету, виновными, как и он, в приверженности к свободе, Герцен был заключен в тюрьму, а затем выслан в Вятку и в Новгород. Он предпочел бы тюремное заключение.

С утра до вечера в канцелярии маленького городка, под мерцанием закопченной лампы, заживавшей с раннего утра (ибо свинцовое небо источало мрак), ему приходилось машинально заполнять бумагу рядами цифр, сидя бок о бок, плечом к плечу, с четырьмя мошенниками, четырьмя вульгарными плутами, нестерпимое соседство которых он принужден был выносить целые дни в продолжение месяцев, в продолжение лет.

Ненависть, внушаемая подобными сотоварищами, соприкасающимися с вами, навязчивыми и тиранящими, может быть сравнена только с той ненавистью, которую ис-

пытываешь на корабле, где судьба по воле случая постоянно сталкивает вас лицом к лицу с вашим врагом.

Не все товарищи Герцена по учению осуждены были на этот труд, толкавший к сумасшествию, на эту пытку честного человека, скрученного, связанного вместе с бандитами, подобно тому, как в древности некоторых осужденных на смерть привязывали к трупам. Университетскими товарищами Герцена были Лермонтов, поэт, и Тургенев, романист.

Он питал весьма слабое уважение к доктринам Тургенева, несравненным талантом которого, однако, сильно восхищался. Отсутствие политических убеждений у русского Мериме не раздражало, а скорей огорчало его. Он подтрунивал — впрочем, весьма мягко — над людьми подобного рода, гнушающимися энтузиазмом, и называл их мраморными мальчиками.

— Бедный Тургенев, — говаривал Герцен, — он пишет книги против нигилистов! Но кто же больший нигилист, чем он сам, ни во что не верящий и считающий глупцами всех, кто предан идее, он, чей восхитительный талант расходуется на то, чтобы чеканить сухие рассказы, прельщающие только людей изнеженных и пресыщенных?..»

В приводимом Кларти резком отзыве Герцена отразилось глубокое недовольство великого революционного публициста последними произведениями Тургенева, реалистическое творчество которого он всегда высоко ценил: романом «Дым», с его развешивающим скептицизмом и карикатурным изображением передовых деятелей русского общества, и новеллами «Довольно» и «Призраки», проникнутыми пессимистическими, фаталистическими настроениями и противопоставляющими идеалам революционно-демократического лагеря «общечеловеческие» идеалы «чистого искусства».

«Не следовало, в самом деле, требовать от Герцена одобрения доктрины «искусство для искусства», — продолжает Кларти. — Восхищение, в котором Герцен отказывал чеканщикам слов, он берег исключительно для служителей идеи. Не думаю, чтобы кто-либо лучше и более страстно воздавал должное Гарибальди, человеку-народу, чем сделал это Герцен в своем сочинении, на-

печатанном в Лондоне, «*Capicia rossa*»<sup>1</sup>— брошюре, страницы которой взрываются, словно начиненные порохом...»<sup>2</sup>.

«Надобно было слышать, как Герцен рассказывает...— продолжает Кларти.— Ни один собеседник не умел так блеснуть нежданной подробностью, ни один не обладал столь острым, изящным, язвительным умом. Он говорил на том великолепном французском языке прошлого столетия, который мы потребуем обратно у иностранцев, когда он будет позабыт нами. И с самым простодушным видом Герцен открывал перед нами целый неведомый мир, он приподымал туманную завесу, скрывающую от нас великую русскую страну, все еще исполненную таинственности.

Надобно было слышать, как он предсказывал волнения, неотвратимые волнения, которыми не далее чем через год будет потрясен северный колосс. Именно через год освобожденными крепостными должна быть выплачена первая четверть их долга помещикам. Через год должна быть внесена эта доля выкупной суммы, и с одного конца России до другого отпущенные на волю крепостные противопоставят своему общему врагу то пассивное сопротивление, которое Гамбон попытался недавно организовать во Франции.

Они не станут платить.

Какие же меры предпримет тогда против них помещик? Продаст их скот, их орудия труда? Но каким образом осуществить на практике эту продажу? Каким образом продать с аукциона миллионы овец, быков, бессчетное количество телег? Кто купит их? Где удастся найти хотя бы достаточное число чиновников для наблюдения над этой невозможной распродажей? Огромная протяженность России обеспечивает победу этим массам, твердо решившимся не признавать навязываемый им долг, и помещики вынуждены будут отступить перед решимостью миллионов крепостных, которые являются теперь фактическими хозяевами, а вскоре станут хозяевами по праву...

<sup>1</sup> «Красная рубашка» (итал.).

<sup>2</sup> Отметим, что Государственным архивом литературы и искусства (Москва) недавно приобретен экземпляр этой французской брошюры Герцена со следующей дружеской дарственной надписью на французском языке: «Жюлю Кларти, свидетельство глубокой симпатии, от А. Л. Герцена. 6 октября 1869 г. Париж». (Л.Л.)

Будучи состоятельным человеком, Герцен питал любовь к бедняку и сражался за него. Немало раз извлекал он из своего «Колокола» погребальный звон тирании и набат, призывавший служителей права к общему делу.

Его личное состояние давало ему возможность бороться с императором почти равным оружием. Против царской полиции в его распоряжении была особая полиция, которая раскрывала ему императорские замыслы, указывала ему шпионов и разоблачала их. Герцен забавлялся, подкармливая у себя, в Лондоне, русского генерала, астронома... на которого ему было указано как на шпиона и который благодаря своему званию носил титул «превосходительства».

Однажды Герцен бросил ему прямо в лицо такие слова, такое ужасное оскорбление: — Ваше превосходительство, вы шпион! Генерал побледнел.

— Не губите меня. Не бесчестите имя, которое я ношу и которое будет носить моя дочь!

— Но, черт побери, ваше превосходительство,— сказал насмешливо Герцен,— ведь не имя, которое я вам присваиваю, а ваше ремесло бесчестит дочь вашего превосходительства.

Его превосходительство уже более не показывался в доме Герцена...»

Разоблачение агента III Отделения, статского советника Хотинского, о котором пишет здесь Кларти, вызвало в свое время шумную сенсацию. Многочисленные французские, бельгийские, английские и немецкие периодические издания на все лады пересказывали эту историю — временами в совершенно фантастических вариантах. Сам Герцен подробно изложил обстоятельства этого дела в специальной статье «Действительный статский советник и кавалер М. С. Хотинский (Эпизод из истории нашего заморского шпионства)» («Колокол» от 1 марта 1866 года).

«Герцен рассказывал мне,— пишет далее Кларти,— что Николай I питал почти личную ненависть к господину де Кюстину, автору описания России...»<sup>1</sup>

Преступление господина де Кюстина в глазах Николая заключалось в том, что он сказал, рисуя портрет царя, будто у Ни-

<sup>1</sup> Имеется в виду книга А. де Кюстина «Россия в 1839 году», изданная в 1843 году в Париже, (Л.Л.)

колая не развита грудь и будто он заказывает своему портному особые нагрудные подушки из китового уса, чтобы расширить плечи и подать свой торс.

— Клеветник! — частенько говаривал царь, Коронованный красавец был задет за живое.

Но каково же было удивление адъютантов его величества однажды утром! Они увидели царя, приближающегося к ним в одних панталонах, с совершенно обнаженной грудью, которую он расправлял, вволю раздувая свои обширные легкие внутри могучей грудной клетки и говоря:

— Ну что же, господа, этот негодный французишка, этот бумагомарака утверждает, будто у меня нет груди! Ну-ка посмотрите на меня! Что вы на это скажете?

Вековая глупость самодержцев! Эти колоссы власти, когда видишь их вблизи, имеют жалкий и смехотворный вид.

С каким опять-таки вдохновением рассказывал все это Герцен — надобно было только слышать. Но многое можно и прочесть, и его «Записки» полны романтического интереса, как самые невероятные рассказы. Жизнь к нему в последнее время, впрочем, была милостива. Он обожал своих детей: сына-врача, уже почти знаменитого

профессора Болонской академии, и дочь, грехавшую к нему в Париж. Он намерен был провести конец нынешней зимы в Ницце, затем весной он собирался возобновить в Женеве «Колокол». Наш вредный для здоровья холод сразил его, убил наповал. Этот сын Севера, могучий, привыкший к сибирским ветрам, умирает у нас от воспаления легких!

В нашей Франции, которую любил («Крымская война спасла нас, — говаривал он, — надобно поколачивать тиранов, как старое платье, чтобы выбивать из них пыль»), он получит гостеприимство могилы до того времени, когда Россия, оплодотворенная его идеями, предоставит ему место... рядом с мучеником Пестелем — в будущем Пантеоне своих великих граждан».

Выражая уверенность в том, что революция в России неизбежна и что вчерашние крепостные или их сыновья «благодаря когда-нибудь имя Герцена, которое им теперь даже не известно», Кларти заканчивает свои воспоминания выражением восторженной признательности предвестникам революции, сраженным задолго до торжества их великого дела.

Л. ЛАНСКИЙ.

★

## ПО ПОВОДУ ТЕКСТА „ВОЙНЫ И МИРА“

Девяносто лет тому назад, в 1869 году, вышли в свет последние тома первого издания романа «Война и мир», над которым Толстой в течение семи лет работал, по его признанию, «с мучительным и радостным упорством и волнением». Сохранилось свыше пяти тысяч листов рукописей этого романа, исписанных в большей части с двух сторон крупным, убористым, характерным почерком Толстого, испещренных, кроме того, его многочисленными исправлениями и вставками на полях и между строк. Рукописи, в которых отражены напряженные творческие искания писателя, раскрывают поистине грандиозную картину его труда начиная с первой, тотчас же зачеркнутой фразы: «В 11 году у старого князя Волхонского гостил молодой Зубцов», последовавших за ней один за другим пятнадцати набросков начала и вплоть до окончательного завершения величественного замысла. Рукописи дают

возможность следить за творческим процессом создания произведения в целом и позволяют понять стремления художника, заставлявшие его исправлять и вновь исправлять, перерабатывать отдельные части, главы, сцены и эпизоды. При анализе рукописей можно иногда уяснить, почему автор безжалостно выбрасывал законченные сцены, создание которых стоило ему большого труда, удастся проследить, как он заботился о композиции произведения и отдельных его частей, о том, чтобы изображенные события развертывались и вытекали одно из другого с естественной последовательностью, чтобы не оставалось в произведении ни одного ненужного факта, как бы интересен он ни был сам по себе, ни одной лишней черты или слова. Рукописи рассказывают о том, с какой тщательностью отделял Толстой каждую фразу, стремясь к идеальному выражению своей мысли, а идеальный способ, по

позднейшему определению Толстого,— это такой, когда «ни одного слова к сказанному нельзя ни прибавить, ни убавить, ни изменить, без того, чтобы не испортить произведения».

Наблюдая по документам эту трепетную заботу величайшего художника о каждом слове своего творения, нельзя не испытывать глубочайшего огорчения от того, что в результате случайных обстоятельств в тексты произведений Толстого проникали большие или малые, но всегда портящие их ошибки. В «Войне и мире» таких ошибок и описок очень много. Да это понятно. Рукописи Толстого принимали подчас такой вид, что прочтение их другим лицом требовало предельного внимания и умения разобраться во всех разбросанных вставках и дописках.

Хотя сохранившаяся рукопись опровергают существующую легенду, будто С. А. Толстая семь раз переписала «Войну и мир», тем не менее за юной тогда женой Толстого остается честь почти единственной переписчицы первого романа Толстого, и она гордилась тем, что Толстой назвал ее своей помощницей. Копирование рукописей «Войны и мира» стало для нее частью ее личной семейной жизни. Сидела, «окруженная всеми частями тебя, т. е. с детьми и с писанием твоим, которое переписывала»,— сообщала она мужу летом 1865 года. «Я теперь стала чувствовать, что это твое, стало быть, и мое детище»,— признавалась она позднее. «Я очень любила твое сочинение. Вряд ли люблю еще другое какое-нибудь так, как этот роман».

Глядя на некоторые рукописи, скопированные С. А. Толстой, трудно иной раз понять, как ей удавалось разобраться в сложной правке Толстого и восстанавливать в своих копиях последовательный текст. В то же время надо помнить, что Софья Андреевна не была опытной кописткой и что переписывание романа мужа шло в ряду ее различных семейных и хозяйственных обязанностей: «дети, варенья, соленья, грибы, пастилы, переписыванье для Левы»,— так перечисляла она свои обязанности и заботы в письме к сестре. Среди всех этих дел она, по ее выражению, пользовалась «просто всякой секундой времени, чтобы написать хоть одно слово». Нередко она писала до

устали, так что рукой трудно было двигать. В письмах к Толстому, который, уезжая, всегда оставлял жене рукописи для списывания, она иной раз жаловалась, что писала мало, потому что была «рассеяна». Обстановка, в которой С. А. Толстой приходилось иной раз работать, не очень соответствовала этому серьезному делу. «До купанья я все списывала, но дело идет тихо. Начну списывать, то дети помешают, то мухи кусали ужасно, а то станет интересно и я читаю дальше, и начинаю думать и судить сама себе о всех лицах и действиях твоего романа»,— сообщала она. Естественно, что условия, в которых переписывала С. А. Толстая, немало способствовали появлению ошибок и пропусков, которых в копиях, сделанных ею, пожалуй, больше, нежели в работе других переписчиков. Посторонние лица, с трудом разбирая руку Толстого, нередко пропускали не поддающийся прочтению текст и оставляли для него место. Правя копию, Толстой, не обращаясь к своему автографу, обычно, заполнял оставленные переписчиком места новым текстом. В копиях С. А. Толстой таких пропусков нет; она, видимо, смело переписывала рукописи мужа, не сомневаясь в правильности прочтения слов, и допускала множество ошибок, немалая часть которых осталась не замеченной Толстым и дошла до печатного текста. Нередко ошибки наборщиков также оставались незамеченными, а из письма Толстого к его помощнику по изданию «Войны и мира» П. И. Бартенева известно, что во время печатания романа Толстой советовал на то, что в тексте «много опечаток».

Ошибок проникло много во все произведения Толстого. При подготовке к печати только что закончившегося полного 90-томного Собрания сочинений Толстого тексты всех произведений—одних более тщательно, других менее тщательно—выверялись и исправлялись по рукописным источникам (почти к каждому тому приложен список исправлений, внесенных в результате редакторской сверки). Единственное произведение, для которого столь необходимая текстологическая работа совершенно не проводилась,— это «Война и мир» (почему и нет в этом издании списка исправлений по рукописям). И вот уже девяносто лет «Война и мир» печатается с

сохранением всех ошибок и описок, наслонившихся на текст Толстого. Ошибки различного характера. Некоторые — их немного — искажают смысл, извращают мысль автора; другие нарушают стройность повествования, логический ход действия; третьи — их большинство — портят язык писателя, вносят небрежность, неряшливость в его стиль.

Само собой разумеется, что эти ошибки не решают вопроса о силе произведения Толстого. Если к имеющимся ошибкам прибавить еще столько же, «Война и мир» останется «Войной и миром». Но коль скоро эти ошибки обнаружены, причем обнаружены в тексте писателя, который ревностно относился к чистоте языка и его точности, — они должны быть устранены.

Несколько примеров могут дать представление о характере ошибок, содержащихся во всех изданиях «Войны и мира».

По поводу присылки Наполеоном французского генерала Савари в качестве парламентаря в Вишау, читаем:

«Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении свидания императора Александра с Наполеоном». И далее: «В личном свидании, к радости и гордости всей армии, было отказано, и вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, ежели переговоры эти, против чаяния, имели целью действительное желание мира»<sup>1</sup>.

Откуда же вытекают эти предположения о «желании мира», для переговоров о котором послан князь Долгоруков? Это разъясняет автограф Толстого:

«Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении мира и в предложении свидания императора Александра с Наполеоном».

Так написал Толстой. Механический пропуск переписчиком текста, находящегося между одинаковыми словами: в предложении — в предложении, нарушил историческую точность и лишил логической последовательности авторский текст. Это типический случай пропуска текста, заключенного между одинаковыми словами. Примеров таких много. Вот некоторые из них.

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 9, 1937, стр. 314.

Сцена в Мытищах, у постели князя Андрея.

Печатный текст:

«Ах бессовестные, право,— говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки.— Только на минуту не досмотрел. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит»<sup>1</sup>.

Из печатного текста не ясно, чем же вызвано восклицание доктора: «Ах бессовестные», слова его: «на минуту не досмотрел». Объяснение этого — в пропущенной фразе.

Текст Толстого:

«Ах бессовестные, право,— говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки.— Только на минуту не досмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит».

Все дело в том, что князя Андрея положили «прямо на рану». Становится ясным и предшествующий текст, где сказано, что доктор чем-то остался недоволен, «перевернул раненого». Две фразы, следующие одна за другой, начинаются с того же слова «ведь». Из-за этого и произошел механический пропуск в копии.

Пропуск, нарушающий логическое развитие действия, имеется и в главе, посвященной размышлениям Кутузова накануне получения известия о бегстве Наполеона из Москвы.

Печатный текст:

«Он придумывал все возможные случайности так же, как и молодежь...» и т. д.<sup>2</sup>

Текст Толстого:

«Он придумывал все возможные случайности, в которых выразится эта верная уже свершившаяся гибель Наполеона. Он придумывал эти случайности так же, как и молодежь...» и т. д.

О каких случайностях идет речь — в печатном тексте не ясно. Механический пропуск фразы, расположенной между словами «случайности — случайности», лишил размышления Кутузова важного звена: не отражена в них уверенность Кутузова в уже свершившейся после Бородина гибели Наполеона.

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 11, 1940, стр. 355.

<sup>2</sup> Там же, т. 12, 1940, стр. 112.

Подобный же пропуск ослабил важную для Толстого характеристику душевного состояния Пьера при встрече с княжной Марьей и Наташей после войны, когда он рассказывал им «о своих похождениях».

**Печатный текст:**

«Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда еще не вспоминал их»<sup>1</sup>,

**Текст Толстого:**

«Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда их еще не рассказывал никому, как он сам с собою никогда еще не вспоминал их».

Опять виной оказалось повторяющееся слово «никогда».

Бывают пропуски в результате просто невнимания. Например, в рассказе о болезни Наташи Толстой написал:

«Что же бы делали Соня, граф и графиня, как бы они смотрели на слабую тающую Наташу, ничего не предпринимаемая, ежели бы не было этих пилюль по часам...» и т. д.

При копировании автографа пропущено смысляющее весь текст дополнение, и до печати дошло:

«Что же бы делали Соня, граф и графиня, как бы они смотрели, ничего не предпринимаемая, ежели бы не было этих пилюль по часам...» и т. д.<sup>2</sup>

Смотрели на кого? На что? Пропущены слова: «на слабую тающую Наташу».

А вот примеры ошибок другого характера.

Во время Аустерлицкого сражения князь Андрей подъехал к Кутузову (цитируется с сокращениями):

«— Надо остановить апшеронцев,— кричал он,— ваше высокопревосходительство! Но в тот же миг все застлалось дымом... Смешанные, все увеличивающиеся толпы бежали назад... Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не податься назад вместе с толпой. Болконский только старался не отставать от нее...»<sup>3</sup>

Итак, князь Андрей на Аустерлицком поле только старался не отстать от бегущей назад толпы! Так печатается. Но ведь про-

исходило все не так, и не так Толстой и написал.

«Болконский только старался не отставать от Кутузова».

Таков подлинный текст Толстого. Весь же смысл в том, что князь Андрей не с бегущей толпой, а с Кутузовым, остающимся на поле сражения. Механическая ошибка в одном слове привела к грубому искажению смысла.

Нередко мысль автора искажена вследствие одной буквенной описки. В солдатской сцене во время перемирия перед Шенграбенским сражением солдат Сидоров «подмигнул и, обращаясь к французам, начал часто, часто лепетать непонятные слова»<sup>1</sup>. Так печатается. Нет необходимости объяснять, что глагол «лепетать» тут совершенно ни при чем. У Толстого написано: «...начал часто, часто лопотать непонятные слова», и этот глагол несколько раз использован в данной сцене: «Вишь лопочет как ловко», «лопотал он». Только один раз появилось «лепетать» и механически переходит из издания в издание.

В сцене встречи Балашова с Наполеоном читаем:

«...Балашов, едва успевавший запоминать то, что говорилось ему, и с трудом следовавший за этим фейерверком слов...»<sup>2</sup>. Ясно, что за фейерверком слов Наполеона Балашов старался следить, а не следовать, что не имеет никакого смысла. Толстой так не мог написать и не написал. У Толстого: «...с трудом следивший за этим фейерверком слов».

При описании отъезда Ростовых из Мытищ Толстой писал:

«На другое утро тронулись поздно и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ».

Речь идет о переезде и остановках в пути; естественно, что действие начинается с того момента, когда Ростовы «тронулись» в путь. Переписчик механически, по связи со словом «утро», убористо вписанное слово «тронулись» прочитал как «проснулись»<sup>3</sup>.

Вследствие подобных же ошибок в главе, посвященной возрождению Москвы, му-

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 12, 1940, стр. 221.

<sup>2</sup> Там же, т. 11, 1940, стр. 67—68.

<sup>3</sup> Там же, т. 9, 1937, стр. 341.

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 9, 1937, стр. 215.

<sup>2</sup> Там же, т. 11, 1940, стр. 27.

<sup>3</sup> Там же, т. 11, 1940, стр. 378.



равнинные кочки превратились в муравьиные кучки (опечатка издания 1873 года повторена в Полном собрании сочинений и последующих изданиях), в описаниях декорации оперы, которую слушает Наташа, раскрашенные картонны превратились в раскрашенные картины.

После встречи с Платоном Каратаевым Пьер «чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незбылемых основах, дв и г а л с я в его душе»<sup>1</sup>. Толстой написал: «...прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незбылемых основах, в о з д в и г а л с я в его душе».

Мысль автора ясно и точно выражена. Так дошло до корректур. А во время печатания исчез первый слог глагола «в о з д в и г а л с я» и появился бессмысленный текст.

В заключение укажем примеры того, как в результате все тех же описок переписчиков в «Войне и мире» появились персонажи с новыми именами или исторические лица выведены под неверными именами.

В сцене встречи Наполеона с Лаврушкой участвует переводчик Наполеона *Lelorgne d'Ideville*. Это его подлинное имя, и Толстой в точности сохранил его в своем автографе. При копировании переписчик ошибочно написал *Lelorme d'Ideville*, и так до сих пор печатается.

Известно, что в «Войне и мире» выведен действительно живший в ту пору в Москве танцмейстер Иогель. В первой части второго тома он именуется правильно — Иогель, а в четвертой части, в описании

жизни в Отрадном, где гостил «танцевальный учитель», он превратился вдруг в Фогеля, хотя в автографе ясно написано: Иогель.

В рассказе о поездке Николая Ростова из армии в отпуск читаем: «он уже начал забывать тройку саврасых, своего вахмистра Дожойвейку...»<sup>1</sup>. Как появился неведомый Дожойвейка? Ни разу он больше не упоминается. Автограф Толстого и снятая с него копия разъясняют все. «...Он уже начал забывать тройку саврасых, своего вахмистра, и панну Боржозовску», — так написал Толстой. И несколькими строками выше (и в автографе и в печатном тексте) упомянут бал, который уланы давали «своей панне Боржозовской». Так вот эта панна Боржозовска превратилась под пером переписчика в Дожойвейку. И девяносто лет переходят из издания в издание танцмейстер Фогель и вахмистр Дожойвейка!

Не пора ли такие ошибки перестать узаконивать «последней волей автора»? Не следует ли наконец очистить текст «Войны и мира» от всех ошибок, делая это, разумеется, с максимальной осторожностью, предельной тщательностью и абсолютной добросовестностью. Лучшим ознаменованием 90-летия со дня выхода в свет первого издания «Войны и мира» было бы издание критически выверенного по всем рукописным и печатным источникам подлинного текста Толстого.

Э. ЗАЙДЕНШНУР.

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 12, 1940, стр. 48.

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 10, 1938, стр. 240.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ. Современники. Воспоминания. «Советский писатель». М. 1958. 360 стр. Цена 8 р. 35 к.**

Книга Юрия Либединского—сборник воспоминаний о советских писателях.

В очерке «Первые шаги», открывающем книгу, автор рассказывает о своей литературной молодости, об истории зарождения своих первых повестей — «Неделя» и «Комиссары». На страницах этого очерка даны беглые, но выразительные характеристики А. Серафимовича, Ларисы Рейснер и других.

Основную часть книги составляют воспоминания об отдельных писателях-современниках; Дмитрий Фурманов, Сергей Есенин, Лидия Сейфуллиной, Владимире Маяковском, Артеме Веселом, Борисе Горбатове, Юрии Крымове.

Большой интерес представляют воспоминания об А. Фадееве — «Памяти друга», — одно из значительных произведений небольшой пока мемуарной литературы об этом писателе. Ю. Либединский знал Фадеева с двадцатых годов, с того далекого времени, когда никому не известный высокий молодой человек принес в редакцию «Молодой гвардии» рукопись своей первой повести «Разлив». Либединский, работавший в те годы в «Молодой гвардии», первым прочел работу начинающего автора. Так началась дружба двух писателей.

Почти все очерки, входящие в сборник «Современники», написаны в 1956—1958 годах. В них подробно освещается история литературных организаций двадцатых годов — группы «Октябрь», РАППа, «Перевала», анализируются ошибки, допущенные теоретиками этих организаций.

В книгу вошли также очерки о писателях Северного Кавказа: родоначальнике кабардинской литературы Бекмурзе Пачеве, выдающемся кабардинском поэте Али Шогенцукове и осетинской писательнице Езетхан Уруймаговой.

**АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН. Пять часов разницы. Очерки и рассказы. «Советский писатель». М. 1959. 324 стр. Цена 5 р. 65 к.**

А. Злобин — очеркист, которого давно интересуют вопросы, связанные с развитием промышленности и экономики страны, новые проблемы науки и техники.

В книге «Пять часов разницы» собраны, как сказано в подзаголовке, «очерки разных лет» (некоторые из них публиковались

в «Новом мире»), все они написаны по горячим следам событий, самых волнующих и значительных. Когда строился Волго-Донской канал, появился очерк А. Злобина «История одного миллиона» (1952), рассказывающий об экскаваторщике Дмитрии Слепухе, который на своем «Уральце» вынул миллион кубометров земли. Очерк «Совнархоз приступает к работе» (1957) знакомит читателя с первыми шагами Совета народного хозяйства Горьковского экономического района — одного из крупнейших в стране по своему промышленному потенциалу.

В книге опубликованы также очерк, посвященный строителям первенца Новой Ангары — Иркутской ГЭС («Репортаж с наплавного моста»), и очерк, написанный лишь в конце прошлого года «На Сибирской магистральной». В нем автор стремится ввести читателей в курс проблем, обсуждавшихся учеными на конференции по развитию производительных сил Восточной Сибири. Материалы этой конференции позже легли в основу проекта семилетнего плана по Восточной Сибири, утвержденного на XXI съезде партии.

Около третьей части аннотируемого сборника занимают рассказы, в которых автор ставит главным образом морально-этические проблемы.

**А. ВЕЛИЕВ. Пройденные годы. Роман. Перевод с азербайджанского. «Советский писатель». М. 1959. 336 стр. Цена 5 р. 90 к.**

Роман известного азербайджанского прозаика Али Велиева «Пройденные годы» посвящен борьбе за строительство новой жизни в одном из горных районов Азербайджана в период коллективизации сельского хозяйства. События, изображенные в романе, относятся к концу двадцатых годов.

Автор показывает всю сложность тогдашней обстановки в молодой советской республике, граничащей с Ираном и Турцией, откуда враги коллективизации получали помощь для борьбы против Советской власти.

В центре романа — образ первого секретаря Чинарлинского райкома партии Гахрамана. Не раз встречаясь лицом к лицу со смертью, Гахраман и другие коммунисты сплывают лучших людей села на борьбу за новую жизнь. В образе коммуниста Гахрамана автор стремится воплотить черты бесстрашного бойца нашей партии,

выразителя чаяний и дум широких масс трудового крестьянства.

**МАКСИМ ПОДОБЕДОВ.** Восхождение. Роман. «Советский писатель». М. 1959. 360 стр. Цена 6 р. 45 к.

«Кооперация — путь к социализму» — большие красные буквы лозунга бросались в глаза каждому, кто заходил в клуб железнодорожного узла. Шло наступление на частника. Одну за другой сдавали нэпманы свои позиции, но сдавали сопротивляясь, все еще надеясь удержаться. Несмотря на все трудности, страна шла в гору, шла по пути индустриализации.

«Восхождение» — назвал свой роман об этом времени М. Подобедов. Восхождение — пора трудного продвижения вперед не только страны, народа, но и героя романа — Ивана Куркова. Его, слесаря паровозных мастерских, коммуниста, выбрали на пост председателя дорожной кооперации. У Куркова не было опыта, знаний, но была неподкупная честность и желание работать на благо народа.

В дорожной кооперации окопались бывшие белогвардейцы, торговцы, которые все силами пытались помешать строить новую жизнь. Клевета, интриги, саботаж — все было пущено в ход, чтобы опорочить Куркова. Автор показывает, как настойчиво накапливал его герой знания, как упорно стремился постичь подлинную сущность своих врагов, которым он готовился дать «генеральное сражение».

Вот об этом сражении, разыгравшемся тридцать лет назад в одном из уголков страны, обо всех его трудностях и о конечной победе, о росте социалистического сознания советских людей и написана книга М. Подобедова.

**А. ХРШАНОВСКИЙ.** Синие горы. Детгиз. Л. 1959. 208 стр. Цена 4 р. 5 к.

Книга представляет собой цикл рассказов, большая часть которых имеет общих героев. Герои эти — молодые люди, посвятившие свой летний отдых любимому спорту — альпинизму.

В интересных и трудных походах рождается их большая дружба, в борьбе с грозными силами природы, где в одиночку человек бессилён, воспитывается чувство коллективизма и товарищеской взаимопомощи.

Автор показывает, что эгоизм и забота лишь о себе граничат в горах с авантюризмом и катастрофой (рассказ «Я люблю тебя, Катя!»).

В небольших, но характерных эпизодах в разных рассказах А. Хршановский воспроизводит колоритную жизнь альпинистского лагеря на Кавказе, поэтично передает суровую красоту гор.

Действие в рассказах «Поражение Цвангера» и «Конец Цвангера» относится к тому времени, когда штурмовать кавказские вершины безуспешно пытались фашистские заовоеватели.

Книга снабжена иллюстрациями.

**ГЕРБЕРТ СМИТ.** Людское поле. Роман. Перевод с английского. «Молодая гвардия». М. 1959. 288 стр. Цена 5 р. 75 к.

«Людское поле» — роман о рабочих современной Англии. Герои его трудятся на крупном машиностроительном заводе. Их жизни, переживаниям, думам, судьбам и посвящен роман. Автор стремится раскрыть сложность и противоречивость процесса пробуждения политической сознательности рабочих. В Англии, хотя это страна с довольно высоким уровнем жизни, как и во всем капиталистическом мире, идет непрерывное наступление на права рабочих, и капитал, гоняясь за сверхприбылями, все больше усиливает эксплуатацию.

Рабочие Англии — далеко не однородная масса и по своим взглядам и по условиям жизни. В романе Смита это показано очень наглядно. Цеховой мастер лейборист Юингс, молодая работница Кэти Бессон, пробуждающиеся к активной борьбе, ветеран войны Тони Уорн, сознательно жертвующий собственным благополучием во имя товарищеской солидарности, коммунист Том Баррет с его трудной личной жизнью и тесной дружбой с рабочим коллективом. Все они такие различные, и, тем не менее, у всех у них общие стремления и чаяния.

Читая книгу Смита, понимаешь и остро ощущаешь, чем и как живет рабочий класс Англии наших дней.

**ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ СССР И США.** Критика взглядов американских буржуазных экономистов. Госпланиздат. М. 1959. 242 стр. Цена 6 р. 50 к.

Книга эта, написанная коллективом сотрудников Научно-исследовательского экономического института Госплана СССР, является своего рода ответом на измышления доклада Объединенной экономической комиссии сената и конгресса США, названного «Экономический рост Советского Союза в сравнении с Соединенными Штатами».

Задача, поставленная перед авторами доклада, заключалась в том, чтобы всячески очернить и умалить достижения СССР и приукрасить положение в США. Главная цель доклада, как об этом пишет руководитель работ Гровер У. Энсли, состоит в том, чтобы доказать неприемлемость советской системы и показать масштабы «советской угрозы, понимая под этим способность Советского Союза производить вооружение и промышленные товары для осуществления советской программы торгового проникновения во все страны мира и технической помощи им».

В своей книге советские экономисты шаг за шагом разоблачают клеветнические утверждения, содержащиеся в докладе.

Книга охватывает широкий круг вопросов. Здесь рассказывается о темпах и уровне промышленного развития СССР и США, о положении и тенденциях сельского хозяйства в этих двух странах, об организации производства и подготовке кадров. Отдель-

ная глава посвящена анализу уровня жизни трудящихся в Советском Союзе и в Америке.

**СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ ОБ ОПАСНОСТИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ.** Атомиздат. М. 1959. 118 стр. Цена 3 р.

В этот сборник вошли статьи советских ученых по вопросам вредного воздействия на животные и растительные организмы излучений радиоактивных изотопов, выпадающих из атмосферы в результате ядерных взрывов.

В книге приведены данные о загрязнении биосферы продуктами ядерных взрывов. Авторы других материалов рассказывают о том, как радиоактивный стронций поступает в растения и накапливается в урожае различных сельскохозяйственных культур, сообщают результаты исследований содержания его в атмосфере, почве, продуктах питания. Отдельная статья посвящена теме «Радиация и наследственность человека».

Сборнику предпослана статья академика И. В. Курчатова, в которой говорится: «Советские ученые... вместе со всем нашим народом добились выдающихся успехов в деле создания атомного и водородного оружия. И теперь всякий, кто осмелится поднять атомный меч против советского народа, от атомного меча и погибнет. Но нестерпима мысль, что может начаться атомная и водородная война. Нам, ученым, работающим в области атомной энергии, больше чем кому бы то ни было, видно, что применение атомного и водородного оружия ведет человечество к неисчислимым бедствиям».

**ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ.** Сборник статей. Костромское книжное издательство, 1959. 100 стр. Цена 1 р. 20 к.

Эта книга — своеобразный отчет руководителей и передовых работников Костромской области об успехах, достигнутых в период между XX и XXI съездами КПСС. В ряде статей говорится о росте различных отраслей промышленности, особенно льнообрабатывающей и лесозаготовительной, сельского хозяйства. Немало места отведено рассказу о повышении материального благосостояния и культурного уровня трудящихся, о знатных людях области — замечательных ткачихах, прядильщицах, доярках.

Авторы анализируют работу предприятий, которые еще недавно отставали, а сейчас добились заметных достижений в повышении производительности труда и техническом перевооружении. В книге перечислены задачи, стоящие перед народным хозяйством Костромской области в годы семилетки.

**В. Н. СМЕРНОВ.** Молодые ленинградцы — Родине. Лениздат. 1959. 132 стр. Цена 1 р. 50 к.

Книга секретаря Ленинградского горкома ВЛКСМ В. Смирнова рассказывает о славных делах комсомольцев Ленинграда в последние годы.

В небольших очерковых заметках автор показывает, каких успехов добилась ленинградская молодежь в деле освоения новой техники, повышения производительности труда, экономии народных средств. В результате социалистического соревнования молодых рабочих, инженеров и техников — ленинградцев за экономию и бережливость государство за один только год получило дополнительно три миллиарда рублей. Юноши и девушки Ленинграда, как и всего Советского Союза, приняли активное участие в новостройках страны. Более тринадцати тысяч воспитанников комсомола выехали в 1957 году на стройки Востока и Сибири. В заключении книги рассказывается о новом патриотическом движении молодежи — создании бригад коммунистического труда.

Книга снабжена фотографиями молодых новаторов производства.

**ЖАК ДЮКЛО.** Избранные произведения. Госполитиздат. М. 1959. Том I (1925—1949 годы). 616 стр. Цена 11 р. 75 к. Том II (1950—1958 годы). 654 стр. Цена 12 р. 50 к.

В этот двухтомный сборник вошли статьи и речи видного деятеля французского и международного рабочего движения, секретаря ЦК Французской коммунистической партии Жака Дюкло.

Во всех своих выступлениях Дюкло предстает как неутомимый организатор французских трудящихся на борьбу с реакцией, за мир, за единство действий рабочего класса.

Материалы первого тома позволяют проследить историю рабочего движения и Коммунистической партии Франции за четверть века. Второй том (1950—1958 годы) открывается речью на XII съезде ФКП «Борьба против фашизма и движение в защиту мира», в которой Дюкло утверждает: «Борьба в защиту демократических свобод, против фашизма неотделима от великой битвы за мир, исход которой в конечном счете решает все».

За свою неутомимую деятельность в защиту прав трудящихся Дюкло неоднократно подвергался репрессиям со стороны реакционных властей, пытавшихся обезглавить рабочий класс. В этой связи представляет интерес «Письмо президенту республики» и заявление следователю из тюрьмы Сантэ, куда в 1952 году был заключен Дюкло. В заявлении он говорит: «...все это дело... было от начала и до конца провокацией, подстроенной правительством, чтобы опорочить меня и те идеи, защите которых я посвятил мою жизнь».

В статье «Сорок лет на страже мира», посвященной 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, Дюкло пишет: «Советский Союз проводил такую внешнюю политику, которая отвечала не только интересам народов СССР, но также интересам всех народов, ибо ее главной целью была и остается защита мира».

На протяжении всей своей многолетней деятельности Дюкло неизменно ратует за дружбу и укрепление связей французского и советского народов.

**И. ВЕРХОВЦЕВ.** Жизнь, отданная великому делу. Госполитиздат. М. 1959. 136 стр. Цена 1 р. 85 к.

«Гнусные людишки! Они думали запугать коммуниста! — писала 12 мая 1923 года газета «Правда» по поводу угроз, предшествовавших злодейскому убийству В. В. Воровского.— Но коммунист оставался на том посту, на котором ему приказал стоять российский пролетариат».

Книжка «Жизнь, отданная великому делу» воссоздает облик Воровского — выдающегося деятеля русского и международного рабочего движения, соратника В. И. Ленина.

Читатель знакомится с разнообразными документальными материалами, с воспоминаниями старых большевиков о Воровском — крупнейшем советском дипломате, мужественном борце, за мир, страстном большевистском публицисте и литературном критике, отдавшем всю силу своего яркого таланта пропаганде марксистско-ленинской идеологии.

**МАТРОС ЖЕЛЕЗНЯК.** Госполитиздат. М. 1959. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

Человек из песни «Матрос Железняк». Это легендарное имя командира бронепоезда, партизана, погибшего в августе 1919 года, широко известно советским людям. Но далеко не многие знают о жизненном пути этого героя гражданской войны.

О том, как пришел А. Г. Железняков в революцию, как жил, сражался и погиб в неравном бою с белогвардейскими бандами Деникина, рассказывается в этой небольшой книжке, составленной из воспоминаний его родных и боевых соратников.

В книгу включен также дневник Анатолия Железнякова «Памятная тетрадь».

**1919 ГОД В ВЕНГРИИ.** Госполитиздат. М. 1959. 272 стр. Цена 5 р.

Сборник подготовлен Госполитиздатом к 40-й годовщине провозглашения Венгерской Советской Республики. В него включены впервые публикуемые на русском языке материалы, отражающие героическую борьбу венгерского пролетариата в 1919 году.

В книге рассказывается о периоде диктатуры пролетариата в Венгрии, о деятелях революции, приводятся воспоминания ее участников и отклики в других странах на революционные события в этой стране.

В разделе «Ленин и Венгерская Советская Республика» помещены важнейшие ленинские произведения, в которых содержится оценка революционных событий в Венг-

рии того периода. В статье «Привет венгерским рабочим» В. И. Ленин писал: «Вы ведете единственно законную, справедливую, истинно революционную войну, войну угнетенных против угнетателей, войну трудящихся против эксплуататоров, войну за победу социализма. Во всем мире все, что есть честного в рабочем классе, на вашей стороне... Будьте тверды! Победа будет за вами!»

Сборник знакомит советских читателей с интересными документами, посвященными одной из самых ярких страниц венгерской истории.

**ЧАРЛЗ МАЙЕР.** Как я ловил диких зверей. Перевод с английского. Географгиз. М. 1959. 167 стр. Цена 2 р. 65 к.

Книга известного американского охотника за дикими зверями Чарлза Майера написана в начале нашего столетия. Она была впервые издана на русском языке тридцать лет назад и давно уже стала библиографической редкостью.

Превосходно нарисованные Майером картины жизни на Суматре, Борнео, в Малакке чередуются с живыми и красочными описаниями увлекательных охотничьих приключений. А когда автор, бывший в молодости цирковым артистом, предается воспоминаниям, то читатель видит и колоритные фигуры знаменитых цирковых деятелей — Барнума, Бэйли, Буффало Билля, Хармстона.

Любопытны страницы, из которых читатель может узнать о ловком проникновении американского капитала в полупервобытные малайские княжества. Портреты раджей, по мелочам распропадающих народные богатства заморским покупателям, воссозданы с большой точностью и убедительностью.

**В. САФОНОВ.** Александр Гумбольдт. «Молодая гвардия». М. 1959. 191 стр. Цена 4 р. 75 к.

К исполняющейся в мае столетней годовщине со дня смерти великого немецкого естествоиспытателя Александра Гумбольдта в серии «Жизнь замечательных людей» вышла посвященная ему книга В. Сафонова. Основоположник современной географии растений, геофизики, гидрологии, Гумбольдт оставил после себя целую библиотеку исследований и трактатов — 636 научных трудов. Автор показывает выдающуюся роль А. Гумбольдта в тот период, когда менялись самые основы понимания мира, когда науке оставалось сделать только один шаг до дарвиновской теории происхождения видов.

Много интересного рассказывает писатель о поездке Гумбольдта по России — через Средний Урал на Алтай до китайской границы.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза, 27 января—5 февраля 1959 года. Стенографический отчет. Том I. 592 стр. Цена 10 р. Том II. 616 стр. Цена 10 р.

Н. С. Хрушев. К победе в мирном соревновании с капитализмом. 600 стр. Цена 9 р.

Пребывание Н. С. Хрущева в Германской Демократической Республике 4—12 марта 1959 г. 160 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Баянов. Народная Корея на пути к социализму. 144 стр. Цена 2 р. 25 к.

Белая книга об агрессивной политике правительства Федеративной Республики Германии. 232 стр. Цена 2 р. 75 к.

О. В. Козлова. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса СССР. 220 стр. Цена 3 р.

Очерки по истории народного хозяйства СССР. Сборник статей. 408 стр. Цена 12 р.

Правда о политике западных держав в германском вопросе (Историческая справка). Об ответственности западных держав за нарушение Потсдамского соглашения и возрождение германского милитаризма. 136 стр. Цена 1 р. 40 к.

### ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Заседания Верховного Совета РСФСР пятого созыва. Первая сессия. Стенографический отчет (14—16 апреля 1959 г.). 284 стр. Цена 6 р.

### СОЦЭКГИЗ

Д. Лаппо, А. Мельчин. Страницы великой дружбы. Участие китайских добровольцев на фронтах гражданской войны в Советской России (1918—1922 гг.). 188 стр. Цена 2 р. 55 к.

В. Е. Мотылев. Финансовый капитал и его организационные формы. 452 стр. Цена 14 р.

А. Н. Рубакин. Империализм и ухудшение здоровья трудящихся. 516 стр. Цена 12 р. 10 к.

Д. И. Чесноков. Роль социалистического государства в строительстве коммунизма. 72 стр. Цена 1 р. 5 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Т. Бесаев. Рассказы и легенды. Перевод с осетинского. 172 стр. Цена 3 р. 25 к.

К. Ванин. Обыкновенный человек. Повести и рассказы. 228 стр. Цена 4 р. 60 к.

О. Волков. В тихом краю. Роман. 404 стр. Цена 6 р. 75 к.

И. Волобуева. Весны и зимы. Стихи. 108 стр. Цена 1 р. 55 к.

З. Дичаров. Записки о необыкновенном. 260 стр. Цена 3 р. 5 к.

П. Дорошко. Виллюйский узник. Поэма. Перевод с украинского. 60 стр. Цена 1 р.

П. Загребельный. Дума о бессмертном. Повесть и рассказы. Перевод с украинского. 288 стр. Цена 5 р. 10 к.

К. Касум-заде. Нити к сердцу. Стихи и поэма. Перевод с азербайджанского. 124 стр. Цена 2 р. 45 к.

З. Коцюбинская-Ефименко. М. М. Коцюбинский. 236 стр. Цена 5 р. 65 к.

Н. Лойко. Ася находит семью. Повесть. 244 стр. Цена 4 р. 60 к.

Е. Люфанов. Девушка из Заречья. Рассказы. 248 стр. Цена 4 р. 50 к.

Н. Полякова. Друзья зовут меня в дорогу. Стихи. 112 стр. Цена 1 р. 80 к.

Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Сборник. 588 стр. Цена 11 р.

А. Роскин. Статьи о литературе и театре. Антоша Чехонте. 440 стр. Цена 9 р. 70 к.

Л. Уварова. Ольховка слушает. Рассказы. 224 стр. Цена 4 р. 15 к.

В. Федорович. Есипово кольцо. Рассказы. 272 стр. Цена 4 р. 80 к.

Д. Хаит. Полуостров. Роман. 456 стр. Цена 8 р. 40 к.

А. Шароз. Ручей старого бобра. Повести и рассказы. 348 стр. Цена 3 р. 75 к.

А. Шахов. В камышах Балхаша. Повесть и рассказы. 376 стр. Цена 6 р. 40 к.

Л. Шемшелевич. Добрые приметы. Стихи. 124 стр. Цена 2 р. 10 к.

И. Шимкус. Рассказы. Перевод с литовского. 232 стр. Цена 4 р. 30 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

И. М. Беспалов. Статьи о литературе. 207 стр. Цена 4 р. 75 к.

Костас Варналис. Избранное. Перевод с греческого. 155 стр. Цена 3 р. 60 к.

Теодор Томаш Еж. На рассвете. Роман. Перевод с польского. 287 стр. Цена 5 р. 55 к.

Сильва Капутикян. Стихотворения. Перевод с армянского. 277 стр. Цена 4 р. 10 к.

Янка Купала. Стихотворения. Перевод с белорусского. 343 стр. Цена 5 р. 30 к.

Сергей Михалков. Стихи. 255 стр. Цена 4 р. 40 к.

**Лев Ошанин.** Стихи. Баллады. Песни. 399 стр. Цена 8 р. 80 к.

**Петро Панч.** Избранные произведения. В двух томах. Перевод с украинского. Том 1. 648 стр. Цена 11 р. 85 к. Том 2. 583 стр. Цена 10 р. 60 к.

**Александр Прокофьев.** Стихотворения и поэмы. 271 стр. Цена 4 р. 20 к.

**Кара Сейтлиев.** Круглый год весна. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с туркменского. 215 стр. Цена 3 р. 40 к.

**И. Соколова и А. Бочаров.** Вилис Лацис. Очерк творчества 195 стр. Цена 5 р. 65 к.

**Алексей Сурков.** Сочинения. В двух томах. Том 1. 399 стр. Цена 7 р. 90 к. Том 2. 439 стр. Цена 8 р. 20 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Ник. Асеев.** Самое лучшее. Стихи. 304 стр. Цена 8 р. 55 к.

**Мария Джакоббе.** Дневник молодой учительницы. 142 стр. Цена 3 р. 55 к.

**А. Ермолаев.** Стронтели. Повесть. 256 стр. Цена 5 р. 30 к.

**Борис Зайцев.** Первый год. Повесть. 224 стр. Цена 5 р. 45 к.

**Ярослав Иосселиани.** Огонь в океане. 478 стр. Цена 8 р. 95 к.

**Примкул Кадыров.** Три корня. Роман. 367 стр. Цена 6 р. 85 к.

**Анатолий Калинин.** Суровое поле. Роман. 144 стр. Цена 2 р. 20 к.

**С. Кривошеин.** Сквозь бури. 254 стр. Цена 7 р. 15 к.

**П. Кудряцева-Молодчикова.** Хлебные колосья. 176 стр. Цена 4 р. 60 к.

**Д. Мадасон.** Лирические стихи. Перевод с бурятского. 80 стр. Цена 2 р. 55 к.

**Невидимый свег.** Сборник фантастических и приключенческих рассказов. 192 стр. Цена 4 р. 40 к.

**С. Никитин.** В бессонную ночь. Повесть и рассказы. 208 стр. Цена 3 р. 25 к.

**Николай Первалов.** И хлеб и соль. Стихи. 127 стр. Цена 3 р. 30 к.

**Ив. Реугов.** Уральский вклад. Роман. 448 стр. Цена 8 р. 5 к.

**Борис Слуцкий.** Время. Стихи. 128 стр. Цена 3 р. 5 к.

**Александр Удалов.** У синих гор. Повесть. 256 стр. Цена 5 р. 35 к.

**Аркадий Фидлер.** Горячее селение Амбинанитело. 216 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Геннадий Фиш.** На финской земле. 208 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Кашиф Эльгар.** Песня у водопада. Стихи. Перевод с кабардинского. 143 стр. Цена 3 р. 40 к.

#### ПРОФИЗДАТ

**А. Батулин, Ю. Корнилов.** Факты против лжи (Памфлет). 72 стр. Цена 1 р.

**В. В. Гришин.** Отчет о работе ВЦСПС и задачи профессиональных союзов СССР в связи с решениями XXI съезда КПСС. Доклад и заключительное слово на XII съезде профсоюзов СССР 23 и 26 марта 1959 г. 96 стр. Цена 80 к.

**А. Кулешова.** Когда резервы в действии. Рассказы новаторов. 32 стр. Цена 35 к.

**Постоянно действующие производственные совещания (Документы).** 176 стр. Цена 2 р. 50 к.

#### СЕЛЬХОЗГИЗ

**И. И. Лукинов.** Пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве. 105 стр. Цена 1 р. 40 к.

**П. П. Немчинов.** Об учете затрат и доходов в колхозах. 177 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Сельское хозяйство капиталистических стран.** Статистический сборник. 248 стр. Цена 7 р. 55 к.

**Химия в сельском хозяйстве.** 247 стр. Цена 4 р. 95 к.

**С. К. Чайнов.** Освоение целины в полупустыне. 134 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Энциклопедический сельскохозяйственный словарь-справочник (краткий).** 1023 стр. Цена 19 р. 25 к.

---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

---

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 16/IV-59 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 20/V-59 г.  
А 03766. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 834.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 7 руб.